

ЭТИКА ПИЩИ,

или

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ БЕЗУБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Собрание жизнеописаний и выдержек из сочинений выдающихся мыслителей всех времен

Хауарда Уильямса

перевод с английского (The Ethics of Diet, by Howard Williams, M. A.)

со вступительной статьей
«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Стихотворные цитаты, помеченные без подписи, переведены А. П. Барыковой

ИЗДАНИЕ «ПОСРЕДНИКА» ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Москва,
Типография И. Д. Сытина и К?., Валовая ул., соб. дом
1893

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Первая ступень

XXXVI. Кокки (Cocchi)

Вступление

XXXVII. Руссо (Rousseau)

I. Гезиод

XXXVIII. Линней (Linne)

II. Пифагор

XXXIX. Бюффон (Buffon)

III. Сакиа-Муни

XL. Хоксуэрт (Hawkesworth)

IV. Платон

XLI. Пэли (Paley)

V. Овидий

XLII. Прессавен (Pressavin)

VI. Музоний

XLIII. Бернарден де Сен-Пьерр (Bernardin de St. Pierre)

VII. Сенека

VIII. Плутарх

IX. Тертуллиан

X. Климент Александрийский

XI. Порфирий

XII. Златоуст

XIII. Корнаро (Cornaro)

XIV. Сэр Томас Мор (Sir Thomas More)

XV. Монтень (Montaigne)

XVI. Лессю (Lessio)

XVII. Гассенди (Gassendi)

XVIII. Франциск Бэкон (Francis Bacon)

XIX. Рей (Ray)

XX. Коулей (Cowley)

XLIV. Франклин, Говард, Сведенборг, Веслей и Гиббон (Franklin, Howard, Swedenborg, Wesley, Gibbon)

XLV. Купер (Cowper)

XLVI. Освальд (Oswald)

XLVII. Шиллер (Shiller)

XLVIII. Бентам (Bentham)

XLIX. Синклер (Sinclair)

L. Гуфеланд (Hufeland)

LI. Ритсон (Ritson)

LII. Никольсон (Nicolson)

LIII. Абернети (Abernethy)

LIV. Ламбе (Laambe)

LV. Ньютон (Newton)

LVI. Глейзе (Gleizes)

XXI. Эвелин (Evelyn)

LVII. Шелли (Shelley)

XXII. Мильтон (Milton)

LVIII. Байрон (Byron)

XXIII. Боссюэт (Bossuet)

LIX. Филлипс (Phillips)

XXIV. Трайон (Tryon)

LX. Ламартин (Lamartine)

XXV. Экэ (Hecquet)

LXI. Мишле (Michelet)

XXVI. Бернар де Мандевиль (Bernard de Mandeville)

LXII. Каухерд (Cowherd)

XXVII. Гей (Gay)

LXIII. Меткальф (Metcalf)

XXVIII. Чайн (Cheyne)

LXIV. Грехем (Graham)

XXIX. Поп (Pope)

LXV. Струве (Struve)

XXX. Томсон (Thomson)

LXVI. Даумер (Daumer)

XXXI. Гартлей (Hartley)

LXVII. Циммерман и Гольтц (Zimmermann and Goltz)

XXXII. Честерфильд (Chesterfield)

LXVIII. Шопенгауер (Shopenhauer)

XXXIII. Вольтер (Voltaire)

LXIX. Юстус Либих (Justus Liebig)

«Природой человек никогда не был приспособлен к тому, чтобы быть плотоядным животным; он не снабжен теми природными особенностями, которыми отличаются хищные и плотоядные породы»

Рей

«Человек, будь человечен! В этом твое первое назначение. Мудрость неосуществима вне человечности».

Руссо

«Человек есть то, что он ест».

Немецкая пословица

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

1

I

Если человек делает дело не для показу, а с желанием совершить его, то он неизбежно действует в одной, определенной сущностью дела, последовательности. Если человек делает после то, что по сущности дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропускает то, что необходимо сделать для того, чтобы можно было продолжать дело, то он наверное делает дело не серьезно, а только притворяется. Правило это неизменно остается верным как в материальных, так и в нематериальных делах. Как нельзя серьезно желать печь хлебы, не замесив прежде муку, и не вытопив потом, и не выметя печи и. т. д., так точно нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая известной последовательности в приобретении необходимых для того качеств.

Правило это в делах доброй жизни особенно важно, потому что в материальном деле, как, например, в печении хлеба, можно узнать, серьезно ли человек занимается делом, или только притворяется, по результатам его деятельности; в ведении же доброй жизни проверка эта невозможна. Если люди, не меся муки, не топя печи, как на театре делают только вид, что они пекут хлеб, то по последствиям — отсутствию хлеба — очевидно для каждого, что они только притворялись; но если человек делает вид, что он ведет добрую жизнь, мы не имеем таких прямых указаний, по которым мы бы могли узнать, серьезно ли он стремится к ведению доброй жизни, или только притворяется, потому что последствия доброй жизни не только не всегда ощутительны и очевидны для окружающих, но очень часто представляются им вредными; уважение же и признанно полезности и приятности для современников деятельности человека ничего не доказывают в пользу действительности его доброй жизни.

И потому для распознавания действительности доброй жизни от видимости ее особенно дорог этот признак, состоящий в правильной последовательности приобретения нужных для доброй жизни качеств. Дорог этот признак преимущественно не для того, чтобы распознавать истинность стремлений к доброй жизни в других, но для распознавания ее в самом себе, так как мы в этом отношении склонны обманывать самих себя еще более, чем других.

Правильная последовательность приобретения добрых качеств есть необходимое условие движения доброй жизни и потому всегда всеми учителями человечества предписывалась людям известная, неизменная последовательность приобретения добрых качеств.

Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская

мудрость, стоит от земли до неба, и на которую восхождение не может происходить иначе, как с низшей ступени. Как в учениях браминов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетелей, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учителя человечества, как религиозные, так и нерелигиозные, признавали необходимость определенной последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта вытекает и из самой сущности дела, и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и более и остается только в среде аскетической, монашествующей. В среде же светских людей предполагается и признается возможность приобретения высших свойств доброй жизни но только при отсутствии низших добрых качеств, обуславливающих высшие, но и при самом широком развитии пороков; вследствие чего и представление о том, в чем состоит добрая жизнь, доходит в наше время в среде большинства светских людей до величайшей путаницы. Утрачено представление о том, что есть добрая жизнь.

II

Произошло это, как я думаю, следующим образом.

Христианство, заменяя язычество, выставило более высокие, чем языческие, нравственные требования и, как и не могло быть иначе, выставив свои требования, установило, как и в языческой нравственности, одну необходимую последовательность, приобретения добродетелей или ступеней для достижения доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием, через мужество и мудрость, достигали справедливости; христианские добродетели, начинаясь самоотречением, через преданность воле божьей достигают любви.

Люди, серьезно принявшие христианство и стремившиеся усвоить для себя добрую христианскую жизнь, так и понимали христианство и всегда начинали добрую жизнь отречением от своих похотей, включающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило языческое, что оно иное и выше языческого. Но христианское учение, как и языческое, ведет людей к истине и добру; а так как истина и добро всегда один, то и путь к ним должен быть один, и *первые* шаги на этом пути неизбежно должны быть одни и те же как для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения добра в том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же бесконечного совершенства. Платон, например, ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. "Будьте совершенны, как отец ваш небесный". От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей.

Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших. По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собою по отношению к бесконечному идеалу.

Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения. С языческой точки зрения человек, обладающий добродетелью благоразумия, стоит в нравственном значении ниже человека, не обладающего этой добродетелью; человек, обладающий сверх благоразумия и мужеством, стоит еще выше; человек, обладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх того справедливостью, стоит еще выше; христианин же не может считаться ни один ни выше, ни ниже другого в нравственном значении; христианин только тем более христианин, чем быстрее он движется к бесконечному совершенству, независимо от той ступени, на которой он в данную минуту

находится. Так что неподвижная праведность фарисея ниже движения кающегося разбойника на кресте.

Но в том, что движение к добродетели, к совершенству не может совершаться помимо низших степеней добродетели как в язычестве, так и в христианстве, — в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать работу совершенствования с самого начала, т. е. с того же, с чего начинает ее язычник, именно с воздержания, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не начать с первой ступени. Разница только в том, что для язычника воздержание само по себе представляется добродетелью, для христианина же воздержание есть только часть самоотречения, составляющего необходимое условие стремления к совершенству. И потому истинное христианство в своем проявлении не могло отвергнуть добродетели, которые указывало и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стремление к совершенству отца небесного; христианство, ложно понятое, уничтожало искренность и серьезность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо исполнения нравственного учения христианства, то ему естественно думать, что усилия его быть добрым излишни. И потому человек, верующий в то, что есть средства спасения помимо личных усилий к достижению совершенства (как, например, индульгенции у католиков), не может стремиться к этому с той энергией и серьезностью, с которой стремится человек, не знающий никаких других средств, кроме личных усилий. А не стремясь к этому с полной серьезностью, зная другие средства кроме личных усилий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем одним неизменным порядком, в котором могут быть приобретаемы добрые качества, нужные для доброй жизни. Это самое и случилось с большинством людей, внешним образом исповедующих христианство.

III

Учение о том, что личные усилия не нужны для достижения человеком духовного совершенства, а что есть для этого другие средства, является причиной ослабления стремления к доброй жизни и отступления от необходимой для доброй жизни последовательности.

Огромная масса людей, которая внешним только образом приняла христианство, воспользовалась заменой язычества христианством для того, чтобы, освободившись от требований языческих добродетелей, как бы не нужных уже для христианина, освободить себя и от всякой необходимости борьбы со своей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить во внешнее только христианство. Они точно так же, как и те верующие, выставляя вместо внешнего христианства какое-нибудь принятое большинством мнимое доброе дело, в роде служения науке, искусству, человечеству, — во имя этого мнимого доброго дела освобождают себя от последовательности приобретения качеств, нужных для доброй жизни, и довольствуются тем, что претворяются, как на театре, что живут доброю жизнью.

Такие люди, отставшие от язычества и не приставшие к христианству в его истинном значении, стали проповедовать любовь к богу и людям без самоотречения и справедливость без воздержания, т. е. проповедовать высшие добродетели без достижения низших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

Одни проповедуют любовь к богу и людям без самоотречения, другие — гуманность, служение людям, человечеству без воздержания.

И так как проповедь эта поощряет животную природу человека под видом введения его в высшие нравственные сферы, освобождая его от самых элементарных требований нравственности давным-давно высказанных язычниками, и не только не отвергнутых, но усиленных истинным христианством, то она охотно была принята как верующими, так и неверующими.

На днях только вышла энциклика папы о социализме. Там после опровержения мнения социалистов о незаконности собственности сказано прямо, что «никто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая из того, что ему или семье его нужно (Nul assurement n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son necessaire ou sur celui de sa famille), ни даже уменьшить что-либо из того, чего требуют от него приличия. Никто, в самом деле, не должен жить противно обычаям». (Это место из святого Фомы: Nullus enim inconvenienter debet vivere.) «Но после того, как отдано должное нужде и внешним приличиям», — говорит далее энциклика, «обязанность каждого — отдавать излишек бедным».

Так проповедует глава одной из самых распространенных теперь церквей. И рядом с этой проповедью эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что вам не нужно, проповедуется любовь, и постоянно с пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13 главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение евангелия переполнено требованиями самоотречения, указаниями на то, что самоотречение есть первое условие христианского совершенства, несмотря на такие ясные изречения, как: "кто не возьмет креста своего... кто не отречется от отца, матери... кто не погубит жизнь свою..." - люди уверяют себя и других, что возможно любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему привык, но и от того, что сам считаешь для себя приличным.

Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же думают и говорят и пишут и поступают люди, отвергающие не только внешнее, но и истинное христианское учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяю и себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потребностей, не побеждая своих похотей, можно служить людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность добродетелей и, не усвоив христианского учения в его истинном значении, не приняли и христианской последовательности и остались без всякого руководства.

IV

В старину, когда не было христианского учения, у всех учителей жизни, начиная с Сократа, первую добродетелью в жизни было воздержание и было понятно, что всякая добродетель должна начинаться с нее и проходить через нее. Было ясно, что человек, не владеющий собой, развивший в себе огромное количество похотей и подчиняющийся всем им, не мог вести добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем человек мог думать не только о великодушии, о любви, но о бескорыстии, справедливости, он должен был научиться владеть собою. По нашим же взглядам этого ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек, развивший свои похоти до той высшей степени, в которой они развиты в нашем мире, человек, не могущий жить без удовлетворения сотни получивших над ним власть ненужных привычек, может вести вполне нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к ограничению своих похотей считается не только не первым, но даже и не последним, а совершенно не нужным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространенному современному ее учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, цивилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. Изнеженности суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем тонченнее эти потребности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.

Как изображаются герои и героини, представляющие идеалы добродетелей?

В большинстве случаев мужчины, долженствующие представить нечто возвышенное и благородное, начиная с Чайльд-Гарольда и до последних героев Фелье, Троллопа, Мопассана, — суть не что иное, как развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нужные; героини же — это так или иначе, более или менее доставляющие наслаждение мужчинам любовницы, точно так же праздные и преданные роскоши.

Я не говорю о встречающемся изредка и литературе изображении действительно воздержных и трудящихся лиц, — я говорю о типе обычном, представляющем идеал для массы, о том лице, похожим на которое старается быть большинство мужчин и женщин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся, — и с которым теперь, я знаю, борются все романисты, имеющие хотя самое смутное сознание того, что составляет действительную нравственную красоту, — заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.

V

Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только не признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем-то хорошим и но, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, но сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.

Мне давно хотелось написать такую сказку: женщина, оскорбленная другой, желая отметить ей, похищает ребенка своего врага, идет к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отметить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребенка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребенком и к удивлению своему видит, что ребенок взят и усыновлен бездетным богачом. Она идет к колдуну и упрекает его, но колдун велит ждать. Ребенок растет в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и даже жалеет свою жертву. Ребенок вырастает в изнеженности и распущенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни — и бессилие изнеженной, приученной к роскоши и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или сумасшествие, или самоубийство.

В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берет, глядя на это и еще более на последствия этого, если уметь сидеть то, что делается в душах лучших из этих старательно самими родителями погубляемых детей.

Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда еще молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем пире, совершенно атрофирована эта способность.

Не только не приучен человек к труду, ко всем условиям всякого плодотворного труда, сосредоточенного внимания, напряжения, выдержки, увлечения делом, умения исправить испорченное, привычки усталости, радости совершения, но приучен к праздности и пренебрежению всяким произведением труда, приучен к тому, чтоб портить, бросать и вновь за деньги приобретать всё, что вздумается, не думая даже никогда о том, как что делается. Человек лишен способности к приобретению первой по порядку добродетели, необходимой для приобретения всех других, — благоразумия, и пущен в мир, в котором проповедуются и как будто ценятся высокие добродетели справедливости, служения людям, любви. Хорошо,

если молодой человек — натура нравственно слабая, но чуткая, не чующая разницы между показной доброй жизнью и настоящей, и которая может удовлетворяться царствующим в жизни злом. Если так, то всё устраивается как будто хорошо, и с не проснувшимся нравственным чувством такой человек иногда спокойно доживает до гроба. Но не всегда это так бывает, в особенности в последнее время, когда сознание безнравственности такой жизни носится в воздухе и невольно западает в сердце. Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются и тогда начинаются внутренняя мучительная борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть добрым, что можно, предаваясь объедению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает ее верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застреливается. Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, что есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких-либо высших добродетелей надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство, — и стал бы понемногу усилиями над собой достигать ее.

VI

Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека, сороковых годов, изгнанника Огарева, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку — Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадая долгие часы с погибшим, но милым созданием»... Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень милым, нисколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их.

Так это было полстолетия тому назад. Я застал еще этих людей. Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горячее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали помешанные хлеба в истопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм.

Трагизм такой жизни действительно ужасен. И трагизм этот, каков он был в те времена для Герцена, Огарева и других, таков он и теперь для многих и многих так называемых

образованных людей нашего времени, удержавших те же взгляды. Человек стремится жить доброго жизнью, но та необходимая последовательность, которая нужна для этого, потеряна в том обществе, в котором он живет. Как 50 лет тому назад Огарев и Герцен, так и большинство теперешних людей убеждены, что вести изнеженную жизнь, есть сладко, жирно, наслаждаться, всячески удовлетворять своей похоти — не мешает доброй жизни. Но, очевидно, добрая жизнь не выходит у них, и они предаются пессимизму и говорят: «Таково трагическое положение человека».

VII

Заблуждение в том, что люди, предаваясь своим похотям, считая эту похотливую жизнь хорошею, могут при этом вести добрую, полезную, справедливую, любовную жизнь, так удивительно, что люди последующих поколений, я думаю, прямо не будут понимать, что именно разумели люди нашего времени под словами "добрая жизнь", когда они говорили, что обжоры, изнеженные, похотливые ведут добрую жизнь. В самом деле, стоит только на время отрешиться от привычного взгляда на нашу жизнь и посмотреть на нее — не говорю с точки зрения христианской — но с точки зрения языческой, с точки зрения самых низших требования справедливости, чтобы убедиться, что здесь не может быть и речи ни о какой доброй жизни.

Всякому человеку в нашем мире для того, чтобы, но скажу начать добрую жизнь, но только начать хоть немного подвигаться ней, надо прежде всего перестать вести злую жизнь, надо начать разрушать те условия злой жизни, в которой он находится.

Как часто слышишь, как оправдание того, что мы не изменяем нашей дурной жизни, рассуждение о том, что поступок, идущий в разрез с обычной жизнью, был бы ненатуральным, был бы смешным, пли желанием выказаться, и был бы от того не добрым поступком. Рассуждение это как будто сделано для того, чтобы люди никогда не изменили своей дурной жизни. Ведь если бы вся жизнь наша была хорошею, справедливою, доброю,

то ведь только тогда всякий поступок, согласный с общею жизнью, был бы добрый. Если же жизнь на половину хорошая, на половину дурная, то для всякого поступка, не согласного с общей жизнью, столько же вероятия быть хорошим, сколько и дурным. Если же жизнь вся дурная, неправильная, то человеку, живущему этой жизнью, нельзя сделать ни одного доброго поступка, не нарушив привычного течения жизни. Можно сделать дурной поступок, не нарушив обычного течения жизни, но нельзя сделать хорошего.

Человеку, живущему нашей жизнью, нельзя вести. Добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в которых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь, как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому, измеряется одним, и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе — к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из нее заботы о себе, трудов и требований от других для себя, и чем больше любви к другим и вытекающих из нее заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.

Так понимали и понимают добрую жизнь все мудрецы мира и все истинные христиане, и точно так же понимают се все самые простые люди. Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.

Если передвинуть точку опоры рычага от длинного конца к короткому, то этим не только увеличится длинное плечо, но укоротится еще и короткое. Так что, если человек, имея одну данную способность любви, увеличил любовь и заботу о себе, то этим он уменьшил возможность любви и заботы о других не только на то количество любви, которое он перенес на себя, но во много раз больше. Вместо того, чтобы кормить других, человек съел лишнее, и этим не только уменьшил возможность отдать это лишнее, но еще себя лишил вследствие объединения возможности заботиться о других.

Для того, чтобы точно, не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя — тоже не на словах, а на деле. Обыкновенно же бывает так: других мы думаем, что любим, уверяем в этом себя и других, но любим только на словах, себя же любим на деле. Других мы забудем покормить и уложить спать, себя же никогда. И потому для того, чтобы точно любить других на деле, надо выучиться забывать покормить себя и уложить себя спать, так же как мы забываем это сделать относительно других.

Мы говорим «добрый человек» и «ведет добрую жизнь» про человека изнеженного, привыкшего к роскошной жизни. Но человек такой — мужчина или женщина — может иметь самые любезные черты характера, кротости, благодушия, но не может вести добрую жизнь, как не может быть острым и резать самой хорошей работы и стали нож, если он не наточен. Быть добрыми и вести добрую жизнь — значит давать другим больше, чем берешь от них. Человек же изнеженный, и привыкший к роскошной жизни, не может этого делать, во-первых, потому, что ему самому всегда много нужно (и нужно не по эгоизму его, а потому что он привык, и для него составляет страдание лишиться того, к чему он привык), а во-вторых, потому, что, потребляя все то, что он получает от других, он этим самым потреблением ослабляет себя, лишает себя возможности работать и потому служить другим. Человек изнеженный, мягко, долго спящий, жирно, сладко и много едящий я пьющий, соответственно тепло или прохладно одетый, не приучивший себя напряжению работы, может сделать только очень мало.

Мы так привыкли лгать сами себе и ко лжи других, — так выгодно нам не видеть лжи других, чтобы они не увидели нашей, что мы несколько не удивляемся и не сомневаемся в справедливости утверждения добродетели, иногда даже святости людей, живущих вполне распущенной жизнью. Человек, мужчина или женщина, спит па постели с пружинами, двумя матрацами и двумя чистыми глаженными простынями, наволочками, на пуховых подушках. У кровати его коврик, чтобы ему не холодно было ступить на пол, несмотря па то, что тут же стоят, туфли. Тут же еще необходимые принадлежности так, что ему не надо выходить. Окна завешаны шторами так, что свет не может разбудить его, и он спит до какого ему поспится часа. Кроме того, приняты меры, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно, чтобы его не тревожили шум и мухи и другие насекомые. Он спит, а вода горячая и холодная для умывания, иногда для ванны или для бритья, уже готова. Готовится и чай или кофе, возбуждающие напитки, которые выпиваются тотчас же после вставания. Сапоги, башмаки, калоши, несколько пар, которые он запачкал вчера, уже чистятся так, что они блестят, как стекло и на них нет ни пылинки. Также чистятся разные заношенные предшествующим днем одежды, соответствующие не только зиме и лету, но весне, осени, дождливой, сырой, жаркой поп до. Приготавливается вымытое, накрахмаленное, разутюженное чистое белье с пуговками, запонками, петельками, которые все осматриваются приставленными к тому людьми. Если человек деятелен, он встает рано, т. е. в 7 часов, т. е. все-таки часа два, три после тех, которые всё это готовят для него. Кроме приготовления одежд для дня и покрывала для ночи есть еще одежда и обувь для времени одеванья, халаты, туфли, и вот человек идет умываться, чиститься, чесаться, для чего употребляет несколько сортов щеток, мыл и большое количество воды и мыла. (Многие англичане и женщины особенно гордятся почему-то том, что они могут очень много вымылить мыла и вылить на себя воды.) Потом человек одевается, причесывается перед особым от тех, которые висят почти во всех комнатах, зеркалом, берет необходимые ему вещи, как то: большей частью очки или *pinces-nez*, лорнет, потом раскладывает по карманам: платок чистый, чтобы высморкаться, часы на цепочке, несмотря на то, что везде, где он будет, почти в каждой комнате есть часы; берет деньги разных сортов, мелкие (часто в особой для того машинке, избавляющей от труда найти то, что нужно) и бумажки, карточки, на которых напечатано его имя, избавляющие от труда сказать или написать; книжку белую, карандаш. Для женщины одеванье еще много сложнее: корсет, прическа, длинные волосы, украшения, тесемочки, ластики, ленточки, завязочки, шпильки, булавки, брошки.

Но вот всё кончено, начинается день обыкновенно едой, пьется приготовленный кофе или чай с большим количеством сахара, едят булки; хлеб первого сорта пшеничной муки с большим количеством масла, иногда свиного мяса. Мужчины большей частью при этом курят папиросы пли сигары и затем читают газету свежую, только что принесенную. Потом

хождение из дома на службу или по делам, пли езда в экипажах, нарочно существующих для перевозки этих людей. Потом завтрак из убитых животных, птиц, рыб, потом обед такой же, при большой скромности из трех блюд, — сладкое блюдо, кофе, потом игра — карты, и игра — музыка, пли театр, чтение или беседа в мягких пружинных креслах при усиленном и смягченном свете свечи, газа, электричества, — опять чан, опять еда, ужин и опять в постель, приготовленную, взбитую с чистым бельем и с очищенной посудой.

Таков день человека скромной жизни, про которого, если он мягкого характера и не имеет исключительно неприятных для других привычек, говорят, что это человек, ведущий добрую жизнь.

Но добрая жизнь есть жизнь того человека, который делает добро людям; как же может делать добро людям человек, живущий так и привыкший жить так? Ведь прежде, чем делать добро, он должен перестать делать зло людям. А сочтите всё то зло, которое он, часто сам не зная этого, делает людям, и вы увидите, что ему далеко до добра людям, и много, много ему надо совершить подвигов для того, чтобы искупить делаемое им зло, а что подвигов-то он, расслабленный своей похотливой жизнью, никаких производить и не может. Ведь спать он мог бы и здоровей и физически, и нравственно, лежа на полу на плаще, как спал Марк Аврелий, и потому все труды и работы матрацев и пружин и пуховых подушек и ежедневной работы прачки, женщины, слабого существа со своими женскими слабостями и родами и кормлением детей, поласкающей его, сильного мужчины, белье, — все эти труды могли бы не быть. Он мог бы лечь раньше и встать раньше, и труды гардин и освещения вечером могли бы тоже не быть. Мог бы он спать в той же рубашке, в которой ходил днем, мог бы ступить босыми ногами на пол и выйти на двор, мог бы умыться водой у колодца, — одним словом, мог бы жить так, как живут все те, которые работают всё это на него, и потому всех этих трудов на него могло бы не быть. Могло бы не быть и всех тех трудов для его одежд, для его утонченной пищи, для его увеселений.

Так как же такому человеку делать добро людям и вести добрую жизнь, не изменив свою изнеженную, роскошную жизнь. Не может нравственный человек, не говорю христианин, но только исповедующий гуманность, или хоть только справедливость, не может не желать изменить своей жизни и не перестать пользоваться предметами роскоши, изготавливаемыми иногда с вредом для других людей.

Если человек точно жалеет людей, работающих табак, то первое, что он невольно сделает, это то, что он перестанет курить, потому что, продолжая курить и покупая табак, он этим поощряет производство табаку, губящее здоровье людей.

Но люди нашего времени рассуждают не так. Они придумывают самые разнообразные и хитрые рассуждения, но только не то, которое естественно представляется всякому простому человеку. По их рассуждениям, воздерживаться от предметов роскоши совсем не нужно. Можно соболезновать положению рабочих, говорить речи и писать книги в их пользу и вместе с тем продолжать пользоваться теми трудами, которые мы считаем для них губительными.

По одним рассуждениям выходит, что пользоваться губительными трудами других людей можно, потому что, если я не буду пользоваться, то будет пользоваться другой. Вроде того рассуждения, что надо выпить вредное мне вино, потому что оно куплено, и если не я, то другие выпьют его.

По другим выходит, что пользование для роскоши трудами: этих людей даже очень полезно для них, так как этим мы даем им деньги, т. е. возможность существования, точно как будто нельзя давать им возможность существования ничем иным, как только тем, чтобы заставлять их работать вредные для них и излишние для нас вещи.

Всё это происходит от того, что люди вообразили себе, что можно нести добрую жизнь, не усвоив по порядку первое свойство, нужное для доброй жизни.

И первое свойство это есть воздержание.

Доброй жизни не было и не может быть без воздержания. Помимо воздержания не мыслима никакая добрая жизнь. Всякое достижение доброй жизни должно начаться через него.

Есть лестница добродетелей, и надо начинать с первой ступени, чтобы взойти на последующие; и первую добродетель, которую должен усвоить человек, если он хочет усвоить последующие, есть то, что древние называли благоразумием или самообладанием.

Если в христианском учении воздержание включено в понятие самоотречения, то тем не менее последовательность остается та же самая, и приобретение никаких христианских добродетелей невозможно без воздержания — не потому, что кто-либо это выдумал, а потому, что таково существо дела.

Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни.

Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно.

Воздержание есть освобождение человека от похотей, есть покорение их благоразумию. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна, человек должен начинать с основных, — таких, на которых вырастают другие, более сложные, а не с сложных, выросших на основных. Есть похоти сложные, как похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и мною других, и есть похоти основные: обжорства, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными; надо начинать с основных, и то в одном определенном порядке. И порядок этот определен и сущностью дела, и преданием мудрости человеческой.

Объедающийся человек но в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И потому по всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом. В нашем же мире, где до такой степени потеряно, и так давно потеряно всякое серьезное отношение к приобретению доброй жизни, что самая первая добродетель — воздержание, — без которой другие невозможны, считается излишней, — потеряна и та постепенность, которая нужна для приобретения этой первой добродетели, и о посте многими забыто и решено, что пост есть глупое суеверие и что пост совсем не нужен.

А между тем так же, как первое условие доброй жизни есть воздержание, так и первое условие воздержанной жизни есть пост.

Можно желать быть добрым, мечтать о добре, не постясь; но в действительности быть добрым без поста так же невозможно, как идти, не вставши на ноги.

Пост есть необходимое условие доброй жизни. Обжорство же всегда было и есть первый признак обратного — недоброй жизни, и к сожалению, этот признак относится в высшей степени к жизни большинства людей нашего времени.

Взгляните на лица и сложения людей нашего круга и времени, — на многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни. Да это и не может быть иначе. Присмотритесь к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлять фальшивые, искусственные, — главный интерес жизни большинства людей нашего времени — это удовлетворение вкуса, удовольствие еды, жрание. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нашей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое, и ест и пьет, сколько может.

Чем больше он съест, тем больше он не только считает себя счастливым, но сильным и здоровым. И в этом убеждения поддерживают его образованные люди, которые именно так и

смотрят на пищу. Образованные классы представляют себе счастье и здоровье (и чем уверяют их доктора, утверждая, что самая дорогая пища, мясо—самая здоровая), в вкусной, питательной, легко перевариваемой пище, — хотя и стараются скрыть это.

Посмотрите на жизнь этих людей, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, я наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но все это для огромного большинства — ложь, все это их занимает между делом, между настоящим делом, между завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть еще. Интерес один живой, настоящий, интерес большинства, и мужчин и женщин — это еда, особенно после первой молодости. Как поест, что поест, когда, где?

Ни одно торжество, ни одна радость, им одно освящение, открытие чего бы то ни было не обходится без еды.

Посмотрите на путешествующих людей. На них это особенно видно. "Музей, библиотеки, парламент — как интересно! А где мы будем обедать? Кто лучше кормит?" Да взгляните только на людей, как они сходятся к обеду, разодетые, раздушенные, к украшенному цветами столу, как радостно потирают руки и улыбаются.

Если бы заглянуть в души, — чего ждет большинство людей? — Аппетита к завтраку, к обеду. В чем наказание самое жестокое с детства? Посадить на хлеб и воду. Кто получает из мастеровых наибольшее жалованье? Повара. В чем главный интерес хозяйки дома? К чему в большинстве случаев склоняется разговор между хозяек среднего круга? И если разговор людей высшего круга не склоняется к этому, то это не потому, что они более образованны и заняты высшими интересами, а только потому, что у них есть экономка или дворецкий, которые заняты этим и обеспечивают их обеды. Попробуйте лишить их этого удобства, и вы увидите, в чем их забота. Всё сводится к вопросам об еде, о цепи тетеревов, о наилучших средствах варить кофе, печь сладкие пирожки и т. д. Собираются люди вместе, но какому бы случаю они ни собирались: для крестин, похорон, свадьбы, освящения церкви, проводов, встречи, празднования памятного дня, смерти, рождения великого ученого, мыслителя, учителя нравственности, собираются люди, занятые будто бы самыми возвышенными интересами. Так они говорят; но они и притворяются: все они знают, что будет еда, хорошая, вкусная ода, и питье, и это гласное собрало их вместе. За несколько дней уже для этой самой цели били и резали животных, тащили корзины продуктов из гастрономических магазинов, и повара, помощники их, поваренки, буфетные мужики, особенно одетые, в чистых крахмальных фартуках, колпаках, "работали".

Работали получающий 500 и больше рублей в месяц chef'ы, отдавая приказания. Рубили, месили, мыли, укладывали, украшали повара. Еще с таким же торжеством и важностью работал такой же начальник сервировки, считая, обдумывая, прикидывая взглядом, как художник. Работал садовник для цветов. Судомойки... Работает армия людей, поглощаются произведения тысяч рабочих дней, и всё для того, чтобы людям, собравшись, поговорить о памятном великом учителе науки, нравственности, или вспомнить умершего друга, или напутствовать молодых супругов, вступающих в новую жизнь.

В низшем в среднем быту ясно видно, что праздник, похороны, свадьба — это жранье. Так там и понимают это дело. Жранье так заступает место самого мотива соединения, что по-гречески во и по-французски свадьба и пир однозначащи. Но в высшем кругу, среди утонченных людей, употребляется большое искусство для того, чтобы скрыть это и делать вид, что еда есть дело второстепенное, что это так только приличие. Они и удобно могут представлять это, потому что большей частью в настоящем смысле слова пресыщены — никогда не голодны.

Они притворяются, что обед, еда, им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды.

Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и досмотрите, что продается: наряды и предметы для объедения.

В сущности это так должно быть и не может быть иначе. Не думать об еде, держать эту свою похоть в пределах можно только тогда, когда человек покоряется необходимости есть; но когда человек, только покоряясь необходимости, т. е. полноте желудка, перестает есть, тогда это не может быть иначе. Если человек полюбил удовольствие еды, позволил себе любить это удовольствие, находит, что это удовольствие хорошо (как это находит все огромное большинство людей нашего мира, и образованные, хотя они и притворяются в обратном), тогда нет пределов его увеличению, нет пределов, дальше которых оно не могло бы разрастись. Удовлетворенно потребности имеет пределы, но удовольствие не имеет их. Для удовлетворения потребности необходимо и достаточно есть хлеб, кашу или рис; для увеличения удовольствия нет конца приправам и приспособлениям.

Хлеб есть необходимая и достаточная пища (доказательство этому — миллионы людей сильных, легких, здоровых, много работающих на одном хлебе). Но лучше хлеб есть с приправой. Хорошо мочить хлеб в воде, наварной от мяса. Еще лучше положить в эту воду овощи, и еще лучше разные овощи. Хорошо съесть и мясо. Но мясо лучше съесть не вываренное, а только жаренное. А еще лучше с маслом слегка жаренное и с кровью, известные части. А к этому еще овощи и горчицу. И запить это вином, лучше всего красным. Есть уже не хочется, но можно съесть еще рыбы, если приправить ее соусом и запить вином белым. — Казалось бы, больше нельзя ни жирного, ни вкусного. Но сладкое еще можно съесть, летом мороженое, зимой компот, варенье и т. п. И вот обед, скромный обед. Удовольствие этого обеда можно еще много, много увеличить. И увеличивают, и увеличению этому нет пределов: и возбуждающие аппетит закуски, и entremets (легкое блюдо, подаваемое перед десертом), и десерты, и разные соединения вкусных вещей, и цветы, и украшения, и музыка за обедом.

И удивительная вещь, — люди, каждый день, объедающиеся такими обедами, перед которыми ничто Валтасаров пир, вызвавший чудесную угрозу, наивно уверены, что они при этом могут вести нравственную жизнь.

IX

Пост есть необходимое условие доброй жизни; но и в посте, как и в воздержании, является вопрос, с чего начинать пост, как поститься, — как часто есть, что есть, чего не есть? И как нельзя заняться серьезно никаким делом, не усвоив нужной в нем последовательности, так и нельзя поститься, не зная, с чего начать пост, с чего начать воздержание в пище.

Пост. Да еще в посте разборка, как и с чего поститься. Мысль эта кажется смешной, дикой большинству людей.

Помню, как с гордостью за свою оригинальность нападавший на аскетизм монашества евангелик говорил мне: мое христианство не с постом и лишениями, а на бифштексах. Христианство и добродетель вообще с бифштексом!

В нашу жизнь въелось столько диких, безнравственных вещей, особенно в ту низшую область первого шага к доброй жизни, — отношения к пище, на которое мало кто обращал внимания, — что нам трудно даже понять дерзость и безумие утверждения в наше время христианства или добродетели с бифштексом.

Ведь мы не ужасаемся перед этим утверждением только потому, что над нами случилось то необычное дело, что мы смотрим и не видим, спутаем и не слышим. Нет зловония, к которому человек бы не принюхался, нет звуков, к которым бы не прислушался, безобразия, к которому бы не пригляделся, так что уже не замечает того, что поразительно для непривыкшего человека.

Точно также в области нравственной. Христианство и нравственность с бифштексом!

На днях я был на бойне в нашем городе Туле. Бойня у нас построена по новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах, так чтобы убиваемые

животные мучились как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до Троицы. Скотины было много.

Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу «Ethics of Diet», мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидеть сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но всё совестно было, как всегда бывает совестно идти смотреть на страдания, которые, наверное, будут, но которых ты предотвратить не можешь, и я всё откладывал.

Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще неискусный мясник, а его обязанность колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину? И как всегда отвечают, он ответил: «Чего же жалеть? Ведь надо же». Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился и тогда согласился, что и жалко. «Что же делать, кормиться надо», — сказал он. — «Прежде боялся убивать. Отец, тот в жизнь курицы не зарезал». — Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом «бояться». Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера.

Недавно я также разговорился с солдатом, мясником, и опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать; и, как всегда, сказал, что это положено; но потом согласился: «Особенно, когда смиренная, ручная скотина. Идет сердешная, верит тебе. Живо жалко!»

Мы шли раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, охавшие из Серпухова в рощу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на первой телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидели, что из крайнего двора тащили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней, вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не видел всего подробно, я видел только розовое, как человеческое, тело свиньи и слышал отчаянный визг; но извозчик видел все подробности и, не отрывая глаз, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визг ее затих, извозчик тяжело вздохнул. «Ужели ж за это отвечать не будут?» — проговорил он.

Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству, но примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрешено богом, и главное привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства.

В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой.

— Да, я слышал, что тут хорошее устройство, и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду.

— Отчего же, я именно это-то и хочу видеть! Если есть мясо, то ведь надо бить.

— Нет, нет, я не могу.

Замечательно при этом, что этот человек — охотник и сам убивает птиц и зверей.

Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах.

Строение — красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в 1/4 десятины, огороженный двор — это площадка, на которую два дня в педелью пригоняют продажную скотину, — и на краю этого пространства домик дворника; налево были, как они называют, каморы, т. е. комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым погнутым полом и с приспособлением для подвешивания и перемещения туш. У стены домика направо, на лавочке сидело человек пять мясников в

фартуках, залитых кровью, с засученными, забрызганными руками на мускулистых руках. Они с полчаса как кончили работу, так что в этот день мы могли сидеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол был весь коричневым, глянцево-влажным и в углублениях пола стояла сгущающаяся черная кровь.

Один из мясников рассказал нам, как бьют, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и составил себе ложное, но очень страшное представление о том, как бьют, и думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но в этом я ошибся.

В следующий раз я пришел на бойню вовремя. Это было в пятницу перед Троицыным дном. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан во все загоны камор.

У подъезда на улице стояли телеги с привязанными к грядкам и оглоблям быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с наваленными живыми, болтающимися свесившимися головами, телятами подъезжали и разгружались; и такие же, полки с торчащими и качающимися ногами туш быков, с их головами, ярко-красными легкими и бурными печенками отъезжали от бойни. У забора стояли верховые лошади гуртовщиков. Сами гуртовщики-торговцы в своих длинных сюртуках, с плетями и кнутами в руках ходили по двору, или замечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководя переводом волов и быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые каморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены денежными оборотами, расчетами, и мысль о том, что хорошо или плохо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, которой был залит пол каморы.

Мясников никого не видно было на дворе, все были в каморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков. Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых туш, и потому, что кровь текла вниз и капала сверху, и все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери, третья — убитый вол лежал белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру.

Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидел, что один мясник занес кинжал над его шеей и ударял. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил - жестяной таз. Всё время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминовый завод, другой — подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол всё так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке и там распяли ее, и там движений уже не было.

Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же: также снятая голова с закушенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не

всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол падал. Бывало то, что мясник промахивался, и вол вскидывался, ревел и, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал.

Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я видел то же, только ближе и потому яснее. Я увидел тут главное то, чего я не видал из первой двери: чем заставляли входить волов в эту дверь. Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пятился. Силой втащить двум людям его нельзя бы были, и потому всякой раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали, и вол подвигался.

Кончили волов одного хозяина, пополи скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный с белыми отметинами и ногами, — молодое, мускулистое, энергичное животное. Его потянули; он опустил голову книзу и уперся решительно. Но шедший сзади мясник, как машинист берется за ручку свистка, взялся за хвост, перекрутил его, хрящи хрустнули, и бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей, и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и, весь в крови, вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся. Но привычные мясники с молодцеватостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку, опять хвост и опять бык очутился в камере, где его притянули головой под брус, из-под которого он уже не вырвался. Боец примерился живо в то местечко, где расходятся звездой волосы, и, несмотря на кровь, нашел ого, ударил, и прекрасная, полная жизни скотина рухнула и забила головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свеживали голову.

— Вишь, проклятий чорт, и упал-то не куда надо, — ворчал мясник, разрезая ему кожу головы.

Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, с стеклянными остановившимися глазами, таким красивым цветом блестящими за пять минут тому назад.

Потом я пошел в то отделение, где режут мелкий скот. Очень большая камера, длинная с асфальтовым полом и с столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа; в длинной камере, пропитанной запахом крови, было только два мясника. Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу; другой, молодой малый в забрызганном кровью фартуке, курил папироску загнутую. Больше никого не было и мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом камере. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого нынешнего баранчика и положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно, знакомый, поздоровался, завел речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил его на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран также тихо лежал, как и мертвый, надутый, только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, носил боками. Солдат слегка, без усилия придержал его поднимающуюся голову; малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резнул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик напряжился и перестал махаться. Малый, дожидаясь, пока вытечет кровь, стал раскуривать потухавшую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва.

А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными головами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями?

И, смотришь, нежная утонченная барыня будет пожирать трупы этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимно-исключающие друг друга положения:

Первое, что она, в чем уверяет ее доктор, так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи и что для ее слабого организма ей необходима пища мясная; и второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страдания животным, но переносить и вида их,

А между тем слаба-то она, эта бедная барыня, только именно потому, что ее приучили питаться несвойственной человеку пищей; не причинять же страданий животным она не может потому, что пожирает их.

Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, что мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но положим не необходимо, но на что-нибудь нужно? — Ни на что. (Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные, составленные учеными и врачами, книги об этом предмете, и которых доказывається, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники и они сами; отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всегда все старое, отживающее.) Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводить похоть, блуд, пьянство.

Что и подтверждается постоянно тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девушки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель не совместима с бифштексом, и как только пожелают быть добрыми, бросают мясную пищу.

Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо? Совсем нет.

Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков; что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет один известный порядок; и что в этом порядке первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно и искренно ищет доброй жизни, — первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимом этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка — убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства.

Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучших представителей его в продолжение всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, т. е. безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона? — спросят люди, которым свойственно руководиться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что всё нравственное движение человечества, составляющее основу всякого движения, совершается всегда медленно; но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение.

И таково движение вегетарианства. Движение это выражено и во всех мыслях писателей по этому предмету и в самой жизни человечества, всё больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище, и сознательно — в проявившемся с особенной силой и принимающем всё большие и большие размеры движении вегетарианства. Движение это идет последние 10 лет, все убыстряясь и убыстряясь: всё больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету; всё больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи; и за границу с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиниц и трактиров.

Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению царства божия на земле, не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому царству (все истинные шаги и важны, и не важны), а потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени.

Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходиться, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у нее, зная, что хода наверх не может быть помимо этой первой ступени лестницы.

ВСТУПЛЕНИЕ

Обычай людоедства и человеческих жертвоприношений, когда-то входивший в религиозные обряды, внушает теперь людям удивление и ужас во всех цивилизованных странах. История человеческого развития в прошлом, и медленное, но верное прогрессивное движение в настоящем внушают несомненную уверенность в том., что в грядущем, более просвещенном веке, чем наш, люди будут глядеть с не меньшим удивлением и ужасом на господствующий ныне обычай жить за счет избияния и страданий низших существ. Против такого предположения едва ли можно возразить что-либо основательное. Сомневаться в справедливости его может разве только тот, для кого идеал цивилизации состоит в государстве, переполненном тюрьмами, исправительными заведениями и приютами для душевнобольных, и кто измеряет прогресс обманчивым мериллом в глазах материализма.

Несомненно также и то, что наши более просвещенные потомки (примерно в 21 веке), изучая летописи 19-го столетия, доклады его ученых обществ, а в особенности социальных и санитарных съездов, с удивлением отметят тот факт, что во всех этих толках и писаниях о социальной и нравственной науке почти нет и помину о серьезном изучении вопроса, который считался однако во все времена наиболее мыслящими людьми краеугольным камнем всякого общественного и частного благосостояния. Едва ли удивление уменьшится, когда окажется, что и во всей современной нам литературе (предположив, что значительная ее часть сохранится до того времени) незаметно и следов сознания того, что существуют такие добродетели как гуманность и сострадание по отношению к животным. И это при существовании издавна учрежденной ассоциации гуманитарных реформаторов

1

! Правда, эта ассоциация немногочисленна и не пользуется властью и влиянием, но все же она протестовала всеми доступными ей средствами против варварской жестокости, преступного расточительства и деморализующего влияния бойни. Она протестовала и устно, и печатно, в брошюрах и трактатах, ссылаясь и на естественные науки, и на разум, и на совесть, и на авторитет глубочайших мыслителей, и на логику фактов, доказывая, наконец, и собственным примером, и примерами множества людей в самых различных частях земного шара, — полную возможность гуманной жизни.

Удивление, вероятно, сменится недоверием, когда потомки наши убедятся из популярной и научной литературы 19-го века в том, что невинные жертвы прожорливости достаточных классов всех стран, подвергавшиеся всевозможным истязаниям, в то же время безусловно признавались современной наукой совершенно подобными по своей организации пожирающему их человеку; как и он, способными чувствовать физическую боль; как и он, наделенными разумом — во многих случаях даже в высокой степени — и не лишенными нравственного чувства. Нелегко будет поверить людям будущего, что такое знание могло уживаться с нашими кровавыми обычаями; что внешние признаки этого грубого варварства — жертвы стола в виде ободранных трупов — вывешивались напоказ в каждой улице, не вызывая у прохожих никаких признаков ужаса или отвращения, даже среди лиц, претендующих на высшую культуру и цивилизацию. Но даже и такое необыкновенное притупление высших человеческих чувств у всех классов современного общества едва ли так удивит просвещенное потомство, как тот факт, что всякое общественное собрание или

торжество служило предлогом к причинению страданий и смерти массам безобидных и подобных человеку существ, — в то же самое время, когда тут же рядом тысячи людей голодали, не имея чем удовлетворить первейшим жизненным потребностям.

Впрочем, философы будущего усмотрят в последней четверти 18-го века признаки начинающегося поворота в умах. Среди общих варварских обычаев, среди господствующего равнодушия и попрания истины, появляются протестанты, число которых постепенно растет. Уже в начале этого периода возникают ассоциации реформаторов пищи — отпрыски английской ассоциации, основанной в 1847 году и постепенно пустившей ветви в Америку, Германию, Швейцарию, Францию и, наконец, Италию. Организации эти, хотя и немногочисленные, ревностно распространяют свои принципы и применяют их на практике; в некоторых больших городах, как в Англии, так и в других частях Европы, заводятся преобразованные рестораны, в которых очень многие находят лучшую пищу и более здравые понятия о питании.

Если истину или значение какого-либо принципа или чувства измерять не по тому, насколько они распространены, а по тому, как относились к ним во все времена самые глубокие и просвещенные мыслители, то не найдется принципа, прочнее обоснованного, чем тот, который требует радикальной реформы пищи. Даже самый поверхностный исследователь не может не обратить внимания на число людей, протестовавших против варварского питания мясом. Но что еще более поражает в этой огромной группе протестующих, так это разнохарактерность составляющих ее лиц: Гаутама Будда, Пифагор, Платон, Эпикур, Сенека, Овидий, Плутарх, Климент Александрийский, Порфирий, Иоанн Златоуст, Гассенди, Мандевилль, Мильтон, Эвелин, Ньютон, Поп, Рэй, Линней, Трайон, Геккет, Клокки, Чэйн, Томсон, Гартлей, Честерфильд, Ритсон, Вольтер, Сведенборг, Веслей, Руссо, Франклин, Говрад, Лэмб, Прессевин, Шелли, Байрон, Гуфеланд, Грэм, Глейзе, Филипс, Ламартин, Мишле, Лаумер, Струве... Таковы наиболее известные и уважаемые имена, которые мы находим среди торонников преобразования пищи. относившихся с большей или меньшей степенью отвращения к жестокой кровавой системе питания. О многих из тех, кто восставал против мясной пищи, можно сказать, что они восставали вопреки самим себе. то есть, вопреки своим излюбленным предрассудкам, преданиям и софизмам своего воспитания.

Доискиваясь исторического происхождения безубойной философии, мы убеждаемся в том, что западный мир получил ее от пифагорейцев, и что в особенности ее распространению содействовало позднейшее развитие платонической философии. Этой школе принадлежит заслуга первого систематического изложения теории и практического применения антиматериалистического образа жизни, то есть, первого исторического протеста против практического материализма обыденного питания. Но в течение первых веков христианства последователи этого учения, так много обязанные эссенианскому и платоническому влиянию, не взяли на себя — к неизмеримому ущербу многих пополнений и вопреки мнению некоторых из своих первых и лучших проповедников, напр. Оригена и Климента — пропаганды и развития этого истинного и жизненного спиритуализма. Хотя добродетели «аскетизма», имеющего своим источником эллинизм и платонизм, всегда высоко ценились Церковью, но отличаться этими добродетелями представлялось духовным орденам (теоретически, по крайней мере) или, вернее, только некоторым из них.

Такова была, так сказать, сектантская причина рокового отречения от чистейшего духа новой веры, — отречения, которому содействовали также и другие растлевающие влияния. Одна из причин, удаляющих людей от принципа сострадания к животным, несомненно, коренится в чрезмерном презрении к настоящей, земной жизни и в умалении ее значения сравнительно с жизнью будущего.

«Человек, — пишет доктор Арнольд, — придав такое важное значение будущей жизни и лишив низших существ всякой надежды на нее, как бы поставил их этим вне пределов своего сочувствия и положил основание своей полной неспособности глядеть на низших тварей как на существа одного с ним класса. Многие определяли добродетель так, как определяет ее Пэлей: как праведные дела, которыми человек обеспечивает за собой вечное блаженство. Ясно, что такое понятие исключает бессловесных созданий

Отсюда и вытекает тот факт, что гуманность и в особенности вопрос о гуманной пище, — не находит себе места в псевдофилософских понятиях всего периода времени, именуемого средними веками, то есть, с 5-го или 6-го по 16-й век. Действительно, в это время замечается не только полный индеферинтизм, но даже положительное стремление к пущему унижению животных не человеческой расы.

После возрождения разума и науки, в 16-м веке, высокая заслуга первой попытки рассеять долго господствующие предрассудки и мрак невежества принадлежит Монтеню, который по следам Плутарха и Порфирия высказался за право низших рас на сострадание, и — Гассенди, который отстаивал в особенности право безобидных животных на жизнь. Что касается до протестантского учения, то оно, несмотря на свое название, очень мало сделало в смысле протеста против нарушения естественных прав наиболее беспомощных и безобидных членов великого царства живых существ.

Принципы, на которых основана теория преобразования пищи, находят себе подтверждения: 1) в сравнительной анатомии и физиологии; 2) в гуманности; 3) в национальной экономии; 4) в национальной реформе; 5) в домашней и личной экономии; 6) в гигиенической философии. Все эти основания подробно изложены в нижеследующих страницах. Одни и те же доводы действуют различно на различные умы, и сила каждого довода в отдельности имеет различный вес в глазах людей, смотря по особенностям каждого исследователя. Но в общей сложности эти доводы придают вопросу такой вес, что спокойный и беспристрастный ум не может не обратить на него серьезного внимания. В глазах пишущего эти строки гуманитарные аргументы, о которых идет речь, имеют двойной вес, будучи одновременно основаны на нерушимых принципах справедливости и сострадания — двух существенных начал всякого нравственного учения, достойного этого названия. Если эти доводы имеют такое ограниченное влияние даже на людей, в общем смысле, гуманных не только по отношению к людям, но и к животным, то это объясняется единственно притупляющей силой привычек и обычаев традиционными предрассудками, прививаемыми воспитанием. Если бы эти люди заставили себя поразмыслить о простой нравственной стороне вопроса, отвлекаясь при этом умом от искажающих влияний, то вопрос этот представился бы им совсем в новом свете.

Впрочем, на эту тему уже было много говорено, и с большим искусством и красноречием, чем на какие претендует пишущий эти строки. Необходимо дополнить лишь двумя-тремя примечаниями то, что уже написано специально об этом предмете.

Обычные возражения против воздержания от мясной пищи можно разделить на две рубрики: ошибочных заключений и обманов. Не подлежит сомнению, что иные исследователи совершенно искренне приводят известные возражения против гуманитарного учения — возражения, не лишённые кажущейся силы. Эти-то ложные заключения и заслуживают серьезного внимания.

Нам возражают, что, при существующих общих условиях жизни на земном шаре, убийство и страдания входят в нормальный и неизменный порядок вещей. В бесконечной цепи сознаний, сильный постоянно и беспощадно пожирает слабого. Отчего же, спрашивается, человеческий род должен составлять исключение в этом всемирном законе и бесплодно противиться природе? На это можно возразить, во-первых, то, что, хотя на земном шаре, несомненно, с первого же появления живых существ и до настоящей минуты кипит непрерывная и жестокая междуусобная война, однако все же с течением времени замечается ослабление этих жестоких явлений; во-вторых, что хотя плотоядные животные и образуют значительную часть живых существ, но неплотоядные все же составляют большинство; в-третьих, и это всего важнее, что человек, судя по его происхождению и физической организации, принадлежит не к первым, а к последним, и так как он похвально тем, что он высшее из живых созданий, — похвально не безосновательно, если брать человеческую природу в ее лучших проявлениях, — то он обязан доказать своим

поведением основательность своего притязания на нравственное и умственное превосходство на высшее место и высшую власть в ряду созданий; короче, человек тогда только будет справе приписывать себе нравственное превосходство над всеми живыми существами, когда он по отношению к ним заявит себя благодетельным правителем и миротворцем, а не себялюбивым деспотом.

Рассмотрим другое возражение, на поверхностный взгляд, довольно естественное: если убой животных для пищи прекратится, то откуда же брать мануфактурные материалы для вседневных нужд общественной жизни? Однако возражение это основано на слишком узком понимании фактов и явлений. Довольно указать на то, что вся история цивилизации, как история медленного, но непрерывного прогресса человечества в искусствах, показывает, что спрос создает предложение, — что только отсутствие спроса оставляет неисследованными и нетронутыми различные вещества и силы, таящиеся в природе. Ни один мыслящий человек, которому известна история наук и открытий, не может сомневаться в том, что средства природы и механическая изобретательность человека почти безграничны. Уже и теперь предлагаются и во многих случаях и употребляются различные неживотные вещества, как суррогаты шкур несчастных жертв бойни, хотя спроса на них еще не существует или существует в рядах безубойников. Ясно, что если бы спрос на такие суррогаты сделался всеобщим, то между изобретателями и фабрикантами не замедлила бы начаться деятельная конкуренция в этом направлении. И так как переход зажиточных классов от мясной пищи к пище бескровной был бы без сомнения очень медленным и постепенным, то изобретатели и фабриканты вполне успели бы примениться к новому порядку вещей.

Что касается до ходячего заблуждения, выражаемого в вопросах: «Что же мы будем делать с животными» и «На что же они созданы, если не на то, чтобы служить человеку в пищу?» — то на подобные вопросы, свидетельствующие о неправильности философского мышления, или попросту о недостатке здравого смысла, едва ли можно серьезно отвечать. Короче всего, конечно, возразить, что все эти разнообразно терзаемые существа искусственно распложаются в большом количестве только по эгоистическому желанию человека. Перестаньте искусственно плодить их для мясника, — и число их уменьшится до той нормы, какая необходима для законных и безобидных нужд человека. В сущности, они «создаются» человеком, который совершенно изменил природную форму и организацию их первоначальных типов и изменил не в пользу самих животных. В современном быке, баране и свинье не осталось и следов величия и силы первобытных бизона, американского барана и дикого кабана.

Остается опровергнуть еще одно ложное мнение новейшего происхождения. Образовалась ассоциация (надо признаться, немного запоздалая) из нескольких санитарных реформаторов, требующая «реформы боен» и, между прочим, основывающая свое требование и на гуманных соображениях. Одно из второстепенных предложений ее состоит в том, чтобы варварскую жестокость боен смягчить отчасти или вообще введением более быстрых и менее мучительных способов убивания скота, чем повсеместно принятые нож и топор. Всякий, даже и слабый признак пробуждения общественной совести, хотя бы только в наиболее мыслящей части общества; всякое признание прав низших существ хотя бы на некоторое внимание и сострадание, если не на полную справедливость, — не могут не приветствоваться всеми гуманными людьми. Поэтому и всякое предложение, клонящееся к уменьшению огромной суммы жестокостей, которым постоянно подвергают низших животных скупость, обжорство и грубость человека, не могут не встретить сочувственного отклика в нашем сердце. Нельзя, однако, предположить, что одна попытка в некоторой только степени уменьшить жестокость и страдание, в сущности, вовсе не необходимая, способна удовлетворить совесть и разум развитого человека. Напрасно думают люди, более чувствительные, в которых варварский обычай бойни будит некоторые угрызения совести, — напрасно думают они, что можно уменьшить жестокости, не лишая себя роскошного мясного стола! Громадный спрос на мясо, постоянно возрастающий с возрастанием народного благосостояния и благодаря вредному примеру богатых классов; громадное развитие торговли «живым товаром», вызывающей перевозку его массами по железным дорогам и на кораблях, невообразимые ужасы которой никакое перо не в состоянии передать

; полная невозможность надзора и регулирования этой варварской торговли, даже при серьезном желании сделать это; закостенелое равнодушие влиятельных классов к этому вопросу, — все это достаточно показывает неосновательность ожиданий и надежд хотя бы на некоторое смягчение жестокости в обращении с низшими животными. Короче, эти попытки суть только заплатки на изношенном платье, пластыри на безнадежно-гниющей ране, — и цель их сводится в сущности только к компромиссу со своей совестью. Запущенные болезни исцеляются лишь радикальными средствами. Разлагающуюся язву человеческой жестокости нужно исцелить в самом ее корне. Бойня, источник зла, должна быть совершенно уничтожена.

Один из красноречивейших проповедников гуманной жизни справедливо сказал, что путь к реформе пищи ведет ступенями, и если бы люди поднялись хотя на первую ступень, то и этот шаг не остался бы без мирового значения. Нечего и прибавлять, что важнейшей ступенью была бы та, которую люди навсегда оставили бы за собой варварский обычай убивать себе подобный существ: млекопитающих, птиц и рыб.

Скажем еще два слова и плане нашего настоящего руда. Из цитируемых авторитетов мы, по необходимости, исключили писателей и ученых, находящихся в живых, как ни многочисленны и ни важны их мнения в разбираемом вопросе, иначе размеры этой книги, и без того уже перешедшие за пределы нашего первоначального плана, стали бы еще больше. За исполнение его, за выбор и состав материала отвечает один компилятор, и сознавая, что труд его далек от той полноты, какая имелась в виду, он претендует лишь на заслугу тщательного выбора и полного беспристрастия. Некоторые повторения, по необходимости вызываемые самим характером сюжета, объясняются отчасти также и тем, что труд этот первоначально печатался на страницах журнала «Dietetic Reformer», в который он периодически восставлялся в течение пяти с лишком лет. Мы надеемся, что значительных ошибок не встретится в этом труде; во всем же остальном мы полагаемся на искреннее и беспристрастное отношение к нашему труду критики и публики.

1

В Англии выражению *гуманитаризм* придается преимущество значение человечности *по отношению к животным*.

2

Приведем здесь и другое справедливое замечание Арнольда о том же предмете: «Мы знаем, что животные ласковы, преданные, покорны, добросовестны: но так как мы отрицаем у них будущую ждизнь, то, следовательно, они обнаруживают все эти качества без всякого корыстного расчета. Поэтому мы и не признаем эти качества за добродетели.

3

Что жертвы стола подвергаются невообразимым жестокостям не только на бойне, — это факт, который было бы уже излишне подтверждать. Страшные страдания их во время перевозки морем, в особенности в бурную погоду, уже не раз описывались очевидцами, даже наименее способными трогаться зрелищем страданий низших существ. Тысячи быков и овец, из года в год, живьем выбрасываются в море на пути в Европу из одних только Соединенных Штатов. В 1879 году, по официальному отчету, погибло таким способом 14000 голов скота, 1240 было выгружено мертвыми да 450 убито на набережной тотчас по выгрузке, в предупреждение смерти от ран. Читатель может найти поучительные подробности об этом предмете в книге д-ра Анны Кингсфорд «Научные основания вегетарианства» и в других новейших сочинениях о безубойной пище.

ГЕЗИОД

VIII век до Р.Х.

Гезиод, бывший по преимуществу поэтом мира и земледелия, как Гомер был поэтом войны и «героических» добродетелей, родился в Аскре, деревне в Беотии (части Эллады).

То, что нам известно о жизни Гезиода, почерпнуто из его сочинения *«Труды и Дни»*. Мы узнаем из этой замечательной поэмы, что отец его был выселенцем из Эолии, героической части северо-западного угла Малой Азии; что старший брат его, Персес, отнял у него, подкупив судей, по праву принадлежавшее ему наследство; что после этого Гезиод поселился в соседнем городе Орхомене, который был в доисторическом времени могущественным и славным. Вот и все, что нам достоверно известно об авторе *«Трудов и Дней»*.

Главная прелесть творения этой первой из существующих дидактических поэм заключается в очевидной серьезности цели и простота слога. Частые укоризненные указания автора на несправедливость судей, которую, как мы выше сказали, он изведал собственным опытом, трогательны и наивны.

Поэма *«Труды и Дни»*, представляющая такой разительный контраст с воинственным духом Гомерова эпоса, трактует в простых и гладких стихах об этических, поэтических и экономических вопросах. В эпической части ее сквозит истинное чувство и убеждение, что зло водворилось на земле несправедливостью и насилием. Хорошо известны места ее, в которых поэт изображает постепенное падение и вырождение людей золотого века в современную ему расу века железного, служат древнейшим образцом всех позднейших поэтических легенд о золотом веке и о невинном состоянии людей.

Согласно Гезиоду, на земле постоянно борются два начала: дух войны и раздора и мирный дух земледелия и промышленности. В обращении к судьям, которых он горько упрекает в несправедливости:

Безумцы! Из души жестокой не узнать,
Насколько было б лучше половину брать, —
Чем все; и сколько блага людям в соках трав целебных,
И лакомств на полях, и пиршеств — в злаках хлебных.

он явно выражает убеждение в той истине, которой учат вегетарианцы, что роскошная пища порождает эгоизм во всех его разнообразных формах.

Нижеприведенные стихотворение Гезиода, в котором описывается «Золотой век», достаточно ясно говорят, что он считал пищу, состоящую из продуктов земледелия и фруктов, высшим и лучшим способом питания:

«Как боги, — мирно жил благословенный род,
Не ведая нужды, как наше поколение,
Ни умственных тревог, ни тягостных работ:
И старость не несла с собой разрушенья
Их чистой красоты. Они не знали бед,
Болезней, горя, зла; богатые стадами,
Всегда довольные готовыми плодами
Земли, дарившей им неподкупной обед,
Со всей природою Небес благословенье
Они делили дружно. Смерть, — как сновиденье, —
Рукою ласковую смежали веки их.
Когда же грудь земли весь род во мрак сокрыла,
Великий Зевс воздвиг из тления могилы
И к жизни вновь призвал избранников своих.
Как добрых гениев, хранителей незримых
Всего живущего среди полей родимых,

Благих советников, защитников людей;
И над землей в туман светлый рой теней,
Великое служенье свято исполняя,
Носился, радостный, от края до края, —
И праведных пути невидимо хранил,
И благодать небес на землю низводил».

Вторая раса — «Серебряный век» — хотя и ниже первых, совершенно невинных людей, но все же воздерживается от кровопролития в приготовлении своей пищи и не приносит жертвы богам. Поэт, видимо, считает кровавые жертвоприношения преступным заблуждением. Положить начало кровавым пиршествам суждено было третьей расе — «Медному веку»:

Они свирепы, буйны; в копьях вся их сила, —
Все помыслы — в жестоких подвигах войны,
Земля пшеницею их не благословила, —
Их пиршества — кровавых ужасов полны.

По Гезиоду и его последователям, позднейшим поэтам, «бессмертные обитатели Олимпа» постоянно питаются чистой и бескровною *амброзией*, напитком служит им нектар, — должно быть нечто вроде рафинированной росы. Музы Геликона, внушающие поэту его песни, упрекают его соседей, «пасущих стада», за их «исключительно животные аппетиты».

II

ПИФАГОР

570-470 до Р.Х.

«Не получило и никогда не получит человечество большего блага, чем то, которое ниспослали ему боги через Пифагора». Так выражает свое восторженное поклонение этому мудрецу один из его биографов. Людям, незнакомым с историческим развитием греческой мысли и греческой философии, эти слова могут показаться просто выражением пристрастного поклонения героям. Но те, кому сколько-нибудь известна эта важнейшая часть истории, и кто имеет понятие о прямом или косвенном влиянии Пифагора на умнейших и серьезнейших из его соотечественников, — в особенности на Платона с его последователями, а через них и на позднейших евреев, а на идеи первобытного христианства, — те признают идеи самосского мудреца по меньшей мере одним из важнейших и влиятельнейших факторов в зарождении и развитии высшей человеческой мысли.

Есть истинное и есть фальшивое поклонение героям. Последнее, как ни много послужило оно к поддержанию слепой и неразумной веры человечества в свое превосходство, ни мало не ускорило, однако, прогрессивного стремления мира к выяснению истины. Вера в древние идеалы, выраженные в народных представлениях покровителями человечества — богами и сыновьями богов, которых вернее было бы назвать «разрушителями и бичами человечества», почти утрачена, старые идеалы упразднены, но места их еще ждут заместителей — представителей высших идеалов гуманности. Когда на место представителей чисто физической и умственной силы воссядут истинные герои из тех нравственных светочей и пионеров, которые содействовали рассеянию мрака невежества, варварства и эгоизма, — то одно из видных мест между ними будет принадлежать первому из западных учителей, проповедовавших гуманизм и веру в духовное начало.

Нет ничего естественнее и законнее любопытства, с которым мы стараемся узнать как можно полнее и достовернее внешнюю и внутреннюю жизнь руководящих умов человеческой расы. К сожалению, личности многих из них, и даже наиболее интересных и знаменитых, представляются нам туманными и неопределенными. Но мы перестанем удивляться, когда вспомним, что о личной жизни Шекспира, не говоря уже о других знаменитых людях, нам известно немногим более, чем о личности Пифагора или Платона. Понятно, что глубокая древность, когда не было еще книгопечатание, могла оставить нам только скудные сведения о жизни даже таких важных и влиятельных людей, как основатель пифагорейского учения.

Самый ранний отчет об его идеях был приведен у Филолая Тарентского, родившегося спустя сорок или пятьдесят лет после смерти своего учителя и, стало быть, современника Сократа и Платона. Его «*Пифагорова система*», составлявшая три тома, так высоко ценилась Платоном, что он заплатил, как говорят, за копию ее около четырех тысяч рублей на наши деньги, и включить главную часть ее в своего «*Тимея*».

Но это сочинение, как и многие другие ценные продукты греческого гения, давно потеряно. Остальными авторитетными источниками нашими для биографии Платона служат: Диоген Лаэртский, Порфирий — один из ученейших писателей древности — и Ямвлих.

Труд этого последнего представляют самую полную, если не самую лучшую в критическом отношении, из сохранившихся биографий Пифагора. В биографии Порфирия недостает начала и конца; из десяти же книг Ямвлиха «*О Пифагоровой секте*», от которых сохранились только пять, жизнеописанию основателя секты была посвящена первая часть. Диоген Лаэртский, принадлежавший, по-видимому, к эпикурейцам, жил во втором столетии, а Порфирий и Ямвлих, известные толкователи неоплатоновского учения, писали в 3-м и 4-м веках нашей эры.

Пифагор родился на острове Самос, около 570 года до Р.Х. Во время его юности самосским тираном сделался Поликрат, прославленный прекрасной историей Геродота; и правление его, как и правление многих других тиранов, придало греческому слову «тиран» то значение, которое оно имеет в настоящее время.

Будущий философ, неспособный спуститься до роли доносчика и льстеца, предпочел покинуть отечество и, подобно сирийскому философу у Вольтера, предпринял дальнее для его времени путешествие.

Впрочем, в точности неизвестно, далеко ли оно простиралось. Известно, что Пифагор посетил Египет, эту колыбель древней науки, побывал в Сирии и, вероятно, проник к востоку Вавилона, быть может, в качестве пленника тогдашнего завоевателя Египта, персидского царя Камбиза. Надо полагать, что догмат о бессмертии души — или, как он представляется в сочинениях Пифагора, догмат о переселении душ, — широко распространенный в восточных верованиях, привился к нему на Востоке и, главным образом, в Египте.

Утверждают, что Пифагор отказался от общепринятой пищи еще в 19-ти или 20-ти летнем возрасте. Если это правда, то тем более чести ему, что он дошел собственным умом и тонкостью нравственного чутья до понимания более чистого образа жизни. Если же это неправда, то можно предположить, что он заимствовал наиболее важные и характерные подробности своего учения у египтян и персов или, через них, даже от индусов, строже всех других народов воздерживавшихся от мясной пищи.

Замечательно, что двое великих учителей воздержания, Пифагор и Сакия-Муни, или Будда, были почти современники. Возможно и то, что до греков как-нибудь дошло великое учение индийского пророка, отпавшего от браманизма, — установленной и исключительной религии Индийского полуострова, и провозгласившего свое великое новое для мира откровение — «религию милосердия ко всем живым существам человеческого и нечеловеческого рода»

1

Естественным и необходимым результатом этой чистой жизни было, по словам Ямвлиха, то, что «сон Пифагора был краток, душа чиста и бодр, тело закалено в совершенном и несокрушимом здоровье. По-видимому, Пифагор вернулся в Самос, уже пережившим средний возраст, и слава его предшествовала ему. Но потому ли, что он нашел своих соотечественников испорченными развращающим влиянием деспотизма, или же он искал лучшего поля для пропаганды своего нового учения, только вскоре он уехал в южную Италию, известную тогда под именем Великой Греции за ее многочисленные греческие колонии. В Кротоне, слова и красноречие самосского философа, по-видимому, скоро

привлекли к нему, если не многочисленную, то избранную аудиторию, и он основал свое знаменитое общество, - первую историческую и вегетарианскую ассоциацию в западном мире, прототип, в некоторых отношениях аскетических ассоциаций греческого и католического христианства. Общество это состояло из 300 молодых людей, принадлежавших к самым влиятельным фамилиям города и его окрестностей.

В египетской духовной касте и в других подобных замкнутых учреждениях существовал обычай хранить в тайне лучшие идеи своего учения и посвящать в эту тайну одних привилегированных. Египетские жрецы, очевидно, придерживались политики поддержания в массах суеверного невежества, чтобы действовать страхом на умы; что же касается философских сект, то этот удобный покров тайны, быть может, служил им щитом против подозрительности жрецов и народа.

Без сомнения, основатель новой секты имел философскую причину для учреждения в ней степени *оглашенных* и испытательного курса, равно как и для введения в нее объекта строжайшей тайны. Точный характер его учения остается большею частью предметом догадок, так как до нас не дошло ничего, писанного его рукой, и даже неизвестно, излагал ли он когда-нибудь свое учение письменно. Во всяком случае, для нас достаточно очевидно, что общий дух и характер учения заключался в гуманности и в самообуздании, основанных на великих принципах справедливости и умеренности, что главные условия общежития Пифагора были общность имущества и строгая воздержанность. В сущности, он был отцом коммунизма на Западе, хотя его общины имели скорее аристократический, исключительный характер, чем демократический и общедоступный. «Он, первый, учил, — говорит Диоген Лаэртский, — что между друзьями должна быть общая собственность, и что дружба есть равенство: последователи его клали к его ногам деньги и богатства, и делились между собою всем».

Нравственные понятия этого великого учителя далеко опережали условную мораль его времени. По словам того же биографа он советовал своим ученикам спрашивать себя каждый день, по возвращении домой: «В чем я провинился? Чего я не сделал, что должен был сделать?» Он учил их жить в полном согласии между собою, делать добро своим врагам и добротой и лаской превращать их в своих друзей. Он запрещал им просить чего-либо для себя у богов, так как они не могли знать, что для них наиболее полезно. Он запрещал также проносить кровавые жертвы. Он допускал только жертвоприношение из хлебных злаков, фруктов и других произведений природы, не сопряженных с убийством. Это предписание и великая заповедь «не убивать и не вредить невинным животным» служили отличительными чертами возвышенного духа учения Пифагора. Уважение его к прекрасному и благотворному в природе было так велико, что он формально запрещал наносить напрасный вред обрабатываемым и плодоносным деревьям и растениям.

Он обещал своим последователям, что, довольствуясь невинною, чистою и гуманною пищею, они будут наслаждаться здоровьем, душевным равновесием, спокойным, легким и подкрепляющим сном и обладать высшим умственными и нравственными качествами. Сам же он, по словам Пифагора, «довольствовался медом, одним хлебом, не пил вина; главный же его пищей были вареные или сырые огородные овощи. Рыбу он ел редко».

Гуманность, распространение великих принципов справедливости и сострадания на все безвредные, живые и чувствующие существа, есть новейшее учение, даже и в наше время далеко не всеми признаваемое; в древности же, хотя и были люди подобные Плутарху и Сенеке, «доблестно идущие» против духа своего времени, но такие люди были редкостью. Сознание обязательности, благожелательности и благотворительности не только не распространялось на низших созданий, но, до сравнительно новейшего времени, ограничивалось тесными рамками национальности и вероисповедания. Можно было подумать, что патриотизм и любовь к человечеству суть два исключаящих друг друга принципа.

Обязательство воздерживаться от мясной пищи имело, в учении Пифагора, скорее умственное и духовное, чем гуманное основание; но и последнее не проигнорировалось Пифагором, как видно из его запрещения причинять не только смерть, но и страдание

низшим существам; а также из его внушения воздерживаться от кровавых жертвоприношений. Отвращение его к бойне было, по словам Порфирия, так велико, что он не только строго воздерживался от употребления в пищу мяса, но и не мог принудить себя переносить соприкосновение и даже самый вид мясников и поваров.

Но, оберегая безвредных животных от смерти и страданий, Пифагор признавал, однако, необходимость вести борьбу с хищными. Сам же он так хорошо изучил привычки и характер низших животных, что, при помощи исключительно растительной пищи, не только приручил огромного медведя, наводившего ужас на поселян, но и приучил его во всю остальную жизнь довольствоваться такою пищей. Правда ли это или вымысел, во всяком случае, рассказ это правдоподобен, так как и в наше время бывали достоверные примеры кормления чисто плодоядных животных одною растительною пищей с большим или меньшим успехом.

«Внушая своим последователям воздержание от мясной пищи, говорит Ямвлих, Пифагор имел, между прочим, в виду расположение людей к миролюбию. Кто возмущается убийством других созданий, как делом несправедливым и неестественным, тот сочтет еще более беззаконным убивать человека, или начинать войну». В особенности внушал Пифагор воздержание политическим людям.

«Если они стремятся быть справедливыми в высшей степени, то отнюдь не должны причинять вред и низшим животным. Как убедят они других людей поступать справедливо, если известно, что сами они с ненасытною алчностью пожирают близких человеку созданий? Ведь благодаря общежитию с нами, одинаковым условиям существования и взаимной привязанности, эти животные, так сказать, связаны с нами братским союзом»

2

Как несхоже это учение с тем, которое пользуется такою популярностью в наше время! Если бы мог воскреснуть кто-нибудь из великих мыслителей 6-го века до Р.Х. - в какое негодование пришел бы он, видя, какие массы невинных тварей избиваются для публичных банкетов в честь политических и других лиц, — банкетов, которые подробно и велеречиво описываются потом в газетах! Как жестоко разбились бы, при этом виде, его надежды на прогресс человечества! Здесь кстати привести слова великого латинского сатирика, Ювенала, который так часто клеймил огненною речью роскошное обжорство своих современников: «Что сказал бы Пифагор? Куда убежал бы он от этого чудовищного зрелища? — он, который так строго воздерживался от употребления в пищу мяса каких бы то ни было животных, как будто это было мясо людей!»

Нам достоверно неизвестно, долго ли просуществовал этот братский союз в Кротоне. Но, так как слава и влияние его успели широко распространиться, то, надо полагать, что восстание черни (причина которого остается темной), рассеявшей эту аристократическую общину и перебившей ее членов, случилось лишь много лет спустя после ее возникновения. Как бы то ни было, а Пифагор дожил, по общепринятому мнению, до преклонных лет, которые показываются различно, от 80 до 100.

В наш план не входит подробное обсуждение научных или богословских теорий этого философа. Согласно туманному, выпендренному характеру ионической научной школы, выведившей, между прочим, происхождение вселенной из одного первобытного начала, Пифагор был наведен своими любимыми математическими вычислениями на открытие космического элемента в числах, или пропорциях, — теория, сходная с философией Дальтона, принятой теперь в химии. Пифагор предвосхитил теорию Коперника. Он признавал за солнцем более важное начало, чем за землей, и ставил его в центр орбит земли и других планет. Но этот аргумент, несомненно, свидетельствующий об его гениальности, был слишком возвышен для его современников, не исключая даже Платона и Аристотеля.

Существенным элементом пифагорейской школы была ее теория музыки, от которой взялась столь популярная у поэтов идея о «музыке сфер». Школа эта приписывает музыке

величайшее влияние на обуздание человеческих страстей. Не следует забывать, что у греков вообще музыка в широком смысле слова означает не только «гармонию сладостных звуков», но и вообще артистическое и эстетическое воспитание, обучение всему, что смягчает и совершенствует человека.

Знаменитое учение о переселении душ также было характерной чертой пифагорейского учения. Впрочем, можно предположить, что Пифагор желал только дать понятие людям «не ученым» посредством этой притчи о великой идее постепенного очищения души последовательным рядом искусов, до окончательной подготовки ее к бессмертной и бесплотной жизни.

Но нас интересует главным образом отношение Пифагора к мясной пище. Не подлежит сомнению, что воздержание было одной из основ его системы; тем не менее, некоторые из новейших комментаторов его, не сочувствующие такому практическому пониманию праведной жизни, или не склонные вообще к ограничению себя, нередко выражают сомнение в этом факте, если не проходят его презрительным молчанием. Но таким образом они игнорируют то, что составляет для последующих веков главную суть пифагорейства. Скептики ссылаются на знаменитого атлета Милона, изумительная сила которого вошла в поговорку. Но если бы они заглянули поглубже, то убедились бы, что именно воздержание от мясной пищи и способствует наибольшему развитию физической силы, и что на Востоке встречаются и по сие время, между потребителями исключительно растительной пищи, такие богатыри, которые могли бы посрамить в состязании любого из европейских силачей. Многие путешественники обращали внимание на необычайную силу константинопольских водоносов и лодочников. Точно также славятся своею удивительною выносливостью китайские кулии, и подобных примеров не мало можно найти среди народов Востока. Между тем, они питаются исключительно простейшей пищей — рисом, просом, луком т.п. — но и в самом скудном количестве. Мало того, сами древнегреческие атлеты воспитывались большею частью на растительной пище. Но, не приводя много примеров, довольно сказать, что, по самому умеренному вычислению, две трети населения земного шара, включая массу обитателей Англии, волей-неволей обходятся почти совсем без мяса.

Хотя всегда всеми признавалось, что от прямых последователей пифагорейского учения требовалось воздержание, однако в отношении непосвященных еще или, по церковному термину, *оглашенных*, это правило, по-видимому, не строго соблюдалось. Послабление, вероятно, признавалось необходимым для привлечения масс. Отсюда и взялись, вероятно, те кажущиеся противоречия, которые встречаются в словах его последователей.

Слепое поклонение героям и гениальным людям, хотя бы и направленное к высшим нравственным целям, не согласно с нашими убеждениями. Как человек основатель пифагорейской школы, конечно, не был чужд человеческих слабостей и не мог совершенно отрешиться от любви к чудесному, к чему был так склонен его суеверный век. Но и за исключением всего, что приписывается ему фантастического, за ним остается еще достаточно таких серьезных заслуг, которые заставляют признать его одним из величайших умов в истории мира

3

III

САКИА-МУНИ

Буддийская вера, как известно, запрещает употребление в пищу убоины. Отношение буддийской религии вообще к убийству животных могло бы послужить предметом целого отдельного исследования. Здесь мы ограничимся приведением, в виде выдержки из поэмы Эдвина Арнольда «Свет Азии», проповеди против убийства животных, приписываемой преданием основателю буддизма Сакиа-Муни или Гаутами.

В мрачный храм бога Индиры пришел вдохновенный
Гаутами. Стояли брамины толпою
В белых ризах, алтарь окружая священный
И костер разводя; кровь животных рекою
Орошала весь храм. Царь с блестящею свитой
Там молился.

На жертвенник, кровью залитый,
Был возложен красивый козел длиннорогий.
Крепко связанный, убранный пышно венками.
Старший жрец возглашал над ним;

«Грозные боги!

Вот еще благолепная жертва пред вами —
За грехи Бимбасара, царя, — искупленье!
За утеху вам, страшные, я всесожженье
Предаю его мясо и кровь проливаю!»

Ион поднял свой нож над протянутой глоткой.

«Запрети ему, царь, запрети, умоляю!..» —

Гаутами сказал. И десницею кроткой,
У брамина взял нож из десницы кровавой.

Узы жертвы распутал. Потом величавый
И спокойно-бесстрашный — прошел меж жрецами

Прямо к царскому месту. Толпа расступилась:

Все сердца покорял он мгновенно глазами,
Где любовь бесконечная к людям светилась.

«Кто ты, дивный?..» — спросил его царь в изумленье,

Преклоняясь пред ним и сойдя с возвышенья.

«Люди, братья, — ответил учитель, — внимайте!..

Правду вечную вам возвестит Гаутами.

Жертв кровавых не надо Всевышнему — знайте!

Он вам ныне вещает моими устами:

«Жизнь одна! Жизнь — таинственный дар и священный,

Дар прекрасный для всех, всем равно драгоценный.

Отнимать ее — грех неоплатно великий

Пред дающим ее. Всеблагому не надо

Вашей службы кровавой, бессмысленно дикой...
Вы, жестокие, ждете от неба пощады?
За злодейство вы просите блага, награды?..
Если правда, что злы и безжалостны боги,
Укротит ли их гнев ваш козел длиннорогий,
Можно ль их подкупить этой жертвою лживой?
Если ж правда, что боги добры, справедливы,
То нужна ли им кровь, на землю пролитая?
Не противны ли храмы, где жертва живая
Рвется, мучится, бьется у вас под ножами?..
Верьте, братья, что милость предвечно богами
Суждена милосердным. Одно назначение
Всем созданиям смертным: любя и жалея,
Мирно жить друг для друга. И наше спасенье
В кроткой жалости сильного к тем, кто слабее!
Все мы, здесь обреченные смерти и боли,
Все родня. Все подвластны одной вечной Воле!..»
Долго он говорил, разъясняя откровения
Древних книг и подвижников первых ученья.
И в устах вдохновенных былого заветы
Озарялись сиянием нового света.
"Е сли бы вы захотели, — сказал Гаутами, —
Как земля наша скорбная стала б прекрасна!
Как прекрасны и счастливы стали б вы сами.
Если б жили с законом предвечным согласно,
Все живое щадили, любили, жалели,
Не губили жестокой рукою напрасно,
Только пищу бескровную, чистую ели;
Если б вы не считали убийство забавой,
Душ и рук не грязнили охотой кровавой...
Разве мало нам пищи дозволенной, чистой?
Созревают на нивах хлеба золотые;
Спеют ягоды сладкие в роще душистой;
Осыпают деревья плоды наливные;

И повсюду ключи бьют студеной водою...
А вы губите жизнь беспощадной рукою!»
И сердца отогрел он святою любовью.
Устыдились брамины забрызганных кровью
Рук жестоких, и длинной одеждою белой
Прикрывали их; старый алтарь закоптелый
Был покинут; освященный костер, позабытый,
Смрадным стынущим жиром и кровью залитый,
Угасал. Гордый царь с головой преклоненной
Слушал речи святого душой умиленной...
А на утро гонцами царя громогласно
Был и новый закон возвещен всенародно,
Повсеместно: «Царю Бимбасара угодно:
Да не будет в стране, его воле подвластной,
Впредь убийства животных для жертвы кровавой;
Да не льется невинная кровь беззаконно
Ни для пищи, дарующим жизнь воспрещенной,
Ни для злой и жестокой напрасной забавы;
И да ведает всякий под нашей державой:
Жалость к тварям живым — есть небес повеленье
Жизнь одна! Милосердным и кротким — спасенье
Тот закон на гранитной колонне высокой
Был начертан. И свято хранится сердцами
До сих пор там, где Ганг протекает широкий,
Где свет Истины вечной зажег Гаутами.

IV

П Л А Т О Н

428-347 до Р.Х.

Наиболее знаменитый из прозаических писателей древности, Платон

4

, может считаться в философии почти прямым последователем Пифагора. Он принадлежал к афинской аристократии, бывшей в то время, да и долго спустя, центром, вокруг которого сосредотачивалось развитие искусств и наук. По-видимому, он уже в ранней молодости проявлял свои литературные способности, испытывая себя в различных родах поэзии, — эпической, трагической и лирической, — и в то же время отличался в качестве атлета на больших народных состязаниях или, как их называли, «играх», отличиться на которых было целью честолюбия всякого грека. По главным предметам, входившим в систему воспитания

свободного грека, он имел учителями искуснейших профессоров того времени. Он предавался с большим рвением обогащению себя знаниями и старательно изучал философские системы, разделявшие в то время литературный мир.

Двадцатилетним юношей он привязался к Сократу, бывшему в ту пору в апогее своей славы, как моралиста и диалектика. В 399 году, после казни своего учителя, Платон удалился из своего родного города, который уже и раньше запятнал себя преследованием другого великого учителя, Анаксагора. Платон поселился на некоторое время в Мегаре, в недалеком расстоянии от Афин, а затем, по обычаю современных ему пылких искателей истины, отправился путешествовать.

Он посетил те же страны, в которых побывал Пифагор, и рассказы о его путешествиях на дальний Восток точно так же легендарны, как и рассказы о странствованиях его предшественника. Самым интересным эпизодом первого путешествия Платона была его предполагаемая дружба с сиракузским тираном Дионисием Старшим, пригласившим философа в западную столицу греческого мира. Сиракузы. Рассказ о том, как вероломный хозяин выдал своего гостя спартанскому послу, который продал его потом в рабство, хотя и не представляет ничего невероятного, но может быть только простым преувеличением дурного обращения с Платоном сиракузского тирана.

Поездка в Италию была, без сомнения, внушена Платону желанием лично познакомиться с наиболее знаменитыми из пифагорейцев, большинство которых жило в южной части полуострова, и воспользоваться случаем поближе узнать их философское мирозерцание. В то время самым крупным представителем пифагорейской школы был Архитас, один из гениальнейших математиков всех времен. По возвращении своем в Афины, Платон, уже в 40-летнем возрасте, основал в пригородных рощах или садах свою «Академию». Все, наиболее известные в то время или прославившиеся впоследствии, афиняне слушали его лекции; между ними находился и Аристотель, которому суждено было впоследствии соперничать в славе со своим учителем. Приблизительно с 388 года и до самой смерти в 347 году Платон продолжал читать лекции в академии и писать свои «Диалоги».

В промежутках между своими литературными и дидактическими трудами, он дважды посетил Сицилию; в первый раз — по приглашению своего друга Диона, родственника и советника двух Дионисиев, из которых второй в то время царствовал. Дион надеялся, что ум и красноречие афинского мудреца склонят молодого правителя к справедливости и умеренности; но в этой надежде ему суждено было горько разочароваться. Второе посещение Сиракуз было предпринято Платоном вследствие неотступных просьб его пифагорейских друзей в этой стране, учение и образ жизни которых всегда внушали ему теплое сочувствие. Неизвестно, по какой причине обе эти поездки остались без результата. Дион подвергся изгнанию, и сам Платон спасся от смерти, лишь благодаря заступничеству Архитаса. Таким образом, единственная попытка осуществить идеальную республику Платона, ни к чему не привела. Почти единственным материалом для биографии Платона служат приписываемые ему письма. Описание первого посещения им Сицилии находится в седьмом письме.

Мы должны ограничиться здесь кратким отчетом о характере философии и сочинений Платона. Во главе о Пифагоре мы уже показали, как высоко ценил Платон методы и принципы этого учителя. Пифагорейским учением значительно отзываются сочинения великого ученика и толкователя Сократа, в особенности «Республика» и «Тимей». Четыре основные добродетели, о которых говорится в первом из этих сочинений: справедливость, воздержание, благоразумие и мужество — добродетели пифагорейцев. Для чисто умозрительной части учения Платона характерна его теория идей

5

, вследствие которой он приходит к такому выводу, что, не будучи в состоянии постичь идею добра с надлежащею ясностью, мы можем приблизиться к этому лишь постольку, поскольку наши мыслительные способности могут возвыситься до надлежащей чистоты. Что ни думали бы мы о посылке, но истину и пользу заключения едва ли кто станет отрицать. Эта характерная теория позволяет заключить, что Платон верил не только в бессмертие, но и в

вечное прошлое души. В «Федре» он описывает в аллегорической форме прежнее состояние души, носящейся по вселенной и посвящаемой при этом в суть вещей, открывающихся ее взорам. Этот-то опыт, приобретенный до рождения, и влагает в воплощенную душу понятие о красоте и правде.

Чрезмерная утонченность греческого ума и языка, очевидно, соблазняла современников вдаваться в тончайшие мистические умозрения, которые нам нередко кажутся странными и натянутыми. Поэтому, хотя и нельзя не восхищаться удивительными качествами греческой диалектики, но нельзя и не сожалеть, что такие качества часто тратились на бессодержательные призраки. К сожалению эта война из-за призраков не прекратилась и до ныне. Еще Сенека жаловался, а за ним и многие другие серьезные мыслители, на то, что ученость наша тратится более на шумиху слов, чем на приобретение мудрости. «Любовь к мудрости стала любовью к словам». Платон заслуживает высокого места в ряду выдающихся мудрецов не столько за положительные результаты, достигнутые его философией, сколько за общее направление им человеческой мысли и человеческих стремлений к высшим умозрительным целям. Из всех его «Диалогов» наиболее интересным и важным следует признать разговор «О республике», к которому, по-видимому, он приложил наиболее труда. Заключение, к которым он приходит в этом диалоге, кажутся особенно зрело обдуманными. С ними рядом можно поставить «Федо» и «Федра», из которых первый заключает в себе, как известно, исследование о бессмертии души

6

Наиболее интересующее нас из сочинений Платона «О республике», в котором он описывает пифагорейские правила жизни, должно быть, появилось около 395 года и было одним из его первых произведений. Оно состоит из десяти книг. *Вопрос о пище* затронут во второй и третьей книгах, где Платон старается доказать существенную важность того, чтобы в его идеальном государстве массы, а тем более правители - придерживались в пище разумных правил. Из его слов можно с достоверностью заключить, что он подразумевает вегетарианство.

Во второй книге развивается по преимуществу вопрос о сущности справедливости, при чем высказывается мысль, замечательная для того времени и поучительная для нашего. Когда Сократ обсуждает этот вопрос со своими собеседниками, один из них говорит: «При всем моем уважении к вам, я должен заметить, что все вы, вообще, выдающие себя за поклонников справедливости, и каждый из вас в частности восхваляете справедливость, начиная с героев древности, лишь на основании связанных с нею славы, чести и выгод. Но что такое справедливость или несправедливость сами по себе в присущей им силе в человеческой душе — силе невидимой ни людям, ни богам, — этого никто еще не обсудил, ни в прозе, ни в стихах, на столько основательно, чтобы доказать, что несправедливость есть величайшая кара для души, в которой она обитает, а справедливость, — величайшее счастье. Если бы все вы с самого начала указывали на это и старались с детства внушать людям такое убеждение, то им не пришлось бы удерживать друг друга от совершения несправедливостей, потому что каждый сам наблюдал бы за собою, из боязни навлечь на себя величайшее из зол».

Очень было полезно для того времени — и не лишено значения и для позднейших времен — следующее замечание, встречающееся в этой книге: «Бывают хвастуны и гадатели, которые толпятся у дверей богача и стараются уверить его, что небо облекло их властью заглаживать жертвоприношениями и волхвованиями, среди пиршеств и ублажений плоти, всякое преступление, совершенное человеком или его предками... И в подтверждение своих слов они приводят цитаты из поэтов, показывающие, как легок путь порока, напр.: «Кто ищет зла, может легко его добыть даже в большом количестве. Дорога ко злу гладкая и короткая, ибо оно близко. Добродетель же, так установлено небом, достигается с потом на челе». Гезиод. «Труды и Дни».

Но всего более интереса и споров возбуждала пятая книга Платона, в которой он излагает свои взгляды на государство

Платон, доказывая природное равенство мужчин и женщин

8

и требуя для людей обоих полов одинакового воспитания и образования, высказывает такие взгляды, какие встречаются лишь у самых передовых защитников прав женщины. Для всякого беспристрастного читателя «Республики» из нее с очевидностью выясняется, что автор высказывает в этом диалоге свои личные, искренние убеждения. Один из участников разговора о республике, выражая свое сочувствие коммунистическим законам Сократа, ссылается, однако, на трудность применения их к действительной жизни и просит учителя указать наиболее практический способ к тому. Сократ (едва ли нужно прибавлять, что устами его говорит сам автор) на это возражает:

«Станете ли вы меньше ценить художника, потому что он написал картину, не оставляющую ничего желать, и, изобразив высший идеал человеческой красоты, не в состоянии доказать, что такой идеал может существовать в действительности? Точно так же, если мы предлагаем в теории образчик совершенного государства, разве может наша теория упасть в вашем мнении лишь оттого, что мы не в состоянии доказать возможность такой общественной организации, какую предлагаем

9

? Далее ставится на очередь следующий вопрос: что должно понимать под словом: «философ», и в чем состоят характеристические черты истинного философа? «Они состоят: 1) в жажде знания всего сущего; 2) в отвращении ко лжи и в преданности истине; 3) в презрении к плотским наслаждениям; 4) в равнодушии к деньгам; 5) в великодушии и щедрости; 6) в справедливости и кротости; 7) в быстроте понимания и хорошей памяти; 8) в ровном и гармоничном построении духа». Но как достигнуть такого настроения? При настоящем положении вещей, при всевозможных развращающих влияниях, когда существует столько соблазнов исказить истину и подменять ее эгоистическим расчетом, достижение такой гармонии может казаться почти утопией.

Как же помочь этому злу? Само государство должно регулировать изучение философии и наблюдать, чтобы она преподавалась учащимся на здоровых началах и в надлежащем их возрасте. При существовании таких условий, едва ли кто стал бы оспаривать, что для процветания государства полезно, чтобы им управляли философы. Если когда-нибудь все данные условия соединятся (а почему бы и нет?), то наше идеальное государство несомненно осуществится. Стало быть, в сущности, мы приходим к такому заключению: описанная конституция была бы лучшей, если бы могла быть осуществлена. Осуществить же ее возможно, хотя и трудно».

В знаменитейшем из его «Диалогов», — «О республике» или, как было бы вернее назвать его, «О справедливости» главными собеседниками, кроме Сократа, являются: Главкон, Полемарх и Адеймант. Разговор завязывается из случайного сделанного кем-то из них вопроса: «Что такое справедливость?» Во второй книге, из которой мы заимствуем нижеприведенный отрывок, прения переходят на происхождение общества, что дает случай Сократу развить свой взгляд на пищу, какая, по его мнению, была бы наиболее нормальной и полезной для общины, по крайней мере, для большинства ее членов:

«Они (ремесленники и рабочие вообще) будут питаться, как я полагаю, ячменной и пшеничной мукой, из которой станут печь хлеба и другие печенья. Разложив эти вкусные хлеба и печенья на соломенные плетенья или на свежие листья, и возлегши на простые лежа из тисовых и миртовых ветвей, люди будут веселиться вместе со своими детьми. Распивая вино, украшая себя гирляндами, прославляя в песнях богов и не плодя детей свыше своих средств, из благоразумной боязни бедности или войны».

«Тут Главкон прервал меня, заметив: «Ты, по-видимому, описываешь пиршество, а между тем люди видят у тебя хлеб без всякой приправы».

«Правда твоя, я забыл об этом, — сказал я. — Конечно, у них будет чем приправлять хлеб: у них будет соль, оливки, сыр, вместе с варевом из лука и капусты. Я думаю, следует также ставить перед ними десерт из фигов, гороха и бобов. Они будут жарить миртовые ягоды и буковые желуди, и умеренно запивать плоды вином. И таким образом, проводя дни в мире и здоровье, они, по всем вероятностям, будут доживать до глубокой старости и, умирая, завещать своим детям точно такую же жизнь».

«На это Главкон воскликнул: «Ну, Сократ, если бы ты основал общину свиней, то и они питались бы у тебя точно таким же способом».

«А как же по-твоему, Главкон, должны жить люди?» — спросил я.

«Как цивилизованные существа», — отвечал тот. «Они должны возлежать не на жестких ложах, которые отравляли бы им жизнь; должны обедать на столах; яства и десерты должны быть такими, какие подаются за обедом в новейшее время».

«Очень хорошо; я понял тебя. Значит, мы рассуждаем о жизни не простого города, а *роскошного* города. Я нахожу, что этот план не дурен, потому что, рассуждая таким образом, мы откроем, может быть, корень несправедливости. Город, который я описывал, можно назвать естественным, *здоровым* городом, но если ты хочешь, чтобы мы представили себе город, страдающий болезнями, то этому ничто не препятствует. Иные, конечно, не захотят удовлетвориться той пищей и тем образом жизни, которые мы описали, но пожелают еще иметь мягкие ложа, столы и всякую мебель, а также есть мясо... Понадобятся им и свинопасы — класс людей, которого нет в нашем первом городе, где в них никто не нуждается, но который необходим во втором, как и все прочее. Понадобится множество всякой скотины для тех, кто будет есть ее, не так ли?»

«Конечно, так».

«Понадобится и большее число врачей, чем в первом городе».

«Наверное».

«Я полагаю, что и пространство, которого хватило бы в первом случае для поддержания жизни жителей, окажется в последнем, слишком тесным».

«Верно».

«Придется прихватить полосу земли от соседей, чтобы иметь достаточно пашен и выгонов для скота. Со своей стороны, и соседи будут поступать в отношении нас таким же образом, если они, подобно нам, перейдут за пределы необходимого и вдадутся в неограниченное приобретение богатств».

«Это неизбежно, Сократ».

«Так не делается ли дальнейшим шагом нашим война, Главкон, как ты полагаешь?»

«Так, как ты говоришь».

«Не будем разбирать здесь, полезна ли война или вредна; довольно того, что доискались источника войны в тех же самых причинах, которые служат плодотворною почвой и всяких других зол, постигающих государство, как в целом составе, так и в отдельных его членах» (Книга II).

Справедливо полагая, что и лучшие из законов приносят мало пользы. Когда применяющие их правители несправедливы и недобродетельны, Сократ излагает, в третьей книге, правила воспитания и пищи судей, или правителей, которых он, согласно коммунистической системе, называет *охранителями*.

«Мы уже сказали, — говорит он, — что люди, о которых идет речь, должны воздерживаться от пьянства, так как охранителю менее всякого другого дозвоительно напиваться и не знать, где он находится.

«Было бы поистине смешно, если бы охранитель сам нуждался в охране».

.....

«Но как скоро в городе преобладают распущенность и болезни, то не ведет ли это к открытию множества судов и больниц, вследствие чего законоведы и медики поднимают голову, тем более что многие из высокородных лиц ревностно посвящают себя этим профессиям?»

«Как же может быть иначе?»

.....

«И не стыдно ли, когда медицинская помощь требуется не от ран или случайных болезней, свойственных времени года, а вследствие нашей распущенной жизни и того, что мы, как трясины. Всасываем в себя соки и вино, и заставляем мудрых сынов Асклепия придумывать для болезней такие названия, как *ветры* и *катар*?»

«Несомненно, что эти новопридуманные названия болезней очень странны». (Книга III)».

В другом месте («*Законы*»), Платон говорит, что пружины поведения и нравственной цены человека зависят главным образом от пищи. «Я замечал, говорит он, что мысли и поступки людей тесно связаны с их тремя потребностями: есть, пить и удовлетворять половой инстинкт. Смотря по тому, удовлетворяют ли они их разумно или злоупотребляют ими, получается в результате добродетель или противоположность ее». Сам же Платон отличался крайним воздержанием. Подобно большинству своих современников, он был большой охотник до фиг и за эту простую пищу его прозвали «любителем фиг».

Греки вообще славились между европейцами своим воздержанием. Комический поэт Антифон (в *Атене*) называет их «листоедами». Особенно отличались умеренностью спартанцы и афиняне. Воздержанность первых даже вошла в поговорку. Сатирические поэты часто осмеивают это непонятное им равнодушие «к земным благам» со стороны умного и образованного народа.

Профессор Магаффи в своем новом сочинении о древнегреческой жизни, говорит, что в греческой литературе почти никогда не упоминается о бойнях и мясниках. «Употребление в пищу мяса, прибавляет он, ограничивалось у греков почти одними пирами при жертвоприношениях. На общепринятом языке, убойна называлась «жертвой». Наиболее любимыми и распространенными блюдами были: *мадса*, род варева из пшеничной или ячменной муки; различные хлеба: мед, бобы, lupины, латук, салат, лук и порей. Из фруктов подавались за обедом: оливки, финики и фиги. Что касается животной пищи, то из нее предпочиталась рыба. Современником великого мастера слова, Платона, был великий мастер медицины, «Гиппократ» (460-357), бывший для искусства врачевания тем же, чем Гомер для поэзии и Геродот для истории: первым историческим основателем медицины. Он был уроженец Коса, небольшого острова у юго-западного берега Малой Азии, легендарной колыбели и место пребывания учеников Асклепия или Эскулапа (как его называли латиняне), полубожественного творца и покровителя медицины. Из множества разнообразных сочинений, приписываемых Гиппократу «*Трактат о диете в острых болезнях*» вообще считается подлинным, тогда как «*Трактат о диете в здоровом состоянии*», хотя и принадлежащей к тому же веку, не всеми признается за творение самого основателя школы. Ему же приписываются — справедливо или нет — многие знаменитые изречения древнегреческой мудрости, из которых наиболее известны: *ars longa — vita brevis* (воспитание продолжительно, жизнь коротка), и, что еще более подходит к нашему предмету: «*опиться почти так же вредно, как и объесться*». Самыми популярными из произведений этого плодовитейшего писателя следует признать его «*Афоризмы*», в которых собраны все эти лаконические образчики житейской мудрости в виде четырехсот кратких

сентенций.

Спустя около столетия после смерти Платона, вышло популярное изложение пифагорейского учения в гекзаметрах, известное под заглавием: «*Золотые Стихи*», которое дано ему Ямвлихом. Более половины этого произведения содержит такие здравые советы для заботы о здоровье и для разумной и добропорядочной жизни, какие преподал бы в наше время всякий образованный человек своему сыну.

Гиерокл, знаменитый неоплатоник 5-го века новой эры, прочел о них ряд лекций в Александрии, служившей со времен Птолемеев главным центром греческой учености, и комментарии его не лишены интереса. Лексикограф Суидас в следующих словах восхваляет содержание и слог этих лекций: «Он (лектор) постоянно удивлял своих слушателей спокойствием, величием и обширностью своего ума, и красотой речи, полной изящных выражений и образов». В этих лекциях приведены следующие правила древних пифагорейцев:

«Лучший способ чтить Бога — это стараться быть богоподобным в своих помыслах».

«Кто воздает честь Богу в убеждении, что Бог нуждается в ней, тот, в своем безумии, ставит себя выше Бога».

«Служителем Бога, умеющим любить Его и молиться Ему. Может быть только разумный человек, ибо только тот умеет достойно чтить Бога, кто начинает с принесения Ему в жертву самого себя; кто пересоздает свою собственную душу по образу и подобию Божию, и обращает ум свой в храм для принятия божественного света».

Образчиком религиозного и нравственного характера «*Золотых Стихов*» могут служить следующие цитаты:

«Не позволяй сну сходить на вежды твои, пока ты не обсудил дневных твоих поступков. Чем я погрешил? Что я сделал и чего не сделал, что должен был бы сделать? Просмотри твои поступки с первого до последнего, и пускай сердце твое покарает тебя за дурные и возрадуется за хорошие».

«Знай, насколько это доступно твоему уму, что природа всех вещей верна себе: не надейся на то, на что нет надежды, и не закрывай глаза на то, что может быть».

«Знай еще, что несчастья людей — *суть дела их собственных рук*. Люди несчастны, потому что не видят и не слышат добра, которое у них под рукою, и редко понимают, где выход из зла».

«Воистину, отец Зевс, ты избавил бы людей от многих зол, если бы научил их сознавать, какой в них вложен дух».

«Воздерживайся от роскошных яств, пользуйся твоим разумом для очищения и освобождения твоей души».

«Размышляй о каждом предмете и ставь выше всего разум, который всего лучше держит бразды правления».

Эти стихи, напоминающие, что люди терпят от зол, которые они могли бы предотвратить, и гибнут от недостатка знания, убеждают нас в том, что главное препятствие к человеческому прогрессу и совершенствованию лежало, во все времена, в невежестве и эгоизме.

ОВИДИЙ

43 до Р.Х. — 18 по Р.Х.

Школа Пифагора и Платона не была ни модною, ни популярною в Риме; но, тем не менее, в ряду ее последователей встречаются несколько знаменитых людей, между которыми блещит имя Цицерона, принадлежащего к Новой Академии. Впрочем, это были исключения. Хотя римляне и заимствовали у греков свою религию и литературу, но не были в состоянии подняться, подобно своим учителям, до такой утонченности мысли, которая могла бы привлечь их к пифагорейской школе.

Что римляне были более варварским народом, чем греки, это достаточно доказывается их народными зрелищами и увеселениями. Дикие бои гладиаторов и зверей, варварские сцены латинских амфитеатров, которым служил образцом знаменитый римский Колизей, были противны утонченному греческому уму.

В виду таких кровавых сцен, как эти римские праздники, излишне и говорить, что гуманитарное учение было неизвестно жителям Италии. Трудно и предположить, чтобы народ, вся история которого, как господствующей расы, была полна кровопролитными войнами, и у которого человекоубийство было любимым развлечением, - чтобы такой народ мог питать чувство жалости (уж не говоря о справедливости) к своим домашним животным. И однако даже римляне бывали иногда доступны этому чувству. По поводу большого зрелища, на котором должен был происходить, между прочим, бой слоновый, Плиний Старший говорит: «Потеряв надежду вырваться, слоны старались возбудить сострадание толпы таким невыразимо жалким видом и испускали такие душу раздирающие вопли, что публика не выдержала и, забыв о щедрости триумфа, в слезах поднялась с мест, осыпая проклятиями имя Помпея. Эти проклятия вскоре отозвались на его судьбе.

Плиний Младший говорит об этих чудовищных бойнях: «Нет в этих зрелищах ничего нового, ничего разнообразного или такого, чего не довольно было бы видеть один раз». Достоверно известно, что однажды, в 284 г. до Р.Х. 1000 страусов, 1000 оленей, бесчисленное множество диких баранов, коз и других животных было собрано в цирк для неизобразимо варварской травли хищными лесными зверями и не менее лютыми городскими зверями».

Цицерон, сам присутствовавший на представлении в цирке, писал потом своему другу, Марку Марию:

«В следующие пять дней происходили последовательные бои людей с дикими зверями. Это было великолепно, спора нет. Но какое удовольствие может находить человек с утонченным чувством, видя, как лютое животное терзает слабого человека, или как человек пронизывает копьём благородное животное? В последний день, принадлежавший слонам, зрители испытали большое удивление, но не удовольствие. Удивление перешло в сострадание и в смутное сознание, что между человеческой расой и этими колоссальными животными есть некоторое родство».

По этим свидетельствам можно заключить, что даже римская чернь могла бы быть доступна лучшим чувствам и вкусам, чем какие развивались в ней этими зрелищами, если бы правители не приучали её преднамеренно к страшным и колоссальным бойням. Впрочем, едва эти зрелища были хуже боёв быков в Севилье и Мадриде, или зрелищ, устраиваемых и теперь в честь высоких европейских гостей или дворах магометанских принцев в Индии. Заметим, кстати, что хотя бои гладиаторов и прекратились через несколько лет по введении христианской веры, но варварские бои животных, в цирках, продолжались и в позднейшее время. Помня, что гуманность в христианской Европе, вернее в лучшей части её, имеет очень недавнее происхождение, мы не стали бы искать её в более ранних временах, если бы не было известно, к стыду позднейших цивилизованных веков, что дух гуманности проявлялся уже у древнейших писателей Греции и Италии, хотя и у немногих из самых

возвышенных умов тех времен. Между первыми проповедниками такого направления самое видное место принадлежит Плутарху и Сенеке, в особенности первому

10

Публий Овидий Назон, переложивший пифагорейскую философию на латинские стихи, родился в 43 г. до Р. Х. Он принадлежал к сословию всадников. Подобно многим другим знаменитым писателям древности, он готовился сначала в законоведы, но вскоре убедился, что эта профессия не отвечает его наклонностям. Он учился в Афинах, где приобрёл знание греческого языка и его богатой литературы. Наиболее достопримечательным событием его жизни, которая, по обычаю людей его класса, была посвящена по преимуществу любовным похождениям, было загадочное изгнание его из Рима на дикие берега Чёрного моря, где он и умер на 60-м году своей жизни, прожив семь лет в изгнании. Причина этого внезапного изгнания от двора Августа, у которого он был дотол в большой милости, составляет историческую тайну, заставлявшую его позднейших биографов не мало ломать себе голову. По словам императорского указа об изгнании, причиной этой меры была слишком вольная поэма Назона ("Ars Amatoria"); но очевидно это был один предлог. За такое предположение говорят, как продолжительность времени между появлением поэмы и изгнанием ею автора, так и нравы тогдашнего римского общества. Сам Овидий объясняет свою опалу тем, что ему случилось быть невольным свидетелем какой-то дворцовой тайны, которая так и осталась не раскрытой.

Важнейшая из поэм Овидия суть: 1) «Превращения» в 15 книгах, названная так потому, что в них собраны бесчисленные превращения народных богов. Это едва ли не самая прелестная из дошедших до нас латинских поэм. 2) Римский календарь в стихах, в 12 книгах, из которых сохранилось всего шесть. Помимо поэтического таланта автора, это сочинение интересно ещё и тем, что оно заключает в себе как бы свод латинских праздников, с объяснением их происхождения. Кроме этих двух главных поэм, он написал ещё: «Любовь» в трёх книгах: «Письма героинь»; «Лекарство от любви» и «Грустные мысли». Его трагедия «Медея», к сожалению, не сохранилась. Все его поэмы отличаются изяществом и замечательною гладкостью и правильностью стиха; многие из них блещут необыкновенною красотой и образностью поэтических идей.

Нижеприведённая часть из 15-й книги «Превращений» справедливо считается одним из лучших мест в этой поэме. Читая её, нельзя не заключить, что автор, не взирая на свою распущенность, был способен чувствовать, по крайней мере в лучшие свои минуты, истину и красоту пифагорейских принципов; иначе едва ли он мог бы изложить их в таких превосходных стихах. Трогательные слова:

«Вижу и одобряю лучший путь, — иду худшим» (Превр. VII, 20), которые он влагает в уста ревнивой Медеи, убийцы своих детей, как нельзя лучше применяются к нему самому.

«Он, Пифагор, первый воспретил подавать на стол мясо животных: первый открыл уста, чтобы произнести полные мудрости слова, которым, однако, никто не внимлет:

Полно вам, люди, себя осквернять недозволенной пищей!

Есть у вас хлебные злаки; под тяжестью ноши богатой

Сочных, румяных плодов преклоняются ветви деревьев;

Гроздь на лозах висят наливные; коренья и травы

Нежные, вкусные зреют в полях; а другие,

Те, что грубее, огонь умягчает и делает слаще;

Чистая влага молочная и благовонные соты

Сладкого меда, что пахнет душистой травой — тимьяном,

Не запрещаются вам. Расточительно-щедро все блага

Вам предлагает земля; без жестоких убийств и без крови

Вкусные блюда она вам готовит.

Лишь дикие звери

Голод свой мясом живым утоляют; и то — не все звери:

Лошади, овцы, быки — ведь травую питаются мирно,
Только породы свирепые хищников: лютые тигры,
Львы беспощадно жестокие, жадные волки, медведи
Рады пролитию крови...

И что за обычай преступный,

Что за ужасная мерзость: кишками кишок поглощение!

Можно ль откармливать мясом и кровью существ нам подобных

Жадное тело свое и убийством другого создання, —

Смертью чужою —

поддерживать жизнь?

Неужели не стыдно

Нам, окруженным так щедро дарами земли благодатной

Матери нашей кормилицы, - нам, — не животным, а людям,

Жадно зубами жестокими рвать и терзать с наслаждением

Ключья израненных трупов, как лютые дикие звери?

Разве нельзя утолить, не пожертвовав жизнью чужою,

Люди, ваш голод неистовый, алчность утроб ненасытных?

Был, сохранилось преданье — Век Золотой, — не напрасно

Названный так: жили люди счастливые, кроткие — просто;

Были довольны и сыты одними плодами земными,

Кровью уста не сквернили. И птицы тогда безопасно

Воздух кругом рассекали; и робкие зайцы бесстрашно

В поле бродили; на удочке рыбка тогда не висела

Жертвой доверия; не было хитрых силков и капканов;

Страха, предательства, злобы не ведал никто. И повсюду

Царствовал мир...

Где же он ныне? И чем свою смерть заслужили

Вы, безобидные овцы,

незлобные, смирные твари,

Людам на благо рожденные? Вы, что нас поите щедро

Влагой сосцов благодатных и греете мягкой волною,

Вы, чья счастливая жизнь нам полезней, чем смерть ваша злая?

Чем провинился ты, вол, предназначенный людам на помощь

Ты, безответно-покорный товарищ и друг хлебопашца?

Как благодарность забыть, как решиться жестокой рукою

Острый топор опустить на послушную кроткую шею,

Стертую тяжким ярмом? Обагрить мать-кормилицу землю

Кровью горячей работника, давшего ей урожай?

Страшен ваш гнусный обычай и скользок ваш путь к преступленьям,

Люди! Убить человека нетрудно тому, кто, внимая

Жалким предсмертным хрипеньям, режет телят неповинных,

Кто убивает ягненка, чьи слабые вопли подобны

Плачу дитяти; кто птицу небесную бьет для забавы

Или, — нарочно, своею рукою вскормив, — пожирает!

С вашей привычной жестокостью рядом стоит людоедство!

О, воздержитесь, опомнитесь, я заклинаю вас, братья!

Не отрывайте убийством от плуга вола-земледельца; —

Пусть он, служивший вам верно, умрет не насильственной смертью;

Не истребляйте стада беззащитные: пусть одевают,

Греют вас мягким руном и поят молоком своим щедро,

Мирно живя, умирая спокойно на пастбищах ваших.

Бросьте силки и капканы! Не трогайте пташек небесных; —

Пусть, беззаботно порхая, поют нам о счастье и воле.
Хитросплетенные сети, крючки с смертоносной наживой
Бросьте! Доверчивых рыб не ловите обманом коварным,
Уст человеческих кровью созданий живых не скверните;
Смертные — смертных щадите!
Питайтесь дозволенной пищей, —
Пищей пригодной для любящей, чистой души человека!

11

Это не единственное место в сочинениях языческого поэта, где сказывается его чувство гуманности, столь редкое одинаково как в нехристианской, так и в христианской поэзии. В прелестном рассказе о посещении переодетыми и воплотившимися небожителями хижины благочестивых поселян, Филемона и Бавкиды, Овидий пользуется случаем изобразить привлекательную картину угощения божественных гостей плодами, — картину вероятно, представлявшуюся Мильтону, когда он описывал подобное же угощение, предложенное Евой.

В числе ароматных блюд — «вкусных плодов, могущих удовлетворить здоровый, неиспорченный аппетит» — появляются фиги, орехи, финики, сливы, виноград, яблоки, оливки, редиска, лук и эндивий, а также мёд, яйца и молоко.

Мы не удивляемся, однако, что, несмотря на всё разнообразие и обилие такой пищи, эти невежественные поселяне, подражая дурному примеру своих богатых соседей, сочли нужным, в целях «гостеприимства», принести в жертву жизнь: они уже хотели заколоть единственное принадлежащее им *нечеловеческое существо* — гуся, «их хижины стража», — когда вмешались сами небесные посетители и запретили бесполезное варварство.

Здесь можно заметить, что великий «эпикурец» — поэт Гораций, (современник Овидия), при всей своей склонности хорошо пожить и, по-видимому, несколько не проникнутый чувством человечности, выражает местами своё убеждение в превосходстве растительных блюд перед мясными и в большем соответствии первых поэтическому гению. Напр.

«Оливки, эндивий и легкие мальвы — мои любимые блюда».

И ещё в другом месте:

Как хорошо, как полезно, друзья, быть довольным немногим.

.....

Когда ты устанешь, гоняясь за зайцем,

Или скакав на упрямом коне, иль мечом забавляясь,

Или когда утомишься усильным бросанием диска:

Тут ты, почувствовав жажду и позыв пустого желудка,

Презришь ли пищей простой? Перетерпишь ли жажду за тем лишь,

Что фалернского нет, подслащённого мёдом гиметским?

Нет! Как живот заворчит, то ему и хлеб с солью приятны...

Церера любит мир...

Вы, служители алтарей, удалите от вола свои ножи...

Ибо не в запахе яств, а в тебе самом наслажденье!

Потом усталости — вот чем отыскивай вкусные блюда!..

.....

Если бы кто выдал эдикт, что нырок жареный вкусен,

Юноши Рима поверят: они на дурное послушны!

.....

Слушай же, сколько приносит нам пользы пища простая:

Первая польза — здоровье; затем, что все сложные яства

Вредны для тела! — Вспомни, какую ты чувствовал лёгкость

После простого стола! Но варёное с жареным вместе,

Устрицы с дроздами, как скоро смешаешь в одно: то в желудке
Сладкое в желчь обратится, и внутренний в нём беспорядок
Клейкую слизь породит! — Посмотри, как бывают все бледны,
Встав из-за пира, где были в смешенье различные яства!
Тело, вчерашним грехом отягчённое, дух отягчает,
Пригнетая к земле часть дыханья божественной силы!
Но умеренный, скоро насытись и сладко заснувши,
Свежим и бодрым встаёт ото сна к ежедневным занятиям.

.....

Кисть винограда,

Крупные фиги, орехи: вот что мой стол украшало

12

Его осуждение богатого обжоры, заставляющего и допускающего бедняка умирать с голода среди всякого обилия, достойно стать наряду с нравственностью Сенеки:

«Ежели так,

То зачем ты излишек не тратишь на пользу?

Если богат ты, зачем же есть в бедности честные люди?»

13

1

Нравственные его принципы своятся к следующему: 1) милосердие на незыблемых основах, 2) отвращение ко всякой жестокости, 3) бесконечное сострадание ко всякой твари. Буддизм был по отношению к браманизму то же, что христианство по отношению к еврейству.

2

В позднейшее время Монтень, к стыду новейшего общества, счел нужным развивать ту же самую тему.

3

«Что касается до плодов пифагорейского учения, говорит автор статьи о Пифагоре в «Греко-римском биографическом словаре» Смита, то во всех дошедших до нас сведениях о выдающихся пифагорейцах. Они изображаются людьми честными, добросовестными, воздержанными, способными к прочной и самоотверженной дружбе. Из них особенно выделяются: Архитос, Дамон и Финтий. Первый был одним из гениальнейших людей древнего мира и равно славился, как философ, математик, государственный человек и полководец. Эмпедокл, посвятивший свои редкие таланты на служение человечеству, также может считаться отчасти последователем Пифагора.

4

Настоящее имя Платона было Аристокл, но, подобно другому, не менее выдающемуся мыслителю, Франсуа-Мари Аруэ (Вольтеу), он оставил свое родовое имя и принял и получил - другое, которое он обессмертил. Говорят, имя Платона характеризовало ширину его лба, или обширность его ума.

5

Под этим словом он подразумевает не формы и образы, а *единства*. Достоинство этой теории заключается скорее в поэтической фантазии, нежели в научной вескости. Сущность этих темных и фантастических взглядов сводится к тому, что все чувственные предметы, которые, по мнению Платона, суть только тени и призраки невидимых вещей, в конце концов должны быть отнесены к известным отвлеченным понятиям, которые он и называет единствами, и которые доступны лишь чистому умозрению.

6

Невзирая на свои несколько фантастические умозрения, это сочинение навсегда сохранит свой интерес, так как, помимо того, что в нем обсуждается самый интересный предмет для человеческого ума, оно, как предполагается, излагает последний разговор Сократа перед смертью. Что касается «Федра», то, не говоря уже о достоинствах слога, это одно из немногих древних сочинений, в которых восторженно описываются красоты сельской природы.

7

Для нас интерес ее усиливается еще тем обстоятельством, что она служила источником коммунистических идей новейших писателей, и прототипом «Утопии» Мора, «Новой Атлантиды» Бэкона, «Океаниды» Гаррингтона, " *Gaudentio*" Берклея и других.

8

В подкрепление своего тезиса, Платон ссылается на аналогию. У животных силы и смышленость самцов и самок почти равны; и у человека в диком состоянии разница между людьми различных полов гораздо менее значительна, чем у людей, выросших среди искусственных условий жизни.

9

Толкователи Платона перефразировали эту мысль таким образом: «Возможность практически осуществить подобную республику есть вопрос второстепенный, нисколько не влияющий на разумность метода и на истину выводов. Все, что можно требовать от автора, это указания, как привести настоящий, несовершенный, политический строй в возможно полную гармонию с описанным им совершенным государством. Для достижения этого великого результата необходима одна коренная реформа: высшею политическою властью должны быть облечены философы».

10

Некоторые следы гуманности замечаются, между прочим, у Лукерия-Кара De Rerum Nat. II, где находится трогательное описание осиротевшей коровы, у которой отняли телёнка для жертвоприношения, у Вергилия («Энеида» VII), в его рассказе об олене Сильвии, трогательнейшем эпизоде этой поэмы; и у Плиния (Hist. Nat).

11

Перевод А. Барыковой

12

Русский перевод Дмитриева

13

Русский перевод Дмитриева.

VI

МУЗОНИЙ

(1 век по Р. Х.)

Пользовавшийся большим уважением у своих современников, писатель из школы стоиков, сын римлянина Эквеса, Музоний родился в Волсинии, городе Этрурии, в конце царствования Августа. Он был изгнан Нероном, особенно ненавидевшим профессора *Портика*; но при

Беспасиане он пользовался чрезвычайным почетом, когда остальные философы были удалены из Рима. Время его смерти неизвестно. Он был автором разнообразных философских сочинений, о которых Суидас отзывался как о «выдающихся писаниях в высшей степени философского характера», приписывая ему также письма к Аполлонию Тианскому. Знакомству с его мнениями мы обязаны сочинению (неизвестного автора) под заглавием «Мемуары Музония Философа». Из этого-то сочинения, по-видимому, Стобеус, Авл Геллий, Арриан и другие заимствовали приводимые ими изречения великого стоического учителя. Все сохранившиеся отрывки его сочинений тщательно собраны Перлкампом. См. также ценную монографию Эд. Бальцера «Музоний: Характеристика из времен римских императоров»:

«О пище он говорил часто и очень горячо, как о предмете важном самом по себе и по своему влиянию. По его мнению, умеренность в пище и питье составляет начало и основание воздержанности вообще. Однажды, откинув свой обыкновенный способ аргументации, он говорил следующее:

«На столько дешевый стол мы предпочли бы дорогому, и доступный — трудно получаемому, настолько свойственное человеку должно предпочтаться несвойственному ему. Свойственно нам то, что дают нам хлебные злаки и другие растительные продукты, доставляющие хорошее питание для человека; также то, что получается от животных — не посредством убиения их, а иным путем. Из этих родов пищи самые подходящие те, которые мы можем прямо употреблять, обходясь без огня. Таковы плоды в известную пору года, а также некоторые травы, молоко, сыр и мед. Одинаково годится для человека все то, что для приготовления требует огня и принадлежит к породе хлебных злаков и трав».

Употребление мясной пищи он называет *зверством* и свойственным только диким животным. Она тяжелее, говорит он, и мешает мысли и рассудку; поднимающиеся от нее газы мутят и омрачают душу, так что употребляющие ее, как мы часто видим, бываю туги на понимание. Так как человек (в своем наилучшем состоянии) стоит к богам ближе всех прочих существ земных, то, стало быть, и *пища* его должна наиболее подходить к пище богов. Боги, говорил он, довольствуются парами, поднимающимися с земли и воды; и наша пища будет наиболее подходить на пищу богов в том случае, если мы станем *есть самое легкое и чистое*.

Тогда и душа наша будет чистой и ясной, а, будучи такой, она станет наилучшей и мудрейшей, как рассуждает Гераклит, говоря, что ясная душа есть мудрейшая и наилучшая. Между тем, говорит Музоний, мы питаемся хуже неразумных существ, потому что, хотя они, неистово побуждаемые голодом, как бичом, жадно набрасываются на свою пищу, однако не знают никаких ухищрений и затей в отношении своего корма, довольствуясь тем, что попадет им, и стремясь исключительно к наполнению своей утробы и ни к чему больше. Мы же изобретаем многоразумные способы и хитрости с целью увеличить наслаждение едой и обольстить свою глотку. Мало того, мы дошли до такой степени разборчивости, что некоторые составили наподобие руководств к музыке и медицине, трактаты о поваренном искусстве, которые, значительно возвышая наслаждение глотки, вместе с тем разрушают здоровье. Во всяком случае, вы можете видеть, что прихотливые в выборе пищи гораздо болезненнее телом, — некоторые, подобно ненасытным женщинами, даже гнушаются обыкновенной пищи и тем расстраивают свой желудок. Отсюда, как ни на что не годный нож требует постоянной точки, так и их желудки нуждаются в постоянном возбуждении какой-либо сильной разжигающей пищей...Отсюда же вытекает наш долг есть для жизни, а не для удовольствия, если только мы хотим следовать прекрасному изречению Сократа о том, что в то время, как большая часть людей жили для того, чтобы есть, он ел для того, чтобы жить. Ибо, без сомнения, никто, стремящийся стать добродетельным человеком, не будет подражать этим многим и жить, подобно им, для еды, гоняясь повсюду за наслаждениями, доставляемыми едой.

Помимо этого: то, что Бог, создавший род человеческий, снабдил его питьем и пищей для сохранения жизни, а не для удовольствия, будет ясно из следующего. Когда пища исполняет собственно прямое свое назначение, т. е., переваривается и уподобляется телом для того, чтобы доставить ему питание, в это время человек никакого удовольствия от нее не ощущает, а между тем время это продолжительнее времени еды. Но если бы Бог сотворил

пищу для удовольствия, то мы ощущали бы его в течение и этого более долгого времени, а не только в короткие минуты потребления. *Несмотря на это, ради такого краткого момента наслаждения мы заготавливаем десять тысяч изысканных яств; переплываем моря до их отдаленнейших пределов; повара в большем спросе у нас, чем хлебопашцы.* Некоторые проедают на обедах стоимость целых имений, хотя тела их не извлекают ни малейшей пользы из дороговизны поедаемых ими блюд.

Напротив того, самыми сильными оказываются употребляющие наидешевейшую пищу. Мы замечаем, например, что большей частью рабы крепче своих господ, жители деревни — обитателей городов, бедные — богатых; все они способнее к работе, не так скоро за ней утомляются, реже хворают, легче переносят холод, жар, недостаточность сна и тому подобное. Если бы даже дешевая и дорогая пища одинаково укрепляла тело, то и при этом условии мы должны были бы выбирать дешевую как более простую и более пригодную для добродетельного человека, так как легко добываемое более годно хорошим людям для пищи, нежели трудно приобретенное; не причиняющее забот — чем требующее таковых; готовое — чем неготовое. Одним словом, весь вопрос об употреблении той или другой пищи сводится мной к тому, что все назначение ее заключается в доставлении нам здоровья и силы, ибо такова единственная цель, для которой мы должны есть, и эта цель не требует больших расходов».

VII

СЕНЕКА

(Умер 65 по Р. Х.)

Люциус Аннеус Сенека, один из наиболее выдающихся представителей стоической философской школы и первый латинский моралист, родился в Кардубе (Кордове) около начала христианской эры. Род его, как и род Овидия, принадлежал к сословию всадников. Он был слабого сложения, и обстоятельство это, как часто бывает, способствовало, если не возбуждению, то усилению его умственной деятельности. Еще в ранней молодости переехав в Рим, он скоро достиг большой славы на поприще судебного оратора. Красноречие и увлечение, с которым он произносил речи в сенате в присутствии императора Калигулы, возбудили зависть и ненависть этого душевнобольного тирана. Впоследствии Сенека был зачислен в преторианцы и назначен в наставники к молодому Нерону. При восшествии последнего в 17-ти летнем возрасте на престол, Сенека сделался одним из его ближайших советников.

Хотя при этом он и старался по возможности удерживать своего бывшего воспитанника от его порочных наклонностей, он, однако, не пренебрег приобретением не только большого, но такого огромного состояния, что его великолепные дачи и сады возбудили зависть и жадность самого Нерона. Это, в соединении с открытым пренебрежением к талантам императора, даже к его пению и езде, в которых Нерону особенно хотелось прославиться, было причиной опалы и смерти Сенеки. Заметив нерасположение к себе Нерона, философ хотел осторожно предупредить угрожающую себе опасность отдачи всех своих собранных имуществ и старался уединенной и скромной жизнью обезоружить завистливые подозрения тирана. Но предосторожности его были тщетны. Его смерть была уже решена. Он был обвинен в участии в заговоре Пизона. И единственная милость, которую Нерон даровал своему прежнему воспитателю и любимцу, состояла в том, что он ему предоставил право самому выбрать способ казни и быть своим собственным палачом. Сенека старался смягчить отчаяние своей жены Помпеи Паулины напоминанием ей того, что он в своей жизни всегда руководствовался идеалом высшей нравственности. Однако ничто не могло отклонить ее от решения разделить участь мужа, и верные друзья одновременно разрезали себе жилы.

Благодаря преклонному возрасту и скудному питанию, у Сенеки кровь истекала с мучительной медленностью. Его страдания были ужасны, и для того, чтобы избежать невыносимое зрелище обоюдных мучений, супруги заперлись в разных комнатах. С удивительным мужеством и присутствием духа, свойственным вообще древним мудрецам, Сенека невозмутимо диктовал друзьям свои последние мысли, которые и были впоследствии изданы. Так как последние страдания тянулись невыносимо долго, то Сенека принял яд. Но

и яд не достиг своей цели. Тогда окружающие снесли умирающего в паровую печку, где он и задохнулся.

При оценке нравственной личности Сенеки необходимо принимать в соображение все условия той исключительной эпохи, в течение которой он жил. Едва ли во всей истории найдутся эпоха и среда развращеннее римского общества того времени. Если даже и признать основательными все обвинения, возводимые против Сенеки его обличителями, душевный облик автора «Утешений» и «Писем» выступает тем не менее светлой точкой из толпы его современников одинакового с ним положения, погруженных в разврат и эгоистическое равнодушие к окружающему миру. То обстоятельство, что общественная деятельность Сенеки не находилась на высоте нравственного уровня выраженных им принципов, к сожалению, слишком очевидно и не может быть отрицаемо. В этом несоответствии действительной жизни с созданным идеалом Сенека разделяет общую участь с некоторыми из наиболее прославленных светил человечества. Так, например, если мы в этом отношении сравним Сенеку с Цицероном и Бэконом, то преимущество окажется не на стороне последних. Самое темное пятно в жизни великого римского моралиста, несомненно, заключается в эго сочувственном отношении к убийству ужасной Агрипины, матери Нерона. Вовсе не желая оправдать этого поступка, мы можем не без основания счесть его результатом благонамеренного, хотя и ошибочного побуждения. Высшей похвалой Сенеке всегда будет служить то обстоятельство, что в то время, когда он имел влияние на Нерона, ему удавалось умерять развратные наклонности последнего и сдерживать императора от тех ужасных злодейств, которые впоследствии заклеили имя Нерона вечным позором.

Главные сочинения Сенеки следующие:

О гневе. Его первое и, пожалуй, наиболее известное сочинение.

Об утешении. Прекрасное философское увещание, обращенное к его матери Гелвии.

О провидении, или Почему зло постигает и добрых людей, несмотря на божественное провидение?

О спокойствии духа.

О милосердии. Обращенное к цезарю Нерону. Одно из самых прекрасных по содержанию писаний древности, достойное стоять наряду с гуманными протестами Бекария и Вольтера. Признававшееся стоиками различие между милосердием и состраданием, по мнению Сенеки, есть только спор о словах.

О кратковременности жизни. Красноречивое рассуждение о том, что разумное употребление времени и приобретение мудрости есть лучшее занятие для нашей скоропреходящей жизни.

О счастливой жизни. Прекрасный трактат, в котором автор доказывает, что нет счастья без добродетели.

О доброте.

Письма к Люцилиюсу (124 письма). Они изобилуют нравственно-философскими указаниями и наставлениями и представляют наиболее известные из всех произведений Сенеки, за исключением разве вышеуказанного трактата «О гневе».

Вопросы из естественной истории. В семи книгах.

Кроме этих нравственных и философских сочинений, Сенека написал несколько трагедий. Они не были предназначены для сцены, но служили, скорее, уроками нравственности. Все его произведения проникнуты серьезной мыслью и живым чувством, хотя и изложены в несколько искусственной, риторической форме.

Писания Сенеки особенно отличаются своей гуманностью. Это свойство, преимущественно

присущее более поздним векам, отличает Сенеку от большинства греческих и латинских писателей. Плутарх, правда, в своей прекрасной статье «*О мясоедении*» беспощаднее обличает варварскую жестокость убоя скота и все ужасы, неразрывно с этим связанные, и, очевидно, глубже проникнут сознанием необходимости борьбы с этим злом. Тем не менее, Сенека обнимает более широкую область нравственных вопросов и в некоторых случаях, как, например, разбирая отношения между хозяином и рабами, он далеко опережает всех своих современников. В своих взглядах на подобающую человеку пищу он сходится с большинством древне-классических писателей в том, что руководится соображениями скорее духовными и аскетическими, чем гуманными.

«Суждения о писаниях Сенеки», говорит автор одной статьи о нем в «*Биографическом словаре*» д-ра Смита, «отличаются такими же противоположностями и крайностями, как и мнения о его личности. Некоторые утверждают, что мысли его выигрывают в цитатах из его писаний, но этим самым признается, что его сочинения содержат материал, достойный цитирования, чего далеко нельзя сказать о всех писателях. Сенека, несомненно, обладал высокими душевными способностями. Он имел случай изучить жизнь с разных сторон и понимал человеческую природу. Философия его, насколько она придерживалась одной школы, была стоическая; но стоицизм Сенеки был скорее эклектический, недели исключительный. Слог его изобилует антитезами и отличается некоторой искусственностью, граничащей даже с аффектацией. Тем не менее, язык его ясен и силен, выражая не одни слова, но всегда — серьезную мысль. Трудно было бы отыскать между новейшими писателями такого, который говоря о нравственности, высказал бы столько хороших и верных мыслей и выразался бы в такой привлекательной форме, как Сенека».

Иероним в своих «*Духовных писателях*» колеблется включить Сенеку в свой список святых единственно потому, что не уверен в подлинности приписываемой ему переписке с апостолом Павлом. Достоинно замечания удивительное совпадение одновременного пребывания в столице Римской империи этих двух великих учителей старой и новой веры. Весьма возможно, и даже вероятно, что ап. Павел был знаком с писаниями Сенеки; но отсутствие всякого упоминания о Павле в сочинениях Сенеки скорее указывает на то, что последний не был знаком с первым. В числе многих свидетельств о высоком достоинстве Сенеки Тацит, великий историк Римской империи, упоминает о «превосходстве и славе его философских писаний». Плиний Старший считает его «стоящим во главе всех современных ему ученых людей». Петрарк приводит отзыв Плутарха, «этого великого человека, который, хотя и будучи сам греком, смело признает, что никакого греческого писателя нельзя сравнить с Сенекой в области *нравственности*».

Следующая выписка взята из одного письма в Люциниусу, в котором Сенека, распространившись сначала о высоте учения философа Атталуса, внушавшего умеренность и воздержание в телесных удовольствиях, потом сам излагает свой взгляд на *питание* человека:

«Раз уж я начал поверять тебе, с каким увлечением я в юности принимался за учение философии, я не стану скрывать от тебя того преклонения, какое внушил мне Социон (учитель Сенеки) перед учением Пифагора. Социон излагал мне те основания, на которых сначала он сам, а позднее Сектиус решились воздерживаться от мяса животных. Социон утверждал, что человек имеет возможность находить себе достаточно питания, помимо проливания крови животных, и что жестокость неизбежно становится присущим человеку, лишь только он прибегает к убийству ради удовлетворения похоти обжорства. Он любил повторять, что мы настоятельно обязаны ограничивать нашу потребность в роскоши, что, кроме того, разнообразие в пище вредно для здоровья и несвойственно нашей природе. Если справедливы, говорил он, эти пифагорейские правила, то воздержание от мясной пищи должно приближать нас к беспорочности; если же они ошибочны, то соблюдение их, по крайней мере, приучит нас к умеренности и простоте жизни. К тому же, какой ущерб можете вы понести от потери вашей жестокости? Я хочу только лишить вас той пищи, которая свойственна львам и коршунам.

Побуждаемый этими и другими доводами, я стал воздерживаться от мясной пищи, и через год привычка такого воздержания была не только легка, но приятна. Я тогда твердо верил,

что мои умственные способности стали деятельнее

1

, и теперь считаю ненужным тебя уверять в справедливости этого. Ты спросишь, почему же я вернулся к прежним моим привычкам? Потому, отвечу я, что по воле судьбы мне пришлось в молодости жить во время царствования императора Тиверия, при котором некоторые иноземные религии стали предметом подозрения. В числе признаков принадлежности к заподозренным суевериями было воздержание от мясной пищи. Тогда, уступая мольбам моего отца, я вернулся к своему первоначальному способу питания, после чего ему уже не трудно было убедить меня без разбора участвовать и самых роскошных пиршествах...»

«Говорю я это», — продолжает Сенека, «для того, чтобы доказать тебе, как могущественны ранние порывы молодости ко всему благому и истинному под влиянием увещаний добродетельных наставников. Если мы в молодости заблуждаемся, то отчасти по вине наших руководителей, учащих нас *спорить*, а не *жить*; отчасти же — по нашей собственной вине, тем, что ожидаем от наших учителей не столько поощрения *добрых склонностей нашей души*, сколько развития способностей нашего ума. От этого и происходит то, что вместо любви к мудрости в нас оказывается только любовь к словам».

Здесь Сенека осторожно упоминает о завистливой подозрительности, с которой первые цезари относились ко всяким новшествам, в особенности, когда при этом предполагалась религиозная подкладка. Он не скрывает также и того, что сам отчасти применялся к общепринятому способу питания. Тем не менее, как знает всякий, знакомый с его разнообразными писаниями, в своей частной жизни Сенека продолжал и сам практиковать, и пропагандировать радикально преобразовательную систему питания. Изящность и мягкость его этических взглядов всем очевидны и свидетельствуют о его необыкновенной душевной чуткости.

Что касается системы питания, то он считает ее вопросом первой важности и неоднократно с настойчивостью возвращается к этому предмету. «*Мы должны жить не для нашего тела, но как бы поневоле считаясь с ним*». Он приводит слова Эпикура: «*Если вы станете жить сообразно природе, то никогда не будете бедны; если же сообразно общепринятым условным обычаям, то никогда не будете богаты. Природа требует немногого; господствующие же обычаи требуют излишеств*». В одном из своих писем он живо изображает шумное пиршество того времени, напоминающее наше празднование Рождества, — новое подтверждение того, что «история повторяется»:

«В течение декабря город (Рим)», — говорит он, «наиболее предается шумному разгулу. Общественная роскошь свободно проявляется. Повсеместно видны гигантские приготовления для еды и обжирания, как будто», — прибавляет он, «весь год не есть одна сплошная *Сатурналия*».

Этой безумной трате на обжорство Сенека противопоставляет простоту и воздержность Эпикура, который в письме к своему другу Полиену утверждает, что его собственная пища не стоит четвертака в день, между тем как приятель его Метрадор, не достигший еще такой воздержности, ежедневно тратит целый четвертак на пищу.

«Вы спрашиваете, хватает ли этого на пропитание? Вполне, и даже — на удовольствие при еде. Я понимаю, конечно, не то преходящее и поверхностное удовольствие, которое нуждается в постоянном возобновлении, но — солидное и устойчивое удовольствие. Хлеб и ячменная крупа не представляют, правда, роскошной пищи, но зато каким преимуществом пользуется тот, кто способен находить удовольствие в такой скромной пище, лишиться которой он не рискует ни при какой перемене судьбы... Пища наша требует только хлеба и воды: и никто не бывает слишком беден для такой пищи».

В другом месте Сенека говорит:

«Доколе еще будем обращаться к небу с докучливыми мольбами об излишней роскоши, как будто у нас под рукой не имеется достаточного пропитания? Доколе еще будем застраивать наши равнины громадными городами? Доколе будут бесчисленные корабли из разных стран

приводить нам припасы, хватающие лишь на один месяц? Быку для пастбища достаточно лишь одной или двух десятин. Одного леса достаточно для нескольких слонов. Один только человек поддерживает себя опустошением всей земли и всех морей. Неужели же природа снабдила нас столь ненасытным желудком при таком ничтожном по размеру теле? Нет, не голод желудка, а ненасытная наша жадность требует этих больших затрат. Саллюстий справедливо говорит, что рабов своего брюха следует причислить к числу низших животных, а не людей. Можно даже сказать, — к числу не животных, а мертвых тварей... Над дверями жилищ таких людей следовало бы надписать: «Этот человек предвкушает смерть».

Часто ссылаются на чрезвычайную трусость воздержания:

«Неприятно воздерживаться, говоришь ты, от удовольствия, доставляемого общепринятой пищей. Я допускаю, что такое воздержание бывает действительно трудно вначале. Но с течением времени потребность в прежней пище ослабевает. Вместе с прекращением того, что возбуждало ненормальные потребности, желудок, сначала протестовавший, в свое время получит отвращение к тому самому, чего прежде так жадно требовал. Потребность сама собой иссякнет, и человек легко обходится без того, по чем он перестал тосковать. Следует добавить, что нет боли или недуга, который не был бы при этом либо приостановлен, либо облегчен, либо совсем вылечен».

Во время приключившегося с ним при одном путешествии кораблекрушении, принудившего его товарищей довольствоваться самой скудной пищей, Сенека воспользовался этим случаем для того, чтобы указать на безумное излишество в пище, которому привыкли предаваться богатые люди:

«Как легко обходимся мы без этих излишеств, в которых не чувствуем потребности тогда, когда судьба их отнимает у нас. Когда я нахожусь в обществе роскошно живущих людей, то краснею от стыда, видя явные доказательства отсутствия всякой твердой веры в те принципы, которые я разделяю и провозглашаю... Нужен предостерегающий голос, чтобы противодействовать общему царствующему мнению людей: «Вы сошли с ума; вы сбились с истинного пути, вы погибаете в глупом наслаждении излишней роскошью; вы не знаете цены ни одной вещи».

Еще:

«Теперь обращусь к вам, чье ненасытное и невообразимое обжорство опустошает все земли и моря. Животных преследуют, ловят западнями и тенетами (обыкновенный способ ловли в то время крючками, не пренебрегая для этого никаким трудом. Не дается покою никакому роду животных, за исключением невкусных. А между тем, к столь многим из этих предметов, добываемых таким трудом, вы даже и не дотрагиваетесь своими губами. Так вы пресыщены всякой роскошью. Сколько вы со своим больным желчным желудком вкусите от того животного, которое было поймано для вас с таким трудом и опасностью? Вы, несчастные, не замечаете того, что голодаете вы, а не ваше брюхо».

В другом месте он говорит:

«Если бы только человеческий род слушал голоса совести, он бы узнал, что повара так же излишни, как и солдаты. Мудрость нужна во всех вещах, она содействует миру и призывает весь человеческий род к согласию.

В старину не было надобности в таком увеличении числа докторов, ни в таком количестве врачебных инструментов и лекарств. Сохранение здоровья было просто по простой причине. Разные кушанья развели разные болезни. Заметьте, какое огромное количество жизней поглощает один желудок — опустошитель земли и морей»

4

Приведем из писаний Сенеки еще одно место, в котором он увещевает людей изменить систему питания:

«Ты думаешь, что сделала важное дело, когда решился отказаться от всех приготовлений модного стола; когда тебе уже не стало нужно кабанов в 25 пудов веса и птичьих языков и других приемов роскоши, по которым теперь отказываются от цельного трупа, избирая только известную часть от каждого животного. Нет, я похвалю тебя только тогда, когда ты не будешь пренебрегать простым хлебом, когда ты убедишься, что растительная пища не для одних животных, но и для человека, и что растения дают достаточное пропитание нашему желудку, в который мы теперь набиваем драгоценные жизни, как будто мы их там сохраним навеки. И не все ли равно, чем бы ни наполнять его, так как он очень скоро должен отдать то, что пожрал? Приготовленные кушанья, составляющие добычу земли и морей, доставляют тебе удовольствие, говоришь ты... Роскошь всего этого, усиленная искусством, доставляет тебе удовольствие. Но увы, все эти предметы, с такими трудами разыскиваемые и подаваемые так разнообразно, как только они вошли в желудок, тотчас же переходят в гниение. Хочешь оценить по достоинству удовольствия пищи? Обсуди ее дальнейшую судьбу»

5

Если Сенека считает преобразование диеты предметом первой важности, он в то же время не пренебрегает и другими областями этики, которые большей частью в конце концов находятся в тесной связи с этим коренным изменением. И он одинаково превосходен и в этих других областях. Место не позволяет нам представить читателю все удивительные изречения этого прекрасного моралиста. Но мы не можем воздержаться от искушения привести несколько выдержек из его бесподобных поучений о некоторых отраслях гуманности и философии, мало оцененных, как в его, так и в последующие времена. На рабов смотрели как в языческой, так и в христианской Европе так же, как теперь смотрят на домашних животных, как бы рожденных только для выгод и удовольствия своих хозяев. Таково, по-видимому, было общее понимание их положения. Несмотря на то, что часто они умственно и нравственно были выше своих хозяев, они находились в произвольном распоряжении сплошь да рядом жестоких и капризных владельцев.

«Рабы ли они?» — красноречиво спрашивает Сенека. «Нет, они люди». Рабы ли они? Нет, они домочадцы. Рабы ли они? Нет, они смиренные друзья. Рабы ли они? Нет, они сотрудники, если принять в соображение, что хозяин и раб оба творения случая. И потому я улыбаюсь над царствующим мнением, будто стыдно сидеть за одним столом с рабом. Считается же это стыдным разве только потому, что надменный *обычай* требует, чтобы вокруг хозяина в то время, как он ест, стояла бы толпа слуг и рабов.

Он прямо обличает жестокое и презрительное обращение с рабами, и в благородных выражениях, употребленных впоследствии Эпиктетом (который сам был рабом) спрашивает:

«Думаете ли вы, что тот, кого вы называете рабом, имеет другое происхождение и рождение, чем вы, дышит не одинаковым воздухом с вами, что он дышит, живет и умирает не так, как вы?»

Он обличает высокомерное и оскорбительное обращение хозяев со своими рабами и дает следующее правило: «Живи с теми, которые зависят от тебя, так же, как бы ты желал, чтобы жил с тобой тот, от которого ты зависишь». Он сокрушается об употреблении выражения «рабы» или «слуги» вместо старинного выигрышного выражения «домашние». Он отличает обычное предубеждение людей, судящих по наружности:

«Тот человек самый глупый», — говорит он, «который ценить другого по его платью или его положению. Он раб, говорите вы? Но, может быть, он свободен душой. Истинный раб тот, кто раб жестокости, честолюбия, скупости, удовольствий. Любовь не совмещается со страхом».

Он одинаково определенно смотрит на жестокость и варварство гладиаторских и других зрелищ цирка, на которые его современники смотрели не только как на интересные представления, но и как на полезную школу для войны и выносливости, — по той же самой причине, по которой в наше время защищают всякого рода охоту, спорт. Цицерон

высказывался в этом смысле, выражая общее тогда мнение. Но Сенека не такого мнения. Он говорит о том, что случайно посетил цирк (громadный Колизей тогда еще не был построен) для умственного отдыха в надежде найти в то время одни невинные упражнения. Он с негодованием рассказывает про кровавые сцены страданий и говорит совершенно основательно, что разве не очевидно, что такие дурные примеры должны получить должное возмездие в развращении характера тех, которые их поощряют.

«О! Какой густой туман и мрак напускают на человеческую душу и могущество и благоденствие. Он (правитель) думает, что поднялся выше всех обыкновенных людей и находится на вершине славы, когда он выставил толпы людей на растерзание диких зверей; когда он заставит самых различных животных сражаться между собой; когда он в присутствии римского народа заставит течь потоки крови, приготавливая этим в будущем еще большие кровопролития»

6

В своем трактате «*О милосердии*», посвященном своему юноше-наставнику Нерону, Сенека предваряет новейшую теорию — только теорию, потому что практика и доселе не сходится с ней, — о том, что предупреждение лучше, чем наказание, и обличает жестокую и эгоистическую политику государей и правителей, которые озабочены только тем, чтобы наказывать преступников, производимых несправедливыми законами.

«Разве не сочтем мы», — спрашивает он, — «очень дурным отцом того человека, который будет наказывать своих детей постоянными ударами за самые малые проступки? Который учитель лучше и достойнее и быть учителем: тот ли, который наказывает спины учеников за то, что память изменяет им или глаз делает ошибку при чтении, или тот, который исправляет и поучает увещанием и влиянием стыда?.. Вы увидите, что те преступления чаще повторяются, которые чаще наказываются... Большое количество смертных казней не менее позорно для правителя, чем большое количество смертных случаев для доктора. Люди легче управляются мягкими законами. Человеческая душа по природе своей упряма и склонна к непокорности; и она охотнее добровольно подчиняется, чем поддается насилию. Расположение к жестокости, находящее наслаждение в крови и ранах, присуще диким зверям, и отдаваться этому чувству значит отречься от человеческой природы и уподобляться диким тварям».

Касаясь помощи нуждающимся, он говорит, что истинный человеколюбец будет отдавать свои деньги «не теми грубыми приемами, которыми подает большинство людей, желающих казаться милосердными, но презирающих тех, кому помогают, и отстраняющихся от одного прикосновения с ними; но, как смертный приговор помогает смертному, так, будто черпая из сокровищницы, представляющей общее достояние»

7

После сочинений «*О милосердии*» и «*О гневе*» его трактат «*О счастливой жизни*» можно отнести к наиболее замечательным его произведениям. Он настолько изобилует необычайно прекрасными и дельными мыслями, что затрудняешься при выборе того, что особенно заслуживает внимания. Его предостережение (столь мало принимаемое во внимание) о слепом доверии к авторитетам и традиции не может быть слишком часто повторяемо:

«Нам следует больше всего опасаться того, чтобы, как стадо баранов, следовать за толпой, нам предшествовавшей, направляясь, как это большей частью и бывает, не туда, куда нас следовало бы идти, а туда, куда прежде шли люди. Ничего не бывает так губительно, как следование авторитету с безусловным доверием, признавая наилучшими те принципы и обычаи, которые до сих пор пользовались наибольшей популярностью и поддерживались людьми с громкими именами. Мы живем, согласуясь не с разумом, но с обычаем и преданием; от этого и образуются эти громадныe груды тел, друг на друга навалившихся. Происходит то, что бывает при стечении большой толпы людей, напирających друг на друга и

топчающих упавших на землю. Если в первых рядах кто упадет, то он этим влечет за собой падение всех, сзади напирающих на него. Первый упавший служит причиной гибели многих других. Подобное явление проходит через всю жизнь человечества. Ничья ошибка не ограничивается им одним, всякая служит причиной заблуждения, когда отделимся от общего стада, ибо человеческая толпа враждебна истинному разуму и оправдывает свои собственные пороки и страдания

8

... Человеческая история, увы, не учит нас тому, что лучший путь наиболее нравится массам. Один факт одобрения толпы скорее наоборот, служит признаком сомнительного достоинства принципа или обычая. Нам следует искать то, что *лучше*, а не то, что *принято обычаем*; то, что может доставить нам вечное благо, а не то, что заслужило одобрение легкомысленной толпы, худшей представительницы истины».

Далее:

«Я ничего не сделаю ради удовлетворения общественного мнения, но готов делать все, что повелевает мне совесть».

Он отрекается от эгоистических учений в пользу принципов альтруизма:

«Я буду жить, руководясь сознанием, что пришел в мир для других... Я буду считать *весь мир* своей родной страной. Когда бы природа или разум ни отозвали меня из этой жизни, я расстанусь с ней, доказав, что любил добрую совесть, полезные стремления, что не посягал ни на чью свободу и всего меньше на свою собственную».

Достоинство внимания его обличение несправедливого и бессмысленного гнева на животных:

«Если только в безумном человеке возможно проявление ярости к безжизненным предметам, то столь же нелепо сердиться на безответных животных, так как ее может быть иной обиды, кроме *намеренной*. Вредить они нам могут — как камень или железо — *обижать* же не могут. Несмотря на то, если люди, считающие за обиду для себя, когда лошади, охотно повинующиеся одному всаднику, не слушаются другого, как будто они *нарочно* подчиняются одним более, нежели другим, а не по привычке или *вследствие известного обращения*».

Затем, о гневе в отношениях между людьми:

«Недостатки других мы постоянно имеем в виду; свои же собственные скрываем за собой... Большинство гневается не на грехи, а на *грешников*. Что касается заглазных оскорблений, доходящих до нас через третьих лиц, то *многие лгут, чтобы обмануть, многие — потому что обмануты сами*».

Говоря о самоиспытании, он приводит в пример своего превосходного наставника, Секстия, строго державшегося Пифагорова правила испытывать себя каждую ночь перед сном:

«От какой дурной привычки исцелился ты сегодня? Какой порочной склонности оказал сопротивление? В каком отношении стал лучше? Безрассудный гнев будет умеряться и окончательно исчезнет, если каждый день будет являться перед своим судьей. Может ли быть что-нибудь полезнее такого обычая строго взвешивать поступки целого дня?»

На непрочность и краткость человеческой жизни он указывает как на сильнейший довод против порока зложелательства:

«Всего действительнее в этом случае — размышления о смертности нашей природы. Пусть каждый говорит себе, как бы обращаясь к другому: что хорошего вы сделали в проявлении вражды к такому-то? Как будто бы мы рождены для вечной жизни и для того, чтобы на вечную вражду расходовать кратное время нашего существования! Какая польза в том, что время, которое бы можно было проводить в разумных удовольствиях, мы употребляем на то, чтобы причинять страдания и боль какому бы то ни было живому существу?.. Для чего стремимся мы в битву? Зачем вызываем ссоры? Зачем, забывая смертность своей природы, увлекаемся страшной ненавистью? Будучи столь непрочными существами, для чего затеваем

гибель других?.. К чему шумно и мятежно рискуешь жизнью в восстаниях? Смерть смотрит нам в глаза и подходит к нам все ближе и ближе. Минута, назначаемая тобой для погубления другого, может быть моментом твоей собственной гибели... Посмотри! Вот приближается смерть, уравнивающая нас всех. Пока живем этой брэнной жизнью, будем творить дела милосердия, гуманности; не будет причиной страха или опасности для кого бы то ни было из наших ближних, таких же смертных, как и мы. Презрим ущербы, оскорбления, обиды. Станем великодушно нести краткие невзгоды жизни».

Затем, имея дело со слабыми и беззащитными:

«Пусть каждый из вас, будучи рассержен, спросит себя: «Какое право имею я наказывать плетью или кандалами раба, оскорбившего меня своим видом или голосом? Кто я такое, чтобы оскорбление моего слуха составляло такое тяжкое преступление? Многие дают пощадку своим врагам; отчего же мне не простить ленивого, небрежного или болтливового раба?» Какой нежный возраст ограждает ребенка, принадлежность к слабому полу — женщину, личная свобода — чужестранца, так общий кров должен быть защитой слуги. Не в первый ли раз он оскорбляет? Подумаем, сколько раз, может быть, он угождал нам».

Относительно образа жизни он говорит:

«Нам следовало бы жить так, как будто бы мы были на виду у всех. Нам следовало бы мыслить так, как будто бы сокровеннейшие уголки души нашей были доступны чьему-либо взору. Ибо какая польза в сокрытии чего-либо от людей? От Бога скрыть ничего невозможно... Желает ли ты милостей неба? — Будь добр. Чит богот тот, кто подражает им (их более высокому идеалу). А мы как поступаем? Какими правилами руководимся? Не признаем ли мы, что нам следует воздерживаться от пролития человеческой крови? Неужели так трудно воздерживаться от нанесения вреда тому, кому ты обязан приносить добро? Все божеское и человеческое учение сводится к одному правилу, что все — члены одного великого тела. Природа соединила нас в одну семью, раз она произвела так из одних и тех же элементов, на которые в свое время мы опять разложимся. Она вселила в нас любовь друг к другу и создала для совместной жизни в обществе. Она установила законы правды и справедливости, и по этим законам недостойнее обижать, нежели быть обиженным; согласно ее определениям, руки даны нам для взаимной помощи... Мы должны смотреть на *действительную сущность вещей*, а не на то, как они *называются*. Будем ценить все по действительному значению, не соображаясь с мнением света. Будем любить воздержание, а первое всего будем заботиться о справедливости... Наши действия до тех пор не будут правильными, пока не будет такой же и наша воля, так как ею определяется действие».

Далее:

«Воля не будет справедлива, пока не исправлены *привычки* ума, так как их результатом является воля. Привычки, мысли, однако, тогда лишь станут наилучшими, когда будут основываться на *законах жизни в ее целом*, когда все будет исследовано с точки зрения правды».

Прекрасен его совет относительно выбора книг для чтения:

«Следи за тем, чтобы чтение многих авторов и всякого рода книг не произвело смутности и неопределенности в уме. Следует останавливаться и питать свой ум писателями несомненного гения и достоинства, если желаем извлечь что-нибудь могущее с пользой быть усвоенным. Излишнее обилие книг развлекает ум. Поэтому читай все книги, заслужившие добрую славу. Если когда-нибудь явится желание перейти на время к другого рода сочинениям, не забывай никогда возвращаться опять к прежним».

В одном письме Сенека прекрасно изображает тот нелепый способ обучения, который начинается и заканчивается *одними словами*, нимало не воздействующими на образ жизни и усовершенствованиенравственных способностей:

«Исследуя достоинство книг и писателей, следует обращать внимание на то, научают ли они *добродетели* или нет... Ты больше вникаешь в подробности путешествия Улисса, нежели заботаешься о предупреждении ошибок в своей собственной жизни. Нам некогда входить в

точный разбор того, как и в какие места Италии и Сицилии бури перебрасывали этого странника... бури нашей души постоянно играют нами, и дурные поступки повергают нас во все невзгоды Улисса... Он несравненное, превосходное воспитание! Благодаря ему, ты можешь измерять круги и квадраты и все расстояния между звездами. Все стало достижимо для твоей геометрии. Если ты такой прекрасный механик, измерь же ум человеческий. Скажи мне, как он велик или как он мал. Ты знаешь, что такое прямая линия. Какая тебе в этом польза, если ты не знаешь прямого пути в жизни. Итак что же? Все свободные науки оказываются несостоятельными? Для чего другого они пригодны, для добродетели же ничего не стоят... Они не приводят ум к добродетели — они лишь расчищают путь.

Гуманность запрещает нас превозноситься над нашими ближними, запрещает нам жадность; гуманный человек добр и вежлив со всеми — в словах, поступках и мыслях; дурно о других не думает; он любит свое высшее благо главным образом потому, что оно содействует благу других. Всегда ли внушают свободные науки эти правила? Так же мало, как мало они влияют на простоту характера и умеренность; так же мало как мало способствуют воздержанию и бережливости в жизни, — как мало способствуют милосердию, одинаково осмотрительному в пролитии чужой, как и собственной крови и признающему, что человек создан не для эксплуатации его труда другими.

Мудрость — предмет великий и обширный. Она требует всего свободного времени, которое может быть посвящено ей... С каким бы количеством вопросов ты не успел справиться, тебе все-таки придется помучиться над множеством вопросов, подлежащих исследованию и решению. Эти вопросы так обширны, так многочисленны, что требуют отстранения из сознания всего излишнего для того, чтобы предоставить полный простор работе ума. Тратить ли мне свою жизнь на одни слова?: А часто бывает, что ученые больше думают о разговорах, нежели о жизни. Заметь, какое зло порождает *чрезмерное* мудрствование, и как оно может быть опасно для истины».

В другом месте он с негодованием спрашивает:

«Что может быть позорнее или унизительнее учености, добивающейся одобрения толпы?»

Предвидя будущее торжество правды, он справедливо говорит:

«Никакая добродетель не пропадет; если на время она останется скрытой, то для нее самой это еще не потеря. Придет день, когда, пренебреженная и угнетаемая злобой своего века, правда обнаружится. Думающий, что мир ограничивается только тем пространством времени, в котором он сам живет, рожден для немногого. Пройдет еще немало тысячелетий, многие миллионы людей будут еще жить на свете. Нужно предвидеть это время. Хотя бы зависть твоих современников приговорила тебя к неизвестности, но наступит пора, когда будут судить о тебе без страха или пристрастия. Если для добродетели может быть какая-нибудь награда в славе, то таковая вечна. В сущности, разговор потомства не будет иметь для нас никакого значения; но это потомство будет чтить нас, хотя мы и не будем сознавать его похвал, и часто будем справляться с нашим мнением... То, что обольщает теперь, не имеет прочности. Фальшь искусно маскируется; но она окажется прозрачной, если ближе всмотреться в нее».

В своих *вопросах о природе*, где не один раз обнаруживается, насколько он стоял впереди не только своих современников, но даже всех средневековых ученых в отношении научной проницательности, он осуждает обычай прославлять жизнь и деятельность недостойных государей и других лиц и совершенно в духе новейшего времени восклицает:

«Насколько лучше было бы постараться искоренить зло нашей собственной эпохи, нежели прославлять в глазах потомства дурные дела прежних! Насколько лучше было бы восхвалять дела природы, чем опустошительные набеги какого-нибудь Филиппа или Александра и остальных, которые, сделавшись знаменитыми благодаря бедствиям народов, были не меньшими бичами человечества, чем наводнения, опустошающие целые страны, или пожар, поглощающий множество живых существ».

Из вышеизложенного достаточно видно, что Сенека, хотя номинально и числящийся стоиком,

в действительности не принадлежал ни к какой особой секте или партии. Не связывая себя словами какого бы то ни было учителя, он искал истину повсюду. Из авторитетов, цитируемых им с ободрением, он чаще всего ссылается на Эпикура, главного врага стоицизма. Будучи мудрее и искреннее огромного большинства сектантов, он презирает тактику партизанства. Он справедливо признает тот факт, что «роскошествующие эгоисты не заимствовали своих побуждений или санкции своего образа жизни от Эпикура; но, предаваясь своим порокам, они скрывают свой эгоизм под маской его философии». Говоря об Эпикуре, Сенека высказывается в следующих выражениях: «Вопреки обычному предрассудку популярных писателей моей собственной школы, учение Эпикура было справедливо и свято и, по ближайшем исследовании, оказывается серьезным и трезвым... Я утверждаю, что он был превратно понят, обесславлен и не оценен по достоинству».

Из приведенных отрывков легко также вывести заключение, что этика Сенеки состоит не из одних риторических упражнений или тонко очерченных различий между словами и названиями, как это сплошь и рядом встречается у древних и новых диалектиков.

VIII

ПЛУТАРХ

40-120 по Р. Х. (?)

Год рождения и смерти этого величайшего из биографов древности и наиболее привлекательного из моралистов неизвестны в точности. Из его сочинений мы узнаем, что он изучал философию в Афинах, под руководством Аммония, последователя Аристотеля. Это было в то самое время, когда Нерон совершил свое нелепое артистическое путешествие по Греции, так что время рождения Плутарха может быть приблизительно отнесено к 40-му году или около этого. Таким образом, Плутарх является современником Сенеки, но моложе его. Грек по рождению (родиной его считается Херонея в Беотии), Плутарх жил много лет в Риме и в других местностях Италии, где читал публичные лекции, бывшие в то время в моде. Его лекции посещались самыми видными представителями образованного класса того времени, между которыми были Тацит, Плиний младший, Квинтилиан и, быть может, Ювенал.

По-видимому, Плутарх был безупречен во всех отношениях общественной жизни, и его сограждане, очевидно, относились к нему с большим уважением. Он, в особенности, заслуживает удивления, как муж и отец. Смерть младшей дочери послужила поводом для одного из наиболее трогательных произведений — *«Утешения»*, обращенного к его жене Тимоксене. Сам же он умер в преклонном возрасте, в царствование Адриана.

Сочинения Плутарха довольно многочисленны. В *«Сравнительных жизнеописаниях»* он проводит параллель между греческими и римскими знаменитостями, и, быть может, из всей греческой и римской литературы, эта книга читалась всего более, на всех языках. «Причина его популярности, — по верному замечанию одного и сотрудников, д-ра Смита, — заключается в том, что Плутарх правильно понял задачу биографа — его биография есть верное изображение лица. Биография у других авторов часто представляет скучное, утомительное перечисление фактов в хронологическом порядке, и подчас только в конце приведена какая-нибудь общая характеристика. Размышления Плутарха всегда бывают уместными и дельными; везде присутствует его здравый смысл и проглядывают его честные намерения; все согрето его любовью к человечеству. Кропотливые собиратели фактов и мелкие критики могут находить какие угодно недостатки в труде Плутарха; но его книга читается и будет всегда читаться с удовольствием теми, которые способны честно мыслить и действовать.

Число мелких сочинений Плутарха, известных под общим заглавием *«О нравственности»*, доходит до восьмидесяти, включая сюда исторические, антикварные, литературные, политические и религиозные исследования. Это мелкие сочинения, как и можно ожидать при таком разнообразном подборе, самого различного достоинства, а некоторые из них, несомненно, представляют продукт ума других писателей, а не Плутарха.

Наряду с очерком *«О мясоедении»*

(креофагии), необходимо выделить как наиболее важные и любопытные две статьи: «О том, одарены ли разумом бессловесные животные», «О мыслительной способности бессловесных животных», которые представляют собой в высшей степени почтенные исследования, далеко превышающие нравственный и умственный уровень массы «образованной публики» нашего времени. Затем мы укажем еще на следующие сочинения: «Правила для сохранения здоровья»; «Слово о воспитании детей»; «Правила брака, или наставление новобрачным»; «О справедливости»; «О душе»; «Застольные беседы», где он касается многих интересных и любопытных вопросов; «Изис и Озирис», теологическое исследование «О мнениях философов»; «О лице, который появляется на луне»; «Политические правила»; «Вопросы, касающиеся философии Платона»; и последнее, не менее важное произведение его «Утешение», обращенное к Тимоксене. Плутарх написал также свою автобиографию. Если бы она дошла до нас, то это был бы один из наиболее интересных остатков древнего мира, где, как можно себе представить, должны были заключаться сведения о самых важных событиях века. Возможно, что в автобиографии Плутарха мы встретили бы выражение его чувств и взглядов, о новом религиозном учении (получившем господство 200 лет спустя), о котором, к удивлению, умалчивает сам Плутарх, а равно и другие первоклассные писатели Греции и Италии

Плутарх был особенный поклонник Платона и его школы; но он не отдавал исключительного преимущества никакой философской системе. Он был по преимуществу эклектик и выбирал из различных учений то, что, по внушению его разума и совести, казалось ему наиболее хорошим и полезным. Что касается общего влияния его литературных трудов, то, по общему заключению одного автора, «в сочинениях Плутарха преобладает доброе, гуманное направление, любовь ко всему облагораживающему и прекрасному. Читатель получает от них то же удовольствие, какое он испытывает в обществе уважаемого друга, сердечность которого проявляется во всем, что он говорит и делает». Действительно, личный характер Плутарха вполне отражается в изданных им сочинениях. Они достаточно показывают, что он был несколько суеверен и склонен к консерватизму; но при этом, равным образом, очевидно, что его нравственные понятия не были затемнены эгоизмом, который слишком часто является продуктом оптимизма или самоугодливого довольства существующим порядком вещей.

Жизнеописание Плутарха выдержали множество изданий на всех языках.

Можно удивляться и сожалеть в одно и то же время, что в наш век, богатый такими литературными или, по крайней мере, издательскими предприятиями, не было сделано ни одной попытки строго обдуманного выбора из произведений всеми уважаемого автора в форме, доступной обыкновенным читателям.

В числе многих знаменитых людей, на которых сказалось влияние произведений Плутарха, и которые отзывались о них с величайшей похвалой, были Евсевий, который ставил Плутарха во главе греческих философов, Ориген, Теодорит, Авлий, Геллий, Фотий, Свидий и Липсий. Теодор Газа на вопрос, какого автора он спас бы прежде всего при общем сожжении библиотек, отвечал: «Плутарха, так как считаю его философские сочинения наиболее полезными для общества и лучшей заменой всех других книг». Из новейших писателей Монтень, Монтескье, Вольтер и, в особенности, Руссо считал Плутарха первым из моралистов.

Плутарх, разбирая в своих «Застольных беседах», вопрос о том, «вода или суша доставляют лучшую пищу», и, резюмируя приводимые доказательства, говорит:

«Мы не можем заявлять особенных прав на животных, существующих на суше, которые питаются одинаковой пищей, вдыхают тот же воздух и пьют ту же воду, как и мы; при их умерщвлении они смущают нас своими ужасающими криками и заставляют стыдиться нашего

поступка.

Между тем, существа, живущие в воде, совсем чужды нам и живут как бы в другом мире. Ни их голос, ни их взгляд не молят нас о том, чтобы мы щадили их жизнь, и они не оказывают нам никаких услуг. Этот род животных не приносит нам ни малейшей пользы, и на нас не лежит никакого обязательства любить их. Стихия, в которой мы живем, для них преисподняя; как только они входят в нее, — они умирают;

Мы можем вывести заключение, что Плутарх дошел постепенно до познания истины; и весьма вероятно, что его очерк «*О мясоедении*» был издан им в более поздний период его жизни, как видно из того, что в некоторых из его разнообразных сочинений, касаясь этого предмета, он говорит в менее решительных выражениях о варварстве и бесчеловечности креофагии. Так, например, в «*Правилах для сохранения здоровья*», рекомендуя умеренность в пище и проповедуя воздержание от мяса, он не восстает прямо против господствующего обычая.

Но и здесь он говорит достаточно ясно в пользу безубойной диеты ради здоровья.

«Плохого пищеварения, говорит он, «можно всего больше опасаться после мясоедения, потому что мясо обременяет желудок и оставляет после себя дурные последствия. Лучше было бы приучить себя *вовсе не есть мяса*, потому что земля доставляет в достаточном изобилии предметы, не только годные для пищи, но и для нашего наслаждения и удовольствия; некоторые из них мы можем есть без особенного приготовления, другие можем сделать приятными для вкуса с помощью разных приправ».

Настолько гуманист первого столетия, хотя и не христианин, далеко превосходил не только своих современников, но и большинство писателей и ораторов нашего столетия в оценке действительных прав и положения ни в чем не повинных нечеловеческих существ, достаточно очевидно из следующей выдержки из его замечательного очерка «*О том, одарены ли разумом бессловесные животные*», которым, по-видимому, пользовался Монтень. Этот очерк написан в форме разговора между Одиссеем и Гриллем, который наравне с другими пленными колдуньи Цирцеи был превращен в животное и не хотел выйти из своего нового положения, несмотря на все убеждения Одиссея. Грилль доказывает вообще превосходство нечеловеческих рас во многих отношениях, как, например, в пище и питье:

«Также легко доказать, говорит он, что люди злые и неумеренные в своих вожделениях являются еще более неумеренными, чем другие животные, даже в необходимых вещах, как, например, в еде и питье, — удовольствиях, которыми мы (животные) наслаждаемся с некоторой пользой для себя. Но вы, люди, увлекаясь удовольствиями еды и питья свыше требования природы, терпите за это кару, в виде многих болезней, единственная причина которых — ваша чрезмерная жадность. Все виды бессловесных животных, сообразно своему роду, кормятся одним сортом пищи, свойственным их природе; некоторые едят траву, другие — коренья, иные кормятся плодами. Но человек — такова его прожорливость — *набрасывается на все*, чтобы удовлетворить требованиям своего аппетита, испытывает и отведывает всякие предмет; и до сих пор, как бы отыскивая то, что должно составлять для него наиболее подходящую и наиболее приятную пищу, один, наравне со свиньей, среди всех животных является всеядным. Он употребляет мясо *не из нужды и необходимости*, так как видит, что ему представлен свободный выбор между травами и плодами, богатство которых неистощимо, но из сластолюбия и пресыщения. Он приискивает себе нечистую и неудобную пищу, покупаемую ценой умерщвления живых существ, и этим выказывает себя еще более жестоким, нежели самые кровожадные из диких зверей. Кровь, мясо убитого животного могут прилично питать коршуна, волка и змею, *для людей это неуместные кушанья*. Бессловесные твари воздерживаются от употребления в пищу многих других видов животных и находятся во вражде с немногими из них и только потому, что их вынуждает голод; между тем, ни рыба, ни дичь, ни что живущее на земле не избегает ваших столов, хотя вас называют гуманными и гостеприимными».

Плутарх, осуждая жестокость и бесчеловечие Катона Цензора, которого обыкновенно считают олицетворением древних римских добродетелей, заявляет со своим всегдашним добродушием:

«Что касается меня лично, я не могу иначе объяснить его обращение со слугами, как бы с лошадьми или волами, высылку или продажу их в старости, как только побуждением ничтожного и не великодушного ума, который полагает, что единственной связью человека с человеком может быть только выгода или необходимость. Но душевная доброта действует в более широкой сфере, недели справедливость. Закон и правосудие касаются только человечества; но доброта и благоволение могут простираются на существа всевозможных видов. Сердце человека, полное этим качеством, подобно действующему источнику, который беспрестанно пополняет текущий из него поток.

Добрый человек заботится о своих лошадях и собаках не только пока они молоды, но и тогда, когда они не способны к работе. Так афиняне, по окончании храма богини Минервы в Акрополе, отпустили на волю животных, работавших при его сооружении, и отправили их пастись на свободе, не требуя от них никаких дальнейших услуг... Нам, конечно, неприлично обращаться с живыми существами, как с обувью и другими домашними вещами, которые выбрасывают, когда они износились от употребления; *и хотя бы только для упражнения в человеколюбивом обращении с людьми* мы должны быть сострадательными к другим существам. Что касается меня лично, я не решился бы продать старого вола, работавшего на меня, а тем более я никогда не прогнал бы с привычного ему места человека, состарившегося в моем услужении. Для него, бедняка, это было бы так же тяжело, как изгнание, потому что он в одинаковой мере бесполезен для покупателя, как был для продавца. Но Катон как будто гордится этими вещами и сообщает нам, что, будучи консулом, он оставил в Иберии своего боевого коня, чтобы не ставить на счет республики необходимых на него расходов. Предоставляю самому читателю решить, следует ли такие поступки приписать величю или низости души».

Если мы сравним эти чувства язычника-гуманиста с тем, что в данном направлении практикуется ежедневно в нашем христианском обществе, которое, между прочим, допускает «бойни» и другие подобные способы уничтожения бессловесных слуг, после непрерывного тяжелого труда всей жизни, подчас при дурном обращении и впроголодь, — то сравнение едва ли будет в пользу христиан. Мы приведем здесь главные и наиболее характерные выдержки из вышеупомянутого очерка «*О мясоедении*».

«Вы спрашиваете меня, на каком основании Пифагор воздерживался от употребления мяса животных. Я, со своей стороны, не понимаю, какого рода чувство, мысль или причина руководила тем человеком, который впервые решился осквернить свой рот кровью и дозволил своим губам прикоснуться к мясу убитого существа. Я удивляюсь тому, кто допустил на своем столе искаженные формы мертвых тел и потребовал для своего ежедневного питания то, что еще так недавно представляло собой существа, одаренные движением, пониманием и голосом.

Как могли его глаза выносить зрелище искалеченных членов, с которых содрана кожа? Как могла его обоняние выносить такое ужасное зловоние? Как, спрашиваю я, он не почувствовал тошноту от соприкосновения с гнойными ранами, от осквернения разложившейся крови и соков?»

«Нынешняя роскошь обыденной жизни служит, действительно, дурным предвестием, и стыдно, когда человеческое существо жаждет мяса вола, ревущего пред ним, и выбирает куски для своего угощения, и вырабатывает точные правила относительно различных частей мяса, жарких и разных кушаний. Вся вина падает на человека, который первый подал пример такой жестокости, но, разумеется, не на великого мыслителя, который в позднем возрасте решил не иметь ничего общего с этими ужасами.

Что касается живых существ, которые первыми прибегли к мясоедению, то извинением для них может служить полное отсутствие и недостаток средств для жизни, так как они (первобытные народы) фактически приобрели кровожадные привычки не из потворства своим похотям и не для того, чтобы предаться ненормальному сластолюбию среди избытка всего необходимого.

Если бы они могли теперь прийти в сознание и заговорить, то они воскликнули бы: «О

счастливые и любимые Богом люди, какое благодатное время в мировой истории выпало на *вашу* долю: вы сеете и преемственно пользуетесь всеми благами, которые произрастают для вас, в полном изобилии! Разве вы не собираете обильных жатв? Какое богатство на полях, сколько невинных удовольствий, которыми вы можете пользоваться среди окружающей вас со всех сторон растительности! Вы можете позволить себе роскошную пищу, не пятная рук невинной кровью, тогда как *нам* пришлось жить в самое дикое и ужасное время, какое только можно себе представить. Мы были брошены судьбой среди преобладающего и рокового недостатка самых простых потребностей жизни, в тот период первого бытия земли, когда плотная еще атмосфера скрывала от нас ясное небо, когда звезды были еще покрыты густой мрачной мглой огненных паров, и сами светила не имели определенного и правильного движения. Земной шар представлял тогда дикую и необработанную пустыню, беспрестанно затопляемую водой разлившихся рек, наполненную беспредельными болотами и лесами. Не могло быть для нас собирания плодов земных, ни какого-либо механического орудия для борьбы против природы. Голод лишил нас досуга, не могло быть тогда никаких периодов посева и жатвы.

Поэтому не удивительно, если мы, наперекор природе, прибегали к мясу живых существ, когда все наши средства к существованию состояли из дикорастущих злаков, древесной коры и даже вязкой глины, когда мы считали себя счастливыми, если случайно находили дикой корень и траву. Когда нам удавалось съесть желудь или орех бука, то от избытка благодарности и веселья мы плясали вокруг дерева, приветствуя его, как нашу мать и кормилицу. Таков был праздничный пир тех первобытных времен, когда на земле господствовали страсти и насилия, порождаемые борьбой за существование.

Но какая борьба за существование или какое неудержимое безумие понудило *вас* обогреть ваши руки кровью, — *вас*, повторяем мы, пользующихся всем необходимым и всеми удобствами существования? Зачем клеветаете вы на землю, как будто она не в состоянии питать и кормит *вас*? Зачем презираете вы благодетельную Цецеру и хулите сладкие и приятные дары Бахуса, как будто вы не достаточно получили от них?

Как вы не стыдитесь примешивать убийство и кровь к их благотворным дарам? Вы называете хищными и жестокими львов, тигров и змей, тогда как вы сами не уступаете им ни в какого рода варварствах. Между тем, для них убийство — единственное средство существования, а для *вас* это лишняя роскошь и преступление».

«В сущности, мы не убиваем и не едим львов и волчиц, что могли бы делать для нашей самозащиты, и, наоборот, оставляем их в покое, а преследуем и убиваем невинных, прирученных и беспомощных существ, лишенных оружия для своей защиты, которых природа, по-видимому, вызвала к жизни для олицетворения красоты и грации.

Ничто не приводит *вас* в смущение: ни замечательная красота их форм, ни жалобные ласковые звуки их голоса, ни их умственные способности. Единственно из-за куска их мяса мы лишаем их лучезарного солнечного света, — жизни, для которой они рождены. Мы притворяемся, что не придаем значения их жалобным крикам, между тем как в действительности эти настоятельные просьбы и мольбы, обращенные к нам каждым из них, который говорит при этом: «Мы не мешаем удовлетворению ваших действительных нужд, но восстаем против распутного потворства вашим похотям. Убивайте для еды, если необходимо, и вы хотите этого, но не убивайте нас ради обжорства!»

«Можно только жалеть о нашем диком бесчеловечии! Ужасно видеть столь богатых людей с грудями разукрашенных мертвых тел, а также столы мясников и поваров; но еще более ужасный вид представляет этот самый стол *после* пиршества, потому что даже количество оставшихся объедков превышает потребление. Следовательно, эти жертвы бесполезно лишились жизни. В других случаях хозяин прямо из жадности жалеет раздать свои кушанья, но он не пожалел, однако, лишить жизни невинных существ.

Итак, я отнял возможность оправдания у тех, которые ссылаются на требования природы. Прежде всего, строение нашего тела доказывает, что человек не мясоядный, как видно из того, что ни одно из животных, которым назначено питаться мясом, не имеет сходства с человеком. У человека нет изогнутого клюва, ни жестких когтей и клешне, ни острых зубов,

ни напряженной деятельности желудка. Напротив, судя по его гладким зубам, малой вместимости рта, мягкому языку и медленности его пищеварительного аппарата природа совсем не предназначила ему питаться мясом.

Если, несмотря на все это, вы будете еще утверждать, что природа предназначала вас для такой пищи, то начните с того, что убивайте *сами* то, что вы хотите съесть, но делайте это вашим природным оружием, не употребляя ножа мясника, ни топора или дубины. Итак, подобно тому, как волки, львы и медведи умерщвляют сами все, чем они питаются, так и вы, равным образом, убивайте корову или быка, впиваясь с них челюстями, грызите свинью зубами, набрасывайтесь на зайца или овцу и разрывайте их на ходу, не разбирая места и времени. Исполнив предварительно все это, садитесь *тогда* за свой стол. Но если вы ждете, чтобы живое и думающее существо было лишено жизни другим, и если вам самим противно вырвать сердце и пролить кровь вашей жертвы, то зачем, спрашиваю я вас, наперекор природе и жалости, вы питаетесь существами, одаренными сознательной жизнью: Более того, даже тогда, когда ваши жертвы убиты, вы не хотите есть их в том самом виде, как они доставлены с бойни. Вы варите, жарите, подвергаете их полной метаморфозе с помощью огня и приправ. Вы окончательно видоизменяете убитое животное употреблением десяти тысяч душистых трав и пряностей, чтобы ваш природный вкус был обманут и подготовлен для принятия неестественной пищи. Верное и остроумное замечание было сделано спартанцем, который купил рыбу и отдал ее приготовить своему повару. Когда последний спросил у него сливочного и оливкового масла и уксуса и разных специй, то он сказал: «Ну если бы я имел все эти припасы, то я не купил бы рыбы!»

Мы до такой степени наслаждаемся кровопролитием, что называем мясо «деликатесом» и для того же мясного блюда непосредственно требуем тонких соусов и мешаем вместе оливковое масло, вино, мед, соленые овощи и уксус со всякого рода пряностями Сирии и Аравии, — и всякую всячину, как будто бы мы бальзамируем человеческое тело. Когда все эти разнородные вещества смешались, рас творились и до известной степени испортились, то предоставляется желудку переваривать и ассимилировать их, — если он может. Хотя это достигается отчасти на некоторое время, но естественным последствием являются различные болезни, вызванные недостаточным пищеварением и тучность.

Мясоедение противно не только нашей физической природе, но и в других отношениях. Ум и мыслительная способность тупеют от пресыщения и тучности; мясная пища и вино, быть может, придают плотность телу, но это только способствует ослаблению ума. Чтобы не возбудить неудовольствие борцов, награждаемых призами (атлетов), я воспользуюсь более близкими примерами. Остроумные люди в Афинах, как известно, осыпают нас, беотийцев, эпитетами «грубый, тупоголовый, бессмысленный», и главным образом из-за нашей грубой еды. Нас даже называют «свиньями». Менандр дал нам кличку «народ, работающий челюстями». Пиндар утверждает, что «ум имеет для беотийцев весьма второстепенное значение. Гераклит с иронией говорит, что у них «тонкое понимание сомнительного достоинства».

Помимо всех этих причин, может ли быть что прекраснее развития склонности к человеколюбию: Кто с добротой и кротостью относится к существам других видов, может ли он быть когда-либо способным сделать зло однородному с ними существу: Я помню, как мне передавали, в разговоре, слова Ксенофонта, что афиняне наложили пеню на человека, содравшего кожу с живой овцы. Тот, который мучает живое существо, не многим хуже того, кто умерщвляет его безо всякой пользы. Мы имеем, по-видимому, более ясное представление о том, что противно праву собственности и обычаю, нежели о том, что противно природе.

Разум доказывает не только посредством наших мыслей, но и желаний, что для нас сравнительно новы дикое пиршества креофагии.

Но Катон говорит, что трудно рассуждать с желудками, так как у них нет ушей; и «одуряющее питье обычая» выпито, как напиток Цирцея, со всеми его чарами и колдовством. В настоящее время, когда люди так пресыщены и проникнуты любовью к удовольствию, нелегкая задача отучить их от мясоедения и отнять у них это лакомство.

Хорошо было бы, если бы мы брали пример с египтян, которые отворачиваются от дневного света, когда потрошат своих мертвецов, и выбрасывают их внутренности, как главный источник и корень их грехов, — и, подобно им, отрешились бы окончательно от пролития крови и прожорливости и проводили бы в чистоте остаток нашей жизни.

Если бескровная пища оказывается невозможной для некоторых вследствие укоренившейся привычки, то пусть они пожирают мясо от голода и с чувством стыда, а не из-за похотливого сластолюбия. Умерщвляйте свою жертву, но делайте это с чувством жалости и огорчения, а не с беспечным равнодушием; и не мучьте ее. Между тем, это делается различными способами. Некоторые мясники бьют или стряхивают вымя супоросых свиней, чтобы, смешав вместе кровь, молоко и тело зародыша, доставить приятную пищу из этого ненормального и в высшей степени воспаленного мяса.

Также ужасен общепринятый обычай выкалывать глаза у журавлей, гусей и других птиц и сажать их для откармливания в темное место. Этим и другими подобными способами изготавливаются ваши лакомые блюда со всякого рода соусами и приправами, и люди удовлетворяют своему беззаконному аппетиту не для необходимого питания и не из нужды, а единственно для потворства своим прихотям, прожорливости и выставки напоказ».

11

В числе знаменитых и более ранних современников Плутарха, которые придерживались строгого, проповедуемого им воздержания, заслуживает особенного внимания пифагореец *Аполлоний Тианский*, один из самых замечательных людей своего века. Он родился в 4 году по Р. Х. Факты и вымышленные происшествия его жизни сообщены Филостратом, который написал его мемуары по требованию императрицы Юлии Домны, супруги Севера.

Аполлоний, по свидетельству его биографа, происходил от знатных предков. В раннем возрасте он усердно занимался наукой в вечно памятном Тарсе, где он мог познакомиться с великим гонителем христианства, впоследствии ставшим ревностным распространителем его.

Возмущенным сластолюбием окружающего его общества, Аполлоний удалился в более сродную ему атмосферу, занялся изучением различных философских школ: эпикурейцев, стоиков, последователей Аристотеля и др. — и окончательно отдал предпочтение пифагорейцам.

Он вел самую суровую аскетическую жизнь, усиленно путешествовал, посетил сперва Ниневию, Вавилон и, как говорят, Индию, а впоследствии Грецию, Италию, Испанию, принадлежавшие Риму страны Африки и Эфиопии. По восшествии на престол Диоклетиана он едва избегнул рук этого тирана. Аполлоний провел последние годы своей жизни в Ефесе.

К сожалению, жизнеописание Аполлония, написанное Филостратом, согласно вкусу века, неизбежно лишено критики, так переполнено противоестественным и чудесным, что это подрывает доверие к действительному факту, что пифагорейский философ был одарен необыкновенными умственными и нравственными способностями, которые в те времена могла казаться сверхъестественными. Жизнеописание было составлено долгое время спустя после смерти Аполлония, и, таким образом, фантазии биографа было предоставлено довольно широкое поле; но едва ли можно оспаривать, что его измышления, несомненно, основаны на действительных событиях. В биографии встречается следующее место, которое по своему дальнейшему значению заслуживает особенного внимания: «Великий чудотворец остановился случайно в одном городе Памфилии (в Малой Азии), где народ умирал с голоду среди изобилия, вследствие себялюбивых расчетов хлебных монополистов и, доведенный до отчаяния, готов был сделать нападение на ответственные власти. Аполлоний во время этого кризиса написал следующее воззвание и поручил начальнику города прочитать во всеуслышание:

«Аполлоний посылает поклон хлебным монополистам в Аспендосе. Земля общая мать всем, потому что она справедлива. Вы несправедливы, потому что вы сделали ее матерью *вас одних*. Если вы не перестанете действовать таким образом, я не допущу, чтобы вы

оставались на ней».

Филострат утверждает нас, что монополисты, «смущенные этими негодующими словами», наполнили рынок хлебом, и город оправился от постигшего его бедствия.

IX

ТЕРТУЛЛИАН

160-240 (?) по Р. Х.

Это первый по времени из латинских отцов Церкви пользовался наибольшим уважением среди духовенства

12

, как первый апологет христианства, несмотря на всем известную ересь, которой он придерживался под конец своей жизни.

Тертуллиан родился в Карфагене; он был сын сотника в войсках африканского проконсула при императорском правлении. Мы имеем весьма мало сведений о фактах его жизни, а также не знаем в точности, когда он обратился к новой религии и когда был посвящен в пресвитеры. Дурное обращение, которому он подвергся со стороны своих клерикальных собратий в Риме, по-видимому, понудило его соединить свою судьбу с сектой монтанистов, в защиту которых он написал много книг. Он дожил до глубокой старости.

Из многочисленных сочинений наиболее известна (по крайней мере, по имени) «Апология, или защита христианства против язычества». Из его других трактатов мы можем указать: «О зрелищах», «Об идолопоклонстве», «О военной короне» (вид награды, где Тертуллиан поднимает вопрос о законности упражнений воинов в насилии и кровопролитии, хотя скорее со стороны условий языческого церемониала), «Об одноженстве», «Об одеянии женщин», расточительность которых служила поводом для красноречивых обличений «отцов церкви», «Послание к жене» и пр. Трактат Тертуллиана, который касается занимающего нас вопроса, носит название «О посте, или воздержании; против плотоугодников».

Тертуллиан ставит себе задачу изобличить уловку христианских проповедников, которые, чтобы доказать законность мясоедения, ссылаются на мнимый авторитет Христа и Его апостолов; при этом он особенно восстает против (мнимой) защиты креофагии ((I Тим. IV. 3). Что касается известного стиха в книге Бытия, который предписывает растительную пищу, то противники воздержания ссылаются на разрешение, данное впоследствии людям после потопу.

«На это мы возразим, — говорит Тертуллиан, — что напрасно было бы отягощать прямым предписанием воздержания человека, для которого даже такое легкое предписание как запрещение вкушать один вид плодов, оказалось не по силам. Вследствие этого, он был избавлен от строгого воздержания, чтобы, в силу предоставленной ему свободы, он научился приобретать душевную крепость. Господу угодно было предписать человеку воздержание, по силе оказанной ему милости, и, как сказано выше, с тем, чтобы первородный грех мог быть искуплен большим воздержанием при большей свободе поступков».

Тертуллиан приводит разные места из еврейского Писания, где Иегова и Его пророки приписывают причины языческих склонностей и преступлений древних иудеев мясоедению и неумеренной пище.

«Основательно или нет, — продолжает он, — объяснил я причину, почему Господь осуждает нашу обычную пищу, а божественная воля возложила на нас обязательство отказаться от нее, — пусть решит собственная совесть людей. Не указывает ли нам сама природа, что перед насыщением и неумеренным питьем мы обладаем несравненно большей силой ума и большей восприимчивостью чувств, нежели в то время, когда вся вместительность наших внутренностей переполнена кушаньями, залита винами и, приведенная в брожение нечистотами при пищеварении, обращена в подготовительное место извержения».

«Я сильно заблуждаюсь, если Сам Господь, порицая Израила, забывающего завет Его, не приписывал это перевыполнению их желудков. Наконец, в книге Второзакония, остерегая народ Свой от того же греха, Он говорит: «Когда будешь есть и насыщаться, когда будет у тебя много крупного и мелкого скота» и пр.

«Он, видимо, почитает гнусность обжорства большим грехом, недели все другие развращающие последствия богатства. Так велико преимущество умеренной жизни, что Господь остается в этом случае с людьми, пребывает с ними (как бы) на равных условиях. Предвечный Господь, по свидетельству Исаяи, не испытывает голода, и человек может сделаться равным Божеству, когда он позволяет себе пресыщения в пище».

Затем Тертуллиан указывает на пример Даниила и его товарищей, которые употребляли «овощи и воду вместо царских яств и вина» и оказались красивее других; в то же время еще больше «даровал Бог четверем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости». Что касается духовенства, то:

«Господь сказал Аарону: Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою» и пр. (кн. Левита X, 9). Равным образом, Он выражал Свой гнев Израилю? «А вы назареев поили вином» (Амос II, 12)... Здесь это запрещение питья существенно связано с растительной пищей. Таким образом, где воздержание от вина требуется Богом, или где человек дает подобный обет, там можно разуметь воздержание от неумеренного питания *вообще*, как в еде, так и питье. Несовместимо с правдой, чтобы человек принес только в жертву Богу *половину* своего желудка, чтобы он был умерен в питье и неумерен в еде

13

Вы пожалуй возразите, что это (воздержание) должно соблюдаться согласно воле каждого человека, а не в силу настоятельной обязанности. Но в таком случае вы ставите в зависимость от ваших произвольных склонностей то, чего не хотите предоставить воле Божией? Разве большая свобода должна быть предоставлена человеческим склонностям, нежели божественной власти? Со своей стороны я утверждаю, что, признавая себя свободным от обязанности следовать обычаям света, я не свободен от обязанности к Богу».

Что касается известных изречений св. Павла (Рим. XIV. 1 и пр.), то Тертуллиан утверждает, что они относятся к известным проповедникам воздержания, поступками которых руководит тщеславие, а не любовь к истине.

«Ваш желудок — ваш бог, — с негодованием упрекает Тертуллиан защитников креофагии, — ваша печень для вас — храм, ваш живот для вас — алтарь, повар — ваш жрец, а жирное испарение яств — ваш святой дух; приправы и соуса — ваше муро, а последствия пресыщения — ваши прорицания. Я всегда признавал охотника Исава, — продолжает Тертуллиан с горькой иронией, — за человека со вкусом; подобно ему, все ваше искусство и интерес заключается в охоте и ловле, — по его стопам, возвращаетесь в «с поля» вашей распутной охоты. Если бы, в это самое время, я предложил вам блюдо похлебки, — вы, без сомнения, не задумываясь, продали бы все ваше «право первенства». Ваша любовь воспламеняется кухонными горшками, в кухне усиливается ваша вера, в мясных блюдах скрыта вся ваша надежда... Кто пользуется у вас наибольшим уважением, как не устроитель частных обедов, как не хозяин пышных пиршеств, как не человек опытный в провозглашении тостов?

Вы, люди плоти, постоянно отвергаете проявление духа. Но если ваши пророки потворствуют подобным людям, они не мои пророки. Зачем вы не проповедуете постоянно «Будем есть и пить потому, что завтра нас постигнет смерть», подобно тому, как мы проповедуем: «Будем воздерживаться, братья и сестры, так как завтра, быть может, нас постигнет смерть».

Мы можем открыто и смело защищать наше учение. Мы уверены, что «живущие по плоти Богу угодить не могут». Конечно, нужно понимать, что дело не «во внешности и сущности

плоти», а в заботе, склонности и вожделении к ней. По нашему мнению, нечего сожалеть о меньшей тучности, потому что Господь дал нам *тело не по весу*, равно, как и даровал нам *дух не мерой*... Предоставим гладиаторам и кулачным бойцам откармливать себя; для них достаточно удовлетворения плотского тщеславия. Но даже и они становятся сильнее, питаясь растительной пищей. Но мы ставим себе целью другого рода силу и крепость, и наше состязание иное мы боремся не против плоти и крови. Против наших противников должны мы бороться не средствами плоти и крови, но верой и силой духа. Пресыщенный христианин потребнее львам и медведям, нежели Богу, хотя нам, как бы для защиты от диких зверей, даже было бы выгодно соблюдать воздержание».

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

+220 (?) по Р. Х.

Отношение первых великих христианских писателей и апологетов к вопросу о полном воздержании было несколько своеобразное. Воспитанные в школе Платона, в пору последнего развития неоплатонизма, они, конечно, были анти-креофагами, как по своим крайним убеждениям, так и личным симпатиям. Равным образом традиции раннего периода истории христианства совпадали с их дохристианскими убеждениями, так как непосредственные и доверенные представители основателя новой религии, руководившие первым христианским обществом, по общему отзыву, строго воздерживались от мясоедения, подобно своим предшественникам и современникам ессенианам.

В течение первых трех или четырех столетий христианские пустынножители не только не употребляли мяса, но были самыми крайними вегетарианцами и, если верить их жизнеописаниям, далеко превосходили наиболее умеренных из новейших аскетов. Это хорошо известно всякому, кто сколько-нибудь знаком с церковной историей и в особенности с историей пустынножительства. Поэтому мы считаем лишним распространяться об этом факте.

Тит Флавий Климент, основатель знаменитой александрийской школы христианского богословия, один из наиболее ученых и философски образованных отцов Церкви, родился, по общепринятому предположению, в Афинах.

Тит Флавий много путешествовал и изучал различные философские системы на Востоке и Западе. Приняв христианскую веру, он занялся изучением новой религии в школах прославленных наставников, из которых нам известно только имя Пантения. После смерти Пантения, Климент сделался его приемником по кафедре богословия в Александрии и, вероятно, около этого времени был возведен в сан пресвитера. Он продолжал свои лекции с громадным успехом до 202 года, когда преследования христиан при Севере заставили его удалиться из египетской столицы. Затем он нашел убежище в Палестине и, по-видимому, более не возвращался в Александрию. Мы не имеем ни каких сведений ни о времени, ни о причине его смерти; но, по некоторым данным, он умер в 220 году. Из его учеников наиболее знаменитый и едва ли не равный ему по учености и дарованиям был Ориген, преемник его профессорской кафедры в Александрии.

Климент написал три значительных труда: *«Увещательное слово, обращенное к грекам»*, *«Педагог»*, точнее *«Попечитель или руководитель для школы»* и *«мелкие сочинения»*. Эти три труда, согласно цели автора, должны были составить полное посвящение в таинства и наставление в христианском богословии и нравственности. Первое сочинение включает обращение к греческому языческому миру, второе к новообращенному христианству; в третьем сочинении автор приводит посвященного к высшему знанию. *«Мелкие сочинения»* Климента первоначально состояли из восьми книг, из них последняя утрачена. Вся серия этих сочинений имеет особенное значение не только как изложение мнений даровитого и философски образованного мыслителя, составляющего одно из связующих звеньев между греческой философией и христианской религией, но и в том отношении, что здесь собрано множество сведений о греческой жизни и литературе. Красноречие, серьезный тон и ученость составляют отличительные черты сочинений Климента.

Название и значение гностика или философского христианина всецело принадлежит Клименту Александрийскому не только в историческом, но и в тесном значении слова; он сам признавал себя электиком (то есть собирателем мыслей из разных школ), на сколько допускало это либеральное истолкование его религии. *«под словом философия, — говорит он, — я не подразумеваю стоиков, платоников, эпикурейцев или последователей Аристотеля, но все то, что было сказано справедливого относительно религиозной науки в учении каждой из этих сект, всю эту избранную истину я называю философией»*. С другой стороны, разделяя чувства Сенеки, он сожалеет о том, что *«мы склоняемся больше к прославленным верованиям, хотя бы противоречивым, нежели к истине»*.

В своем втором трактате: «Педагог или Наставник», Климент высказывает свое мнение по вопросу о мясоедении: «некоторые люди живут для того, чтобы есть, как те бессловесные существа, которых жизнь – их желудок и не что иное». Но Высший *Наставник* предписывает нам есть, чтобы жить. Ни еда не может быть нашим занятием, ни удовольствие нашей целью. Поэтому в пище следует быть разборчивым: она должна быть самая простая и несложная, вполне подходящая к простым и безыскусственно воспитанным детям и служить для жизни, а не для сластолюбия. Жизнь, которой помогает питание, зависит от двух вещей: здоровья и силы; для этого годится больше простая пища, так как она способствует пищеварению и легкости тела, а это дает рост, здоровье и действительную силу. Мы не называем силой то, что связано с жестокостью, буйством и безобразием, подобно силе *атлетов*, произведенной искусственным питанием».

При этом Климент, ссылаясь на слова Христа: «Когда делаешь пир, зови нищих... ибо никто из тех званых не вкусит моего ужина», говорит о богатых:

«Они не поняли еще, что Бог даровал Своему творению (я говорю о человеке) пищу и питье для *прокормления*, а не для удовольствия, потому что излишек в еде не приносит пользы телу. Наоборот, те, которые употребляют наиболее умеренную пищу, самые сильные, самые здоровые и достойные; равным образом, слуги здоровее и сильнее своих господ, земледельцы здоровее и сильнее собственников земли и не только сильнее, но умнее богатых людей, потому что ум их не подавлен пищей. Совсем неестественно и бесчеловечно, чтобы живущие на земле наедались до ожирения и, подобно скоту, *откармливали себя на убой*. У вас повара пользуются большим уважением, чем возделыватели земли. Мы не думаем восставать против общественных условий и только относимся с недоверием к опутывающим нас сетям обычая и считаем их роковым злом. Поэтому лакомства должны быть уничтожены, и нужно довольствоваться немногими и необходимыми припасами... Не годится также есть и пить одновременно. Крайняя степень невоздержания смешивать несоединимое, так как для всякого дела свое время. «Когда вы едите и пьете, делайте это во славу Бога». Стремитесь к истинному воздержанию, которому, как мне кажется учил нас Христос.

«Мы должны остерегаться всякого рода пищи, которая побуждает нас есть, когда мы не голодны, или обманывает наш аппетит. Разве, и помимо нарушения умеренности, нам не предоставлено достаточное разнообразие здоровых яств – овощи, коренья, маслины, зелень, молоко, сыр, плоды и всякого рода сухоедаения? Из различных яств сааме надлежащие те, которые без огня годятся для немедленного употребления, так как легче добыть их; во-вторых, *наипростейшая*, как упомянуто выше. Люди придерживающиеся возбуждающих яств, способствуют развитию своих собственных болезней и находятся во власти всепоглощающего недуга, который я решаюсь назвать демоном желудка: это худший и самый низкий из демонов. Не лучше ли наслаждаться счастьем, нежели носить в себе демона? А между тем только упражнение в добродетели дает счастье.

«Что касается иудейских законов, — говорит Климент, — то умеренность была предписана иудеям самым систематическим способом их законом. Руководитель их Моисей лишил их употребления бесчисленных предметов, приводя причины, из которых духовные были скрыты, а плотские очевидны; и этим последним они доверяли.

«Таким образом, только немногие (животные) были признаны годными для их пищи. Из тех, к которым им дозволено было прикасаться, Моисей запретил употреблять «тук из мертвого, тук из скота, который приносится в жертву Господу, и «скота растерзанного зверем»; так что и прикосновение к ним было незаконно.

Вот, что говорит Платон, этот ищущий правды философ, по поводу невоздержанной жизни: «Когда я прибыл сюда (в Сиракузы), жизнь, которую здесь называют счастливой, не понравилась мне ни с какой стороны. Ни один человек в поднебесной, воспитанный в молодости при этих условиях, никогда не будет мудрецом, хотя бы он был одарен самыми удивительными и гениальными способностями». Пища язычников отличалась излишеством, и ни один из употреблявших ее не старался приучить себя к умеренности и зарывал свой ум в живот, подобно рыбе, называемой *олос*, которая, по словам Аристотеля, была единственным

существом, имеющим сердце в желудке. Эпихарм, комический поэт, называет эту рыбу «чудовищным животом». Таковы и люди, поклоняющиеся желудку; «их живот для них бог, слава в их посрамлении, душа привязана к земному.

Переходя к вопросу о жертвоприношении, Климент случайно знакомит нас со своим мнением о неумеренном питании. Он приводит выдержки из многих греческих поэтов, которые поднимали на смех обычай и самый способ умиловительных жертвоприношений. Так, например, из Менандра:

Куски негодные, ближайшие к хвостам,
Да желчевый пузырь с невкусными костями
Жрецы охотно в дар приносят небесам,
А остальное все — съедают сами.

«Если действительно, — замечает Климент, — запах яств был особенно приятен греческим богам, то грекам следовало бы начать с обоготворения поваров и поклониться самой печке, которая всего ближе прикасается к прославленному запаху!»

«Если, — добавляет, кстати, Климент, — божество ни в чем не нуждается, то для чего нужна ему пища? Итак, если питательные вещества, принимаемые ноздрями, более чисты, чем те, которые приняты ртом, то и здесь необходимо дыхание. Что же могут сказать греки о своем божестве? Одарено ли оно свойством *выдыхания*, подобно дубовым деревьям, или оно только вдыхает, как земноводные животные, посредством расширения жабр, или оно дышит всем своим существом, как насекомые?»

Единственный чистый алтарь, по мнению Климента, тот, который был одобряем Пифагором:

«Самый древний алтарь в Делосе славился своей чистотой, и так как он не был осквернен убийством и смертью, то говорят, что это был единственный алтарь, к которому дозволял приближаться Пифагор. Почему же они не верят нам, когда мы называем праведную душу истинно святым алтарем? Но я полагаю, что жертвоприношения были придуманы людьми, чтобы иметь *предлог для мясоедения*, хотя и без этого идолопоклонства они могли вкушать мясо».

Затем Климент касается общеизвестного повода к пифагорейскому воздержанию и заявляет:

«Если праведный человек не отягощает свою душу мясоедением, то у него есть основательные причины, чего нельзя сказать о мечте Пифагора и его последователей относительно переселения души. Между тем, Ксенократ, по-видимому, ясно утверждает, что мясная пища вредна для здоровья. Некоторые едят свиней, потому что они бесполезны; другие за то, что они уничтожают плоды; третьи не едят их, так как считают, что такая пища способствует развитию чувственности. Говорят, что наибольшее количество жирных веществ получают от свиного мяса; но, в таком случае оно вполне годится для тех, которые думают только о своем теле, и не нужно тем, кто заботится о своей душе, по той причине, что мясоедение способствует притуплению способностей. Гностики также могут воздерживаться от свинины, с воспитательной целью, чтобы не распускать в теле плотской распущенности. «Вино, — говорит Андокид, — и неумеренное питание мясом усиливает чувственность, но ослабляет душу». На этом основании подобная пища должна быть отвергнута, так как она затемняет разум.

В одной из глав своих *Мелких сочинений* Климент разбирает сравнительные достоинства языческого и иудейского кодекса нравственности и красноречиво доказывает превосходство последнего. В числе других доводов, он поднимает, отчасти, вопрос о признании прав низших животных, хотя не полном, но любопытном в том отношении, что это единственный пример в христианском богословии. Он указывает по этому поводу, на сколько греки обязаны иудеям:

«Пифагор, как мне кажется, позаимствовал свою жалость к животным из иудейского Закона. Так, например, он запретил отнимать у матери, некоторое время спустя после рождения, ягнят, козлят и телят, не разрешая убивать их даже для жертвоприношения. «Предоставьте, — говорил он, — на некоторое время родившееся животное его матери. Ничто не бывает без

причины, и молоко в значительном количестве вызывается родами для пропитания потомства; и тот, который лишает молодое животное запаса молока и груди матери, бесчестит природу».

Затем Климент, обращаясь к иудейской религии, говорит: «Закон также запрещает убивать упомянутых животных в утробе матери, пока они не появились на свет, косвенным образом удерживая склонность людей вредить другим людям. Этим путем Закон распространяет свое милосердие на бессловесных животных с тою целью, чтобы, оказывая гуманность существам других рас, мы проявляли еще большую степень гуманности относительно равных себе. Те, которые бьют по животу животных, носящих плод, — для того, чтобы полакомиться мясом не родившегося существа с примесью молока, обращают утробу, созданную для развития зародыша, в его могилу, хотя Господь прямо повелел «не варить ягненка в молоке его матери»

14

1

В своем примечании к этому месту знаменитый голландский комментатор Линсиус говорит: «Я вполне разделяю это чувство. Постоянное употребление европейцами мяса делает их глупыми и грубыми».

2

Эта же печальная мысль встречается и у Монтеня.

3

Липсиус здесь приводит стихи Лукана, которого он считает больше философом, чем поэтом: «Научитесь тому, сколь мало нужно для поддержания жизни, и — чего требует природа: дары Цецеры и вода представляют достаточную пищу для всех народов».

4

Сравни обличение Попом обжорства человеческого рода, называемого им «убийцей и могилой половины всего живущего».

5

Сравни столь же красноречивое поучение об этом же предмете св. Златоуста (толк. I на Колосс. I), который как будто заимствовал свои слова у Сенеки.

6

Говоря о действии мясной пищи на атлетов, Аристон сравнивает последних с колоннами гимнастического здания: «такие же склизкие и каменные». Диоген Синопский на вопрос, почему атлеты так лишены и смысла, и рассудка, отвечал: «потому что они сделаны из говяжьего и свиного мяса». Гален, знаменитый греческий врач 2 века, делает то же замечание о пресловутой глупости этого сословия — атлетов — и прибавляет: «Общее свойство человечества то, что грубый желудок не соединяется с утонченной душой». То же самое говорит и греческая пословица: «Толстое брюхо не родит тонкого ума».

7

«О милосердии» I и II. Автора упрекали в том, что он льстил тирану. Обвинение это, однако, несправедливо, ибо Нерон в то время, когда сочинение это было посвящено, еще не проявлял своей позднейшей порочности и жестокости. Как в более к нам близкие времена Вольтер, Сенека расточал, быть может, чрезмерные похвалы в надежде привлечь сильных мира сего к справедливости и добродетели.

8

Сравни грустные слова великого еврейского пророка: «Пророки пророчествуют ложь» и т. д. Книга пророка Иеремии. Гл. 5, ст. 31.

9

Этот очерк принадлежит к числу весьма замечательных из дошедших до нас литературных произведений древности. Особенный интерес и важность придают ему пронизательность, с какой упреждены здесь новейшие аргументы из сравнительной физиологии и анатомии, серьезный тон, искренность чувства и красноречивое воззвание к высшим инстинктам человеческой природы. Ввиду сказанного, мы помещаем этот очерк в конце нашей статьи.

10

Полное умалчивание Плутарха о христианстве может быть объяснено его крайним консерватизмом, который не мог помириться с исключительной религиозной системой, так резко порвавшей со священными традициями «уважаемого прошлого». Кроме того, христианство еще не приняло тех грандиозных размеров, какое оно имело в век Лукиана, равнодушие которого еще более, чем Плутарха, должно поражать нас.

11

Таков был, по-видимому, один из общепринятых методов пытки в бойнях в первое столетие нашей эры. Что касается изобретательности в кулинарной пытке, то еще вопрос, не принадлежит ли пальма первенства способу «выпускания крови из телят» или предварительным операциям для изготовления страсбургских пирогов, или же каким-либо другим подобным методам, практикуемым в наше время.

12

Так велико было уважение к нему позднейших отцов Церкви, что Киприан, знаменитый карфагенский архиепископ, «ученый руководитель всех западных Церквей», принимаясь за изучение сочинений Тертуллиана, говорил обыкновенно: «Дайте мне моего учителя».

13

Эта истина имеет такое важное значение, что мы решаемся обратить на нее серьезное внимание тех филантропов и гигиенистов, которые являются приверженцами того, что можно назвать теорией полу-умеренности, т. е., воздержания от алкогольных напитков, но не от мяса.

14

К сожалению, мы должны добавить, не в пользу иудейской гуманности, что способ убивания животных (собственно предписанный религиозными законами иудеев) приносит еще большую сумму страданий и пытки для животного, нежели способ, принятый у христиан. Этот факт достаточно доказан многими компетентными свидетелями. Жестокость иудейского способа убивания скота обратила на себя особенное внимание последнего международного конгресса представителей европейских обществ «Покровительства животных».

ХІ

ПОРФИРИЙ

233-306(?) по Р. Х.

Порфирий родился или в Тире, или в одном из ближайших к нему городов. Его первоначальное имя — Малхе, греческая форма сирийского слова — Мелехе (царь), но он

более известен под именем Порфирия. Он был особенно счастлив в своих наставниках. В числе их были Лонгин, самый красноречивый и изысканный из последних греческих критиков, под руководством которого Порфирий изучал науки в Афинах; Ориген, один из самых независимых и ученых христианских мыслителей, от которого он, вероятно, заимствовал свои обширные сведения в богословской литературе; и, наконец, Плотин, знаменитый основатель неоплатонизма, который учредил свою школу в Риме в 244 году.

Порфирий сделался искренним и горячим последователем своего любимого наставника Плотина и принять на себя окончательный пересмотр и издание его объемистых сочинений. Он прожил шесть лет со своим наставником, но тут сомнения на столько овладели его умом, что он хотел лишиться себя жизни, чтобы избавиться от оков плоти; но, уступая убеждениям наставника, предпринял путешествие в Сицилию для поправления здоровья и восстановления душевного спокойствия. Это было в 270 году, на тридцать седьмом году его жизни. Возвратившись в столицу, после смерти Плотина, он продолжал свой почтенный, но бесплодный труд преобразования древней религии, которая дошла до последнего упадка; и этому любимому делу он действительно посвятил всю свою жизнь. Порфирий женился в преклонных летах на Марцелле, вдове одного из своих друзей, которая была христианкой и матерью многочисленной семьи; и, по его словам, он сделал это с той целью, чтобы руководить воспитанием ее детей. Фабриций насчитывает до шестидесяти отдельных сочинений Порфирия, изданных и оставшихся в рукописи; из них утрачено около сорока трех отдельных произведений. Самые важные из сочинений Порфирия следующие:

«*О воздержании от мяса животных*», в четырех книгах, с обращением к какому-то Фирму Кастрицио, пифагорейцу, который, вследствие неизвестной причины, сделался отступником от правил или, по крайней мере, обрядов своей прежней веры. Наряду с внушением, как духовной, так и нравственной обязанности воздержания, Порфирий, по-видимому, ставит себе главной целью указать преимущество более духовного богослужения перед системой жречества языческого мира, со всеми ее ложными понятиями и злоупотреблениями. «Этот труд Порфирия, — говорит д-р Дональдсон, — имеет серьезное значение во многих отношениях и включает массу сведений».

Критика христианства, под заглавием «*Трактат против христиан*» — наиболее знаменитый труд Порфирия. Сочинение это было разделено на пятнадцать книг. Все наши сведения о нем заимствованы от Евсевия, Иеронима и других духовных писателей.

Это объемистый труд, более чем столетие спустя, был признан зловерным и, согласно повелению Феодосия II, предан публичному сожжению.

«*Жизнь Пифагора*» — отрывок; но и в таком виде это самая любопытная биография Пифагора.

«*Жизнь Плотина и порядок его трудов*». Этой биографией мы обязаны нашими сведениями об известном распространителе неоплатонизма.

Уступая настоятельным просьбам своих учеников, Порфирия и Америя, Плотин согласился, хотя неохотно, опубликовать свои речи. Они появились в количестве пятидесяти четырех книг. Никогда, быть может, ни один наставник не пользовался в такой безграничной степени поклонением и любовью своих последователей.

«Во время своего продолжительного пребывания в Риме, — говорит Порфирий, — Плотин пользовался уважением, которое почти доходило до верования в его сверхъестественную мудрость и святость. Его аскетическая добродетель, таинственная речь, переходящая за пределы человеческого знания, по-видимому увлекла его приверженцев и, действуя на воображение, доводила их до экзальтированного состояния. Его считали своего рода пророком, исполненным святости и способным возвысить своих учеников до присущей ему божественности... Разные приписываемые ему чудеса показывают, какой репутацией святости пользовался Плотин. Подтверждением этого служит и его общественное влияние.

Мужчины и женщины высшего круга собирались около него толпами, том его был переполнен юношами и молодыми девушками, которых родители, умирая, поручили его попечению. Рогатиан, сенатор и избранный претор, отказался от своего сана и богатства и жил в качестве скромного комнатного служителя у своих друзей, предаваясь аскетической и созерцательной философии. Его самоотречение заслужило одобрение Плотина, который выставлял его как пример философа и, кроме того, оказал ему еще более существенную услугу, совершенно исцелив его от подагры. Влияние Плотина распространялось и до императорского трона. Император Галлиен и его супруга Салонина настолько признавали его авторитет, что он получил формальное разрешение обратить один из разоренных городов Кампании в Platonopolis, где бы мог быть сделан опыт практического применения законов Платоновой республики; и философ дал обещание удалиться туда со своими главнейшими приверженцами».

«Практический здравый смысл (который скорее можно было бы назвать низким циничным равнодушием) государственных людей и политиков того времени, помешал этой попытке осуществления высоких идеалов Плотина, С другой стороны, принимая во внимание преждевременность таких подобных идей, при условиях тогдашнего мира, а также безрассудства некоторых из этих идей, мы едва ли можем жалеть о том, что республика Платона никогда не была учреждена.

Плотин не может быть исключительно или в строгом смысле слова назван неоплатоником: он был в такой же степени неоаристотелианец и неоплатоник вообще. У него, собственно, была одна преобладающая идея, к которой он постоянно возвращается и к которой он принаравливает, по возможности, рассуждения всех своих предшественников. Он ставит себе целью доказать и превознести внутреннюю святость человека и возвысить душу до созерцания добра и правды, а также отстоять ее независимость от всего чувственного, скоротечного и чрезвычайного. С воодушевлением, доходившим до фанатизма, он заявлял о своей философской вере в невидимый мир и отвергает с негодованием недостойную попытку своих противников доказать что духовный мир не более как эссенция или эликсир, извлекаемый из материи, и что мысли не что иное, как тени и призраки наших ощущений. По этому поводу он говорит своим ученикам, что внутреннее зрение их сознания и совести должно очиститься и открыться у источника небесной лучезарности, прежде чем они будут в состоянии понять истинную форму, различия и значения духовных предметов».

Считаем нелишним добавить, со своей стороны, что личное смирение великого наставника не уступало его высокому вдохновению. Что касается других сочинений Порфирия, то размеры настоящей книги позволяют нам только упомянуть об его «Послании к Анебо», которое представляет критическое опровержение некоторых народных предрассудков языческого богословия, как, например грубого демонизма, некромантии, колдовства и, главным образом принесения в жертву животных, что особенно возмущало духовную сторону его утонченной натуры. «Послание» известно нам только по справкам, которые приведены Евсевием. Что касается богословских и метафизических мнений Порфирия, то ясно, — замечает Дональдсон, — что у него не было особенной веры в старый политеизм греков. Он прямо заявляет своей жене (письмо к Марцелле), что «внешнее благочестие не приносит ни пользы, ни вреда». Действительно, по отношению к лучшим сторонам христианства, Порфирий был ближе к религии Иисуса, чем Юпитера, хотя и восставал против того, что считал злом или заблуждениями, у кого бы он это ни замечал. Наравне с большинством главных распространителей неоплатонизма, его симпатии были, скорее, на стороне того, что заключалось в христианском Писании и, в особенности в четвертом Евангелии, прекрасное начло которого, по дошедшим до нас сведениям, признавалось учениками Платона за «точное изложение их собственных мыслей», о котором, по свидетельству св. Августина, они заявляли, что оно должно быть написано золотыми буквами и служит надписью в каждой христианской церкви и на самом видном месте.

Что касается учености и возвышенных идей автора трактата «О воздержании», то относительно этого нет разногласия во мнениях даже со стороны его богословских оппонентов. Сам Августин, один из наиболее сведущих латинских отцов Церкви, называет его «самым ученым из философов», «благородным философом», «человеком необыкновенного ума» и, кроме того, величает его «великим философом язычников». Даже

Евсевий, его непосредственный противник, дает ему названия: «благородного философа», «удивительного богослова», «великого пророка неисповедимых учений». Данольдсон разделяет общее уважение к нему новейших писателей и, говоря о знаниях и учености Порфирия, называет их «поразительными».

Между новейшими свидетельствами достоинств трактата Порфирия «*О воздержании*», заслуживают внимания сочувственные заметки Вольтера: «Известно, что Пифагор принял гуманное учение (воздержание от мяса) и перенес его в Италию. Его ученики следовали этому учению в течение долгого периода времени. Знаменитые философы — Плотин, Иамблих и Порфирий учили воздержанию и придерживались его на деле, хотя люди довольно редко исполняют то, что проповедают. Труд Порфирия, написанный в третьем столетии и прекрасно переведенный на французский язык М. де-Бургиною, пользуется большим уважением со стороны ученых, но во Франции он также мало обратил кого-либо на путь истины, как и книга физика Геккета

1

. Порфирий напрасно приводит пример буддистов и первоклассных персидских магов, которые с отвращением относились к поглощению внутренностей других существ; в настоящее время *трапписты* являются его единственными последователями

2

. Трактат Порфирия написан в назидание одному из его прежних учеников, по имени Фирму, который, как говорят, сделался христианином, чтобы снова получить разрешение есть мясо и пить вино.

Порфирий убеждает Фирма, что воздержанием от мяса и крепких напитков сохраняется здоровье души тела; что при этом человек живет дольше и приносит меньше вреда. Все его размышления показывают добросовестного богослова, страстного философа, одаренного кроткой и чувствительной душой. Он не говорит о переселении душ, но считает других животных нашими братьями, потому что они, подобно нам, одарены жизнью, и что у них одинаковые начала жизни, те же чувства, понятия, память и способности, как у нас. Они только лишены речи. Если бы они могли говорить, то разве бы мы осмелились убивать и есть их? Решились ли бы мы на подобное братоубийство? Каким бы варварством могло считаться, если бы кто-нибудь велел умертвить и зажарить ягненка после того, как этот самый ягненок обратился к нему с трогательной мольбой не убивать и не пожирать его?

По крайней мере, книга Порфирия доказывает, что и между «язычниками» были философы, которые отличались самой строгой и безупречной добродетелью. Но они не могли одержать верх над мясниками и *сластолюбцами*. Следует заметить, что Порфирий красноречиво расхваливает эссениан. В эти времена эссениане, пифагорейцы, стоики и христиане старались превзойти друг друга в добродетели

3

.
Насколько нам известно, этот знаменитый трактат Порфирия был только однажды переведен на английский язык Тейлором (1851), и книга Тейлора давно распродана; немецкий перевод сделан Эд. Бальтцером, председателем Вегетарианского общества Германии. Таким образом, нам приходится только выразить сожаление, как относительно Порфирия, так и Плутарха, что, благодаря равнодушию издателей или, скорее, публики, подобные произведения остаются закрытой книгой для большинства читателей.

Трактат Порфирия, как было упомянуто выше, состоит из четырех отделов. В первом говорится о воздержании, с точки зрения умеренности и разума. Во втором поднят вопрос о степени законности принесения в жертву животных. В третьем отделе Порфирий рассматривает вопрос со стороны справедливости. В четвертом отделе он делает общий обзор обычаев некоторых из наций древности и Востока — египтян, индусов и других. Последняя книга обрывается так неожиданно, что здесь, очевидно, не достает конца.

Порфирий начинает с того, что выражает свое удивление и жалость по поводу вероотступничества пифагорейца Фирфа.

«Когда я рассуждаю с самим собою о причине перемены твоего образа мыслей (так обращается он к своему прежнему ученику), я не могу допустить, наравне с толпой, что это имеет какое-либо отношение к таким причинам, как здоровье или увеличение сил. Ты же сам уверял прежде, сто не мясная пища более подходит для сохранения здоровья и спокойного занятия философскими трудами, и опыт вполне подтверждал истину твоего убеждения. Не берусь решить, сделалось ли это вследствие какого-либо ошибочного рассуждения или самообмана, или на основании составленного в более позднее время мнения, что та и другая пища действуют одинаково на умственные способности, — или же это произошло из боязни навлечь на себя неудовольствие противодействием христианским обычаям, или по каким-либо другим причинам».

При этом Порфирий выражал надежду или, скорее, уверенность, что, в данном случае, поводом к проступку была, по крайней мере, не прирожденная неумеренность и не стремление вернуться к прежней прожорливой привычке мясоедения.

Затем он приводит и опровергает заблуждения различных систем и сект и, в особенности, обращает внимание на возражения какого-то Клодия, неаполитанца, издавшего трактат против пифагорейцев. Он заявляет, что не надеется повлиять на тех, которые руководятся гнусным себялюбием или кровожадным стремлениями, но преимущественно обращаясь к человеку, «который размышляет о том, кто он, откуда он и куда он должен стремиться, который действительно разумно и серьезно относится к тому, что касается его питания и необходимых потребностей, который решил не допускать, чтобы страсти сбивали его с пути и управляли им. Такой человек скажет мне, легче ли добывается обильная мясная пища, а также менее ли она располагает нас к потворству животным страстям и аппетитам, нежели легкая растительная диета? Ни он сам, ни врач и ни один разумный человек не решится доказывать, на каком основании мы упорно продолжаем отягощать себя неумеренным питанием? Почему же, потворствуя нашему сластолюбию, мы не в состоянии одновременно устранить связанных с ним неприятных последствий и соблазнов?»

«Убийцы, тираны, грабители и доносчики появлялись не из среды тех, которые питались безвредной пищей, но тех, которые ели мясо. Число предметов, необходимых для жизни, не велико, и они легко добываются без нарушения справедливости, свободы или спокойствия духа; между тем, ничтожные души, которые находят наслаждение в накоплении богатств, готовы, ради сластолюбия, жертвовать своей свободой, продавать правосудие, тратить напрасно время, уничтожать свое здоровье и отказаться от безупречной совести».

Порфирий, осуждая при этом принесение в жертву животных, говорит, что «только посредством возвышенного и очищенного разума можем мы приблизиться к Высшему существу, которому ничто материальное не должно быть поднесимо». Он различает четыре степени добродетели и из них низшей степенью считается добродетель человека, делающего попытки умерять свои страсти, высшей степенью — жизнь чистого разума, при которой человек составляет одно с Высшим существом.

В третьей книге Порфирий утверждает, что и другие животные одарены высокими степенями рассудка и умственных способностей и в известной мере, даже нравственным пониманием; и, логически доказывает, что они, на этом основании, могут быть надлежащими объектами справедливости:

«Правда, у весьма многих из них разум является несовершенным, но они ни в каком случае не лишены его. Если, как допускают наши противники, справедливость должна быть оказана разумным существам, то не следует ли равным образом допустить, что мы обязаны поступать справедливо относительно существ, стоящих ниже нас? Мы не распространяем требований справедливости на растения, потому что не видим в них никаких признаков разума; хотя и в этом случае, когда мы едим плоды, то не срезанием стволов вместе с плодами. Мы употребляем хлебные зерна и бобовые растения, когда они упали на землю и кончили свое существование. Но никто не употребляет в пищу мяса умерших животных, а убитых, так что

здесь мы совершаем положительную несправедливость. Как справедливо замечает Плутарх, из того, что мы нуждаемся во многом, вовсе не следует, что мы можем быть несправедливыми ко всем существам. Нам дозволено до известной степени приносить вред неодушевленным предметам, чтобы доставить себе необходимые средства к существованию, — если можно назвать вредом отнятие чего-либо от растения во время его роста, — но уничтожить живые и сознательные существа, ради сластолюбия и удовольствия поистине жестоко и несправедливо. Если же мы воздержимся от умерщвления их, то это не уменьшит наши средства к существованию и не помешает нам жить счастливо».

Едва ли следует распространяться о том, что, судя по этим доводам, Порфирий со стороны нравственного и умственного развития далеко превосходит нынешних мыслителей, как и мыслителей своего времени. Он справедливо замечает, что «ощущения и понимание составляют основу сродства всех живущих существ. Равным образом Зенон и его последователи (стоики) допускали, что свойство или *сродство* служат источником справедливости. Известно, что низшие животные одарены пониманием и не испытывают ощущения горя, страха и нанесенной обиды. Мы видим, что многие люди живут единственно скотскими инстинктами, не проявляя ни разума, ни понимания, что весьма многие превосходят самых ужасных диких зверей в жестокости, ярости и хищничестве, что многие убивают даже своих родичей, что из среды людей бывают тираны и орудия тиранов. Не прямая ли, в таком случае, нелепость утверждать, что снисхождение и жалость следует оказывать только людям, а не волу, который пашет, собаке, которая живет с нами, и вообще, всем тем живым существам, которые кормят нас своим молоком и доставляют шерсть для одежды, покрывающей наше тело? Не есть ли это самый неразумный и нелепый предрассудок?»

По поводу возражения Хризиппа, что боги создали нас для нас самих и произвели для нас нечеловеческие расы (удобная отговорка, довольно известная нынешним писателям и ораторам), Порфирий дает неопровержимый ответ:

«Пусть тот, кому нравится этот софизм, подумает, какое он может найти возражение против изречения Кандида о том, что всякому произведению природы бывает хорошо тогда, когда оно достигает цели, для которой приурочено и для которой было создано». Хризипп из этой мысли делает следующий вывод:

«Следует понимать так, что произведению природы бывает *хорошо* тогда, когда оно приносит *пользу*. Свинья же была произведена природой с целью быть убитой и употребленной в пищу; и когда она подвергается этому, то достигает цели, для которой назначена, и, следовательно, приносит пользу!» Но вывод этот совершенно ложный, ибо, если Бог дал существование животным только для того, чтобы ими пользовались люди, то какую пользу приносят нам мухи, жуки, вши, гады и скорпионы? Некоторые из них отвратительны для зрения и осязания и невыносимы для обоняния, другие же прямо губительны для человеческих существ, которые встречаются на их пути

4

Считаю излишним распространяться о том факте, что, если мы хотим все основать на принципе *пользы*, то, так как крокодилы, змеи и вообще всякие хищные звери не приносят нам никакой пользы, следовательно, мы и созданы для них. Пожирая людей, они ничуть не поступают с большей жестокостью, нежели мы. *Они*, собственно, проявляют подобную свирепость вследствие нужды и голода, между тем как *мы* — вследствие наглой похотливости и сладострастного удовольствия, чтобы доставить себе такое же развлечение, какое мы находим в цирке и кровопролитных увеселениях охоты. При этом способе действий варварская и грубая натура крепнет в нас, и человек становится не способным к чувству жалости и сострадания. Тот, кто первый совершил эти беззакония, способствовал роковым образом притуплению этой наиболее важной стороны человеческой души. Поэтому пифагорейцы считают доброту и кроткое обращение с низшими животными упражнением в человеколюбии и милосердии».

Порфирий убедительно и красноречиво заключает этот отдел своего сочинения следующим доводом:

«Если мы допустим, что эгоистическое удовольствие — законная цель наших действий, то справедливость будет, очевидно, уничтожена. Чувство справедливости воспитывается воздержанием. Тот, кто воздерживается от нанесения вреда существам других видов, тем более станет воздерживаться от причинения вреда себе подобным. На этом основании тот, кто относится с любовью Кл всей одушевленной природе, не будет ненавидеть какой-либо разряд невинных существ; и чем сильнее будет его любовь к целому, тем более станет он заботиться о том, чтобы поступать справедливо относительно части этого целого, той части, с которой он больше всего связан».

Порфирий находит, что тот, кто распространяет свои симпатии на *все* безвредные существа, наиболее близок к божественной природе Немалым благом было бы для всех последующих веков, если бы наставники и правители западного мира отнеслись сочувственно к этой единственно твердой основе всякого кодекса нравственности, заслуживающего подобное название.

Четвертая и последняя книга Порфирия представляет обзор обычных способов питания некоторых из главных народов древности и известных философских обществ, которые более или менее строго придерживались воздержания. Что касается эссениан, то Порфирий отзывается с большой похвалой об их мировоззрении и образе жизни. Мы приведем здесь только некоторые выдержки из его сочувственных отзывов о них:

«Они презирают богатство; и общинный принцип проведен ими наилучшим образом. Между ними нельзя встретить ни одной личности, которая бы отличалась обладанием богатства, потому что все, которые поступают в обществе, обязаны, в силу его законов, разделить всю собственность для общего блага. Здесь нет ни унижения бедности, ни заносчивости богатства. Их управители или надсмотрщики выбираются по большинству голосов, и при выборе каждого из них имеется в виду благосостояние и нужды всех. У них нет ни столицы, ни города; они живут вместе отдельными общинами... Они не бросают своей одежды, чтобы одеть новую, и носят ее до тех пор, пока она действительно не износится от времени. Здесь не существует ни купли, ни продажи. Каждый отдает другому то, что соответствует его потребностям; и между ними господствует добровольный обмен... Они входят в свою столовую как бы в чистый и неоскверненный храм, спокойно занимают свои места, после чего пекарь раскладывает перед ними по порядку хлеба, а повар подает им одно кушанье, одинаковое для всех. Их священнослужитель перед тем читает род благодарственной молитвы за чистую и бескровную пищу».

Считаем нелишним заметить, что свидетельство национального историка иудеев также говорит в пользу этих пионеров позднейшего общинного быта. «Эссениане, как мы называем одну из наших сект, — пишет Иосиф Флавий, — ведут тот же образ жизни, как те, которых греки называют пифагорейцами. Они отличаются долговечностью, так что многие из них живут свыше ста лет, вследствие их простого питания и правильного образа жизни. При вступлении в секту и допущении к общей трапезы (которая вместе с крещением составляла внешний и видимый знак посвящения) каждый вновь вступивший торжественно обещал, во-первых, что он будет почитать божественный идеал, во-вторых, старательно соблюдать справедливость относительно себе подобных существ и удерживаться от вреда, наносимого по собственной или чужой воле, ненавидеть неправду и ревностно бороться за правду и любящих справедливость, поступать по чести со всеми людьми, в могуществе никогда не проявлять нагло и насильственно своей власти, не щеголять перед своими подчиненными одеждой и украшениями и больше всего любить истину».

Что касается пищи, что, хотя эссениане, по-видимому, не брали на себя обета полного воздержания от всякого мяса (они допускали употребление рыбы), но на деле их можно считать почти вегетарианцами. Умерщвление всякого безвредного существа, искавшего среди них убежища или приюта, было нарушением самых священных законов, равно как было прямым долгом щадить, даже в неприятельской стране, домашних животных или работающих на человека. Эссениане, как говорит Порфирий, не имели причины опасаться

чрезмерного размножения животных в ущерб нашим собственным интересам, так как им было известно, во-первых, что плодовые животные живут недолго, а во-вторых, что слишком быстрому умножению одних животных препятствуют враждебные им другие животные. Подтверждением этого служит тот факт, продолжает Порфирий, «Что хотя мы воздерживаемся от употребления в пищу многих животных, как, например, собак, диких зверей и других, однако не предвидится опасности, чтобы мы страдали от голода, вследствие их чрезмерного размножения».

Порфирий ссылается на сирийских историков, которые утверждают, что в раннем периоде жители этой части света воздерживались от всякого мяса и, следовательно, от жертвоприношения; и что впоследствии, когда им пришлось приносить умиловительные жертвы для удаления грозящих бедствий, мясоедение ни в каком случае не было в общем употреблении. *Асклепиад* говорит в своей истории Кипра и Финикии, что ни одно живое существо не приносилось в жертву небу, что даже не существовало по этому поводу никакого точного закона, *так как это запрещалось законами природы*, и что только с течением времени жители этих стран стали прибегать к случайным умиловительным жертвам. Во время одного жертвоприношения священнодействующий жрец поднес нечаянно свой окровавленный палец ко рту, потом сделал это вторично, по внушению соблазна, и таким образом ввел обычай мясоедения, который отсюда вошел в общее употребление. Что касается персидских *магов* (преемников Зороастра), то, по дошедшим до нас сведениями, главные и наиболее уважаемые из них не употребляли в пищу и не убивали никакого живого существа, тогда как наименее воздержные из них ели мясо некоторых, но не домашних животных. Сверх того, заметим, что те народы, которые по необходимости вынуждены были существовать мясом, подверглись очевидной порче, сделались дикими и свирепыми, и их пример ясно показывает, как непристойно людям с хорошими наклонностями *«осквернять свою человеческую природу»*.

Из отдельных личностей Порфирий указывает на пример афинского законодателя *Триптолема*, о котором пишет Гермипп в своей второй книге о законодателях: «Из законов Триптолемса, по свидетельству философа Ксенократа, в Елизии оставались в силе следующие постановления: «благодарить небо приношением плодов», «не мучить и не делать зла ни одному живому существу».

Здесь же считаем уместным упомянуть о римском императоре Юлиане, который жил несколько позже Порфирия (331-363). Во время его короткого царствования, которое продолжалось шестнадцать месяцев, он проявил себя, если не всегда рассудительным, то искренним и самым ревностным преобразователем и может считаться одним из весьма немногих добродетельных государей, языческих и христианских. К сожалению, заслуженное порицание, связанное с его попыткой отменить религию Константина (от семьи которого он сам и его родственники вынесли оскорбления и обиды), — дало возможность сторонникам партии, а не истины, утаить с успехом его действительные достоинства.

В своем образе жизни, который только и касается предмета нашей книги, Юлиан не уступал, по-видимому, самым строгим аскетам, какие появились между платониками и христианскими анахоретами. Один из его самых близких друзей, знаменитый оратор Либаний, который часто разделял его умеренную простую трапезу, отмечает, что его «легкая и скудная пища, состоящая обыкновенно из овощей, не отягощающая его ума и тела, делала его пригодным для разнообразных и важных занятий писателя, первосвященника, судьи, полководца и государя». Насколько *умеренная* пища не вредила его физическим и умственным силам, видно из того факта, что «в один и тот же день Юлиан давал аудиенции разным послам, писал или диктовал значительное число писем своим полководцам, своим гражданским сановникам, своим личным друзьям и в различные города своих владений. Он выслушивал порученные донесения, рассматривал содержание прошений и делал свои распоряжения с большей быстротой, чем они могли быть записаны скорописью, при усердии его секретарей. Он обладал такой гибкостью мысли и таким уклончивым вниманием, что мог употреблять свою руку для писания, голос для диктовки и следить одновременно за ходом трех различных идей, без колебания и ошибок. Пока отдыхали его подчиненные, Юлиан с легкостью и быстротой переходил от одного труда к другому и после поспешного обеда удалялся в свою библиотеку до тех пор, пока общественное дело, назначенное вечером, не

заставляло его прекратить ученые занятия. Ужин императора был еще менее питателен, чем полдник; сон его никогда не был нарушен последствиями несварения желудка

5

. Сон его не был продолжителен: он вставал при появлении новых секретарей, отдохавших днем; его слуги исполняли свои обязанности по очереди, тогда как их неутомимый господин почти не позволял себе другого отдохновения, кроме перемены занятия. Между тем, предшественники Юлиана, его дядя, его брат и двоюродный брат удовлетворяли своему ребяческому вкусу к играм цирка под благовидным предлогом угождения народной склонности и нередко оставались большую часть дня праздными... Во время торжественных празднеств Юлиан, который, не разделяя общей моды, чувствовал и высказывал отвращение к этим пустым забавам, удаивал появляться в цирке и оставался безучастным зрителем во время пяти или шести ристалищ. После этого он поспешно удалялся, с нетерпением философа, считавшего потерянной всякую минуту, не посвященную общественному благу или самосовершенствованию. Благодаря умению ценить время, Юлиан как будто расширил короткий срок своего царствования: трудно поверить, что только шестнадцать месяцев прошло между смертью Константина и моментом отправления его преемника в персидский поход, во время которого он погиб.

Юлиан, следуя учению платонизма, «пришел к непреложному замечанию, что человек, который предполагает царствовать, должен стремиться к совершенству божественной природы, что он должен очистить свою душу от ее смертной и земной оболочки, что он должен уничтожить свои похоти, просветить разум, регулировать страсти и укротить дикого зверя, который в древности, выражаясь наглядной метафорой Аристотеля, в большинстве случаев неизбежно вступал на трон деспотов». Но при всех этих достоинствах природная доброта Юлиана была, к сожалению, извращена суеверием и фанатизмом. Считая себя исключительным и избранным орудием божества для возобновления павшей религии, которую он признавал за истинную веру, он поставил главной целью своего благочестивого, но дурно направленного честолюбия восстановить великолепные языческие храмы, жречество и жертвенные алтари, со всей их обязательной обрядностью. По свидетельству очевидцев, «он заявлял с восторженностью миссионера, что если бы он мог сделать каждого гражданина богаче Мидаса и каждый город значительнее Вавилона, то он не считал бы себя благодетелем человечества, если бы в то же время не образумил своих подданных и не положил предел их нечестивому рвению против бессмертных богов»

6

. Воодушевленный религиозным рвением, он в такой степени отступил от правил своего наставника Платона, что не только сравнялся, но даже превзошел древнюю иудейскую и языческую обрядность числом жертв, принесенных во имя религии и божества. Но, к счастью для будущности мира, фанатическое благочестие этого юного поборника религии Гомера оказалось бессильно задержать медленное развитие на Западе человеческого сознания, пробивавшегося сквозь густой мрак зла и заблуждений, по направлению к тому более светлому дню, заря которого для нас еще впереди.

XII

ЗЛАТОУСТ

347-407

Один из красноречивейших и достойных уважения отцов Церкви, Иоанн Златоуст родился в Антиохии, городе преимущественно христианском. Его семья имела в обществе выдающееся положение, и отец занимал один из ведущих военных постов в сирийской императорской армии. Иоанн изучал законоведение и имел руководителем в ораторском искусстве знаменитого Либания (близкого друга и советника молодого императора Юлиана), который считал бы своего ученика достойным преемником своей кафедры, если бы тот не принял христианской веры. Он вскоре бросил законоведение для теологии и удалился в монастырь близ Антиохии, где он провел четыре года, *строго воздерживаясь от мясной пищи, подобно эссенианам, отказываясь от прав на частную собственность и ведя целомудренный образ*

жизни. Подвергнув себя в пустыне тяжелым испытаниям в продолжение значительного промежутка времени, он вступил в Церковь и вскоре обратил на себя всеобщее внимание своим необыкновенным красноречием и неутомимым усердием. По смерти константинопольского патриарха Иоанн был единогласно выбран на место покойного. Его благотворительность и ласковое отношение к окружающим привлекли к нему всеобщее расположение. На доходы со своей епархии он основал приют для больных, — одно из первых учреждений этого рода. Слава Златоуста привлекала в его собор громадные толпы народа, который прежде охотнее посещал театр и цирк, и церковь постоянно оглашалась горячими рукоплесканиями. Но Иоанн был не только популярным проповедником: он бесстрашно громил эгоизм и пороки многочисленного духовенства. Говорят, что однажды он сразу низложил до тринадцати епископов в Малой Азии. В одном из своих посланий он смело обвиняет современное ему духовенство в алчности и распутстве.

Наконец, постоянные обличения против слишком открытых соблазнов двора и Церкви возбудили против него сильную неприязнь остальных архиепископов, и, благодаря их интригам при константинопольском дворе, он был низложен и изгнан в дикую часть черноморского побережья, где, предоставленный всевозможным лишениям, получил лихорадку и умер. Неприязнь епископов достигла таких размеров, что один из его противников, в книге, написанной специально против него, в числе других бранных эпитетов, называет его «нечистым духом» и торжественно предает его душу анафеме. Но среди бедных классов Златоуст пользовался неограниченной популярностью и уважением. Важнейшим его недостатком была религиозная нетерпимость, — но это был вообще недостаток тогдашнего времени. Ум Иоанна Златоуста отличался редкой плодовитостью: он написал 700 проповедей, речей, ученых рассуждений и 242 послания. Их главная ценность состоит в иллюстрации нравов четвертого и пятого веков и в изображении нравственного и социального положения этого периода. Цирк, зрелища, театры, бани, дома частных лиц, домашнее хозяйство, пиршества, наряды, моды, живопись, процессии, акробаты, похоронные обряды, — все это вмещалось в картины беспредельной роскоши, которые описывает и осуждает Златоуст.

Одним из самых интересных его произведений, в которых выражается твердая вера в действительную силу воздержания от роскоши в еде и мясной пищи, является «Золотая книга» о воспитании юношества. По его мнению, детей следовало бы приучать к умеренности воздержанием, по крайней мере дважды в неделю, от того количества мясной пищи, которое они получают обыкновенно. Как и следовало ожидать, судя по характеру века и тогдашним понятиям, воздержание Златоуста и многих других проповедников от мясной пищи богатых классов оставалось скорее на аскетических и традиционных принципах, чем на мирских современных мотивах справедливости, гуманности и общего социального прогресса. Так, Ориген, один из наиболее ученых отцов Церкви, говорит: «Мы (руководители христиан) воздерживаемся от мяса животных для обуздания нашей плоти, для порабощения ее, желая еще во время земной жизни умертвить свои члены» и т. д. Уже в «Апостольских канонах», как их передает Бингем, делается различие между воздержными, между теми, которые подчиняли себя воздержанию с целью развить в себе самообуздание, и теми, которые поступали так вследствие врожденного отвращения к употреблению в пищу тварей Божьих.

Согласно «Поучениям Климента», неестественный обычай есть мясо происходит от демона и был введен теми исполинами, которые, по своей исключительной природе, не получали удовольствия от принятия чистой пищи и жаждали только крови. Следовательно, употребление в пищу мяса так же оскверняет человека, как и языческое поклонение демонам с жертвоприношениями и нечистыми пиршествами; участвуя в них, человек становится сотрапезником демонов. Не подлежит сомнению, что в устах последователей как Платона, так и св. Павла, суеверие часто примешивалось к разумным мотивам более философски мыслящих сторонников воздержной пищи и даже брало перевес над ними; и нельзя предполагать, что эти рациональные мотивы господствовали в массе сторонников христианского или пифагорейского воздержания. Но беспристрастный судья должен отнестись почти с одинаковым уважением, как к серьезности мысли, так и к чистоте мотивов, побуждавших сторонников более чистой жизни, христиан и нехристиан, разбивать

«социальную ложь», окружавшего их от мертвого мира. Во всяком случае, неуместно глумление себялюбивых эгоистов над высоконравственными усилиями первых пионеров морального прогресса исторгнуть и себя, и мир из оков грубого материализма, царившего в образе жизни и пищи. Мы уже показали, что первые иудейско-христианские общины в Палестине и других местах — непосредственные ученики самих апостолов — приняли воздержание за одну из главных своих обязанностей, налагаемых религией, и что древнейшие предания представляют их вождей строжайшими вегетарианцами

7

Следующие места в «Поучениях Златоуста» могут служить образчиками его взглядов на значение безубойной пищи: «Не лили они (отшельники) потоков крови, не резали, не убивали из-за мяса, несложно было их поварское искусство, но не были отягощены и головы их. Не было среди них ужасного запаха мясной пищи и неприятного кухонного чада; не было ни шума, ни беспорядков, ни докучливых криков, — а были только хлеб да вода; последняя — из чистого источника, а первый — от честных трудов. Если кому иной раз и приходило в голову устраивать себе более роскошную трапезу, то вся роскошь состояла в плодах, и наслаждения от этого было больше, чем за царским столом. При виде такой трапезы даже ангелы небесные радуются и веселятся. Ибо если они радуются даже на одного раскаявшегося грешника, то какова же должна быть радость их при виде стольких праведников, подражающих им! Нет здесь ни господ, ни слуг. Все слуги и все свободны. И не думайте, что это одна только фраза: действительно ли господа и слуги один для другого. Чем мы в сущности отличаемся от муравьев или превосходим их, если сравнить нас с ними? Как они хлопочут только об удовлетворении своего тела, так и мы. И если бы только это! Но — увы! — наши цели гораздо хуже. Мы желаем не только необходимого, но и совершенно излишнего. Эти животные ведут невинную жизнь, мы же ищем удовлетворения всех наших похотей. Нет, не муравьям подражаем! мы. Мы похожим на волков и тигров! Мы даже хуже этих зверей! Природа создала их так, что они должны питаться мясом, тогда как нас Бог одарил разумною речью и чувством справедливости». Далее он опять протестует: «Я не призываю вас на такие выси, как полное отречение от собственности; я требую только, чтобы вы отказались от излишеств и удовлетворялись достатком; границы же достатка указываются тем, что необходимо для поддержания жизни. Никто не лишает вас этого необходимого, никто не требует, чтобы вы отказались от вашего дневного пропитания; но «пропитания», а не «роскоши», — «одежды», а не «украшений». Говоря точнее, истинная роскошь заключается в умеренности. Подумайте, кто лучше питается: тот ли, кто, питаясь растениями, наслаждается цветущим здоровьем, или тот, кто, имея стол сибарита, постоянно страдает тысячами расстройств? Ясно, что первый. Так и ограничивайтесь растениями, если хотите питаться сытно и здорово. Пускай тот, кто может довольствоваться стручковыми овощами и оставаться здоровым, не ищет ничего более. Но не мешайте людям слабым, нуждающимся в более нежной пище, питаться другими плодами и овощами. Мы даем этот совет не для того, чтобы вредить людям, а для того, чтобы отучить их от излишеств, потому что излишнее не может служить к нашей пользе. Если мы можем обходиться без какой-нибудь вещи и оставаться при этом здоровыми и счастливыми, то, значит, эта вещь для нас лишняя».

Показывая грубость обычного образа жизни, он красноречиво рассуждает о дурных последствиях такой жизни, как для тела, так и для души

8

«Всякий, будучи жив, становится мертвым, когда проводит жизнь в наслаждении. Отчего? Оттого, что он живет только для одного чрева. Именно, он не видит того, что должно видеть, не слышит того, что должно слышать, не говорит того, что должно говорить... Внутри души его приходят в смятение помыслы, и она преисполнена великой скорби. Если бы можно было, выдвинув ее наружу, взглянуть на нее телесными очами, тогда увидел бы ты душу сластолюбца уничиженною, скорбною, опечаленною и изнемогающею. Ибо, чем больше тело

питается и тучнеет, тем больше душа истощается и становится немощной. Чем больше изнеживается первое, тем глубже зарывается в землю последняя».

«Послушайте вы, женщины, проводящие время в пиршествах и пьянстве, презирающие бедных, томящихся и умирающих от голода в то время, как вы сами постоянно умираете от наслаждений, вы становитесь причиной двух смертей: одной, которая постигает этих несчастных, и другой, которая убивает вас самих, причем и та и другая суть следствия неумеренности. Напротив, если бы вы своим избытком восполнили их скудость, то спасли бы две жизни. Отчего утомляете вы свое чрево пресыщением, отчего изнуряете бедного скудостью? Посмотрите, что образуется из пищи, во что она превращается. Разве вам не становится противно при одном только упоминании об этом? К чему же так жадно накапливать это? *Избыток роскоши есть избыток нечистот*

9

, ибо природа имеет свои пределы и что зашло за эти пределы, то уже не пища, а вред и увеличение нечистот.

«Питай тело но не умерщвляй его. Для того пища и называется пищей, чтобы она питала тело, а не разрушала его. Потому, бить может, нам и неприятен избыток пищи, что она превращается в экскременты. Не будь этого, не будь избыток пищи бесполезен и вреден для нашего тела, мы едва ли удержались бы от того, чтобы не пожирать друг друга. Если бы желудок наш мог принимать в себя, переваривать и передавать телу любое количество пищи, то на наших глазах происходили бы непрерывные драки и битвы. Даже и теперь, когда часть пищи превращается в помет, часть в испорченную и не нужную жидкость, и только одна часть в тело и кровь, мы все же так предаемся роскоши, что тратим целые состояния на один обед. Но чем богаче живем мы, тем отвратительнее запах, который мы распространяем вокруг себя».

За период времени с V -го века до XVI -го христианская и западная литература представляет мало произведений, касающихся вопроса о пище. Заслуги монашеского аскетизма проповедывались более или менее все это время, но полное воздержание от мяса отнюдь не было общим правилом даже у самых строгих монашеских орденов, по крайней мере, в латинской Церкви. И напрасно мы стали бы искать хотя следов чего-нибудь похожего на гуманные чувства Плутарха и Порфирия. Очевидно, люди не задумывались о сознательной жизни животных и той степени физических страданий, которые способны испытывать не одни только люди, но и животные, по крайней мере, те, у которых организация в основных чертах схожа с нашей; их права на человеческую справедливость попирались ногами; согласно тогдашним воззрениям, с ними обращались, как с существами, лишенными всяких чувств, как с «автоматическими машинами», какими они считаются картезианцами и наших дней.

В эти ужасные века грубого невежества, суеверия, насилия и несправедливости, когда редко признавались даже человеческие права, трудно было и ожидать какого-нибудь внимания к правам рабов не человеческой расы. *Монтэнь* первый вызвал из мрака забвения гуманные идеи Плутарха, и ему принадлежит заслуга восстановления естественных прав беззащитных жертв человеческой тирании.

В то время, как Златоуст является одним из последних христианских писателей, обнаруживавших некоторое сознание неестественности и бесчеловечия общепринятого способа питания, последователи Платона продолжают высоко держать мерцающий светоч своего чистого учения; и проповедники безубойпой пищи встречаются даже в конце шестого столетия. Таковы: Иерокл, автор комментариев на «Золотые Стихи» Пифагора, читавший их, как уже выше сказано, с большим успехом в Александрии; Гипатия, прекрасная и образованная дочь великого математика Теона, публично преподававшая философию Платона в том же великом центре греческой науки; *Прокл*, по прозвищу «Преемник», как знаменитейший из последователей Платона в позднейшее время, оставивший несколько трактатов о пифагорейской системе и «проникавший своим пытливым умом в глубочайшие вопросы нравственности и метафизики»

; *Олимпиодор*, написавший биографию Платона и комментарии ко многим из его диалогов, сохранившиеся и доныне. Последний жил в царствование Юстиниана, эдиктом которого была окончательно закрыта знаменитая Афинская школа, и с нею стерты последние следы высоких, хотя и не совершенных, попыток очищения человеческой жизни.

Таковы наиболее знаменитые имена, украшавшие последние дни угасания греческой философии. Олимпиодор и шестеро других пифагорейцев решились, насколько окажется возможным, поддержать свое философское учение. Они искали убежища у персидских магов, учение или, по крайней мере, образ жизни которых казался им наиболее подходящим к их собственному. Но персидские обычаи оказались противными чистым идеалам неоплатоников и, обманувшись также во многих, других отношениях, пифагорейцы отказались от надежды пересадить идеи Платона на чуждую почву, и возвратились домой. Персидский принц Хозрой снискал себе известность своим договором с фанатичным Юстинианом, у которого он выговорил право для семи мудрецов спокойно дожить остаток дней на родине.

«*Симплиций* и его товарищи, говорит Гиббон, кончили свою жизнь в мире и забвении; и так как они не оставили учеников, то завершили собою длинный ряд греческих философов, которых, несмотря на их ошибки, можно по справедливости назвать мудрейшими и добродетельнейшими из их современников Произведения Симплиция дошли до нас. Его комментарии о физических и метафизических взглядах Аристотеля сошли со сцепы вместе с образом мыслей людей его времени, но его этические комментарии к Эпиктету сохранились в библиотеке человечества, как классическое произведение, в высшей степени способное направить волю, очистить сердце и укрепить разум правильной верой в Бога и природу человека».

XIII

КОРНАРО

1465-1566

После того, как погасла в V веке последняя искра греческой и латинской философии, настало умственное оцепенение, которое господствовало над миром, за редкими исключениями, несколько сот лет. Когда же оцепенение это развеялось под влиянием снова забрезживших лучей знания и разума, вызванных различными одновременными открытиями из области науки и литературы, — в особенности, открытиями Гуттенберга, Васко-да-Гамма, Христофора Колумба и Коперника, — тогда и нравственное чувство снова начало пробуждаться. Впрочем, эпоха Возрождения в XVI веке, при всей ознаменовавшей ее силе мысли и деятельности, оказалась возрождением, скорее, ученых словопрений, чем нравственного чувства лучших умов древней Греции и Италии. Люди, запутавшиеся в тенетах богословских споров и метафизических тонкостей, большей частью расточали свою энергию и ум на преследование призраков. За очень немногими блестящими исключениями наиболее просвещенных и серьезных мыслителей этика в настоящем широком смысле этого слова оставалась наукой не открытой, и протек длинный период времени, прежде чем в умах людей забрезжило сознание необходимости справедливости и уважения к правам всего живущего. Да это и не могло быть иначе. Нравственные инстинкты тогда только могут развиваться, когда разум и *знания* проложили для них путь. Когда проявилось в некоторой степени сознание важности забытой этики питания, то вызванный ею интерес имел очень мало общего с высшими чувствами гуманности. Из всех реформаторов пищи, рассматривающих этот предмет исключительно по отношению к здоровью, наиболее широкой известностью и популярностью пользуется *Луиджи Корнаро*. Ему принадлежит место в нашем труде, как горячему противнику не столько варварства, сколько безрассудства господствовавших в его время обычаев питания. Он принадлежал к высшей венецианской аристократии, находившейся в то время в зените своего политического могущества и даже в эту эпоху отличавшейся своей роскошью и грубой распущенностью. Корнаро выдавался своей невоздержностью в пороках, попойках и других излишествах. Этот

образ жизни так расшатал его организм и навлек на него столько болезней, что жизнь стала ему в тягость. Он рассказывает, что с 35 по 40-летнего возраста он проводил дни и ночи в непрерывных страданиях. Все средства, ему известные в то время лекарства были испробованы им, прежде чем нашелся один лекарь, который, вопреки профессиональным и общественным предрассудкам, решился предписать больному коренную перемену образа жизни. Сначала Корнаро находил это принудительное воздержание невыносимым и при случае, как он сам говорит, «возвращался к старым грешкам».

Подобные нарушения приносили ему снова старые страдания и, чтобы спасти свою жизнь, он был, наконец, вынужден придерживаться самого строгого воздержания, так что желток яйца нередко составлял весь его обед. Таким образом, он пришел к тому, что начал находить больше вкуса в сухом хлебе, чем в самых изысканных блюдах обыкновенного стола. К концу первого года он избавился от всех разнообразных своих болезней. На восемьдесят третьем году он написал и опубликовал свое первое увещание о радикальной перемене пищи, под заглавием «Трактат об умеренной жизни», где он красноречиво рассказывает обо всем, что он лично испытал, и убеждает всех, кто ценит здоровье и обеспеченность от физических и умственных страданий, последовать его примеру. Наставление это, в котором он громит излишки и обжорство, может быть применено, с немногими изменениями в выражениях, и к нашим общественным и частным обедам.

«Всем известно, — начинает он, — что привычка со временем становится второй натурой, принуждая людей делать то, — хорошо ли оно или худо, — к чему они привыкли; и мы видим, что обычай или привычка во многих случаях преодолевают даже доводы разума... Хотя все согласны, что неумеренность есть дитя обжорства, а умеренная жизнь — дитя воздержности, тем не менее, на первую все смотрят как на доблесть и на признак знатности; на вторую же как на позорную черту характера и на признак скупости. Такие ошибочные взгляды обязаны своим происхождением только могуществу обычая, установленного нашей чувственностью и необузданными аппетитами. Все это до такой степени затемнило рассудок людей, что они, оставив тропу добродетели, вдалились в пороки, которые незаметно приводят их к преждевременной старости, обремененной ужасными и смертельными недугами».

«Бедная, несчастная Италия! (обращается он к своей родине) разве не видишь ты, что смертность от обжорства ежегодно уносит у тебя более жителей, чем могла бы унести страшная моровая язва или опустошительная война? Эти истинно позорные пиршества, которые теперь в такой моде и отличаются такую непозволительную расточительностью, что не находится достаточно широких столов для всего количества яств, — эти пиршества, повторяю, равняются по своим последствиям потерям во многих битвах

11

. И как люди остаются живы, поглощая такую массу несовместимых продуктов? Откажитесь, ради неба, от этих злоупотреблений! Нет порока гнуснее этого в глазах Великого Бога! Гоните от себя этот худший из бичей, этот новый род смерти, — гоните его, как вы прогнали другую болезнь, когда-то похищавшую столько жертв, но теперь почти совсем исчезнувшую, благодаря лучшему надзору за провизией, привозимой на наши рынки! Имейте в виду, что средства для борьбы с невоздержанием всегда у вас под рукою, и такие средства, к которым всякий может прибегнуть без посторонней помощи. Для этого ничего более не требуется, как только жить по тем простым правилам, которые диктует сама природа, уча нас довольствоваться малым, подчинять все наши поступки божественному разуму и приучать себя принимать лишь столько пищи, сколько абсолютно необходимо для поддержания жизни. Все, что превышает это необходимое количество, ведет к болезням и смерти и доставляет лишь минутное удовольствие чувству вкуса, за которое приходится расплачиваться длинным рядом болезней, убивающих, наконец, как тело, так и душу. Сколько друзей моих, — людей с обширным умом и прекрасным характером, которые могли бы служить украшением общества, унесено в цвете молодости этим ужасным пороком!

В другом месте он говорит, что он ревностно ведет трудное дело этой пропаганды, которое взял на себя, поощряемый также многими из своих друзей, людьми богато одаренными умом, оплакивающими преждевременную потерю своих родителей или родственников и видящих

явное доказательство выгоды воздержания в сильном и крепком организме 80-летнего проповедника умеренности.

Корнаро был строгий гигиенист и следовал системе воздержания в самом широком смысле этого слова, прилагая ее ко всем требованиям умственного и физического здоровья.

«Я старался, сколько мог, — говорит он с полной откровенностью, — избегать всех тех неприятных душевных движений, от которых человеку бывает так трудно уберечься: меланхолии, ненависти и других сильных страстей, имеющих такое влияние на наш организм. Конечно, я не мог так хорошо уберечься от них, чтобы никогда не быть обуреваемым тою или другою страстью, если не всеми разом, — но слабости мои принесли мне одну важную пользу, убедив меня путем опыта, что страсти, в большинстве случаев, не имеют большой власти над телом, подчиненным двум правилам: воздержанию и умеренности в пище и питье, и не могут причинить ему большого вреда».

«Это еще до меня заметил знаменитый врач Гален. Он утверждает, что пока он следовал этим двум правилам, он так мало страдал от болезней, что они никогда не продолжались более одного дня. Живым доказательством верности его взгляда служу я сам. Многие из тех, кто знает меня, могут засвидетельствовать, как часто подвергался я и зною, и холоду, и всяким непогодам, и — какие тяжелые минуты не раз приходилось мне переживать вследствие разнообразных несчастий, которые на меня обрушивались. Между тем, все не только могут подтвердить, что на меня душевные тревоги действовали слабо, но и указать на примеры других, кто не вел такого умеренного и регулярного образа жизни, и на ком подобных душевные потрясения отражались очень тяжело. В числе таких примеров был мой родной брат и другие члены моей семьи, которые, полагаясь на крепость своего организма, отказались подражать мне в образе жизни».

В семидесятилетнем возрасте с Корнаро произошел несчастный случай, который для всякого другого человека таких преклонных лет мог бы оказаться роковым. Однажды экипаж, в котором он ехал, опрокинулся и лошади волокли его на значительном расстоянии, прежде чем их успели остановить. Корнаро был поднят без чувств, покрытый тяжелыми ранами и ушибами, с вывихнутой рукой и ногой. Положение его казалось таким безнадежным, что врачи назначили ему жить не более трех дней. По обычаю того времени, они прописали кровопускание и слабительное, как единственные действительные средства в подобных случаях. «Но, — рассказывает Корнаро, — я отказался от того и другого, зная, что умеренная жизнь, которую я вел много лет, так хорошо составила и распределила мои соки, что такое брожение их, которое могло бы вызвать лихорадку, совершенно невысказуемо».

«Я попросил только вправить мне руку и ногу, и позволил натереть мое тело маслами, рекомендованными врачами. Как я и предвидел, здоровье мое восстановилось без всяких лекарств, и я встал без малейших изменений в моем организме или других дурных последствий от этого несчастного случая. Все это было каким-то чудом в глазах врачей».

Вряд ли можно ожидать, что медицинский факультет признает мнение Корнаро, что всякий, строго придерживающийся одного с ним образа жизни, будет застрахован от всех болезней и никогда не будет нуждаться ни в медиках, ни в медицине.

Мало того, — утверждает он, — строго соблюдая указанная мною правила, человек мог бы сделаться своим собственным врачом; и нет лучшего врача для каждого человека, как он сам. Основанием этого соображения служит то, что всякий достигает путем опыта совершенного знания своего организма в самых глубоких его тайниках, и может определить, какая нища лучше всего соответствует его желудку. Узнать же все это в чужом организме очень нелегко, так как и в своем собственном это знание приобретается только долгим опытом».

Второе сочинение Корнаро появилось тремя годами позже, под заглавием: «*Краткое наставление к ведению умеренной жизни*»; а третье, «*Настойчивое приглашение к умирной и регулярной жизни*», он написал, когда ему было уже 93 года. В этих маленьких трактатах он с большою силой и настойчивостью повторяет свои прежние советы и предостережения и цитирует кстати некоторые кажущиеся основательными софизмы,

приводимые обыкновенно в защиту роскошной пищи: «Нам указывают на то, что многие, не придерживавшиеся такого образа жизни, доживали до ста лет и пользовались постоянным здоровьем, хотя ми много всякого рода мяса и пили вино. Но, говорящее это заблуждаются в двояком отношении: во-первых, таких счастливых не насчитывается и одного на сто тысяч; во-вторых, можно с уверенностью сказать, что такие люди схватывают в конце концов какую-нибудь болезнь, которая и сводит их в могилу, и ни один из них не может быть уверен, что не кончит таким образом. Поэтому, самое верное средство обеспечить за собою долгую и здоровую жизнь, — это придерживаться системы воздержания, по крайней мере, после сорока лет. Путь этот вовсе, не так труден, как думают; история показывает нам примеры очень многих людей, живших в прежние времена чрезвычайно умеренно; да и настоящий век, насколько мне известно, не беден подобными примерами, к которым я причисляю и себя. Не забудем что мы — люди, и что человек, как разумное животное, имеет власть над своими поступками».

«Бывают старые обжоры, которые стоят за употребление большого количества пищи и напитков, основываясь на том, что, будто бы, только это и может поддержать нормальную температуру их организма, которая постепенно падает с годами и, следовательно, требует, чтобы они ели много и вкусно, так как умеренная пища неизбежно сократила бы их жизнь. На это можно возразить, что наша общая мать, природа, с целью продлить жизнь старого человека, делает организм его способным удовлетворяться малым, — как, например, я вижу на самом себе, — потому что большое количество пищи не может перерабатываться старым и слабым желудком. Вообще старым людям не следует опасаться, что они сократят свою жизнь, питаясь умеренно, раз они в случаях болезни восстанавливают себя умеренною пищей».

«Другие говорят, что лучше переносить ежегодно три или четыре приступа болезни вроде подагры, ломоты и т. д., чем мучиться целый год неудовлетворением своего аппетита. На это можно возразить, что периодическое повторение приступов болезни неминуемо сокращает жизнь, которая в здоровом состоянии могла бы еще длиться. Иные находят, что лучше прожить десятью годами меньше, чем не удовлетворять своего аппетита. На это я замечу, что продолжительность жизни должна высоко цениться людьми гения и разума; относительно же других она, действительно, не имеет большого значения, коль скоро они сами ее не ценят; такие люди только оскотинивают жизнь, и смерть их бывает лучшей услугой, какую они могут оказать человечеству».

Корнаро часто прерывает свои рассуждения обращением к гению умеренности, и в таких случаях у него как будто недостает слов для выражения своих чувств глубокой благодарности за те чудесные изменения, которые умеренность произвела в его организме. Она не только избавила его от страшного бремени страданий его прежних лет, но и дала ему возможность вполне наслаждаться красотами внешнего мира, о которых раньше он даже и понятия не имел; а также помогла развиться умственным способностям, которыми одарила его природа. «О трижды благословенная умеренность, оказывающая человеку такие важные услуги! Ты длишь его дни и даешь ему возможность развивать умственные способности. Ты освобождаешь его, сверх того, от тяжелых мыслей о смерти. Как глубоко обязан тебе твой верный последователь, только при твоём содействии получивши способность воспринимать красоты видимого мира, которые вполне развертываются только перед глазами философа, каким я сделался с твоею помощью! О, истинно счастлива та жизнь, которая, сверх всех этих блага, дарованных старому человеку, так исправила и усовершенствовала его, что теперь сухой хлеб кажется ему вкуснее прежних изысканных блюд. И все это ты произвела твоим разумным влиянием, зная, что хлеб, приправленный хорошим аппетитом, лучшая пища для человека... Вот почему сухой хлеб так нравится мне. Я знаю по опыту и могу положительно утверждать, что я нарушил бы правила умеренности, если бы хлеб не имел для меня такой приятности, и если бы я не был убежден, что более естественной пищи для человека, чем эта, не может быть».

В четвертый и последний раз Корнаро выступил в печати с «Письмом к Барбаро, патриарху аквалейскому». Автору уже было в ту пору 95 лет. В этом произведении он изображает в живых красках здоровье, бодрость и деятельность всех своих умственных и физических способностей, которыми он вполне располагает. Он был уже в преклонных летах, когда

родилась его дочь, его единственное дитя, и все-таки он дожил до ее старости. В возрасте 91 года он красноречиво и с увлечением рассказывает о своем деятельном участии во всех делах, касающихся благоденствия его родного города, о своих планах улучшить его гавань, осушить и удобрить обширные болота и бесплодные пески его окрестностей.

Корнаро умер столетним старцем, в Падуе, в 1566 г., легко и мирно заснув вечным сном в своем кресле. Его трактаты, составляющие небольшой томик, вышли в Италии несколькими изданиями, как на народном итальянском, так и на латинском языках, и были переведены на все европейские языки. Одно время эта книга пользовалась большою популярностью.

Рассказывая о многих его достойных уважения качествах, о горячем участии его во всем, что касалось улучшения его родного города, о его популярности среди своих сограждан, итальянский издатель его сочинений справедливо замечает:

«Но все эти прекрасные качества Луиджи Корнаро не доставили бы его имени европейской известности, если бы не его короткие трактаты о воздержании, писанные им в возрасте от 85—95 лет. Его чистосердечие, простота слога, сила аргументами и жар, с которым он убеждает всех испробовать средство к продлению нашей жизни, заслужили самые горячие похвалы умнейших людей. Множество изданий, выдержанных этой книгой в Италии, и переводы ее, с различными примечаниями, на латинский, французский, немецкий и английский языки достаточно свидетельствуют об ее важном значении».

Аддисон говорит о книге Корнаро следующее:

«Замечательный пример влияния умеренности на продолжительность жизни встречаем мы в небольшой книге венецианца Луинджи Корнаро. Мы тем охотнее упоминаем о ней, что сообщаемые в ней факты не раз были подтверждены в разговорах таким авторитетным свидетелем как покойный венецианский посланник в Англии, принадлежавший к одной фамилии с Луинджи Корнаро... Последний дожил до ста лет и угас без всякой агонии, словно заснув. Книга его, на которую обратили внимание многие знаменитые писатели, проникнута душевной ясностью, религиозностью и здравомыслием, обычными спутниками воздержания и умеренности. Если в ней чувствуется ум старого человека, то это служит скорее рекомендацией ей, чем недостатком».

XIV

Сэр Томас Мор

1480—1535

В одно время с Корнаро жил еще другой замечательный человек, мнений которого нельзя оставить без внимания, хотя они лишь косвенно касаются реформы пищи. Человек этот — Томас Мор. Его красноречие, направленное против всезахватывающей алчности и разорительной политики, быстро превращавшей лучшую часть Англии выгоны для скота, равно как и против избиения безвредных животных под благозвучным именем «охоты», настолько же поучительно и необходимо в настоящее время, как и в начале XVI века. Сын сэра Джона Мора, члена королевского суда, Томас Мор вырос во дворце кардинала, лорда-канцлера Мортонна, духовного лица, представлявшего собою выгодный контраст с огромным большинством людей его сословия, да и вообще с своими современниками. В возрасте 21-го года, Мор был избран в палату общин, где отличался своею оппозицией предложению о назначении субсидии королю (Генриху VII). В 1516 г. он написал по-латыни свою знаменитую «Утопию», замечательнейшее произведение социологической литературы времен Плутарха. В 1523 г. он был избран президентом палаты общин и в этой должности снова доказал свое мужество и бескорыстие, воспротивившись принятию нелегального и деспотического билля о субсидии, чем он вооружил против себя короля Генриха VIII и его первого министра Вульзея. Однако семь лет спустя, когда министр это впал в немилость, преемником его в должности сделался Томас Мор, который и на этом новом посту сумел остаться верным своей репутации неподкупной честности и неутомимой деятельности. Когда влюбчивый и деспотический король решил на развод с королевой Екатериной, Мор сложил с себя звание хранителя печатей, чтобы не давать своей санкции этой двусмысленной мере; а вслед за тем он был заключен в Лондонскую башню за отказ признать короля верховным

главой Церкви. Через год он был судим королевским судом и приговорен к смертной казни (1535). В частной и домашней жизни Мор представляет огромный контраст с грубой суровостью своих современников, а в отношении учености и государственного искусства занимает одно из первых мест в летописях того периода.

К сожалению, его репутация в глазах потомства не осталась безукоризненной. Сделавшись лорд-канцлером, он, по-видимому, забыл те правила умеренности, которым придерживался в начале своей карьеры и которые так ярко выразил в своей «Утопии»; и явил собой один из тех слишком нередких примеров людей, которые, старея и поднимаясь в общественном положении, отступают назад, «и головы седеют их напрасно». В религиозном отношении он принадлежал скорее к школе консервативных скептиков (самым видным представителем которой был друг его, Эразм), чем к партии практической реформы; но, несмотря на такое печальное недомыслие в практической философии, Мору принадлежит право на высокое место в общественном уважении, ввиду мужества и дальновидности, с которыми он отстаивал идеи, много опережавшие его время.

Те мысли о труде и преступлении, которые он высказывает в своей «Утопии», опережают даже общепринятые понятия нашего времени. Так, по поводу труда он говорит, что на рабочем зиждется основа всей общественной жизни, и что поэтому он имеет право на большее внимание к его положению и на более разумное существование, чем какие допускаются политикой господствующих классов. Ограничивая рабочий день 9-ю часами, Мор определил на 350 лет позднейшее законодательство по этому важному вопросу. Доказывая нелепость и неправильность уголовного кодекса, он проповедывал теорию предупреждения вместо наказания и возмущался чудовищной несправедливостью карательных законов, ставящих кражу в одну категорию с убийством и преступным насилием.

«Вместо того, — говорит он, — чтобы устанавливать такие страшные наказания за кражу, не лучше ли было бы постараться открывать вора возможность зарабатывать какие-нибудь средства к жизни для того, чтобы никто не был доводим до такой крайности, как кража и затем смерть?.. Предоставляя молодому поколению воспитываться среди распутства и пороков и заражаться ими постоянно с самого нежного возраста, вы наказываете его во имя Бога, когда, дожив до зрелого возраста, оно совершает те же самые преступления, к которым приучилось с детства. Скажите, не создаете ли вы этим воров для того, чтобы их же потом наказывать?»

12

Но непосредственный интерес имеют для нас взгляды Мора на бойню. Жители его «Утопии» осуждают «охоту с собаками и с соколами», потому что «какое же удовольствие может доставить собачий лай и вой? И почему приятнее смотреть, как собака преследует зайца, чем — как она преследует другую собаку? В обоих случаях животные бегут, если бег доставляет кому-нибудь удовольствие. Если же вас манит ожидание увидеть жертву растерзанной в клочки, то не естественнее было бы с вашей стороны пожалеть невинного зайца, растерзанного собакой, слабейшего, убитого сильнейшим; робкого — свирепым; невинного — жестоким и беспощадным?»

13

Поэтому охоту как занятие недостойное свободных людей жители Утопии предоставляют мясникам, ремесло которых исполняется у них рабами. Охота считается у них низшим и презреннейшим родом бойни. Настоящая бойня полезнее и честнее, так как мясники убивают своих жертв по необходимости, тогда как охотник ищет только удовольствия в избиении несчастных животных. Подобное же удовольствие в зрелище смерти находят, как говорят, и дикие звери, по природной ли жестокости или приобретенной привычке к таким забавам. Поэтому охота и другие забавы, которым нет числа, хотя и считаются простым народом за удовольствия, но у них, жителей «Утопии», не признаются за таковые, так как они не находят в них ничего приятного и признают их совсем несообразными с добрыми и справедливыми чувствами».

Мор, говоря, что у его образцового народа «не дозволялось свободным гражданам убивать животных, дабы это не вошло у них в привычку и не заглушило постепенно их природных добрых и сострадательных чувств», этим самым, умышленно или нет, осуждает безнравственность бойни. Нужно, впрочем, заметить, что жители «Утопии», предоставляя убиение животных своим рабам (преступникам, лишенным права гражданства), доказывают этим скорее утонченность чувств, чем справедливость. Такая система как возложение обязанностей мясников на париев недалеко отстоит по безнравственности от обычая, поддерживающего существование мясного рынка. Неудивительно, что автор «Утопии» чувствовал инстинктивное отвращение к грубости и жестокости бойни, скорее можно удивиться тому, что он не изгнал ее совершенно из идеальной республики. Что в душе его, по крайней мере, таилось сознание незаконности убиения животных для пищи, достаточно явствует из его слов о религии утопиан: «Они не приносили, — говорит он, — в жертву живых животных и не верили, что кровь и убийство могут быть приятны Богу, даровавшему животным жизнь, чтобы они жили».

Идеальный народ «Утопии» был умнее нас и не тратил своего хлеба на приготовление спиртных напитков:

«Они сеяли зерно только для хлеба. Питьем же им служили чистая вода или виноградный, яблочный или грушевый напиток, а также мед и различные отвары, которых у них всегда были большие запасы»

Мор строго осуждал эгоистический метод обращения пахотных земель в выгоны

«Они (быки и бараны) поедают, уничтожают, поглощают целые поля, дома, города. Посмотрите, в каких частях королевства добывается самое тонкое и поэтому самое дорогое руно: там, где дворяне и джентльмены, а также и аббаты, — это святые люди, — не довольствуясь доходами и барышами, которые приносила земля их предкам и отцам: не довольствуясь и тем, что они живут в покое и довольстве, не принося никакой пользы, а скорее даже принося вред обществу, — не оставляют земли под пашни, а всю ее пускают под выгоны, снося для этого дома, даже целые города, кроме церквей, превращаемых в овчарни. Хотя и без того немало земли пропадает под лесами, лугами и парками, эти господа обращают еще все села и пашни в дикие пустыри... И это потому, что довольно одного пастуха со стадом, чтобы поесть луга, на обработку которых под пашни понадобилось бы много рук. Вот отчего и съестные запасы вздорожали теперь во многих местях, а цена на шерсть так поднялась, что бедный народ, прежде ткавший себе из нее одежду, теперь не может покупать ее, вследствие чего многие вынуждены покинуть работу и предаваться праздности. А после того, как столько земли было пущено под выгоны, бесчисленное множество овец пало от морской язвы, словно Бог хотел покарать человека за его алчность к деньгам, выслав на его скот чуму, которую справедливее было бы, впрочем, обратить на головы самих владельцев стад. И хотя число овец никогда не росло так быстро, как теперь, однако цены на них не падают, потому что продавцов мало».

Современным ораторам и писателям следовало бы обратить серьезное внимание на эти умные и справедливые размышления о вредных для общества последствиях плотоядности.

Автор «Утопии», очевидно, не увлекался «мудростью наших предков», на которую люди имеют обыкновение ссылаться и теперь, как самый убедительный аргумент против реформы пищи и других нововведений.

«Так жили наши отцы и предки, говорят они, и дай Бог, чтобы и у нас хватило ума прожить таким же образом! И, полагая, что этими остроумными словами они исчерпали вопрос и всем зажали рот, они (консерваторы) садятся на свое место, как бы желая сказать: «Считать себя умнее своих предков очень опасно». Однако мы допускаем нарушение многих из лучших и умнейших старинных правил; но как только кто-нибудь пытается ввести лучший порядок, чем существовал в старину, так мы цепляемся за старый обеими руками и начинаем находить в нем всякие совершенства».

МОНТЕНЬ

1533-1592

Это новейший Плутарх заслуживает место в нашем труде, если не за положительное осуждение им варварского обычая бойни, то, по крайней мере, за те его положения, которые логически приводят к тому же выводу. И это несомненная заслуга. Необходимо помнить, что «заря» тогда еще не взошла и лишь начинала пронизывать своими лучами глубокую тьму варварства.

Мишель де Монтень происходил из старинной и влиятельной фамилии в Перигоре (пригороде Перижо, в департаменте Дордонь). Он получил тщательное образование и рано почувствовал призвание к науке, которое созрело в нем под бдительным руководством его отца. Он сделался членом провинциального парламента, а потом был единогласно избран своими согражданами на должность президента бордоского суда. Но официальная рутинная жизнь вскоре заставила его удалиться в более свойственную ему атмосферу науки и философского мышления. Мирные ученые занятия его в своем замке, в Монтене, не раз насильственно нарушались дикой борьбой между католиками и гугенотами, причем он должен был терпеть обиды и убытки с обеих сторон. К довершению несчастий, моровая язва, появившаяся в Гиенне в 1586 г., расстроила его хозяйство и вынудила его с семьей покинуть родовой замок. Покочевавшись некоторое время и подвергаясь всем опасностям междуусобной войны, Монтень с семьей поселился на время в Париже. Он путешествовал также по Италии. В замок свой он вернулся только тогда, когда беспорядки со всеми сопровождавшими их жестокостями несколько поулеглись, и умер там с тем же философским спокойствием, с каким и жил.

Его «Опыты», написанные, как он сам говорит, «безыскусственно и полной искренностью», появились в 1550 г. и представляют собой единственное в своем роде произведение, которое можно сравнить только с «Moralia» Плутарха. «Читая его, нам кажется, что мы не книгу читаем, а слушаем разговор». — «Это не столько книга, говорит другой французский критик, сколько дневник, разделенный на главы, не имеющие между собой никакой связи и носящие каждая особое заглавие.

В этих «Опытах» Монтень касается почти всех проявлений человеческой мысли и деятельности, и обо всем находит сказать что-нибудь самобытное и полезное. Живя в век дикого сектаторства и религиозных гонений, он стоит выше этой борьбы и сохраняет свою независимость между двумя враждующими богословскими фракциями, довольствуясь ролью только скептического наблюдателя. Впрочем, надо признаться, что он не всегда удовлетворяет читателя в этом характере: подчас мнения его кажутся настолько неопределенными; тем не менее, нельзя не отнестись к нему с полным уважением за то, что в свой век он признавал верховную власть разума и в этом отношении является отрадной противоположностью большинству своих соплеменников. Были и другие немногие, которые, подобно другу Монтеня, Де-Ту, или итальянцу Джордано Бруно (в котором сила убеждения была тверже, чем у Монтеня, и довела его до мученичества), старались высоко держать знамя истины и разума. Но не следует забывать, что это был по преимуществу век демонизма в католической и протестантской Церкви, — век, когда всеобщая вера в царство дьявола на земле плодила страшное суеверие и жесточайшие пытки, как физические, так и нравственные. Около времени появления в свет «Опытов» один из учнейших законовевов того периода, Жан Боден, издал книгу под названием «Демонomania колдунов», в которой он выражал непоколебимую веру в самые чудовищные суеверия и горячо призывал духовных и гражданских судей подвергать преступников (обвиняемых в невозможных преступлениях) жесточайшим пыткам. Довольно одного такого факта, чтобы заставить нас отдать полную справедливость мужеству и разуму небольшой кучки людей, протестовавших против этого мракобесия.

Монтень имел, без преувеличения, огромное влияние на образ мыслей последующих поколений, в особенности своих соотечественников, и может быть назван литературным отцом знаменитейших французских писателей гуманного направления XVIII века. Наиболее сходства с ним имеет самый знаменитый из них, Вольтер, с той только разницей, что

философ XVIII века отличается более сжатым и метким слогом и выражает с вои мнения определеннее. «Оба смеются над человеческим родом, говорит один французский критик, но смех Вольтера горше, насмешки его язвительнее. Оба в то же время проникнуты любовью к человечеству, только у Вольтера она пламеннее, мужественнее и неугасимее. Ненависть обоих к шарлатанству и лицемерию достаточно хорошо известна. Первым их нравственным правилом было доброжелательство ко всякому человеку без различия национальности, обычаев или веры; они предостерегают нас от того, чтобы считать одних себя носителями истины и справедливости; они возвышают нашу душу, наполняя ее презрением к земному и преклонением перед великими истинами». Нельзя не пожалеть, что соотечественники Вольтера и Монтеня не воспользовались в более широкой степени гуманным направлением их учения.

Монтень, протестуя против невероятных жестокостей войны, говорит:

«Никогда бы я не поверил, если бы не видел своими глазами, что существуют такие свирепые души, которые готовы убивать ради одного удовольствия делать это; готовы рубить и уродовать других людей; напрягать свое воображение для изобретения неслыханных пыток и новых видов смерти, — и это без всякой личной вражды или расчета, единственно ради удовольствия наслаждаться стонами и жалобами человека, умирающего в мучительной агонии. Хладнокровно убивать беззащитного человека для того только, чтобы видеть его страдания, — это верх жестокости!

«Что касается меня, то я никогда не мог смотреть без возмущения даже на травлю и убийство невинного и беззащитного зверя, никому не сделавшего вреда. Я всегда находил очень неприятным такое зрелище, когда олень, загнанный до потери сил, бросается на землю и сдается, моля преследователей о пощаде своими слезами

14

».

«Я никогда не беру живого животного иначе, как с тем, чтобы возратить его полям. С той же целью Пифагор имел обыкновение выкупать у птицеловов и рыбаков их жертвы».

«Кровожадные инстинкты в отношении других животных свидетельствуют о природной склонности к жестокости и в отношении людей. Римляне, привыкнув к зрелищу убийства зверей, перешли к убийству гладиаторов и других людей. Впрочем, боюсь, что человек от природы таит в себе некоторый инстинкт жестокости. Никому не доставляет удовольствия видеть, как животные играют и ласкают друг друга; но многим доставляет удовольствие глядеть, как он терзают и рвут один другого на части. Дабы не сделаться предметом насмешек за мое сочувствие к животным (предусмотрительно прибавляет он), я сошлюсь на Св. Писание, которое учит нас щадить низших тварей. Тогда как один и тот же Творец поселил их, как и нас, в этой земной юдоли для служения Ему, то, стало быть, они, как и мы, — члены Его семьи и поэтому имеют право на приязнь и некоторое уважение с нашей стороны».

Приводя примеры поклонения некоторым животным у народов древности и цитируя толкование Плутарха, объясняющего божественные почести, которые оказывались этим животным, поклонением в них некоторым качествам, как типам божественных свойств, Монтень говорит о себе:

«Когда я встречаю у людей такие аргументы, которые доказывают нам, как близкое сходство имеем мы с другими животными, как велика их доля участия в наших величайших привилегиях и как справедливо сравнение их с нами, то, признаюсь, это сбивает с меня значительную долю общей нам гордости и располагает добровольно сложить с себя ту мнимо-царственную власть, которая будто бы дана нам над всеми другими земными тварями».

Монтень, будучи умнее большинства людей — даже и позднейших времен, — отвергает заносчивое мнение человека, будто все живущее на земле создано единственно для удовлетворения его нужд и прихотей.

«Пускай человек докажет мне убедительными доводами свое право на владычество над всеми другими существами. Кто убедил его, что этот дивный механизм небесного свода, эти вечные блестящие миры, величественно катящиеся над нашими головами, это изумительное движение безбрежного моря планет, — что все это создано и существует столько веков лишь к услугам и выгоде человека? Что может быть забавнее этого жалкого хилого создания, не имеющего власти даже над самим собой, зависящего от всех случайностей и, тем не менее, мнящего себя властелином вселенной! Он не только не властвует над ней, но даже и знает-то лишь самую мелкую часть ее... Кто же дал ему эту владетельную хартию? Пусть он покажет на свои полномочия. Дарованы ли они одним только мудрым? В таком случае, ими могут пользоваться очень немногие. А разве глупые и злые достойны такой необычайной чести? Разве заслуживают они, — худшая часть сознания, — чтобы им отдавалось предпочтение перед всеми остальными? Можно ли верить этому?»

«Гордость есть наша прирожденная и первобытная болезнь. Человек, — самое жалкое и хрупкое из всех земных созданий, — в то же время и самое высокомерное

15

. В своем тщеславии он воображает себя разным богам, приписывает себе божественные свойства, выделяет себя изо всех живых существ, урезывает справедливые доли своих братьев и товарищей, других животных и допускает у них только такие способности и свойства, какие ему хочется. Но как, каким усилием своего ума может он постичь внутренние, тайные движения и побуждения других животных? Путем какого сравнения между ними и собой убедился он в глупости, которую приписывает им?»

Монтень приводит пример своего учителя, справедливого и добросердечного Плутарха, который считал долгом совести и справедливости не продавать и не отправлять на бойню (по обычаю неблагодарных эгоистов) своей старой коровы, которая верно и пользой прослужила ему много лет. Вместе с Плутархом и Порфирием Монтень неумолимо осуждает господствующее мнение, вернее, предрассудок, относительно умственных качеств многих низших животных, как мы уже видели, утверждает, что различие между ними и нами состоит скорее в *степени*, чем в *роде*.

«Платон, рисуя нам «Золотой век», причисляет к преимуществам человека той эпохи возможность общения с другими животными, изучая природу которых он познает и свои собственные истинные свойства, и различие между своим человеческим родом и другими родами животных, обогащая таким образом свой ум совершеннейшим знанием, которое делает жизнь людей счастливее, чем она может быть в наше время.

Все это я сказал для того, чтобы вернуться назад к различным случайностям (влекущим за собой смерть), которым мы подвержены несколько не менее других животных. «Все, что живет под небесами, говорит еврейский мудрец, подчинено одним законам и одинаковой судьбе». Есть некоторые различия, есть классы и степени, но все подчинено одному и тому же закону природы, и человек принужден держаться в пределах этого закона. Несчастный не в праве преступить их, он связан, окутан, подчинен всем нуждам других созданий одного с ним класса, и не пользуется перед ними никакими действительными и существенными преимуществами. То превосходство, которое он приписывает себе в своей собственной фантазии, не имеет никакого смысла. Если нельзя не признать, что изо всех животных один человек пользуется той свободой воображения и мыслительных способностей, при помощи которых возможны всякие заблуждения в определении человеческих нужд и человеческого естества, то за это преимущество он расплачивается очень дорого, и похвалиться им едва ли вправе, так как это и есть главный источник тяготеющих над ним зол: преступлений, болезней, сомнений тревог и отчаяния».

Отвергая до сих пор еще распространенный предрассудок, отнимающих у наших скромных братьев — животных привилегию разума, и измысливший вместо него какой-то воображаемый «инстинкт», Монтень говорит:

«Нет никакого основания предполагать, что то, что мы делаем по собственному выбору,

другие существа делают только по естественному понуждению или инстинкту, и так как мы должны признать, что одинаковые результаты достигаются одинаковыми способностями — а лучшие результаты лучшими способностями — то, следовательно, мы должны признать и то, что те самые причины, которые побуждают нас, побуждают и низших животных, и те самые приемы, которые мы употребляем, применяются и ими, и даже бывают у них лучше, чем у нас

16

».

XVI

ЛЕССИО

1554-1623

Этот замечательный гигиенист, родившийся в брабантском городе Брехтене, с самого раннего возраста обнаруживал такие исключительные способности, что заслужил от своих товарищей-школьников прозвание «пророка». Его жажда к учению была столь велика, что заставляла его забывать о пище и сокращать время сна до самых последних пределов. Поступив в Арасскую гимназию в Лувене, Лессиио проходил там курс наук с величайшим успехом, почему и был прозван «царем филологов». Семнадцати лет он вступил в общество Иисуса. Два года спустя он получил кафедру философии в Дуэ. В 1585 году он принял место профессора богословия в Лувене.

Он заслужил такой необыкновенный почет и уважение в среде своего ордена и со стороны всех входивших с ним в соприкосновение, что смерть его не только вызвала самые горячие сожаления, но (как уверяют) друзья его оспаривали друг у друга право на обладание всякой мелкой вещью, которую можно было бы оставить на память о том, кто писал такие замечательные сочинения. Его погребли пред главным алтарем в церкви Лувенской коллегии. Высоко чтимый при жизни, он и после смерти получил отменную похвалу со стороны папы Урбана VII, называвшего его лучшим украшением своей церкви; говорили даже, будто он делал чудеса.

Главные его сочинения:

De Justitia et de Jure Actionum Humanarum (перепечатанная семь раз). Многие из его положений подпали, по-видимому, запрещению богословского факультета епископов и пап.

Quoe Fides et Religio sit Capessenda, Consultatio, Анвер, 1610. По отзыву св. Франциска Салльского, это сочинение не столько Лессиио, сколько ангела Великого Совета.

Hygiasticon (Анвер 1613-14, 8 vo); его наиболее замечательное произведение. Оно переведено с латинского на французский язык Себастианом Арди под заглавием «Истинное правило жизни для сохранения тела и души».

«Лессиио», говорит один из его биографов, «которому доктора определили всего два года жизни, сам принялся за изучение принципов гигиены и, поразившись примером Корнаро, решился подражать ему и скоро настолько убедился сам в пользе такого подражания, что перевел его книга «О воздержной жизни», присоединив к ней результаты собственного опыта, которому он был обязан продлением своей жизни на сорок лет» Вообще, это был человек обширной учености.

Hygiasticon у предпосланы свидетельства трех выдающихся врачей, выражающие полное согласие с положениями автора. Английский перевод (1634 г.) снабжен тремя приветствиями в стихах, обращенными к автору, из коих одно принадлежит Крэшоу, другу Коулея, и «Диалогом между обжорой и эхом», также в стихах. К этому изданию приложены перевод Корнаро и анонимный трактат другого итальянского писателя — «О том, что скудная пища лучше дорогой и роскошной».

В гл. V «О преимуществах, доставляемых телу умеренной пищей, из коих первое то, что она

освобождает почти от всех болезней» — Лессю обещает сторонникам этого принципа, что, во-первых:

«такая пища делает человека свободным и предохраняет его почти от всякого рода болезней. Она избавляет его от катара, кашля, одышки, головокружения и болей в бедрах и желудке. Она устраняет апоплексию, падучую и другие болезни мозга. Она исцеляет подагру ног и рук, ломоту в бедрах и сочленениях. Она предотвращает также дурное пищеварение, источник всех болезней. Одним словом, она так распределяет соки и поддерживает их в таком равновесии, что они не приносят никакого вреда, ни качественно, ни количественно. Это подтверждается и разумом, и опытом, ибо мы видим, что придерживающиеся умеренности в пище очень редко подвергаются болезням, скорее совсем от них избавлены, но даже и в случае заболевания они переносят болезнь гораздо лучше и скорее выздоравливают, нежели те, чьи тела переполнены дурными соками.

Я знаю очень многих, которые, будучи слабого сложения от природы и находясь в весьма преклонном возрасте и в постоянной умственной деятельности, тем не менее, благодаря умеренности, остаются здоровы и большую часть своей многолетней жизни прожили, по-видимому, без всяких недугов.

То же самое наблюдается при ранах, ушибах, вывихах и переломе костей в том отношении, что здесь не бывает никакого истечения дурных соков из пораженной части, а если и бывает, то очень мало... Кроме того, воздержность в пище вооружает и укрепляет против моровой язвы, потому что тело гораздо лучше сопротивляется чумному яду, если оно чисто и свободно; это видно на примере Сократа, никогда не подвергавшемся моровому поветрию, неоднократно опустошавшему город Афины, где он жил, как пишет о том Лаэртий. Третье удобство такого питания заключается в том, что, хотя оно не исцеляет болезней, неизлечимых по самой природе, но оно настолько умеряет и облегчает их, что они переносятся без труда. Это видно на ежедневном опыте».

Лессю распространяется о прочих выгодах безубойного питания, как, например, о том, что оно удлиняет жизнь до самой глубокой старости, производит хорошее расположение духа, возбуждает деятельность, память и тому подобное.

Моффет, другой гигиенист, писатель шестнадцатого столетия, с негодованием спрашивает:

«Не будь на то (заклание животных для пищи) воли Бога (т. е., суеверия или обмана), кто осмелился бы коснуться губами остатков мертвого тела или поставить на стол то, что составляет добычу волка или пищу сокола? Кто, повторяю, дерзнул бы питаться теми членами, которые недавно смотрели, ходили, блеяли, мычали, чувствовали и двигались?»

Скажите вы мне, могут ли глаза гражданина и человека переносить зрелище убиения невинного животного, перерезания его глотки, раздробления его головы, сдирания его шкуры, разделения на части его членов, разбрызгивания его крови, вскрывания его жил, испускания тяжелых вздохов и стонов, той страстной борьбы за жизнь, вид которой в состоянии выносить только грубые, жестокосердые мясники?

Разве не достаточно земли для доставления нам пищи, что мы должны вскрывать еще внутренности животных, птиц и рыб? Между тем, для прокормления нас земля дает нам целый ряд пищевых веществ или совсем в готовом виде, или требующих очень небольшого приготовления, и мы можем брать их без страха и срезать без трепета, можем также смешивать их различными способами для угождения своему вкусу и безо всяких опасений наполнять ими свою утробу».

Автор «Анатомии злоупотреблений», писатель той же эпохи, осуждая неестественный и роскошный образ жизни своих современников, весьма удачно и правильно сравнивает два рода пищи:

«Я могу объяснить себе это лишь тем, что изнеженность и разборчивость в пище изменили нашу природу, расстроили наше тело и подвергли нас множеству болезней, неизвестных нашим предкам, а потому и сократили нашу жизнь против прежнего... Кто всех болезненнее, всех хилее, всех хуже на вид, как не те, кто каждый день питается роскошными яствами?»

Кто всех слабее? У кого больше отрыжки, дурной мокроты и гнилости (от переполнения дурными соками), как не у них? Короче — кто скорее их умирает?

Разве мы не видим, что бедный человек, который ест черный хлеб, приготовляющийся из ржи, ячменя, гороха, бобов, овса и других грубых злаков, и пьет легкие напитки, часто одну воду, питаясь молоком, маслом и сыром, — разве мы не видим, что он здоровее, крепче, свежее лицом, долговечнее того кто постоянно роскошествует в своей пище; и может ли оно быть иначе?»

1

Геккет — автор «трактата» о неупотреблении мясной пищи. Он умер в 1737 г.

2

Вольтер мог бы, кроме того, указать на пример *ценобитов*. Это, по крайней мере, единственная религиозная община, издавна существовавшая на Синайском полуострове, которая в своей пище всегда строго исключала всякого рода мясо. Подобно траппистам, эти религиозные вегетарианцы — заведомо самые долговечные из местных жителей и менее всех подвержены каким-либо болезням.

3

Статья Вольтера *Viande*. Считаю нелишним заметить, что и в некоторых других своих сочинениях Вольтер выражает сочувствие безубойному способу питания.

4

Мудрейший и, следовательно, самый скромный из английских мыслителей — Поп — не раз указывал на неразумное самомнение человеческого эгоизма, воображающего, что все другие существа созданы единственно для удовольствия человека. Он прекрасно осуждает это притязание в следующих стихах:

Как смел подумать ты — безумец и гордец,
Что о тебе одном заботится Творец
И предназначил все тебе для наслажденья,
Для пищи, для удобств, нарядов, развлеченья?

.....

Знай, всем Природы детям равный дан удел:

Мех, греющий царя, сперва медведя грел.
«Вот, — люди хвастают, — вся тварь — нам на служенье!»
(Причем откармливают гуся на съеденье.)
А гусь откормленный ответил им: — «Ага!
Я птица важная, мне человек — слуга!»
Смешон и жалок гусь в хвастливом самомненьи;
Но люди, думая, что «все для одного»,
А не «один для всех», — похожи на него.

К этим истинно философским размышлениям мы добавим, в виде комментария, слова новейшего талантливый писателя, который на вопрос «зачем были созданы овцы и волы, если не для пользы человека», отвечает в том же смысле, в каком ответил Порфирий 1000 лет тому назад: «Только гордость и глупость человека могла вообразить, что все создано для его единственной пользы. Существуют миллионы солнц, которые остались невидимыми для человеческих глаз. Мириады животных пользуются существованием, неуловимые и невидимые, многие из них вредны и губительны для человека. Все существует для целей, которые только отчасти известны. Но вообще, мы должны верить, что все было создано для своего блага, для взаимной выгоды и поддержания общей гармонии в природе. Если только на том основании, что мы можем с удовольствием съесть овцу, мы полагаем, что овцы существуют, чтобы снабжать нас пищей, то можно точно так же сказать, что человек создан

исключительно для прокормления разных паразитных животных, которые питаются им».

5

В остроумной сатире, направленной против сластолюбивых жителей Антиохии, которые насмеялись над его умеренной пищей и простым образом жизни, император Юлиан сам упоминает о своей растительной пище и порицает «грубые и чувственные склонности» этого развращенного города.

6

Философская басня Юлиана — *Цезари*, по мнению Гиббона, представляет одно из самых даровитых и поучительных произведений древнего остроумия. Цель басни указывает достоинства и недостатки разных римских императоров, от Августа до Константина.

7

Люди, более придерживающиеся буквы, чем дух св. Писания, чаще всего ссылаются на видение Св. Петра, как на неопровержимое доказательство библейской санкции мясоедения. Однако, если не жертвовать для буквы простым здравым смыслом и всякой критикой, то из этого видения (в котором спящему являлись всевозможные четвероногие дикие звери и гады, которых, конечно, он не стал бы есть) можно вывести только факт умственного прозрения, заставившего еврейского апостола сознать безумие своих соотечественников, приписывающих себе исключительное право считаться «избранным народом».

8

«Собрание поучений, избранных из творений святого отца нашего Иоанна Златоуста», Стефаном Дерябиным. Т. 1. М. 1881, стр. 389.

9

Златоуст, по-видимому, заимствовал эти резкие выражения в Сенеки. Сравни с замечаниями этого последнего.

10

Его биограф, Маринус, с восторгом отзывается, как об одном из прекрасных душевных качествах и гениальности, так и о совершенстве, которого он достиг чистотою жизни, чуждой материальных наслаждений. Прокл, по-видимому, отличался замечательной терпимостью и разносторонностью ума, так как относился с равным уважением к лучшим сторонам всех существовавших тогда религиозных систем.

11

Читая это, мы готовы спросить себя, относятся ли эти слова к обжорству и расточительности шестнадцатого столетия или к современным общественным обедам., напр., к годовому обеду английского лорда-мэра. Громадное количество всякого рода жертв, избиваемых для доставления материалов на эту выставку национального обжорства, может быть выражена только гомеровским словом «гекатомба».

12

Мор энергически утверждает, что вешать за воровство так же скверно, как давать премию за убийство. 250 лет спустя Беккария и другие гуманисты тщетно предъявляли подобные же возражения против уголовного кодекса христианской Европы. Едва ли нужно прибавлять, что драконова кровожадность уголовного кодекса еще не далее, как полвека тому назад, позорила понятие о «цивилизации».

13

Эразм, по-видимому, разделял взгляды своего друга на охоту. «Что за удовольствие находят они (охотники) резать своих жертв после того, как они затравлены? Коров и баранов режут

простые мясники, но животных, убитых на охоте, должны разрезать непременно «джентльмены». И вот джентльмен опускается на колени, достает из ножен острый кинжал (обыкновенный нож для этого не годится) и после различных церемоний разрезает животное по суставам с искусством настоящего анатома, между тем, как все другие стоят и смотрят на эту операцию, как на что-то невиданное, хотя все уже сто раз видели то же самое. И всякий, кто может хотя бы обмакнуть палец в кровь и отведать ее, полагает, что он сделался лучше от этого. Между тем, постоянное употребление такой пищи делает людей подобными тем животным, которых они убивают» и т. д. («Похвала глупости»). Три с половиной века прошло с тех пор, как Мор с Эразмом обличали кровавый обычай охоты, а его и теперь еще приходится обличать, так медленны прогрессивные шаги человечества ко всему, что называется истинной нравственностью и утонченностью чувств.

14

«С жалобными криками, весь облитый кровью, стоит он в умирающей позе». См. описание смерти оленя Сильвии в «Энеиде» — самый трогательный эпизод в целой поэме Вергилия. Горе тосканской девушки по своему любимцу, заботливый уход ее за ним, негодование ее соплеменников, раздраженных против убийцы оленя, сына Энея и его спутников, вторгнувшихся в страну; возгорающаяся из-за этого война, — все это изображено с редким чувством и грацией.

15

См. красноречивое негодование Шекспира:

О человек!
Гордящийся своим могуществом ничтожным,
Невежда во всеведеньи своем;
Непрочная фарфоровая кукла,
Кривляющаяся подобно обезьяне
Под безграничным куполом небес.
(«Мера за меру»).

Сравни с этими справедливыми и разумными доводами Монтеня замечательный трактат Иеронима Барария под заглавием «О том, что неразумные твари часто выказывают больше разума, чем человек». Это сочинение было издано знаменитым врачом Габриелем Ноде в 1648 году, т. е., спустя 100 лет после того, как оно было написано. Стало быть, оно старше «опытов» Монтеня. Ланге говорит о нем: «Трактат этот отличается строгим и серьезным тоном, а также настойчивым указанием именно на такие черты характера у низших животных, возможность которых обыкновенно отрицается под тем предлогом, что они могут быть продуктом только высших душевных свойств. Добродетелям животных противопоставляются в этом сочинении пороки людей, чем достигается резкий контраст. Понятно после этого, что рукопись эта так долго пролежала под спудом, несмотря даже на то, что автор был другом папы и императора. Нужно прибавить, что и заглавие книги Барария, и сама ее аргументация показывают, что она внушена Плутархом. Не менее расходятся с общепринятым мнением и сочинение на эту тему Пьера Шаррона, друга Монтеня, под заглавием «О мудрости».

XVII

ГАССЕНДИ

1592 — 1655

Гассенди, одному из самых почтенных французских писателей-философов семнадцатого

столетия, всецело принадлежит честь восстановления, в позднейшее время, учения Платона и Порфирия. Другие выдающиеся мыслители, подобные Мору и Монтеню, как уже сказано выше, только косвенно осуждали укоренившее варварское отношение людей к животным. Но с тех пор, как влияние философского течения Платона изгладилось, Гассенди первый из писателей решился открыто и в самых определенных выражениях выступить в защиту великого принципа жалости к низшим тварям.

Он родился в бедном семействе, близ Диня, в Провансе. Задатки его даровитой природы обнаружили очень рано, и в девятнадцать лет он был уже профессором философии в Эксе. Его замечательное сочинение «*Попытки к опровержению парадоксов, не с-гласных с учением Аристотеля*», было первым его трудом в области философии. Оно было напечатано по частям в 1624 г., хотя написано было несколькими годами раньше. Этим сочинением Гассенди и книгою его современника, Франсиска Бэкона, *Novum Organon*, был нанесен первый решительный удар старому одностороннему схоластическому направлению, приверженцы которого, злоупотребляя именем и авторитетом Аристотеля, держали в кабале европейские школы и университеты в течение трех или четырех столетий темного средневекового времени. Сочинение Гассенди, разумеется, тотчас же восстановило против него всех сторонников старого учения и, как всегда бывает при разоблачении лжи, он был осыпан самой ожесточенной бранью. Пять книг его «*Попыток*», по совету его друзей, опасавшихся последствий выказанной им смелости, были уничтожены. В четвертой книге Гассенди, кроме «ереси» Коперника (принять которую у Бэкона недоставало мужества или проницательности), поддерживает также учение о вечности земли, которое уже проповедовал Бруно, а в седьмой — предлагается формальный совет следовать эпикурейской теории нравственности, на основании которой слова «удовольствие» и «добродетель» должны считаться синонимами.

Оглушенный поднявшейся против него бурей, философ, как бы в утешение себе, предался изучению анатомии и астрономии

1

, не прекращая в то же время и своих литературных занятий.

Анатомические исследования побудили его написать трактат, в котором он доказывает, что человеку предназначено питаться растительной пищей, и что животная пища, как не соответствующая его организму, должна быть вредна для него. После того он публично выступил, как противник Декарта, в своем сочинении *Disquisitiones Anticartesianae* (1643), которое, по замечанию одного из выдающихся немецких критиков, было вполне справедливо признано образцом превосходной полемики. Философский мир по этому поводу вскоре разделился на два враждебные лагеря. С своей стороны, мы можем заметить только, что как бы ни были важны заслуги Декарта в других отношениях, но его нелепое и несправедливое мнение, что все породы животных, за исключением человеческой, наделены только инстинктом и бессознательными ощущениями, — не заслуживает никакого доверия.

В 1646 г. Гассенди сделался профессором математических наук в Парижском университете, причем на его лекции стекались массы слушателей всех классов. Самое главное из его сочинений — «*Жизнь и нравоучение Эпикура*» появилось в печати в 1647 г. Сочинение это служит красноречивым опровержением предвзятых и ложных мнений, распространенных в течение стольких лет об одном из величайших и добродетельнейших греческих учителей.

Ни европейская известность Гассенди, ни всеобщее уважение, выказываемое как к личным его достоинствам, так и к общественным заслугам, не могли повлиять растлевающим образом на этого почтенного человека, скромные вкусы которого не имели ничего общего ни с пышной роскошью, ни с мелкими литературными интересами парижского общества.

«Он только что неохотно решился оставить свой дом на юге, когда болезнь легких заставила его снова вернуться в Динь, где он пробыл до 1653 г. Этот период был особенно благодетелен для его литературных занятий, как по части изложения философских воззрений Эпикура, так и развития его собственного учения. В это же время он написал несколько сочинений по астрономии и целый ряд интересных биографий, между которыми особенно замечательны

биографии Коперника и Тихо-де-Браге. Гассенди не сделался жертвой религиозной нетерпимости современного духовенства, должно быть, единственно потому, что ему суждено было сделаться жертвой медицины. Доктора, лечившие его по тогдашнему способу от лихорадки, довели его до крайнего истощения. Как ни старался он восстановить свое здоровье во время пребывания в своем южном поместье — все было напрасно. По возвращении его в Париж, у него опять возобновилась лихорадка, и организм его не выдержал тринадцати кровопусканий, сделанных ему одно вслед за другим. Он умер 24 октября 1655 г.»

.Тайге, у которого заимствованы приводимые здесь краткие подробности, высоко ценит значение Гассенди как философа-физиолога, которое он характеризует в следующих выражениях:

«Гассенди в такой же степени способствовал перевороту в физико-естественной философии, как и Декарт. Очень часто, благодаря известности Декарта, как автора Метафизики, ему приписывали то, что следовало приписывать Гассенди. Точно так же, вследствие странного смешения разногласия и соглашения, враждебности и близкой связи, существовавших между двумя системами, заключительные выводы, вытекавшие из них, постоянно смешивались»

2

Несмотря на замечательную ученость Гассенди, глубина и оригинальность его мысли нисколько не затемняются научными терминами, как нередко бывает с другими писателями. Бейле, писавший в конце семнадцатого столетия, очень метко характеризует его, как «величайшего философа между учеными и величайшего ученого между философами». С таким же уважением отзывается о нем и Ньютон.

В замечательном письме к своему другу, Ван-Гельмонту, Гассенди указывает на нерациональность мнений некоторых физиологов, которые были, очевидно, более заинтересованы защитой пищи, освященной веками, чем открытием неприятной истины, касающейся приспособления человеческих зубов.

«Я могу сказать только, — пишет он своему другу-медику, — что самое приспособление наших зубов указывает на то, что нам, по-видимому, не предназначено природою питаться мясной пищей, так как все млекопитающие (я говорю о живущих на суше), созданные плотоядными, имеют зубы конической формы, длинные, острые, неровные и редкие, какие бывают у львов, тигров, волков, собак, кошек и проч. Что же касается до животных, которым предназначено питаться травой и плодами, то они имеют зубы короткие, широкие, тупые, частые и разделенные па ровные ряды. К этому разряду принадлежат лошади, коровы, олени, овцы, козлы и т. д. А так как людей природа наделила такими зубами, которые по своей форме подходят к зубам не первого, а второго разряда животных, то можно не без основания предположить, что им предназначено, при выборе пищи, следовать обычаям не плотоядных пород, а таких животных, которые довольствуются произведениями земли... И потому повторяю, что самое устройство человеческой природы указывает на то, что зубы наши предназначались к пережевыванию не мяса, а плодов. Что же касается до мяса, то действительно верно, что человек им питается. Но, скажите по совести, разве человек не делает ежедневно и ежеминутно того, что совершенно противно его природе? Он до такой степени уклонился от нормального образа жизни, что это уклонение, можно сказать, въелось ему в плоть и в кровь, отравило его организм и, по-видимому, совершенно изменило его природные наклонности. Поэтому на философах и моралистах лежит прямая обязанность вернуть людей на тот путь, с которого они свернули в сторону».

Ван-Гельмонт, по-видимому, основывал свой главный аргумента не на том, что говорит книга *Бытия*, и не на том, конечно, что говорит наука, а на одном только мнении, что человек, по самой своей природе — существо плотоядное. Гассенди возражал на это, что он может сослаться не только на теологический аргумент, но также и на сравнительную анатомию, которая представляет надежное руководство в этом случае. Потом он старается доказать Гельмонту неверность, в физиологическом отношении, его предвзятого мнения

относительно зубов и проч. (о чем уже упомянуто выше) — и заявляет своему другу, что он не должен удивляться тому, что он, Гассенди, смотрит на человеческое себялюбие крайне подозрительно.

«Потому что, в сущности, мы все, как бы по безмолвному соглашению, стараемся придать себе как можно более значения и делаем это так гордо и самоуверенно, что, если бы нам пришлось отбросить в сторону свое традиционное и закоренелое самомнение и сделать себе настоящую оценку, то, наверное, каждый из нас устыдился бы самого себя».

Тут же, кстати, Гассенди приводит следующую речь Плутарха, не допускающую никаких возражений:

«Вы говорите, что мясо полезно для человека; но если он убежден в том, что это естественная его пища, то почему он не употребляет ее в том виде, как она предлагается ему природой? Нег, он с отвращением отказывается от всякой попытки есть не только живых животных, но даже их сырое мясо, и считает необходимым прибегнуть к действию огня, чтобы изменить естественные свойства своей добычи. С другой стороны, если бы природа предназначила людям питаться *приготовленным* мясом, то она, конечно, доставила бы им и естественных поваров или, вернее всего, взяла бы на себя труд готовить для них мясную пищу, как она готовится плоды, которые бывают гораздо вкуснее и слаще в натуральном их виде. Природа, как всем известно, предусматривает все необходимые потребности своих детей. А что же может быть необходимее для нас хорошо приготовленной пищи? Наконец, если природа прибегает к содействию половой любви с целью сохранения *видов*, то она, конечно, принимает свои меры и к сохранению *родов*.

Не говорите, что в этом случае человек поправляет ошибку природы, потому что такое оправдание было бы равносильно обвинению ее в сделанном промахе, и тогда нам пришлось бы сознаться, что она отнеслась к нам далеко не с такой материнской заботливостью, как к диким зверям. Кроме того, так как наши зубы оказались недостаточно острыми для употребления мясной пищи даже в приготовленном виде, то мы вынуждены были прибегнуть к изобретению ножей, и только с помощью этих неестественных органов мы можем справиться с затруднительной для нас задачей питания, а это составляет также весьма веский аргумент против мясной пищи. Как будто природа могла оставить нас в совершенно беспомощном положении относительно одного из самых главных условий нашего существования! Предвижу, что мне сделают обычное возражение: «Но природа дала человеку разум для пополнения подобных недочетов». А я, со своей стороны, возражу, что нам ничего не остается более, как во всем обвинять природу, чтобы оправдать наше неудержимое стремление к роскоши и всяким излишествам.

Неужели все сказанное выше не достаточно убеждает нас, что человек совсем не предназначался ни для охоты на зверей, ни тем менее для поедания их. Вспомним, наконец, слова Цицерона, сказавшего, что цель человеческой жизни состоит не в том, чтобы ловить зверей и перерезать им горло. Если вы возразите мне, что сама природа внушает людям страсть к охоте, то я укажу на борьбу людей друг с другом. Но разве это делается тоже по внушению природы? Неужели можно назвать *естественными* ваше стремление вредить друг другу? Природа дала вам способности, но вы сами виноваты в том, что употребляете их во зло».

В заключение, Гассенди опровергает обычные возражения, что мясная пища придает силу ее потребителям и в подтверждение своих доводов указывает на силу лошадей, быков и других травоядных животных.

«Что касается до меня, говорит Гассенди, то скромно сознаюсь, что я довольствовался одними произведениями моего сада, и эта пища так правилась мне, что я мог бы написать на дверях моего дома: «Господа, здесь вы найдете радушный прием. Временный владелец этого дома гостеприимен *по-человечески* и с радостью угостит вас кушаньем из перловой крупы и свежей водой». Произведения моего сада не усиливают голод, но утоляют его, а простой напиток не возбуждает жажду самыми своими свойствами, как другие напитки, но утоляет ее».

ФРАНСИСК БЭКОН

К этому же периоду относится деятельность одного из известнейших наших писателей, *Бэкона*, занимающего выдающееся место в философской литературе. Но так как мы придаем гораздо более значения принципам безукоризненной нравственности и истинной гуманности, чем даже величайшей умственной силе, не направленной к высоким целям — защите истины и справедливости, то имя Бэкона не возбуждает в нас чувства уважения.

Принимая во внимание, как эгоистично и недобросовестно пользовался Бэкон оказываемым ему общим расположением, было бы трудно ожидать от него защиты прав низших животных. Из его замечаний о вивисекции (он спрашивал, не следует ли воспретить опыты над человеческими существами и ограничиться нечеловеческими породами

3

) видно, что он относился довольно индифферентно к благородному делу ограждения прав ваших беззащитных жертв.

Однако, судя по следующим словам Бэкона, можно предположить, что ему не чужды были лучшие чувства:

«Природа наделила человека прекраснейшим и благороднейшим чувством сострадания, которое простирается и па бессловесных животных и которое в этом отношении походит на то чувство милосердия, с каким принц смотрит на своих подданных. Разумеется, это чувство более всего доступно людям с благородной душой, потому что мелкие и извращенные натуры не признают сострадание добродетелью; но великодушные и лучшие люди всегда сострадательны. Поэтому-то в старых законах встречается множество постановлений, составленных в духе милосердия и воспреещающих, между прочим, употребление в пищу мяса с кровью. На этом же самом основании ессениане и пифагорейцы совсем не ели мяса, а в некоторых местах Индостана жители не едят его и до сих пор, строго выполняя предписания своей религии. Даже и турки, этот дикий народ, приучены к заботливому обращению с бессловесными животными и не позволяют их мучить».

Мы думаем, что если бы Бэкон прожил долее (он умер в 1626 г.), то веские аргументы его знаменитого современника, Гассенди внушили бы ему более здравые воззрения относительно пищи и обращения с животными. Что же касается до медицины, то Бэкон не без основания был не слишком высокого мнения о методах ее профессоров. Вот что он говорит по этому поводу:

«Медицина до сих пор более практиковалась как ремесло, чем разрабатывалась, и более разрабатывалась, чем подвигалась вперед. В ней заметно скорее круговое, чем прогрессивное движение».

XIX

РЕЙ

(1627 — 1705)

Джон Рей, один из первых основателей ботаники и зоологии, поставивший эти отрасли знания на степень наук, получил образование в Кембриджском университете. В 1649 г. он был избран в члены Трипатеи коллегии, а в следующем году был назначен в нем лектором греческого языка. Он собрал еще в Кембридже коллекцию местных растений и составленный к ним каталог напечатал в 1660 г. По прошествии трех лет, он предпринял путешествие по Европе в сопровождении своего друга, Франциска Униобэ. Таким образом, в продолжение своей академической деятельности, Рей посетил большую часть европейских островов с целью ботанических и зоологических исследований, и в 1673 г. напечатал описание своих путешествий.

Он был одним из первых членов основанного в то время Королевского Общества. В 1682 г.

полнилось в печати его сочинение: «Новая, классификация растений», бывшее первой попыткой возвести ботанику на степень науки. Сочинение это послужило основой для позднейшей классификации Жюссье. Кроме того, следует прибавить, что автор его первый предложил подразделить растения *па однодольные и двудольные*.

Самым главным сочинением Рея считается его «История растений», 1686-1704. «В этом ученом труде он собрал и привел в порядок все виды растений, которые были описаны ботаниками, и которых он насчитал 18625 видов. По словам Галлера, Шпренгеля, Адамсона и других, это сочинение должно стоить немалых трудов его автору и обнаруживает в нем весьма тонкий критический ум

4

».

Рей принадлежал к числу самых убежденных сторонников растительной пищи и весьма красноречиво высказал по этому поводу свое мнение, которое друг его, Джон Эвелин, цитирует с его разрешения:

« Растительная пища составляет для нас такую существенную потребность в продолжение всей нашей жизни, и всемирное значение ее так громадно, что можно с полной справедливостью сказать, что мы решительно не можем обойтись без нее. Какая бы пища ни понадобилась нам для подкрепления наших сил, чем бы мы ни захотели полакомиться или освежить себя, — мы находим все необходимое для нас в неистощимой кладовой природы. А во сколько раз легче, вкуснее и здоровее обед из растительной пищи, чем из прокопченного дымом мяса убитых животных! Человек, по своей природе, совсем не принадлежит к числу плотоядных животных, доказательством, чему служит то, что он не приспособлен даже к жизни хищника и не имеет ни зазубренных и острых зубов, ни выгнутых и как бы отточенных когтей, предназначенных для раздиранья добычи. Вместо того, ему даны нежные руки, для собирания плодов и овощей, и такие зубы, которыми можно только пережевывать, а не разрывать пищу».

XX

КОУЛЕЙ

1620—1667

Между поэтами своего времени Коулей занимает второе место после Мильтона и Драйдена. Стихотворение «Сад», из которого мы приводим ниже несколько очень верных мыслей, составляет предисловие к написанной его личным и политическим другом Джо-ном Эвелином книге под названием *Kalendarium Hortense* .

«Когда Эпикур поведал миру свое учение (при верном его понимании, быть может, и справедливое) о том, что наслаждение есть величайшее благо, то он согласовал свою жизнь с этим учением и искал счастья в тенистой прохладе садов. И каждый, желающий быть эпикурейцем, может там же наслаждаться самой дешевой и безобидной роскошью. Вителий, к столу которого подавалось в виде убоины столько же различных животных, сколько было в Ноевом Ковчеге, и которому как дань доставлялись яства из всех возможных стран, — сам Вителий не мог ублажить свое чрево ничем, превосходящим то, что щедрая природа готова давать каждому самому скромному садоводу при небольшой доле искусства и старанья с его стороны. Самый сластолюбивый обжора не в состоянии изобрести никакого мясного кушанья, настолько вкусного, чтобы ради него стоило отказаться, напр., от винограда или дыни, хотя бы все живые твари, населяющие земной шар, были включены в список его жертв...

Почти нет здесь растения, которое не содержало бы в себе какого-нибудь целебного средства для борьбы со смертью. Пускай города хвалятся тем, что они снабжают жизнь пищей для гордыни, — деревня же дает жизни опору и защиту».

XXI

Джон Эвеллин, служащий представителем самой почтенной и наиболее образованной части современного ему общества среднего круга и так красноречиво излагающий преимущества растительной пищи, в такой же степени, как и Рей, способствовал тому, что интерес к ботаническим наукам был возбужден в среде его соотечественников. В своем патриотическом воззвании к землевладельцам он убеждал их заняться насаждением деревьев и указывал как на эстетическое значение лесов, так и на ту пользу, которую они могут принести потомству. Он первый начал заниматься садоводством по научному способу, и его опыты разведения экзотических и других редких растений привели его к весьма полезным результатам: но, к сожалению, на это не было обращено должного внимания вследствие невежественности и эгоистичности как современных ему, так и позднейших землевладельцев. А между тем, какую пользу они принесли бы местному населению, если бы, следуя благому совету Эвелина, занялись разведением разных фруктовых деревьев и обеспечили бы народные массы здоровой и дешевой пищей.

Семейство Эвелина жило в Утоне, в графстве Соррей. Во время борьбы парламента со двором он находился за границей, где провел несколько лет, путешествуя по Франции и Италии и, по-видимому, употребляя свое время с большей пользой, чем употребляет его обыкновенно большая часть его путешествующих соотечественников. На родину он вернулся в 1651 г. Лет через десять после этого, по открытии Королевского Общества, он сделался одним из первых его членов. В 1664 г. было напечатано первое его сочинение под заглавием *«Рассуждения о лесных деревьях и о разведении строевого леса»*. После этого он возбудил вопрос о необходимости присутствия в Королевском Обществе уполномоченных от флота, для подачи мнений, ввиду замечаемого в Англии уменьшения строевого леса, в особенности дуба. Таким образом, Англия обязана его предусмотрительности большей и самой лучшей частью растущего в ней теперь леса.

В 1675 г. появилось в печати его сочинение *«Земля: рассуждения о земле как со стороны обработки и улучшения ее, так и со стороны растительности вообще и разведения растений»*. Но своей известностью Эвеллин обязан главным образом своему сочинению *«Дневник и корреспонденция»*, которое можно назвать одним из самых интересных произведений этого рода. Не говоря уже о том, что оно знакомит читателя с образом жизни светского общества семнадцатого столетия, оно интересно в особенности как беспристрастная хроника современных общественных событий. Для нас наибольший интерес представляет его сочинение *«Acetaria»* (трактующее о салатах и растениях, употребляемых в пищу с уксусом), в котором он в самых убедительных выражениях указывает на преимущества и великое значение растительной пищи. Но, к сожалению, благодаря недобросовестному ведению книгопродавческого дела, эту книгу постигла такая же судьба, какая нередко постигает и другие книги, которые, несмотря на глубочайшие истины, высказываемые в них, оставляются без всякого внимания теми самыми людьми, которые берутся удовлетворять умственным и духовным потребностям читающей публики.

Приводя различные аргументы против употребления мяса, Эвелин, между прочим, говорит следующее:

«Но из всего сказанного нами в защиту растительной пищи сам собою возникает вопрос: настолько ли она полезна в сыром виде, как мы это сейчас доказывали? Какое мнение выскажут на этот счет медицинские светила, мы это не замедлим узнать. Теперь же укажем еще на то обстоятельство, что священная летопись древности свидетельствует нам о том, что в старину люди даже и понятия не имели о мясной торговле. Кроме того, из бытовых очерков нам также известно, что некоторые племена, питающиеся до сих пор одними травами и кореньями, отличаются необыкновенной долговечностью, здоровьем и силой. Следует ли объяснять это явление климатическими условиями, туземными обычаями и крепостью телосложения, — это вопрос еще не решенный».

Коснувшись заявления Кардана, писателя шестнадцатого столетия, не без претензий на ученость высказывавшегося, по-видимому, в пользу мясной пищи, Эвелин прибавляет:

«Народы, питающиеся исключительно мясом, как, например, жители отдаленного Севера, отличаются вялостью, угрюмостью, бездеятельностью и гораздо меньшей сообразительностью, чем южане. Народы же, питающиеся больше растительными продуктами, необыкновенно сметливы, подвижны и проницательны. Доказательством этого могут служить халдейцы, ассирияне, египтяне и пр.»

Далее он указывает на недолговечность большей части плотоядных животных сравнительно с травоядными и жвачными породами, например, оленями, верблюдами, слонами и другими потребителями растительной пищи :

«Точно также нам известно, что воздержные и трезвые люди, питавшиеся университетской диетой (речь, очевидно, идет о весьма отдаленном времени), отличались крепким здоровьем; земледельцы и вообще, трудящиеся люди тоже бывают здоровее и долговечнее людей, ведущих беспорядочную жизнь и предающихся разного рода излишествам».

Затем, обращаясь к религиозному чувству своих читателей. Эвелин переходит к Библии и продолжает:

«Вспомните, что Всемогущий Бог, повелевший травам и плодам служить пищей человеку, ничего не говорил ему о мясной пище в течение целых двух тысячелетий. Когда же потом, по закону Моисееву, животные были разделены на чистые и нечистые породы, которые воспрещено было употреблять в пищу, — относительно употребления растений не последовало никаких ограничений, и каждому человеку была предоставлена свобода есть, что ему придется по вкусу. Не очевидно ли, что до тех пор, пока природа человека не была извращена грехом, ему, как высшему созданию, имевшему в своем распоряжении не только неистощимый запас превосходнейшей пищи, но и древо жизни, совсем не полагалось подвергать мучениям и смерти другие создания. Да в этом не было и надобности. Заметьте также, что ребенок, питающийся молоком матери при появлении своем на свет, как только почувствует себя в состоянии добывать себе пищу, прежде всего бежит к плодам, которые он, конечно, и впоследствии ел бы охотнее, чем мясо, если бы, в силу укоренившегося у нас обычая, не старались заглушать в нем даже внушения самой природы

5

«Нелишнее будет указать также и на то, что потребители растительных продуктов всегда отличались трезвостью, умеренностью, спокойствием и ясностью духа. То же самое подтверждает и наш замечательный ботаник Рей».

Тут Эвелин приводит глубоко прочувствованное мнение этого ученого, и затем красноречиво излагает различные преимущества пищи из растительных продуктов:

«К этому мы должны прибавить и многие другие соображения, возбуждающие в нас чувство благоговейного удивления перед премудростью Творца вселенной, давшего растительной пище столь разно-образные свойства: и приятную теплоту, и успокоительную прохладу, и питательную сочность для укрепления нашего тела, и благотворную остроту для возбуждения нашего аппетита, и все необходимые свойства для восстановления и поддержания нашего организма, и, наконец приятный аромат для услаждения нашего обоняния.

Что еще можно сказать по этому поводу? В наших садах и полях есть все, что нужно для удовлетворения наших потребностей. Заметьте также, что от мясных рядов постоянно несет зловонием от запекающейся крови; до наших же салатов, очищающих нашу кровь, не смеет прикоснуться даже летняя муха».

Обращаясь ко временам древних отцов, Эвелин указывает на следующий веский аргумент:

«В пользу безубойной пищи высказывались весьма многие, в особенности из христиан. Так древние отцы думали, что Ною и его сыновьям дозволено было употреблять в пищу мясо на таком же точно основании, па каком евреям было разрешено разводиться с женами, т. е. по

причине их жестокосердия и для прекращения ропота между израильскими племенами».

XXII

МИЛЬТОН

Скажем теперь несколько слов о нравственном мирозерцании современника и противника Эвелина в политическом и религиозном отношениях, Мильтоне, великом пуританском поэте и патриоте, занимающем одно из самых почетных мест в литературе всех образованных наций. Мильтон, в своих сочинениях, постоянно является защитником вегетарианства и горячо сочувствует стремлениям к более духовной жизни.

В одном из самых ранних своих произведений (написанном незадолго до появления одной из лучших поэм этого рода, имеющих в английской литературе — «Оды на рождение Христа», сочиненной поэтом, когда ему было всего двадцать один год) он в латинских стихах подает совет другу своему, Чарльзу Деодати, соблюдать особенное воздержание в пищи, приступая к созданию возвышенных произведений.

«Пусть, как мудрец Самосский, в простоте живут,
За трапезой бескровной злаками питаюсь,
Из деревянных чаш живую влагу пьют —
Воздержанных вино! Безгрешно наслаждаясь
Прекрасными годами юности своей,
Да будут непорочны, чисты меж людей,

.....
Таких лишь бардов вещей свято назначенье, —
Всевышний Разум в них вливает вдохновенье

б

Читатели, конечно, хорошо знакомы с неподражаемой поэмой Мильтона — «Потерянный рай» и помнят, с каким сочувствием он описывает пищу человека в невинный период его существования.

В разговоре Рафаила с его земными собеседниками, небесный посланник произносит пророчество о том, что настанет время, когда род человеческий снова вернется к своим естественным! потребностям, и «пищей человеку будут служить плоды»:

«Быть может, и настанут времена
Сближенья ангелов с людьми: не будет
Тогда казаться трудным воздержанье
От пищи грубой; ваша плоть тогда
Питаньем новым одухотворится:
Преображенные, крылатые, как мы,
Вы будете свободно возноситься
И жить в селеньях райских или здесь —
По выбору».

Таким образом, поэт изображает картину настоящего земного рая в виде «рая мира».

Но какое потрясающее впечатление получается, когда мы обратимся от этого возвышающего душу описания жизни с бескровными трапезами, состоящими из сладких и душистых плодов, — к мрачной картине двора Смерти, развертывающейся, как бы в сверхъестественном видении, перед испуганными глазами нашего предка, на которой он замечает, в числе других несчастных, больше всего жертв «невоздержности в пище и питье, которая должна распространять на земле болезни и ужас». В этом прокаженном доме можно видеть

«Все болезни
Все муки судорог, предсмертных спазм,
Различные породы лихорадок,

Конвульсии, падучая, катар,
Терзанья колик, камни и нарывы,
Параличи, бессилие, маразм,
Безумия и бешенства припадки,
Водянка, астма, в сочлененьях боль
И всемертвящая жестокая зараза».

XXIII

БОССЮЭТ

Другой современник Эвелина, знаменитый *Боссюэт*, заслуживший своим красноречием название «Орла Мо», также высказывается относительно деморализующего влияния одного из самых главных продуктов питания человека в западном мире, и взгляды его па это настолько замечательны, что заслуживают особенного внимания с нашей стороны. Его надгробные речи и, в особенности, его беседы о всеобщей истории доставили ему весьма почетное место во французской литературе. Но мы можем указать на один параграф в последнем его сочинении, который внушает к нему, как к человеку с возвышенными чувствами, еще большее уважение, чем даже его слава красноречивого оратора и глубокомысленного писателя. Несмотря на то, что он, подобно другим теологам, как католическим, так и протестантским, доказывает, что человек поддерживает свое существование ха счет других невинных жизней с дозволения божества, — это нисколько не уменьшает в нем силы внутреннего сознания того, что самый факт существования бойни достаточно свидетельствует о нравственном падении людей. Вот в каких выражениях он осуждает существующий у нас варварски обычай, не решаясь нападать на него прямо:

«До потопа люди без труда добывали себе пищу, довольствуясь плодами, падавшими с деревьев, и растениями, которые тоже созревали сами собой, что ясно свидетельствует о первобытной невинности и кротости человеческой природы. Теперь же, чтобы достать себе пищу, мы вынуждены проливать кровь, несмотря даже на то, что это внушает нам естественный ужас, и как пи стараемся мы украшать наши обыденные столы, мы все-таки не можем не сознавать того, что пожираем кровавые останки животных, убитых для поддержания нашей жизни. Но это составляет только первую ступень наших несчастий. Жизнь, сокращенная таким образом, продолжает сокращаться посредством введения диких инстинктов в жизнь человеческой породы. Человек, щадивший в прежнее время жизнь других животных, теперь не щадит жизни даже своих братьев-людей. Тщетно Бог запрещал, тотчас после потопа, проливать человеческую кровь; тщетно Он, дозволив нам есть мясо, запретил употребление в пищу крови, чтобы сохранить хоть частицу нашей природной кротости... Число человеческих жертв возросло до невероятных размеров».

Далее Боссюэт указывает на те естественные и неизбежная последствия, к которым нас должно было привести убийство других животных, и замечает, что «огрубевший род человеческий не мог более возвыситься до понимания отвлеченных вещей».

XXIV

ТРАЙОН

1634—1703

Один из известнейших гигиенистов-писателей семнадцатого века, Трайон, родился в Байбери, деревне Глостерского графства. Отец его был кровельщик и мостовщик, принужденный, вследствие бедности, взять сына из деревенской школы, когда ему было всего шесть лет, и сделать его рабочим по чесанию и прядению шерсти (в то время шерстяная фабрикация была сильно развита в этом графстве). Восьми лет мальчик так наловчился в работе, что, по его рассказам, мог выпрядать по четыре фунта в день, зарабатывая по два шиллинга в неделю. В возрасте двенадцати лет он поступил к делу отца, и в эту пору впервые научился читать. После того он занялся овцеводством. С тремя фунтами в кармане, вырученными за своих четырех овец, он семнадцатилетним юношей отправился в Лондон искать счастья и здесь поступил учеником к шляпному мастеру. Хозяин его оказался анабаптистом, «честным и трезвым человеком», а через два года учения

Трайон сам перешел в эту секту. Все свободное время посвящалось им теперь наукам, и, подобно всем самоучкам, предоставленным исключительно своим собственным талантам и усердно, он почти забывал о необходимости сна и пищи. Праздничные дни, проводившиеся его товарищами по учению в еде и питье да в грубых забавах, употреблялись им на самообразование. Из наук его особенно занимала физиология.

Двадцати трех лет он начал новый образ жизни. «Я пил только воду, — рассказывает он, — а пищу служил мне один хлеб и отчасти плоды, и то сначала лишь по разу в день. Но впоследствии мой руководитель — разум предоставил мне большую свободу, дозволив есть масло и сыр; при этом я носил простую и тонкую одежду, так как самоограничение во всем стало теперь моим главным и существенным делом». Такую строгую жизнь он вел более года, затем два следующее года по временам отступал от этого правила. После того он уже окончательно утвердился в новом образе жизни, оставшись до конца крайне воздержным в пище, «ограничиваясь травами, плодами, хлебными злаками, яйцами, маслом и сыром в качестве пищи и чистою водою для питья». Года два спустя после своей женитьбы он совершил путешествие на Барбадос и в Голландию, где торговал своим изделием — «касторовыми шляпами». После этого Трайон окончательно поселился в Англии, и, сорокадвух лет, выпустил в свет первую свою книгу: «*О предметах пищи*».

Его краткая автобиография, из которой извлечены нами вышеприведенные факты, оканчивается этим периодом. Издатель его сочинений дополняет описание его внешности и характера: «по его наружности сразу было видно, что это какой-то необыкновенный человек; у него были живые, веселые и быстрые манеры; но, при всей доступности, на нем лежал отпечаток какой-то властной серьезности. Будучи некрепкого сложения от природы, он, благодаря постоянной воздержности и правильности в своей жизни и душевной и умственной бодрости, способен был переносить всякую усталость наравне с людьми самого крепкого сложения и вдвое моложе его. В течение всей своей жизни он оставался человеком неустанного прилежания, примерной неумоимости и трудолюбия; при всем разнообразии и обширности своего торгового дела, он находил достаточно времени для исследований в области естествознания, в чем опередил многих из своих современников. Но предметом его изучения была не одна только природа, а почти все искусства и науки, из которых некоторые обязаны ему своим усовершенствованием, а все невинные и полезные находили в нем покровителя и пособника».

Несмотря на пронизательность ума и правильность суждений, заставившие его отказаться от жестокости и грубости общепринятого способа питания, автор «*Пути к здоровью*» не мог освободиться от некоторых заблуждений своего века, и приходится согласиться, что его сочинения никоим образом не свободны от предрассудков. Нашего уважения он заслуживает главным образом как реформатор в нравственной области. Из многочисленных книг его можно отметить следующие:

Трактат о чистоте в пище и питии.

Путь к здоровью, долголетию и пр.

Дружеский совет господам плантаторам Восточной и Западной Индии.

Путь к всеобщему обогащению, или призыв разума к умеренности и воздержанию.

Учение мудрости, или афоризмы и правила к сохранению здоровья тела и душевного мира.

Величье Англии и путь к приобретению благосостояния, или пособие к облегчению торговли и увеличению доходности земель.

Вряд ли что может быть справедливее и сильнее следующих выдержек из писаний Трайона:

«Большинство людей на словах согласятся с тем, что на этом свете всего дороже здоровье.

Но редко кто ценит его должным образом, пока не почувствует в нем недостатка.

Пользующемуся этим прекрасным даром простейшая пища, будь это лишь хлеб с водою, кажется самую вкусною, а всевозможные движения и труд приятными. При нездоровье же все нам не нравится, все вызывает в нас отвращение. Могут ли роскошно заставленные

столы, богатства и почести иметь какую-нибудь привлекательность для человека, удручаемого болезнями? В таком состоянии больше всего желают здоровья. Но как только оно вернулось, мысли сейчас же меняются; мудрые решения, торжественные обеты, данные себе и Богу, забываются, и человек снова вступает на прежний путь *обжорства*, мало или совсем не заботясь о том, чего так горячо желал, пока был болен.

Как счастливы были бы люди, если б они употребляли для сохранения своего душевного и телесного здоровья хотя бы десятую долю забот и стараний, отдаваемых ими на добывание тех излишеств и прихотей, которые порождают болезни и становятся причиной многих других зол, благодаря неумению большинства должным образом пользоваться своими богатствами. Ведь редкому из наших богачей приходит в голову, что для поддержания себя в полном здоровье *лорду* требуется столь же мало и таких же простых блюд и напитков, как и крестьянину, и что такое питание, не в пример всяким прихотям и излишествами, делает его способным к духовным и телесным удовольствиям. Но — увы! — мимолетные наслаждения *глотки*, тщеславие и т. п. увлекают большинство людей далеко за пределы необходимости или удобства; многие согрешают благодаря заблуждению или непониманию природы, наивно воображая, что чем богаче пища, и чем более они могут наполнить свое брюхо, тем больше укрепляют свое тело. Между тем, опыт доказывает совершенно обратное: люди, привыкшие к самой изысканной пище и к самым крепким напиткам, оказываются обыкновенно самыми слабыми и болезненными.

В действительности же самую лучшую кровь и наибольшую душевную бодрость доставляют такие виды пищи, как травы, овощи и разного рода хлебные зерна, также хлеб и различные блюда, приготовляемые из молока, равно как сухие продукты, из коих солнце извлекло излишек влаги, отчего все сорта стручковых плодов и хлебных зерен становятся более твердыми. Прекрасная также вещь растительное масло, которое по природе выше и чище животного масла...

Где кроется причина различных болезней? О том нашим первым богачам следовало бы знать по собственному горькому опыту, особенно в Лондоне, где они ежегодно тратят сотни, а то и тысячи фунтов на свои *нечестивые утробы*. Многие из них могли бы избавиться от неудобств и трудностей, обыкновенно испытываемых ими на танцевальных уроках у французских учителей, иногда их заставляют ходить прямо; животы у них вырастают до подбородка, что принуждает их смотреть па небо не для целей созерцания, а по крайней необходимости, и совсем не из большого благоговения пред Всемогущим Творцом, чем их братья скоты, ибо мозги их опустились в их утробы; *поглощение* и *извержение* — дело их жизни, и все драгоценное время свое они проводят между тарелкой, стаканом и судном. Какое право имеют такие люди называть друг друга *христианами* *имногоуважаемыми*?»

Трайон употребляет все свое красноречие на доказательство того, что практика смертоубийства для пищи представляется не только жестокой и варварской сама по себе, но производит или, во всяком случае, усиливает самые дурные человеческие страсти. Восхваляя более кроткие нравы последователей Пифагора и индусов вообще, он говорит своим соотечественникам:

«Та же самая и значительно большая польза получилась бы для христиан, если бы они прекратили раздоры, отказались от угнетения и от того, что способствует и располагает их к тому, — от умерщвления других животных и употребления в пищу их крови и мяса. Тогда в короткое время ослабили бы, а может быть и совсем перестали бы существовать между ними взаимные смертоубийства, дьявольские распри и жестокости; *и воздержание* имеет большее значение, нежели обыкновенно думают, все равно, применяется ли оно ко злу или к добру; так как, удаляясь от чего-либо, человек ослабляет в себе соответственное свойство или склонность. Так и *воздержание* от жестокости чудесным образом разгоняет темные облака невежества и сообщает рассудку способность различать хорошие и дурные начала, во-первых, в себе, а затем, соответственно, и во всем остальном. Пока же люди живут под властью всякого рода нечистоты, насилия, угнетения, они не могут видеть в этом никакого зла. По этой причине тем, кто не уклоняется от этих зол, подражая примеру заблуждающейся массы и унаследованным от предков религиозным воззрениям (хотя в этом случае они подчиняются лишь величайшему из тиранов — *обычаю*), — таким людям, говорю

я, невозможно даже понять или истинно познать что-либо божественное или человеческое...

..Люди нашего времени сильно ошибаются, говоря или предполагая, что мясо дает не только большее, но и лучшее питание, нежели травы, злаки и т. п. Дело в том, что оно больше возбуждает, *но это возбуждение не так прочно, не так хорошо, как доставляемое другой пищей*, ибо в мясе содержится больше веществ, подверженных скорой порче и гниению. Ведь несомненно, что пища, легко разлагающаяся до поступления в желудок человека, удерживает эту способность и впоследствии. Кроме того, мясо, будучи мягким, сырым, тяжеловесным и слизистым по составу доставляет подобного же рода и питание. В-третьих, оно горячит тело и вызывает жажду. В-четвертых, оно развивает большое количество вредных жидкостей. В-пятых, нужно принимать во внимание, что скот и другие живые существа подвержены болезням и многим другим напастям, а также загрязнению, перекармливанию, непосильной работе, злоупотреблениям жесточайших мясников и т. д., отчего мясо их становится еще более нездоровым. Тогда как совершенно обратное следует сказать обо всех видах сухой пищи, каковы: хлеб, сыр, травы, многие молочные продукты, стручковые плоды, злаки и фрукты; будучи более чистого происхождения, здоровее и тверже по составу, они доставляют превосходнейшее питание и легче перевариваются, так что если человек и съест их больше, чем нужно, то здоровье его не подвергнется от этого такой опасности, как при чрезмерном употреблении мяса...

Какое скверное, неприятное зрелище представляют собою мертвые туши и куски окровавленного сырого мяса! Это, несомненно, и казалось бы страшным, и никто без отвращения не мог бы и подумать о принятии в рот такой мерзости, если бы не приучил нас к тому переходящий из поколения в поколение обычай; а обычай имеет такую силу, что, как мы читаем, в некоторых странах существует обыкновение съедать тела своих умерших родственников и друзей, в предположение, что для последних нет лучшего места упокоения, как в желудках поедателей их. И только потому, что таков *обычай*, они делают это так же спокойно и с таким же удовольствием, как мы обгладываем ногу кролика или куриное крыло. Представьте себе, что человек, воспитанный в таком месте, где нет *обычая* убивать животных и есть мясо, вдруг попадет на один из наших мясных рынков или на одну из наших боен и увидит, какое у нас общение с мертвыми телами, как мы радуемся и веселимся на их похоронах и в каких почетных могилах мы погребаем трупы скотов, да не только трупы, но и самые внутренности их, — разве не остолбенел бы этот человек от ужаса и удивления? Разве он не счел бы нас свирепыми чудовищами и не сказал бы, что мы оскотинились и исполняем роль хищных зверей, раз мы питаемся останками своих сотварей?

Таким образом, обычай пробудил бесчеловечную свирепую природу, благодаря которой убийство животных и питание их мясом и кровью сделалось для людей самым обыкновенным делом. То же самое можно сказать о людях, убивающих и угнетающих своих ближних; разве мы не знаем, что солдат, воспитанный в войнах кровожадных властителей, убивает сотни людей без всякого смущения или сожаления, и при том людей, столь же мало провинившихся пред ним, как овца пред перерезающим ей горло мясником. Имея на своей стороне власть и обычай, они уже уверены в своей правоте».

Возражения Трайона на обычные увертки или предрассудки ортодоксальных диетистов составлены ловко и убедительно. Его *гуманные* аргументы положительно достойны самых передовых мыслителей нашего времени, а близко знакомые с антикреофагической

7

полемикой в современной периодической печати удивится, может быть, что обычные предубеждения или отговорки настоящих дней тождественны с бывшими в ходу в 1683 г. Мы не можем отказать себе в удовольствии привести одно место, где автор описывает положение вещей при предполагаемом гуманитарном режиме:

«Тогда прекратится всякая вражда, не будет слышно жалобных стонов ни людей, ни скотов. Тогда не будет ни потоков крови убитых животных, ни зловония мясных рынков, ни окровавленных мясников, ни грома пушек, ни сожжения городов. Исчезнут смрадные тюрьмы, рушатся железные затворы, за которыми томятся люди вдали от жен, детей, от свежего вольного воздуха; смолкнут вопли просящих пищи или одежды. Не будет пи

возмущений, ни хитроумных изобретений для разрушения в один день того, что созидалось тяжким трудом тысяч людей, ни страшных ругательств, ни грубых речей; не будет ни напрасного истязания животных непосильной работой, ни растления девиц с тем, чтобы потом предоставить их вместе с собственным потомством всевозможным бедствиям и нищеты. Не будет отдачи в аренду земель и ферм по таким ценам, который принуждают съемщика изнурять и себя, и слуг, и скот почти до смерти, и все-таки оставаться в неоплатном долгу. Не будет угнетения низших высшими; не будет нужды за отсутствием излишеств и обжорства; смолкнут стоны раненых; не нужно будет медиков для вырезывания пуль из их тел, для отнятия раздробленных или поломанных рук и ног. Затихнут крики и стоны страждущих от подагры или других тяжких болезней (вроде проказы или чахотки), кроме недугов старости или последствий прежней невоздержной жизни. И дети их перестанут быть жертвами бесчисленных страданий и будут такими же здоровыми, как ягнята, телята или детеныши всяких иных животных, не знающих недугов, потому что не переступали Божьих законов в природе, нарушение коих составляет источник большей части, если не всех, болезней, удручающих род человеческий; так как вся разница в здоровье людей и животных происходит единственно от излишества и невоздержания как качественного, так и количественного».

Глава, в которой Трайон рассуждает об отношениях между полами и о брачном состоянии, доказывает, что в смысле трезвого понимания вообще физиологии и законов, обуславливающих здоровое состояние, он был настолько же впереди своего века, как и специально в той отрасли ее, предметом которой служит пища.

Вышеприведенные выдержки заимствованы из книги «Путь к здоровью».

Приложением к этому сочинению служит замечательный очерк в форме «Диалога между восточно-индийским и французским дворянином по поводу настоящего положения дел в Европе». В этом интересном разговоре автор талантливо изображает бессмыслицу и ужасы войны — и, в частности, войны религиозной — причем в окончательном выводе приписывает происхождение ее несправедливостям и варварству боен. Этот диалог можно поставить наряду с самыми выдающимися работами гуманитарных писателей следующего столетия. Своему знакомству с вышеупомянутым трактатом «Путь к здоровью» обязан Бенъямин Франклин тем, что бросил мясную пищу, и этой резкой перемене он приписывает свой успех и здоровье в последующее годы своей жизни.

XXV

ЭКЭ

1661 — 1737

Экэ (Несquet) был заслуженным реформатором в области медицины; сначала предназначавшийся к духовному званию, он, к счастью, избрал себе медицинскую профессию, которой и послужил истинным украшением, как благодаря своим добродетелям, так и просвещенным трудам. Пройдя продолжительный и серьезный курс анатомии и физиологии, он получил степень доктора в Реймсе и звание члена медицинской коллегии в своем родном городе. Тогда он вернулся в Париж для усовершенствования своих познаний в физиологии. Наскучив интригами своих товарищей по профессии, он удалился (с 1688 г.) в Пор-Рояль, где занял место врача после только что умершего пред тем Гамона. Здесь он прилагал к делу задуманные им реформы, посвящая себя самым трудным подвигам милосердия, отдавая все свое время и внимание бедным на расстоянии нескольких миль в округности и совершая с этою целью очень далекие путешествия.

Ослабив свое здоровье такими чрезмерными трудами, он принужден был покинуть место в Пор-Рояле и снова вернулся в столицу, где, по совершении необходимых формальностей, был зачислен ординарным доктором Парижского университета и официально утвержден в этом звании по выдержании экзамена на «редкий успех» (1697).

Вскоре после этого факультет признал его в степени *Docteur Urgent* и назначил на пост профессора *Materia Medica* . Экэ скоро приобрел многочисленных и знаменитых пациентов; его услуг искали все особенно религиозные общины и госпитали. Он отдался делу

благотворения. В 1712 г. он был назначен деканом факультета. Несмотря на такое множество занятий, Экэ успел издать несколько медицинских книг.

Он прилагал к Делу свое искусство с благородным бескорытием. Бедные были его излюбленными пациентами. В домах богатых он появлялся только в случаях крайней необходимости или когда того требовала учтивость. Он много изучал свое искусство и всячески старался помогать его развитию как своими сочинениями, так и руководством и поддержкою молодых медиков... Он был в переписке с самими знаменитыми учеными и медиками своего времени. Его латинский слог правилен и довольно красноречив; по-французски же он писал небрежнее и шероховатое. Он оживлялся в спорах. и твердо держался своих мнений, но добросовестно искал правды».

Из числа многих его сочинений назовем:

«О том, что мужчинам не подобает быть акушерами, и обо обязанности матерей кормить своих младенцев». «Трактат об освобождении от Великого поста», — самая знаменитая из его книг. «О пищеварении и болезнях желудка»,
«*Novus Medicinae Conspectus cum Appendice De Peste*». Здесь он восстает против различных мнений относительно происхождения болезней, приписывая их расстройствам в правильном движении крови. Он пишет здесь также о чуме, свирепствовавшей в то время на юге Франции. К тому же периоду относятся его брошюры об оспе. «*Медицина, х и рур гия и фармация бедных*», — самая популярная из его книг. «*Разбойничества медицины*», с приложением: «*Разбойничества хирургии и фармации*» характеризует его отношение к установившимся медицинским направлениям, «*О припадочных больных*», вместе с несколькими другими книгами по тому же предмету. Вопрос о припадочных составляет любопытный эпизод в религиозной жизни той эпохи; он занимал в то время, как в известной мере занимает и сейчас, внимание физиологов и психологов. Вместе с физиологами настоящего времени, Экэ приписывает это явление физическим и естественным причинам. «*Естественная медицина*». В этом сочинении автор указывает, что причины болезней следует искать не только в крови, но и в нервной жидкости.

О необходимости реформ в деле питания он говорит в двух из упомянутых сочинений — «*Трактат об освобождении от Великого поста*» и «*Медицине бедных*».

Держась самостоятельного и так сказать еретического взгляда в отношении пищи, автор «*Трактата об освобождении*» был человеком ортодоксальным, как в церковном, так и в богословском смысле. Тем не менее он упрекает свою Церковь в равнодушии к такому существенно важному в научном и нравственном отношениях вопросу, как вопрос о пище.

«Покажется, может быть, что в это дело примешивается много теологии. Мы согласны с этим. Скорее нужно даже удивляться, что до сих пор не нашлось серьезного человека из духовных, который бы поставил себе в заслугу поработать в пользу такой прекрасной идеи. На это можно бы надеяться особенно в век, подобный нашему, когда врачебная наука в почете и к услугам всех, когда медицина стала доступною людям всех положений... Тогда аббатам, монахам и членам религиозных орденов, присваивающим себе звание врачей, получающим их плату и исполняющим их обязанности, следовало бы стать поборниками этой части церковной дисциплины (воздержания). Между тем, беря на себя заботы о теле, они в сущности занимаются только лечением болезней... Не нужно быть особенно наблюдательным для того, чтобы заметить, что, несмотря на такую практику, публика гораздо меньше извлекает пользы из их секретов, и пациенты, прибегающие к их услугам, умирают чаще, чем когда-либо».

В главе о том, что плоды, хлеб и овощи составляют самую естественную пищу для человека, сославшись на Быт. 1 гл. и на «Эдемский сад», Экэ продолжает настаивать на том, что пища должна быть аналогична и соответственна поддерживающим нашу жизнь сокам; а таковы: плоды, хлеб, семена и корни. Но застарелое предубеждение сопротивляется этой истине. Ложная представления, соединяемые с известными традиционными выражениями, исказили умы большинства людей, и им удалось убедить себя, что от возбуждающей пищи зависят силы и здоровье человека. Отсюда явилась любовь к вину, спиртным напиткам и жирному мясу. Недоразумение происходит от смешения понятия о лекарстве с понятием о

пище.

«При этом большинство людей поднимает тревогу. «Можно ли», говорят, «прожить на зерне, доставляющем лишь сухой материал, годный больше для набивания желудка, нежели для питания, или на плодах, представляющих лишь сгущенную воду, и на растениях, дающих только навоз?» Но этот материал, хорошо приготовленный, дает хлеб, самый питательный из всех родов пищи; эта сгущенная вода есть именно то, что дает деревьям, возможность достигать таких больших размеров; этот навоз получается лишь вследствие дурного приготовления растений и излишнего их употребления. Кроме того, можно ли сослаться на недостаточность укрепляющих свойств растительной пищи, когда она кормит самых сильных животных, которые сделались бы еще страшнее для нас, если бы только сознавали свою силу».

В главе о том, что мясо не есть ни самая естественная, ни абсолютно необходимая для человека пища, он замечает:

«Просто невероятно, как много дано было воли предрассудку действовать в пользу мясоедения, когда столько фактов противоречат мнимой необходимости такого питания».

Рассматривая вопрос с филологической точки зрения, он в числе других доводов приводит тот факт, что «самая здравомыслящая или самая просвещенная часть человечества была убеждена в необходимости воздержания от мяса, и в том, что последнее, по самой природе своей, трудно переваривается и доставляет самые дурные соки».

«Ввиду единообразия в действиях природы, для решения вопроса о том, назначено ли ее человеку жить мясом, достаточно сравнить органы, имеющие перерабатывать его для питания человека, с органами таких животных, которым природа, видимо, определила быть плотоядными. Этим путем можно вполне убедиться, что раз у людей нет ни когтей, ни клыков для разрывания мяса, то, стало быть, последнее далеко не составляет их естественнейшей пищи».

Он приводит множество примеров знаменитых людей и целых народов из всевозможных эпох истории и прибавляет следующий нелегко оспариваемый довод: «Было доказано, что плотоядных животных не трудно кормить и не мясной пищей, тогда как почти невозможно кормить мясом таких животных, которые обыкновенно питаются растительными веществами».

Экэ посвящает несколько глав описанию различных плодов и трав, а также разных пород рыб, которых он считает более допустимой и невинной пищей, чем мясо. Сравнивая два рода пищи, мы должны согласиться с тем, что

«Природа наша возмущается против употребления в пищу мяса в сыром и естественном виде; оно становится сносным для нас по вкусу и по виду лишь после продолжительного приготовления, лишаящего его тех отталкивающих свойств, которые оно имеет в своем естественном виде; и часто лишь после многих разнообразных приготовлений и посторонних приправ может оно сделаться приятным или хорошим в смысле здорового питания. Иное приходится сказать о других предметах пищи: большая часть их годна для питания и приятна на вкус уже в том виде, в каком они получаются из рук природы, без всякого искусственного приготовления, — ясное доказательство того, что они предназначены природой для поддержания нашего здоровья. Плоды имеют то свойство, что если брать их с выбором и совершенно зрелыми, то они возбуждают аппетит сами по себе и доставляют надлежащее питание без всяких дальнейших приготовлений... Если растительные вещества или рыба требуют огня для приспособления к нашей природе, то огонь употребляется, по-видимому, не столько для исправления этих видов пищи, сколько для проникновения их, чтобы сделать их мягкими и нежными и развить в них то, что наиболее пригодно для здоровья... Одним словом, ясно, что растительные вещества и рыба нуждаются в меньшем количестве посторонних и изысканных приправ, — явный признак большей пригодности и естественности такой пищи для человека». «Трактат об освобождении» был официально одобрен и рекомендован несколькими профессорами медицинского факультета при Парижском университете, и эти свидетельства помещены во втором издании. Вместе со

своим английским современником д-ром Чайпом и другими медиками-реформаторами Экэ испытал, однако, много оскорблений и насмешек от анонимных профессиональных критиков.

XXVI

БЕРНАР ДЕ-МАНДЕВИЛЬ

1670 — 1733

Бернар де-Мандевиль, родившийся в Дорте, в Голландии, был одним из самых парадоксальных моралистов. Он посвятил себя изучению медицины и долго жил в Лондоне, где занялся врачебной практикой.

В 1714 г. он напечатал свою небольшую поэму, под заглавием: *«Ворчащий улей, или плуты, превратившиеся в частных людей»*, к которой он впоследствии составил подробные комментарии, когда перепечатал всю поэму под новым, гораздо более известным названием: *«Басня о пчелах»*. Несмотря на ошибочность взглядов, высказываемых в этом сочинении относительно моральных и общественных задач, оно написано с самым искренним и честным желанием — обсудить один из наиболее важных современных вопросов. Тем не менее, автору его пришлось вынести немало оскорблений и нападок... Нужно заметить, что поэма Мандевилья была встречена так враждебно, по-видимому, потому, что против него существовало уже предубеждение, благодаря другому его сочинению, в котором он советовал не стесняться общественные рамки в вопросе о домах терпимости. Это, разумеется, должно показаться странным, если не принять к сведению, что Мандевиль был совершенно искренне уверен, что предлагаемый им план приведет к уменьшению безнравственности, и со своей стороны употребил все усилия, чтобы ограничить размеры существующего общественного зла посредством назначения высоких цен и разных других мероприятий. Короче сказать, Мандевиль принадлежал к числу тех, хотя и благонамеренных, на безрассудных реформаторов, которые, благодаря своему пристрастию к парадоксам, сами подрывают свою репутацию и парализуют общественную деятельность.

«Басню о пчелах» можно рассматривать с двух сторон, — как сатиру на людей и как теорию общественного строя и национального благосостояния. Как сатира — она довольно верна и забавна, но как претенциозная попытка теории общественного строя — она никуда не годится.

Что Мандевиль руководствовался честными и гуманными убеждениями, это ясно видно из того, что он говорит насчет убийства животных для продовольствия человека:

«Мне не раз приходило в голову, — пишет он, — что если бы мы не были так слепо подчинены поработившему нас обычаю, то никто из сколько-нибудь чутких людей не мог бы помириться с мыслью, что для нашего прокормления приходится ежедневно убивать такое множество животных, несмотря на то, что благодетельная земля наделяет нас самыми разнообразными растительными провизиями. Зная, как слабо действует разум на наше чувство сострадания, я нисколько не удивлюсь тому, что люди совершенно равнодушно отнимают жизнь у таких несовершенных созданий как устрицы и вообще все рыбы, которые и безгласны, и, как по своему внутреннему устройству, так и по внешнему виду не имеют почти ничего общего с ними. Они не могут выразить горе понятным для нас образом, вследствие чего оно не производит на нас особенного впечатления, — потому что ничто не возбуждает в нас сострадания в такой сильной степени, как явные симптомы муки, вид которых непосредственно действует на наши чувства.»

Что же касается таких совершенных животных как бараны и быки, у которых сердце, мозг и нервы так мало отличаются от наших, и у которых органы чувств и, следовательно, самое чувство совершенно такие, как и у людей, — то я решительно не понимаю, как может человек, не закореневший в кровопролитии и убийствах, спокойно смотреть на их насильственную смерть и ту агонию, которой она сопровождается.

В ответ на это, — продолжает Мандевиль, — многие считают достаточным возразить, что, раз животные созданы для удовлетворения потребностей человека, то нет никакой жестокости употреблять их на то, к чему они предназначены

. Но, делая подобные возражения, люди иногда чувствуют, что внутренний голос изобличает их в том, что они говорят ложь.

Из целого десятка людей едва ли найдется даже и один (разумеется, если он не вырос на бойне), который согласится стать мясником, если ему будет предоставлен выбор между несколькими промыслами. Вообще трудно предположить, чтобы кто-нибудь мог хладнокровно убить в первый раз даже цыпленка. Иные положительно не могут есть мяса животных, которых они видели живыми; другие же, в своем великодушном сострадании, не идут далее собственного курятника и не решаются есть только тех животных, которых они сами вскормили и вырастили. Но и те и другие спокойно и без малейших угрызений совести едят баранину, говядину и дичь, продаваемые на рынках. Я усматриваю в поведении этих людей нечто похожее на сознание виновности. Они как будто хотят отстранить от себя всякую ответственность за преступление (наличие которого они все-таки сознают), стараясь держаться как можно дальше от него. Кроме того, это свидетельствует также о первобытной чистоте и склонности к состраданию человеческой природы, которых не могли окончательно заглушить ни подавляющий произвол обычая, ни развращающее влияние роскоши».

XXVII

ГЕЙ

1688-1732

Близкий друг Попа и Свифта, Гей особенно известен как автор прекрасных и поучительных *«Басен»*. Он родился в Барнстэпле, в Девоншере и принадлежал к старинной фамилии этого графства. Его обедневший отец вынужден был определить его в мелочную лавку шелковых изделий в Стрэнде, в Лондоне, но он недолго там пробыл. Первая его поэма, *«Сельские развлечения»*, появилась в 1711 г. В следующем году он сделался секретарем герцогини Монмут, после чего занимал несколько времени должность секретаря при английском посольстве в Ганновере. Следующее его произведение было *«Пастушеская неделя в шести пасторалях»*, в котором он осмеивает свои собственные сентиментальные *«пасторали»* прежних лет. Эти пасторали отличаются в особенности естественностью и юмором и служат как бы предвестниками сельских очерков Краба. В 1726 г. Гей напечатал одно из самых удачных своих сочинений — *«Нищенская опера»*, идея которого была внушена ему сен-патрикским деканом. Сочинение это было встречено громкими одобрениями и положило начало (так называемой) английской опере.

«Басни» появились впервые в 1726 году. Впоследствии этот том был дополнен другими баснями и посвящен молодому герцогу Кухберлендскому. Гей умер внезапно, и смерть его глубоко поразила его преданных друзей, Свифта и Попа. Первый не раз упоминает в письмах о своей тяжелой потере, а второй характеризует своего умершего друга в таких стихах:

Со всеми ласковый и кроткий,
Умом — мудрец, а простотой — дитя.

Самой интересной и лучшей по языку считается известная его басня — *«Заяц и его многочисленные друзья»*, в которой он, по-видимому, описывает случай из собственной жизни. *«Двор Смерти»*, написанный, очевидно, под влиянием прекрасного отрывка из *«Потерянного рая»* Мильтона, производит особенно сильное впечатление. Выслушав притязания главных Болезней на первенство, Смерть обращается к Невоздержанию:

Все добивались старшинства,
Все хвастались, — свои заслуги и права
Пред властелином — Смертью излагали, —
И в ожиданьи решенья замолчали,
Когда с престола раздалась слова:

—А где же доктора? Заслуги их огромны,
Они побольше всех нас сделали вреда
Ни одного здесь нет? Достойнейшие — скромны,
Известно, — как всегда!..
За их отсутствие пускай Невоздержанье
Получит по заслугам Воздаянье;
Оно, — спокон веков, — страшнейший враг людей,
Набивший золотом карманы их врачей.
А вы от притязаний ваших откажитесь,
Подагра, лихорадка, — все вы, господа, —
Невоздержанию — в подметки не годитесь!
Оно — мой лучший друг, в нем мир — вся беду;
Оно — людских миров веселый гость желанный
И тайно губит всех негаданно-нежданно;
Ему — по праву — старшинство:
Вы все — на службе у него!

В следующей басне Гей особенно едко высмеивает кровожадные аппетиты:

Пифагор и крестьянин

Встал рано на заре великий Пифагор,
Обычной думою высокой пробужденный,
И, чтобы подышать прохладой благовонной
Сияющего утра, вышел на простор
Полей цветущих. Вдаль, природу созерцая,
Глядел он, восхищенный мира красотой,
И, сам не зная как, на хутор небольшой
Нечаянно забрел. На лестнице высокой
Стоял хозяин сам и что-то прибывал
С таким усердием, что ветхий дом дрожал...
Стук громкий молотка услышав издалека,
Мудрец хозяина окликнул: — «Милый друг,
Какая у тебя там спешная работа?»
— «А вот», — сказал крестьянин, — «удалась охота;
Мой лютый враг, злой коршун, не ушел от рук,
Попался наконец! Не мало птица злая
Сгубила кур моих, цыплят и индюшат;
Вот я ее теперь на стенку прибиваю,
Гвоздями крылья расправляю,
На страх породе всей! Пусть поглядят
Как их — воров — казнят!
И будет у меня в курятнике спокойно».
Мудрец сказал: — «Ты прав, все хищники достойны
Позорной казни... Но, — подумай, милый мой,
Уж если кровожадность грех такой большой,
Что хищной птице ты вменяешь в преступленье
Твоих цыплят и кур безвинных истребленье, —
На сколько же достойней казни человек
Всепожирающий убийца беспощадный,
Кровавым пиршеством позорящий свой век?
Вот право сильного! Казня за злое дело,
Всем хищникам в примере,
Ты коршуна убил, бесстыдный лицемер,
А сам вчера цыплят зарезал на жаркое?...»
Крестьянин злобно крикнул: — «эк ты прировнял
Людей и коршунов! Сам Бог нам право дал

Господства над зверями; людям на служенье

Все твари созданы; таков уж их удел,

Чтоб человек их ел!»

Мудрец сказал: — «Всегда тиранов преступленья

Оправдывают нагло гордость их и ложь.

Но ты, пожалуйста, сознайся друг мой милый,

Что коршун на людей похож;

Рука твоя на стенку пригвоздила,

Чтоб жрать цыплят тебе покорней было.

Всем нам, — большим ворам, — чтобы привольней жить,

Воришек надо бить!»

Моралист-стихотворец Гей в своих баснях выставляет напоказ непоследовательность и несправедливость животного человеческого природы, которое, предоставив самому себе право жить убийством, лицемерно обзывает «жестокими» и «кровожадными» других животных, которым, очевидно, самой природой предназначено быть хищниками. В басне «Овчарка и волк» первая в следующих выражениях упрекает опустошителя овчарен за то, что он нападает на слабую и беззащитную породу:

«Приятель, — Волк сказал, — нас создала Природа

Зверями хищными, — такая уж порода:

Как с голоду живот нам подведет,

Кого попало мы хватаем и поневоле убиваем -

Ведь голод-то — не тетка, знаешь сам!

Но если вправду ты так жалостлив к стадам,

Им искренне желаешь счастья и спасенья,

То повтори твои блате наставленья

Хозяевам овец, обжорам-господам.

Мне, Волку, изредка барашек попадетсЯ

Один-другой;

А десять тысяч их ведется на убой

И добрым людям отдается!

Врагов открытых злее, — полагаю я, —

Коварные друзья!»

В басне «Философ и фазаны» та же истина высказывается с не меньшей силой убеждения:

Плененный музыкой веселых, голосистых

Лесных певцов, бродил он меж дерев тенистых

Прохладной рощи. Птичьи голоса

В зеленой темной чаще звонко раздавались,

В ветвях переплетались

И дружно уносились в небеса.

Но разом затихали песни, щебетанье,

Когда он подходил. Крылатые созданья

Испуганно взлетали, прятались в кустах;

И соловей смолкал, и звери все бежали,

Завидевши его. «Чем мы их запугали?

Как ненавидят нас! Откуда этот страх?

Неужто всем зверям внушила мать-природа

Бояться человеческого рода?» —

Так думал про себя гуляющий мудрец.

И вдруг как бы в ответ раздался за кустами

Неясный говор, шорох; тихими шагами

Мудрец подкрался; там сидел Фазан-отец,

Неопытных птенцов усердно поучая:

«В лесу, — шептал он им, — вы проживете век

Беспечно, радостно в тени ветвей порхая.
Но знайте: всех зверей опасней — человек.
Он всяких ястребов и коршунов страшнее.
Не подлетайте к людям! Мудрости отца
Поверьте, помните, что все они злодеи
Неблагодарные! Вот, например, овца
Им век свой служит; в шерсть свою одела
Она их голову, беспомощное тело. И что ж?
Они овец на смрадных бойнях бьют.
У бедных пчел они безжалостно берут .
Все, что накоплено тяжелыми трудами;
И мед, и воск — все грабят, продают
И род пчелиный губят алчными руками.
Да всех злодейств людей и счесть я не берусь!
Мала ли разве дань, какую платит гусь?
Для процветания и блага их науки
Из крыльев собственных он перья дал им в руки;
А где же благодарность гусю от людей?
Писали перьями и жарили гусей!»

В другой басне Гей представляет жертвам бойни нечто вроде мстительного удовлетворения.

Овца и кабан

Покорная овца безвинно умирала
На бойне под ножом кровавым мясника,

А стадо робкое безропотно стояло,
На смерть ужасную смотря издалека,

И очереди ждало.
Свирепый боров дикий мимо проходил

И злобно насмехался и дразнил
Дрожащее, беспомощное стадо:

«Вот, бьют вас, подлых трусов. Так и надо!
А вы тут топчетесь в пыли, разиня рот,

Любуйтесь — как ловко шкуру он дерет
С такого же, как вы, безмозглого барана,

Как окровавленной рукой он — ваш злодей —
на части рубит, режет наших жен, детей?

Отмщенья просят их зияющие раны,
Их кровь безвинная к вам громко вопиет, —

А вы — ни с места?.. Трусы, глупый, рабский род!»
Старик баран сказал: «Что лаешься напрасно?

Чем виноваты мы? Наш кроткий род таков,
Что нет у нас клыков,

Но мы пред нашей смертью лютой и ужасной
Глядим в глаза врагов

И знаем, умирая: в каждом злом деянье

Есть злу — возмездие, насилью — воздаянье;

На этих самых бойнях, где нас бьют,
В кровавых лоскутах бараньей кожи смрадной

Враги жестокие найдут
Орудья казни беспощадной.

Двух грозных мстителей людской природы всей:
Пергамент - для судебных кляузных писаний,
Раздоров, пререканий

И звонкий барабан, зовущий в «поле браней»,
Ведущий в смертный бой озлобленных людей.

Давно сторицею отмстили за барана —
Пергаменты и барабаны!

1

Он первый заметил предполагавшийся Кеплером проход планеты Меркурий через солнечный диск (1631).

2

Мы должны заметить здесь, что Декарт, по-видимому, только потому и остановился ни своей странной теории о «нечеловеческих народах», что она представляла для него *единственный исход*. В письме к одному из своих друзей (Луи Расину) он заявляет, что только с помощью этой теории он и может постигнуть совершенно непонятную для него дилемму, заставляющую его (в виду неповинности жертв человеческого эгоизма) прийти к одному из двух заключений: или животные должны быть нечувствительны к страданиям, или же Бог, создавший их, должен быть несправедлив. Это заявление наводит Глейзе на следующее размышление: «Это строго логичный вывод. Человеку предоставляется выбирать любое: или сделаться последователем Декарта, или сознаться самому себе в своей виновности перед животными. Другого исхода не может быть». — Лафонтен весьма наглядно изображает в одной из своих басен всю нелепость теории «одушевленной машины».

3

Это заявление Бэкона наводит на предположение, что человеческие существа подвергались еще вивисекции и в его время «для блага науки». Цельзий, хорошо известный латинский врач второго столетия, протестовал против того хладнокровно обдуманного и вполне сознательного зверства, каким представляется этот акт вскрытия тела живого человека. Жертвами вивисекторского ножа делались, по-видимому, рабы, преступники и невольники, которые сдавались высшими властями в физиологическую «лабораторию». Гарвей, современник Бэкона, получил громкую (хотя и весьма позорную) известность в связи с той невозмутимой жестокостью, с какой он производил над животными свои многочисленные опыты, которые вовсе не послужили ему для открытия «кровообращения», как ошибочно утверждают современные вивисекторы, но к которым он прибегал лишь с целью физиологических демонстраций перед своими учениками. Но мы перестаем удивляться тому хладнокровию, с каким смотрел Гарвей на причиняемые им страдания, когда читаем о таких же зверствах, совершаемых вивисекторами и патологами нашего времени. От варварских жестокостей Гарвея, привыкшего забавлять научными демонстрациями Карла I и его семейство, перейдем лучше в более человеческим воззрениями, выражаемым на этот счет Шекспиром. См. его Цимберлин (I, 6) в том месте, где королева, собирающаяся производить опыты с ядом, обращается к своему врачу со словами:

«Я испытаю силу этих ядов
Не над людьми, над тварями, которых,
По-нашему, мы можем умерщвлять...»
и получает в ответ предостережение:
— Миледи! эти опыты незримо
Ожесточают сердце человека:
Один уж вид их ядовит и гнусен!

Такое возражение вполне гармонирует с тем искренним чувством, которое помогло поэту изобразить незаслуженные муки преследуемого оленя в его произведении «Как вам угодно».

4

Между 1676 и 1686 гг. появились в печати: «Орнитология» (наука о птицах) и «История рыб», материалы для которых были оставлены Рею его другом Уилобе. Кроме того, он написал еще исследование о четвероногих и прекрасную «Историю насекомых». Как писатель он в особенности отличается своей меткой наблюдательностью и философским методом классификации. Бюффон, так же как и другие натуралисты, многим обязан этому почтенному пионеру зоологических наук.

5

Локк, английский педагог, врач и философ, убеждает английских матерей *совсем не давать детям мясной пищи*, по крайней мере, до четырех или до пятилетнего возраста, после чего советует ее в самых малых размерах. Он думает, что большая часть болезней происходит от неразумных взглядов матерей на вопрос о питании.

6

В примечании к этой оригинальной поэме Томас Вартон справедливо замечает, что «Мильтон не раз горячо высказывался за воздержание как в пище, так и в питье, и собственным примером подтверждал свои мнения».

7

Антикреофагический, т. е., направленный против мясоядения.

8

Ритсон очень метко замечает на это: «Баран гораздо менее предназначен для человека, чем человек для тигра, так как тигр — животное плотоядное, а человек не создан таковым. Но слова природа, справедливость и гуманность не всегда понимаются одинаково». К этому мы не с меньшей силой убеждения можем прибавить, что почти все животные, служащие добычей человеку, так искусственно видоизменены им, ради удовлетворения его эгоистических appetitов, что их с трудом можно отождествить с первобытными их породами. То же самое можно сказать и о так называемой теории природного *предназначения*.

XXVIII

ЧАЙН

1671-1743

Один из самых почтенных английских врачей и один из первых наших медицинских авторитетов, прямо высказывавшихся в своих сочинениях за реформу пищи, — происходил из старинной шотландской фамилии. Он бы учеников д-ра Питкерна и изучал медицину в Эдинбургском университете. Ему было около тридцати лет, когда он, переселившись в Лондон, сделался членом Королевского Общества и занялся в столице врачебной практикой.

Практикующему врачу первой половины прошлого столетия приходилось вести далеко не такой образ жизни, как в наше время. Не только личные накопления, но даже и профессиональный интерес заставлял его часто посещать трактиры и предаваться всем излишествам «веселой жизни», потому что, вращаясь в среде кутил, он без труда мог приложить себе путь в практике. Несмотря на прежнюю воздержанность, Чайн не устоял против двойного искушения, но вскоре почувствовал такое серьезное органическое расстройство, которое могло угрожать опасностью его жизни. Непомерное ожирение, перемежающаяся лихорадка, одышка и летаргия подействовали на него самым подавляющим образом не только в физическом, но и в нравственном отношении.

В 1705 г. в печати появилось его сочинение

1

, «Философские принципы естественной религии», которое, очевидно, имело некоторый успех в свое время, так как оно было допущено к употреблению в университетах. Между этим сочинением и последующим прошел довольно длинный промежуток, во время которого Чайну пришлось поплатиться за безрассудства прежних лет, отозвавшиеся на его здоровье мучительными головными болями и полным упадком сил. К счастью, это повело к перелому в его жизни и сделало его опытным руководителем для других. Он пользовался в это время

уже значительной известностью искусного врача. Он был, по-видимому, весьма добродушный человек, с привлекательным обращением и живым умом ; обогащенным наукой и чтением, что делало его общим любимцем. В кругу своих ученых друзей и товарищей по профессии он также пользовался большим уважением. Он решился теперь навсегда отказаться от образа жизни жуира, что давно уже следовало сделать. «И тотчас же, — пишет он, — меня бросили даже те, которые больше всего пользовались моей нерасчетливостью, и те, которых я, по ложному понятию о щедрости, выручал из нужды, и те, за которыми я ухаживал во время болезней». Ежеминутно ожидая смерти, он удалился в деревню и здесь, в уединении, предался серьезным размышлениям о безумии и безнравственности той жизни, которую ведет большинство людей.

Но в это время он, по-видимому, не отказался еще от употребления мяса, хотя и довел количество своей пищи до возможно малых размеров. Он отправился в Бат на воды и, благодаря строго воздержному, регулярному и деятельному образу жизни, успел вернуть свое прежнее здоровье. В Бате он посвятил себя лечению нервных болезней, которым он сам был так подвержен, и случаи которых особенно часто встречались в этом великосветском курорте. В 1712 г., т. е., на сорок втором году его жизни, здоровье его настолько поправилось, что он счел возможным несколько отступить от молочной и растительной диеты, которой он держался до тех пор.

В 1720 г. было напечатано его сочинение «О лечении подагры и батских водах», которое выдержало семь изданий в продолжение шести лет, и в которой он указывает на достоинства растительной диеты, хотя и не так настоятельно, как в после дующих своих сочинениях. С переходом на прежнюю пищу, он скоро опять почувствовал мучительные страдания от возобновления старых его болезней. В следующие десять или двенадцать лет он продолжал толстеть и достиг наконец до такого ненормального объема, который, судя по его словам, делал его положение просто невыносимым:.. Наконец, в 1725 г. он уехал из Бата в Лондон, чтобы посоветоваться с другом своим, д-ром Арботнотом., которому удалось, по-видимому, убедить его вернуться к рациональному образу жизни. Через два года он совершенно вылечился от своих болезней с помощью строгого соблюдения молочной и растительной диеты. от которой с тех пор он не позволял себе уже никаких отступлений.

Около этого времени было издано первое его выдающееся и столь известное сочинение «О сохранении здоровья и продлении жизни». В предисловие автор объявляет, что сочинение его написано для блага тех болезненных людей, «которые, ради восстановления своего здоровья и бодрости духа, действительно готовы подавлять свои аппетиты и отказывать себе решительно во всем, что для них вредно. Для них, и только для них одних, — продолжает Чайн, — предназначена эта книга. Людям здоровым, любителям роскошных пиров с обильным возлиянием вина, ни к чему заглядывать в нее, — их время еще не настало».

Это сочинение признается всеми одним из лучших в подобном роде. Галлер же находит, «что это положительно самая замечательная вещь из всего, что писалось по вопросу о поддержании здоровья расслабленных и ведущих сидячую жизнь людей». В два года эта книга выдержала несколько изданий, а в 1726 г. была дополнена автором и переведена его другом и учеником, Джон :а Робертсоном, на латинский язык, при чем во Франции и Германии быстро разошлись три или четыре издания. Однако, в этом сочинении Чайн ограничивается только советом довести употребление мяса *до минимума* и воздерживаться от тяжелой пищи, заменяя ее утром и вечером растительной, но не указывает еще на необходимость полной диететической реформы, до сознания которой он дошел только путем медленного и постепенного убеждения. Выставляя на вид сумасбродство и губительные последствия жизни так называемых *бон-виванов*, он, с другой стороны, доказывает, что «все долговечные люди, сохранившие свое здоровье, вели воздержную жизнь и питались скудно. Корнаро продлил свои дни и сохранил все свои чувства, благодаря тому, что почти голодал под конец своей жизни; можно привести и другие примеры в этом же роде. Правда, что у этих людей физические силы в некоторой мере ослабевали, пылкость духа потухала, но зато они сохраняли все свои чувства и способности, болезни их смягчались, жизнь длилась долее, и переход в другое состояние совершался легко и спокойно... Никакие средства не заменят умеренной пищи; ее одной, без всяких других средств (лекарств и пр.), достаточно для продления жизни, пока хватает в теле жизненного огня, и для мирного и

легкого перехода в иную жизнь. Жизнь угасает, как догоревшая свеча».

Но хотя это сочинение и подняло репутацию автора в глазах мыслящих людей, однако с другой стороны, оно же (как и следовало ожидать) навлекло на него целую бурю насмешек, острот и перетолкований.

«Некоторые добродушные и наивные люди медицинской профессии, — говорит он, — начали всюду провозглашать, по выходе моей книги *«О долговечности и здоровье»*, будто я, в своем увлечении, советую людям постригаться в монахи, уходить в пустыню, питаться корнями и травами, — словом, будто я какой-то *уравнитель*, замышляющий ниспровержение порядка, сословий и собственности, за исключением лично моей. Но эти толки в свое время рассеялись прахом. Другие клялись, что я похерил мою книгу, отрекся от моего учения и системы (как им угодно было называть это) и возвратился к дьяволу, к меру и к мясу. Я выдержал и это нападение; и много раз еще после того меня били и в стихах, и в прозе; однако, благодаря Бога, я жив и здравствую до сих пор».

Следующим изданием его была книга *«Об английской болезни, или трактат о нервных болезнях всех видов»*, который также был принят публикой очень благосклонно и выдержал в два года четыре издания. Постоянные насмешки, которыми осыпали «чревоугодники» его последнее произведение, заставили его быть осторожнее в своих последующих попытках произвести реформу в пище; он предупреждает публику в этом новом сочинении, что его молочная и растительная диета предназначена только для людей слабого здоровья. Осуждая употребление соусов и веществ, возбуждающих неестественный аппетит, он говорит, что они «не только побуждают больной желудок принимать в себя несоответствующее бремя, но мешают и здоровому сознавать, когда голод его удовлетворен. Мудрено ли после этого, спрашивает он далее, что болезни, происходящие от праздности и избытка пищи, соразмерно возрастают?»

Здесь он уже смело утверждает, что для исцеления многих болезней полное воздержание от мяса, безусловно, необходимо.

«Бывают случаи, — говорит он, — когда растительная и молочная пища положительно необходимы, как например: при тяжелой хронической подагре, ревматизме, раке, проказе и золотушных расстройствах, а также при сильных нервных коликах, эпилепсии, тяжелой истерии, меланхолии, чахотке и вообще при всех хронических расстройствах. Мне редко случалось наблюдать, чтобы подобная диета не оказывала *хорошего действия* в таких болезнях».

Шесть лет спустя, в 1740 г. вышел его *«Опыт о гигиеническом образе жизни»*. В этот промежуток времени Чайн, очевидно, убедился долгим опытом и размышлением в превосходстве растительной пищи перед всякой другой, как для больных, так и для здоровых людей, и начал громко и явно провозглашать важность всеобщей диететической реформы. Благодаря такой откровенности, новая книга его была принята сравнительно холодно. Впрочем, популярности ее, быть может, повредил и несколько темный, математический тон ее изложения. Что касается до ее морального характера, то в этом отношении она, несомненно, была новым откровением для огромного большинства читателей. Автор смело говорит: «Я хочу рассмотреть здесь вопрос, были ли предназначены Творцом в пищу животным и в особенности человеческой расе, — растительные или животные вещества. Я почти пришел к убеждению, что животные вещества никогда не предназначались в пищу, а были только допущены, как проклятие или наказание... Нам неизвестно в точности, в какое время вошла в употребление мясная пища, но дерзок был тот человек, который сделал первый шаг в этом направлении!»

«Нужны каменное сердце и большая доза жестокости, чтобы глядеть на конвульсии, агонию и муки бедного животного, умирающего для удовлетворения нашей роскоши и для возбуждения наших омертвелых органов. С точки зрения логики и справедливости, я не вижу большой разницы между питанием человеческим мясом и питанием мясом бессловесных животных: *разница только в том, что последнее поощряется обычаем и примером*».

«Я полагаю, что некоторые люди страдали бы менее от насильственной смерти, чем страдает сильный бык или олень; а с точки зрения нравственности и справедливости степень страдания составляет в этом случае главную разницу; остальные различия только относительны и не могут идти в расчет перед бесконечно совершенным Существом.. Только обычай и пример могли затемнить сознание этой истины; одному разуму не удалось бы сделать этого».

.Благородные и смелые слова! Тем более смелые, что они исходят от знаменитого члена профессии, которая, по своей оппозиции всяким нововведениям, почти соперничает с профессиями юридической и клерикальной. Во времена д-ра Чайна эта оппозиция интересантов и ханжей была даже сильнее, чем ныне. Со времени окончательного восстановления его здоровья, около 1728 года, нам немного известно об его жизни, кроме того, что открывается в его сочинениях. Мы знаем только то, что он еще лет пятнадцать продолжал практиковать с большим успехом в Лондоне и Бате, и составил себе громкое имя. В числе его близких друзей был знаменитый д-р Арботнот, шотландец, как и сам Чайн, и мы видим, что последний встречается у болезненного овра своего друга и родственника, епископа Бернета, с сэром Гапсом Слоуном и с д-ром Мидом. Заметим кстати, что как Слоун, так и Арботнот, высказываются в пользу воздержания от мяса. О собственной своей диете Чайн пишет в конце своей жизни:

«Пища моя состоит в настоящее время из молока, чая, кофе, хлеба, масла, сыра, салата, фруктов, всякого рода семян, кореньев (картофеля, репы, моркови), — словом, из всего, что не имеет жизни. Все это подается мне в том или другом любимом мною виде, и представляет столько же, если не более, разнообразия, как и животная пища, и никогда не приедается мне. Я не пью ни вина, ни других возбуждающих напитков и редко принимаю пищу в сухом виде, а всегда в жидком, разваренном или сочном

2

. После обеда я пью кофе или зеленый чай, по редко пью то и другое в один день. Иногда я выпиваю стакан легкого сидра. Чем легче моя пища, тем лучше, бодрее и веселее я себя чувствую; сон мой крепче, но несколько короче, чем в те времена, когда я питался мясом; зато я чувствую себя живее, чем тогда. Проснувшись, я тотчас же встаю; обыкновенно это бывает в шесть часов утра, а ложусь я в десять вечера».

Относительно результата такого образа жизни, он говорит: «С тех пор (со времени его последней болезни) я, благодаря Богу, постоянно держался этой диеты и пользовался таким хорошим здоровьем, па какое человек моих лет (мне теперь шестьдесят) не может основательно рассчитывать». Если вспомнить все сложные болезни, которыми он страдал, пока следовал общепринятому образу жизни, то этот опыт достаточно убедителен.

Лет десять спустя, он рассказывает о себе следующее: «Вот уже шестнадцать лет, как я окончательно перешел на молочную и растительную диету. В начале этого периода я принимал эту легкую пищу без всякой меры, следуя прихотям моего аппетита. Но спустя некоторое время, я счел за нужное уменьшить порции ее и в последнее время ограничиваюсь всего половиной того, что в начале я, как мне казалось, мог переносить. Если Богу будет угодно продлить мои дни еще на несколько лет, то, для поддержания свободы и ясности моих чувств, которыми я, с Божьей помощью, до сих пор наслаждаюсь, я должен буду, вероятно, отказать себе в половине моего настоящего дневного пропитания, которое состоит из трех кружек парного молока и шести унций сухарей, приготовленных без соли и дрожжей.

Последним произведением Чайна был *«Естественный метод исцеления физических болезней и психологических расстройств, зависящих от физического состояния»*.

Труд этот посвящен знаменитому лорду Честерфильду, который с признательностью заявил об испытанном им на себе благотворном действии метода Чайна. «Я с большим удовольствием прочел вашу книгу, присланную мне книгопродавцом по вашему распоряжению, — пишет он. — Физическая часть ее превосходна, и я верю, что такова же и

метафизическая. Хотя я считаю метафизику чисто делом воображения, но никакие гипотезы не кажутся мне столь близкими к истине, как ваши, и я готов защищать их против всех других метафизиков. Ту часть вашей книги, которая основана на знании и опыте, я признаю общепользным делом, за которое современники и потомство будут благодарны вам, если последуют вашим советам». Лорд Честерфильд принадлежал, как мы ниже увидим, к тем возвышенным умам, совесть которых возмущалась против бойни. Хотя у них и не хватало мужества или самообладания, чтобы отказаться от плодов ее.

По мысли Чайна, его «Естественный метод» должен был служить как бы дополнением к его последней книжке, содержащим в себе «практические заключения и выводы из ее принципов, подтвержденные сорокалетними наблюдениями и опытом». Это наиболее практичное из его произведений, полное ценных наблюдений. Нельзя не признать справедливыми и полезными его нападки на довольно распространенное в Англии мнение, будто плотно есть не только не порок, но даже своего рода достоинство.

«Не знаю, как в других странах и вероисповеданиях, но у нас, верных протестантов, воздержание и умеренность (по крайней мере, в пище) далеко не считаются добродетелями, а обратные им свойства, — пороками. Напротив того, можно подумать, что несомненный порок в наших глазах тот, когда люди не наедаются по горло самой жирной и вкусной пищи. Против этого порока наши родные, друзья и врачи согласно ратуют с превеликим усердием. Между тем, всматриваясь глубже, мы убеждаемся, что воздержание вовсе не такая опасная вещь, как мы воображаем. Нужно заметить, что во всех известных нам религиях, господствовавших у цивилизованных народов, посту, т. е. времени воздержания и подавления разумными существами грубых плотских инстинктов, — удаляется большое место. Пост образует необходимую часть религиозных обязанностей. Пост и воздержание не только естественны и полезны для здоровья, но и строго предписываются Старым и Новым Заветом, как располагающие людей к более серьезным и обдуманым намерениям. Поэтому-то пост или время воздержания и служить одного из причин бодрости и ясности духа у некоторых восточных и южных народов, которые могли бы пользоваться цветущим здоровьем и долговечностью, если бы не злоупотребляли ароматическими и наркотическими веществами, худшими из опьяняющих средств, служащими главной причиной неестественного и необузданного сластолюбия и недолговечности этих народов».

Осуждая обычай людей его профессии поощрять в пациентах извращенные вкусы и привычки, он напоминает, что — «такие врачи не считают себя ответственными перед обществом, перед своими больными, своею совестью и Творцом за каждый час, за каждую минуту жизни своих пациентов, которую они урезают своим безнравственным и пагубным потворством; а пациенты, со своей стороны, не соображают того, что подобное самоубийство есть самый непростительный из всех смертных грехов; и ни тем, ни другим не приходит в голову, что такие вредоносные средства, если они не убивают пациента быстро, то заставляют его постепенно умирать в течение двадцати или тридцати лет. Напротив того, способы, которые я предлагаю, если они не помогут со временем совершенно восстановить здоровье пациента, по крайней мере, облегчат его страдания, продлят его жизнь, или же, в худшем случае, облегчат агонию, насколько это допускается естественным порядком вещей». Полезны и поучительны также и его наставления касательно диеты психических больных и страдающих мозговыми расстройствами, которым он основательно рекомендует легкую растительную пищу. Впрочем, он не надеется, что его рациональный метод будет принят или хотя бы только одобрен «факультетом и публикой», которые не примут в соображение того, что *девять десятых* всего человечества по необходимости должны ограничиваться одною — или почти одною — растительною пищею (зернами, фруктами, овощами) и, тем не менее, живут, владеют всеми своими органами, членами и способностями и мало подвержены болезням, за исключением разве эпидемических и таких, которые бывают следствием несчастных случаев. Не примут они в соображение и того, что существовали народы, — да и теперь еще существует множество племен, которые добровольно ограничивались одною растительною пищею... и что в самой Англии встречаются целые деревни, жители которых едва ли едят мясо или пьют спиртные напитки чаще двенадцати раз в году». Относительно нервных и мозговых болезней, он утверждает, что безубойная пища «значительно облегчит органические расстройства, наследованная от

больных родителей».

«Мыслящая часть человечества, желающая и в старости пользоваться всеми своими способностями в их полной зрелости и остроте, и сохранить их до конца своих дней, найдет в растительной пище верное предохранительное и целебное средство против неправильностей и расстройств мозговых функций, ослабления умственных способностей, памяти и чувств, по крайней мере — настолько, насколько это допускается целями Провидения и человеческою природою».

Согласно отзывам современников, этот благожелательный и благодетельный реформатор доказал своим собственным концом пользу своего метода, сохранив до последнего вздоха все свои чувства и расставшись с жизнью легко и спокойно. Его пользовал в предсмертной болезни знаменитый Давид Гартлей, о котором будет ниже речь. Чайн похоронен в Вестоне, близ Бата. Характер этого человека ясно выяснился в его произведениях, хотя и заключающих в себе некоторые метафизические и другие идеи, не всегда допускаемые нашим разумом, но практическое учение которых, несомненно, свидетельствует об искреннем и серьезном желании автора послужить лучшим интересам человечества. Одним из достоинств Чайна как писателя, служить отступление его от условно-темного слога, принятого людьми его профессии как бы из ревнивого желания устранить «непосвященных» от великих тайн науки. Один из его биографов заметил в произведениях его еще и другую особенность, на которую стоит указать, хотя в них встречается не мало таких мест, которые совершенно не могут быть понятны читателю, не обладающему довольно обширными познаниями не только в медицине, но и в математике, тем не менее, большая часть его трудов, видимо, предназначалась для масс, и в этом отношении немногие писатели его профессии имели такой полный успех, как он. Книги его пользовались в свое время большою популярностью, как среди публики, так и среди членов его профессии. Если они не представляют для современного читателя важных открытий, зато напоминают о некоторых полезных, но позабытых истинах. В настоящее время произведения Чайна, вероятно, мало читаются, хотя в них заключается много такого материала, который было бы полезно изучать, и который снискал их автору почетное место в истории медицинской литературы.

Наша заметка о Чайне была бы не полна, если бы мы не упомянули о дружбе его с двумя выдающимися людьми своего времени — Джоном Веслеем и Самюэлем Ричардсоном. Веслей, как он рассказывает в своем дневнике, был обязан доктору Чайну обращением своим к новым диететическим правилам, которым он приписывает в значительной мере подкрепление своей от природы слабой организации. Они помогли ему выдержать такую массу умственного и физического труда, которая редко выпадает на долю одного человека. О дружбе Чайна с Ричардсоном свидетельствуют многие из его писем к этому популярному писателю. Его откровенные и наивные критические суждения о романах Ричардсона подчас очень забавны. Романист этот был его пациентом и, как видно по нотациям которые читаете ему Чайн, не всегда удовлетворял его своею покорностью его предписаниям, основанным на строгом воздержании.

XXIX

ПОП

1688 — 1744

Поп, один из знаменитейших английских поэтов, начал писать очень рано. Первое важное произведение свое: «*О критицизме*», он написал 21 года, хотя оно появилось в печати двумя годами позже. Но говорят, что он уже 12-ти лет писал эпические стихотворения; его «*Пасторали*» вышли, когда ему было всего 16 лет. Это произведение Попа прошло в рукописи через руки нескольких знаменитых людей, которые начали громко прославлять талант юного поэта.

Его «*Виндзорский лес*», написанный в 1713 году, заслуживает упоминания как одна из первых его поэм, вдохновленных непосредственно природой. В ней уже проявляется возмущение против варварства креофагии, хотя только в зачаточном виде. Приведем следующие стихи, рисующие обычные сцены охоты:

Смотрите, на опушке леса, за кустами
Вспорхнул фазан и машет яркими крылами,
И — жизнерадостный, — взлетает высоко.
Но радость коротка... Он ранен; глубоко
Растрезанную грудь прожгла дробина злая;
Трепещет, бьется он, и, кровью истекая,
На землю падает
Погибла красота
Веселых ясных глаз с пурпурными бровями,
И крыльев огненных, и пышного хвоста,
Сиявшего на солнце радуги цветами.

.....
Со стайей чутких гончих по полям
Гоняются они по спутанным следам
За робким зайцем. Псов натравленная стая
Давно уж научилась у людей
Губить себе подобных, слабых, убивая
Без всякой жалости товарищей-зверей.
Зимой охотник бродит в рощах оголенных,
Где скрылись горлицы на ветках убеленных
Блестящим инеем, где изредка бекас
Вспорхнет над кочками замерзшего болота.
Курок ружья взведен, прищурен меткий глаз, —
Морозный воздух вздрогнул... Началась охота.—
Забавы ради бьет губительный свинец
Над вереском сухим кружащуюся пташку;
И жаворонок звонкий, — летних дней певец, —
Порой, не кончив песни, падает, бедняжка.

Для нас представляют особенный интерес его «Статьи о нравственности», в особенности та, которая озаглавлена: «О человеке», — наиболее замечательное из всех его произведений.

Достоинства поэмы «О человеке» заключается главным образом в разбросанных в ней прекрасных и верных мыслях. Лучшая часть в этой поэме, бесспорно, та, где автор осмеивает заносчивое мнение человека, будто все другие твари созданы на пользу его расы, — эту явную нелепость, которая, кстати сказать, несмотря на частые опровержения ее, незыблемо держится в популярных учениях веры и морали. Слишком многочисленным защитникам этой теории можно возразить словами Попа:

Все — части целого; все — связаны одной
Весь мир объемлющей, всеобщую Душой;
И человек, и зверь, — тварь малая,
большая, — все держится, живет, друг другу помогая,
Служа; чтобы никто здесь не был одинок
И властвовать *один* над *всеми* — никто не мог.

.....
Как смел подумать ты, безумец и гордец,
Что о тебе одном заботится Творец
И предназначил все тебе для наслажденья,
Для пищи, для удобств, нарядов, развлеченья?

.....
Знай, всем природы детям равный дан удел.
Мех, греющий царя, сперва медведя грел.
— «Вот», — люди хвастают, «вся тварь нам на служенье!»
(Причем откармливают гуся на съеденье).
А гусь откормленный ответит им: «Ага!
Я птица важная, мне — человек слуга!»

Смешон и жалок гусь в хвастливом самомнении;
Но люди, думая, что «*все — для одного*»
А не «*один для всех*» — похожи на него.

Далее он рисует «былые (или, как следует понимать, — грядущие), лучшие времена невинности»:

Безгрешным был наш род; убийств ему не надо
Для пропитания, забавы и наряда.
Был у него один, для всех открытый, храм —
Высокий, вечный лес. Оттуда к небесам
Хвалебный гимн Творцу вселенной возносился;
Там Богу всех живых. Единому молился
Всех тварей одаренных жизнью дружный клир.
Пред алтарем нетленным, не залитым кровью,
Стоял первосвященник, вдохновлен любовью,
Чист, непорочен, свят— молясь за Божий мир.
Благие Небеса, завет свой совершая,
Благословляли все, равно всех охраняя
И человек признал законом для себя:
Всем правит на земле, — жалея и любя.
Похожи ль на него в — правнуки-злодеи, —
Внимающие стонам, воплям и слезам,
И половину тварей Божьих, не жалея,
Ведущие на смерть, на бойню к мясникам?
Убийцы, палачи вам родственной породы,
Обманщики своей! Вы — матери-Природы
Враги жестокие, забывшие закон
Благой и вечный! — Знайте, непреложен он:
В убийстве каждом скрыто тайное отмщенье;
Болезнь, зараза, смерть грозят за преступленье:
Кровь съеденных зверей разбудит похоть, страсть,
И гнев, и ненависть. Узнает род проклятый
Чужой горячей крови пагубную власть
И «кровожадные» восстанут брат на брата!

Изображая возрастающие деспотизм и суеверие, он спрашивает:

Кто первый был, внушаемый царствам покоренным
И жалким темным душам, в рабство обращенным,
Бессмысленную веру в злой обман его
Что *все* сотворено для *одного*?

И прослеживает, как постепенно возрастали ужасы жертвоприношений, которые, начавшись
закланием животных, увенчались закланием людей:

И суеверие увидело богов,
Живущих на горах, сходящих с облаков,
Роящихся во тьме кромешной под землю,
Там злых, здесь — добрых, — в ссоре меж собою;
Страх создал воинство рогатое чертей,
Надежда — гениев, хранителей людей,
И целый рой богов, — жестоких, сладострастных,
Несправедливых, гневных, мстительных, ужасных, —
Богов, придуманных трусливыми рабами
По образу владык своих, тиранов злых,
Чтоб в страхе задрожали и тираны сами
И поклонялись им, и веровали в них.
И полилася кровь безвинная зверей

На жертвенный костер, на мрамор алтарей;
Жестокий бог огня просил иного пира:
И кровь людей лилась перед лицом кумира,
И гром небесный стал орудием богов,
И стрелы молнии сражали их врагов.

При всяком случае Поп клеймит варварство избиения животных для пищи и с негодованием попрекает человека тем, что он убивает любящих его животных:

Ягненок, жадностью твоею обреченный,
На пытку лютую, в мгновенье смертной муки,
Глядит тебе в глаза, невинный, изумленный,
И лижет ласково тебе, убийце, руки!

И затем выражает свое отвращение к эгоизму людей, которых называет:

Забавы ради, жадности в угоду,
Все истребляющей жестокою породой

Что все это было не напускной сентиментальностью, в этом убеждают нас его переписка и статьи в периодических изданиях того времени:

«Я не могу назвать нелепым предположение, что род человеческий сравнительно столько же виновен в злоупотреблении своей властью над низшими существами, сколько и в тираническом отношении к себе подобным. Чем полнее низшие твари подчинены нашей власти, тем сильнее должна была бы быть наша ответственность за неправильное пользование ею, тем более, что уже в силу естественных условий эти существа лишены возможности получать какое-либо вознаграждение в иной жизни за претерпеваемые ими жестокости в настоящей»

Достоин замечания то обстоятельство, что животные, имеющие наибольшую возможность вредить нам, обыкновенно избегают человека и никогда не нападают на него, если он сам их не трогает, или если их не вынуждает к тому голод. Человек, напротив того, отыскивает и преследует даже самых безобидных животных. Монтень считает оскорблением человеческой природы тот факт, что разве немногих из нас радует вид ласкающих друг друга или играющих между собой животных, тогда как почти каждому доставляет удовольствие, когда они начинают грызться и терзать друг друга.

«К сожалению, это свойство стало почти отличительной чертой нашей собственной нации, как это видно из наблюдений иностранцев над нашими забавами, — травлей медведей, петушиными боями и т. п. Трудно нам оправдаться в том, что мы для одной потехи губим чью бы то ни было жизнь. Между тем в этих правилах воспитываются наши дети, и одно из первых дозволяемых им нами удовольствий есть мучение бедных животных. Едва лишь успев сами познать цену жизни, мы уже делаем для себя забаву из отнятия ее у других существ. Я уверен, что можно бы обратить к добру любовь детей к птицам и насекомым. Локк упоминает о матери, позволявшей своим детям играть с ними; но она награждала или наказывала детей, смотря по тому, хорошо или дурно они с ними обращались. Таким путем она заблаговременно развивала в детях чувство человечности, обращая забаву в орудие добродетели.

Я думаю также, что можно бы извлечь некоторую пользу из общепринятого мнения, будто убийство некоторых птиц вроде ласточек или стрижей имеет дурное предзнаменование и приносит несчастье. Это мнение явилось, вероятно, вследствие доверия к нам этих птиц, выражающегося в том, что они строят свои гнезда под нашими крышами, так что убивать их значило бы нарушать законы гостеприимства. В частности, по отношению к раполову, возможно, что своей безопасностью он обязан древней балладе о *Детях в лесу*. Как бы то ни было, я не знаю, почему бы этим предрассудком не воспользоваться, развил таковой, насколько возможно, в хорошую сторону, — в целях сохранения множества невинных существ, предоставленных теперь вполне на волю и прихоть невежественной жестокости...

Достигнув возмужалости, мы переходим к другим кровавым развлечениям — особенно к охоте. Я не осмеливаюсь нападать на эту забаву, опираясь на такой сильный авторитет и обычай, но позволяю себе высказать ту мысль, что сопровождающее это удовольствие возбуждение, а также пример и многочисленность охотников составляют немалую помеху проявлению чувства сострадания, которое естественно должно было бы возникать по отношению к преследуемому животному. Я не разделяю также мнения Флери, будто этот спорт есть наследие готского варварства; но я не могу не высказать порицания одному и до сих пор еще уцелевшему у нас обычаю настолько варварскому, что его даже мало приписать остаткам готских или даже скифских нравов, — я разумею дикое понятие наших охотников о дамах высшего круга, выражающееся в том, что таким дамам, когда им случится присутствовать при издыхании оленя, подносится охотниками нож, чтобы те собственноручно перерезали горло беспомощному, трепещущему, плачущему созданию.

Но если губительны наши забавы, то еще пагубнее и противнее истинной человеческой природе наша прожорливость. Заживо варимые раки, засеченные до смерти свиньи и различные другие безобразные приемы для улучшения вкуса убоины

3

служат свидетелями нашего жестокого сластолюбия. Те, кто по выражению Сенеки, делят свою жизнь между угрызениями совести и переполненным до тошноты желудком, получают справедливое возмездие за свое обжорство в причиняемых им этим болезнях. Ибо дикие люди, подобно другим диким животным, уловляются и отравляются своею пищею, так что их аппетит служит причиною их гибели. Я не могу представить себе ничего отвратительнее наших кухонь, забрызганных кровью, наполняемых криками замучиваемых животных. Это напоминает собою вертеп какого-нибудь сказочного великана, усыпанный головами и искалеченными членами жертв его ненасытной жестокости

4

Несравненный Плутарх, в писаниях которого я нашел больше симпатичных кротких черт, чем в сочинениях каких бы то ни было других авторов, приводит изречение на эту тему Катона, что *нелегко проповедовать брюху, у которого нет ушей*. Однако, говорит он, если из боязни отстать от людей мы не стыдимся вредить, то будем, по крайней мере, вредить с *некоторым* разбором и умеренностью. Убивая животное для своего питания, будем делать это с состраданием и не мучая свою жертву. И вместе с тем будем при этом помнить, что само по себе жестоко умерщвлять живое существо, губить душу, не лишнюю чувства и понимания.

История повествует нам о мудром и деликатном народе, отказавшем высокопоставленному человеку в должности судьи за то, что он, как было известно, любил, будучи юношей, мучить и убивать птиц. Она же говорит нам о другом народе, который исключил из сената человека за то, что тот бросил о землю спрятавшуюся у него на груди птицу. Всем известно, насколько отличаются такую гуманностью турки. Мне вспоминается один арабский писатель, написавший рассуждение, с целью доказать, насколько человек, проживший, по предположению, на пустынном острове, вне всякого руководства, даже совсем не видав другого человека, может, в силу лишь естественного внушения, приобрести познание философии и добродетели. Одним из первых обстоятельств, обращающих на себя внимание человека при таких условиях, является благосклонность природы, выражающееся в стремлении ее оказать покровительство и помощь своим созданиям. В подражание этому первым актом добродетели такого самоучки философа было бы явиться на помощь всем животным в их нуждах и несчастьях...

Может быть, голос или крик, так похожий на человеческий, которым природа одарила столько разных животных, дан им с тою целью, чтобы вызывать нашу жалость и предотвращать жестокости, к которым мы так склонны по отношению к подобным нам созданиям». Поп приводит басню персиянина Пилпая, изображающую низкую

неблагодарность людей, мучающих и убивающих своих помощников в работе: «Я знаю эту обычную неблагодарность человека», сказала корова, «по собственному горькому опыту. Служила я человеку столько времени и молоком, и маслом, и сыром, да сверх того каждый год приносила ему телят, — а теперь, когда я состарилась, он посылает меня на пастбище с намерением продать меня мяснику, который скоро покончит со мной».

С эту басню Пилпая можно сравнить такого же сюжета басню Лафонтена: «Человек и уж».

Нужно прибавить, что личный характер Попа был, в последнее время, предметом подробных и пытливых исследований критики. Результаты этих исследований дали повод сомневаться в его искренности, обнаружив в нем слабости, источником которых было крайнее честолюбие и забота о посмертной славе. Чрезмерная враждебность его к своим общественным и частным врагам отчасти может найти себе объяснение, если не оправдание, в слабом его здоровье и в происходившей отсюда раздражительности характера. В сущности же он был способен к самой искренней и бескорыстной привязанности. Не последним достоинством его было также и то, что в рабства литературы он служил ей совершенно бескорыстно.

К числу близких друзей Попа принадлежали: д-р Арбутнот, декан Свифт и Гей. Первый написал около 1730 г. «Исследование о пище», в котором растительная пища рекомендуется как лекарство от некоторых болезней.

В «Путешествии Гулливера» читатель находит, между прочим, выражение негодования Свифта — или, по крайней мере, одного из гуингнемов, — по поводу безразборчивой пищи соотечественников Гулливера. „Я сказал ему (своему хозяину—лошади)

5

, говорить Гулливер, что мы питаемся тысячью разнообразных вещей, которые противодействуют одна другой; что мы едим, когда не голодны, и пьем, когда не чувствуем жажды, — что не было бы конца перечислению всех болезней, которым подвержено человеческое тело, так как их не менее пяти или шестисот, распределенных между всеми членами и суставами. Всякая часть организма, будет ли то внешний или внутренний орган, подвержена своим специфическим заболеваниям. Для излечения болезней у нас существует особый класс людей, которые специально обучаются, или делают вид, что обучаются, искусству врачевания».

Удивленный гуингнем узнает, что в состав разнообразных лекарств входят такие вещи, как: «змеи, жабы, лягушки, пауки, мясо и кости мертвых животных, птицы, рыбы». Не будет лишним прибавить, что это не сказки путешественника, а положительный факт, в чем всякий сам может убедиться, просматривая общепринятая и популярным лекарства XVII века, между которыми серьезнейшим образом предлагались самые нелепые «рецепты», нередко сопряженные со зверскою жестокостью.

«Хозяин мой (гуингнем), продолжая беседу, заметил между прочим, что неразборчивость людей в пище делает их самыми отвратительными животными. Они с жадностью пожирают все, что попадает им под руку: траву, корни, ягоды, тухлое мясо животных, иногда мешая все это вместе. Характер их имеет еще ту особенность, что они предпочитают пищу, добытую грабежом в далеких странах, той, которую можно получить у себя дома, хотя бы эта последняя была гораздо лучше первой. Если добыча слишком велика, то они способны есть, пока им не начнет грозить опасность лопнуть. Пленник гуингнемов, не привыкший к лучшему образу жизни, находил вначале их пищу невкусной, но результат сделанного опыта показал ему, во-первых, как мало нужно для поддержания человеческой жизни, и, во-вторых, какое превосходное действие оказывает на здоровье растительная пища».

XXX

ТОМСОН

1700—1748

Хотя идея гуманности в XVIII веке не заметна ни в законодательстве, ни в учении присяжных руководителей общественной веры и морали, тем не менее, она провозглашена

во всеуслышание величайшими мыслителями этой эпохи. Но в обыденной жизни это столетие по справедливости заслужило упрек в эгоизме и бессердечии Черствость его в отношении страданий живых существ, в особенности нечеловеческого рода, достаточно доказывается публичными удовольствиями и развлечениями различных классов общества.

И однако, если мы сравним тон даже среднего класса писателей настоящего времени, с тоном авторов мнимонаучных трактатов прошлого столетия, в которых хладнокровно предписываются возмутительнейшие жестокости над беззащитными жертвами человеческого невежества и варварства (в видах приготовления медицинских снадобий и проч.), то мы не можем не заметить значительного шага вперед в медленном ходе человеческой расы к той цели, которая становится истинною нравственностью п религией.

Томсону, написавшему поэму под заглавием: «*Времена года*», принадлежит вечная заслуга, как первому

б

из новейших поэтов, серьезно восставшему против разнообразных страданий, причиняемых низшим тварям, и, в особенности, против жестокости, неизбежной при существовании такого учреждения, как бойня.

Джеймс Томсон, шотландский уроженец, прибыл в Лондон искать счастья в литературе в 25-летнем возрасте. Некоторое время он сильно бедствовал и прошел через все мытарства, через которые обыкновенно проходят молодые люди, избравшие литературное поприще, а в особенности поэты. В марте 1726 г. появилась его «Зима», положившая начало новой школе поэзии. Издатель предложил за это произведение всего три гинеи, и по этому факту можно судить, какого низкого мнения был он о вкусах своего времени. Однако результат не оправдал его оценки: невзирая на безвестность автора, «Зима» нашла себе благоприятный прием, и в том же году вышла тремя изданиями. Следующее произведение Томсона, «Лето», вышло в 1727 г., а все «Времена года» — в 1730 г. Произведение это было выпущено по подписке; 387 подписались каждый на один экземпляр ценой в одну гинейю.

Характеристическими чертами поэзии Томсона служат природный энтузиазм, теплота чувства и любовь ко всему истинно прекрасному. Но в особенности преобладает в ней сочувствие ко всякого рода страданиям, не ограниченное тесными рамками национальности или рода, но распространяющееся на все безвредно живущее. Это чувство и негодование против всякой несправедливости и угнетения составляют основные черты Томсона и выгодно отличают его почти от всех его предшественников и от большинства преемников. В числе свих друзей он считал Попа и Самюэля Джонсона, которые оба принимали, как слышно, некоторое участие в частых пересмотрах его главных произведений.

Нас интересует в особенности его «Весна», так как в этой части своей великой поэмы он красноречиво выясняет различие между двумя противоположными родами пищи. Воспевая весеннее обновление земли и возрождение природы, он говорит:

Живые травы в диком изобильи
В темно-зеленый бархатный наряд
Обели землю; тщетны были бы усилья
Мужей ученых счесть их и назвать подряд.
(Когда в лесу ботаник бродит одиноко,
Иль тихо крадется долиною глубокой,
Стараясь разместить, — пересчитать, собрав, —
Все эти скучные породы сорных трав,
Они, негодные, порядок нарушая,
Ползут, сплетаются, с пути его сбивая,
И яркой зеленью маня на горный склон,
На высоту, куда не доберется он.)
Так щедрою рукой рассыпала природа
Повсюду семена. Их ветер разносил,
Рассаживал, где надо, каждую породу,

Земля вскормила их, а теплый дождь вспоил.
Бесчисленны они. Но кто их свойства знает?
Кто, — ясновидящий, — проникнет, разгадает
Сокрытые в них тайны, — жизнь и благодать, —
Запас здоровья, сил, — все то, что могут дать
Они нам, людям?
Были пищей человека
Они во времена счастливейшего века;
И мирно протекал ряд золотых годов,
Не опозоренных ни кровью пролитою,
Ни гнусным грабежом, ни рабством, ни войною;
В долинах и полях страх смерти не царил,
И человек безгрешен, чист и кроток был, —
Свирепых игр не знал; сын мира и свободы,
Он был хозяином, а не врагом природы.
И вот в пренебреженьи умирают травы,
Напрасно пропадает благовонный сок,
Хотя в нем жизнь и сила — вместе с пищей здоровой,
Хотя он и в болезнях людям бы помог,
Сверх чаянья науки...

Хищны стали люди,
Как грозный лев степной — и даже хуже льва;
Волк, разрывающий трепещущие груди
Овцы похищенной, их не доил сперва;
Он не был пастырем овцы, — не одевался
Волною мягкою и не пил молока.
И тигр, повиснувший на горле у быка,
Не пахарь добрый был. Не для него старался,
Ярмо носящий, труженик полей.
Нужда и голод гонят хищников зверей
на промысел кровавый. Не дано природой
Им милосердие.

А мы другой породы:
У нас сердца высоких чувств полны;
И сострадание, и слезы нам даны.
Для нас природа-мать готовит угощенья,
Роскошный пир: плоды, и злаки, и коренья, —
Бессчетные — как нити теплые дождей,
Как стрелы золотые солнечных лучей,
Их возрастившие...
И вдруг мы, — мы созданы
С прекрасным ликом светлым, с ясностью очей
Достойных красоты небесной созерцанья,
С улыбкой кроткою, — мы тоже бьем зверей,
Мы также — хищников безжалостная стая
И с ними заодно, слабейшего терзая,
Пьем кровь его!..

.....
За что ж казнят и вас, покорные стада,
Вас, мирных, — никому не сделавших вреда?
За то ль, что молока обильными струями
Вы напоили нас, согрели нас зимой,
Делясь своей одеждой — теплой шерстью — с нами?
А ты что сделал, бык? Ты, — жатвой золотой
Украшивший поля, ты — труженик примерный,
Помощник терпеливый, добрый, честный, верный?

Со стоном упадешь ты, смертью, пораженный?
Или убьет тебя хозяина рука?
Крестьянин-пахарь сам, тобой обогащенный,
Тебя, — кормильца, друга, — в праздник годовой
Зарежет, чтоб гостей попотчевать тобой?

Далее он опять клеймит любительскую бойню (для благозвучия называемую *охотой*),
бесстыдно совершаемую среди белого дня:

И хищный зверь голодный только в час ночной
Выходит на добычу, словно свет дневной
Мешает грабегам кровавым; зверю стыдно —
И он скрывается.
Но человек, как видно, —
В безумной дерзости и наглости своей, —
Чудовище, страшней всех хищников-зверей;
Одной забавы ради, в диком исступленьи, —
В свирепом бешенстве бесцельно кровь он льет:
Злодейство гнусное «охотою» зовет,
И днем охотится, при ярком освещеньи
Животворящих, кротких солнечных лучей, —
Поставь себя в примере и упрекни людей, —
Ты, — стая хищная! Скажи: «Мы убиваем,
Гонимые нуждой, когда мы голодаем.
Но сытые, — благим природы попеченьем, —
Не забавлялись бы других существ мученьем,
Не проливали б кровь, не радовались ей;
Такой «охоты» злой нет и в сердцах зверей!»

Мы заключаем эти выдержки из «Времен года» негодующими размышлениями поэта об
эгоистической алчности торговцев, которые варварски приносят в жертву тысячи
благороднейших и сметливейших животных, единственно ради удовлетворения прихотливой
роскоши:

Спокойно, в вековой тиши дерев высоких,
Над желтым Нигером, на берегах далеких,
И там, где Ганг течет священной волной,
И в девственных лесах, одетых вечной мглой,
Мудрейшее из всех животных — слон громадный
Проводит долгий век. Воистину мудрец!
Могучий, — но не злобный и не кровожадный;
Он видит, свысока, начало и конец
Дел человеческих: их царств возникновенье,
Гордыню, процветанье, гибель и паденье;
Он видит, как сметает каждый новый год
С лица земли пустой и беспокойный род.
И дела нет ему до суетных мечтаний
И замыслов людских, и темных злодеяний.
Как счастлив, бесконечно счастлив, был бы слон,
Когда бы по стопам за ним не проследила
Корысть людей, когда б его не победило
Коварство их! Теперь он в рабство обращен,
Тщеславию и злобе отдан в услуженье.
Он возит на себе властителей земных,
Ничтожных перед ним. Или — в пылу сраженья,
Тяжелою пятой невольно давит их
И их безумию дивится в изумленьи.

ГАРТЛЕЙ

1705-1757

Гартлей известен как один из первых писателей утилитарной школы нравственности. Пятнадцати лет от роду он поступил в Кембриджский университет, где сделался впоследствии студентов высшего класса. Колебания совести не позволили ему вступить в духовное звание, и он сделался медиком. В этой профессии он снискал себе впоследствии значительную известность.

В 1748 вышла его книга «Наблюдения над человеком», главный интерес которой заключается в том факте, что в ней лежат зародыши той школы нравственной философии, самыми талантливыми представителями которой сделались впоследствии Пэлей, Бентам и Милль.

Известно, что Давид Гартлей был другом профессора Чайна, которого он лечил в его последнюю болезнь; вообще, в числе его знакомых были знаменитейшие люди его времени. Характер его отличался необыкновенной привлекательностью и бескорыстием. Чистота его теологических идей почти не подлежит сомнению; о том же, как он смотрел на креофагию, можно судить по нижеследующему отрывку:

«Надо иметь в виду, что лишение животных жизни для превращения их в пищу составляет явное нарушение принципов благотворительности и сострадания. Это видно уже из того, что люди, занимающиеся по профессии истреблением животных, нередко отличаются жестокосердием и могут равнодушно глядеть на страдания своих жертв, тогда как другие чувствуют при этом неловкость. Это чувство, отличающее добрых и сострадательных людей, особенно заметно в отношении домашних животных: быков, баранов, домашней птицы, так близко похожих на нас как строением тела, в особенности, органов кровообращения, дыхания, пищеварения и пр., так и своими умственными способностями: памятью, страстями, выражениями горя, страха, страдания и. наконец, самой картины смерти. Мы нередко привязываемся к этим животным за их особенную сметливость, чуткость инстинктов, за их беспомощность, безобидность, врожденную доброту и пр.

«Эти соображения должны бы заставить нас всех быть осмотрительнее и разборчивее в выборе нашей пищи», — заключает Гартлей; они должны бы побудить нас обсудить беспристрастнее, по указаниями опыта, вопрос о том, что более соответствует нуждам нашего здоровья и нашей жизни; причем сострадание наше к животным, основанное на вышеприведенных соображениях, должно бы служить в некоторой мере противовесом нашим необузданным аппетитам».

XXXII

ЧЕСТЕРФИЛЬД

1694—1773

Замечательная тонкость чувства, обнаруженная лордом Честерфильдом, дает ему некоторое право на место в нашем труде, невзирая на странное его заблуждение относительно «общего порядка природы», — заблуждение (как мы уверены—искреннее), которым он старается заглушить лучшие внушения своей совести. Мы убеждены, что *инстинкт*, внушавший ему вначале отвращение к пище, которая служит продуктом страданий и убийства, был гораздо основательнее тех софизмов, которыми он заглушил впоследствии голос природы и разума, ища убежища под кровом поверхностной философии. Во всяком случае, пример его служит хорошей иллюстрацией к замечанию Сенеки, что довольно было бы пробудить в молодежи лучшие чувства хорошим воспитанием, чтобы направить ее на путь истинной нравственности и религии.

Филпп Дормер, граф Честерфильд. наследовал в 1726 г. свой фамильный титул. В 1745 г. он сделался ирландским лордом-наместником и, в продолжение своего короткого правления, пользовался, как кажется, большим успехом в этой стране, чем многие из его предшественников и преемников. После того он сделался статс-секретарем, но плохое

здоровье скоро вынудило его отказаться от этой должности. Он писал статьи в периодических изданиях того времени; по известности своей он обязан главным образом своим «Письмом к сыну», служившим долгое время настольной книгой светских людей. В этих «Письмах» встречаются некоторые замечания об отношениях между двумя полами, мало гармонирующая с общепринятыми понятиями, или, по крайней мере, с внешним кодексом современной морали. О воззрениях его на интересующий нас вопрос можно судить по следующему отрывку:

«Я помню, что, в бытность мою студентом, меня до такой степени тронула патетическая речь, которую Овидий влагает в уста Пифагора по поводу употребления в пищу мяса животных, что, в продолжение некоторого времени, я не мог принудить себя есть подаваемую в нашем колледже баранину; а когда и стал потом есть, то мне всякий раз казалось, будто я сообщник убийства. Совесть моя не мирилась с такою ужасною пищей, покуда, путем серьезных размышлений, я не пришел к убеждению в ее законности

7

на основании общего порядка природы, один из главных законов которой состоит в том, чтобы слабейший служил добычей сильнейшего. Но для меня все же осталось непонятной загадкой, почему природа, располагающая неограниченными материалами для доставления пищи всем своим бесчисленным созданиям, ставит их в необходимость пожирать друг друга.

Почему теологи молчат об этом вопросе? Или они считают его слишком ничтожным, чтобы стоило заниматься им? Ведь заклинание животных, не входит теперь в их обязанности, и надо полагать, что, люди духовного звания так же доступны состраданию, как и все другие. Журнал «Наблюдатель» возмущался по поводу того, что морских раков варят живыми, а свиней засекают до смерти. Но, к сожалению, повара и мясники редко читают журналы. Что касается *мыслящей* части человечества, то, как мне кажется, оно всегда было убеждено, что, как бы ни было сообразно общему порядку в природе наше пожирание животных, тем не менее, на нас лежит несомненная обязанность предохранять их от излишних, не абсолютно неизбежных страданий.

Но убеждение это сидит в таких головах, что от него едва ли *стало или станешь когда-нибудь легче хотя одной из миллионов несчастных тварей*; люди же властные, которые, одни, могли бы принести пользу своею жалостью, настолько далеки от того, чтобы подавать пример в ней стоящим ниже их, что еще в самое недавнее время они потешались в театре представлением животных, из которых удавалось делать актеров лишь при помощи голодовки и немилосердного стегания кнутом...

Я долгое время питал такие нежные чувства ко всем сотварям, что несколько раз подвергал себя серьезной опасности, внушая погонщикам скота, что овцы их идут на смерть настолько скоро, насколько можно от них требовать, не нуждаясь для этого в столь частых и жестоких побоях. Так как мне обыкновенно приходилось самому дорого расплачиваться за эти споры я притом убеждался, что я не только не облегчал, а чаще еще усиливал дурное обращение с этими невинными страдальцами, то скоро должен был позаботиться о собственном спокойствии и безопасности, и вследствие этого, встречая подобную сцену, стал повертывать в другую улицу. Я решил, что лучше мне не быть свидетелем зрелища, которое только расстроит меня или заставит подвергать опасности себя самого, не принося ни малейшей пользы тем, кого я стал бы защищать.

Я уже начал льстить себя надеждою на скорое прекращение всех этих невзгод и напастей и рассчитывал, что недалеко то время, когда я буду в состоянии свободно прогуливаться по самым прямым и широким улицам, когда м-р Гогарт в первый раз издал свои статьи о жестокости. Но какого бы успеха ни заслуживала подобная искренность, основанная на таком сильном чувстве гуманности, все мои надежды на введение лучших порядков оказались тщетными и бесплодными. Как ни грустно, но приходится сказать, что на *улицах* этой метрополии совершается больше сцен варварства, чем где-либо в остальной Европе. Азия (по крайней мере, большая часть ее населения в лице индусов) хорошо известна состраданием к скотам, и всякий, читавши Бусбеквию, не удивится моему искреннему желанию, чтобы наш простой народ был не свирепее турок.

Я рисковал бы сделаться предметом насмешек, если бы вздумал сетовать на недостаток сострадания в наших законах, когда самое слово «закон» как бы противоречит всякому понятию о сострадании. Признаюсь, мне все-таки кажется странным, что люди, против которых закон дает мне право начать иск за оставление нечистот у моих дверей, могут *безнаказанно* прогонять мимо этих же дверей по полдюжины телят с *начисто* *отрезанными хвостами и окровавленными задними частями*.

В заключение я не могу не присоединиться к мнению м-ра Гогарта, что обилие смертоубийства среди нас в значительной мере обязано своим происхождением тем сценам жестокости, к которым так привыкли низине классы народа. *Вместо умножения таких сцен, следовало бы надеяться на введение каких-либо мер для предупреждения их иди сокрытия их от глаз народа, так чтобы детям можно было расти не для такой жизни, где пролитие крови составляет столь привычное явление.*

Если верить натуралистам, что лев остается мирным животным, пока язык его не отведаёт крови, то *каких только мер не должны были бы мы принимать для того, чтобы не дать привыкнуть к виду крови человеку, имеющему несравненно больше возможности делать зло».*

Автор мог бы привести еще более ужасные примеры бесчувственности влиятельных классов его времени. Да, впрочем, живи он и в настоящее время, его картины общественной морали едва ли были бы красивее, конечно, за исключением нескольких лучших людей.

Ритсон, говоря, что лорд Честерфильд в сущности стоял за принципы гуманности, прибавляет несколько замечаний о знаменитом ориенталисте Виллиаме Джонсе, который, протестуя против эгоистичной бесчувственности «охотников» и даже «натуралистов» перед видом причиняемых ими страданий, пишет: «Я никогда не забуду стихов Фирдуси, за которые Сади

8

благословляет его отошедший в вечность дух:

«Пощадите муравья, богатого запасом зерна:
Живя, он наслаждается, умирая же — страдает».

Это выражение, бесспорно, почтенного чувства напоминает нам, однако, об обычной непоследовательности и отсутствии самой элементарной логики в иных людях, готовых плакать об участи муравья, пчелы, червяка, и в то же время игнорирующих несравненно более тяжкие страдания столь высоко развитых организмов, как жертвы «стола».

XXXIII

ВОЛЬТЕР

1694—1778

Мы можем привести здесь лишь краткий очерк жизни и литературной деятельности этого замечательнейшего из писателей во всей истории литературы, по крайней мере, по разнообразию и гениальности его произведений, а также по тому огромному влиянию, которое они имели на современников и потомство. Тем не менее, об этом знаменитейшем из проповедников гуманности в 18-м веке мы позволим себе несколько подробнее распространиться, чем о других разбираемых нами здесь мыслителях.

Франсуа-Мари Аруэ, более известный под именем Вольтера, принадлежал, со стороны матери, к новейшему дворянству и родился в Шатнэ, близ Парижа. Он получил образование в иезуитской Коллегии Людовика XIV, где воспитатели его, как говорят, предсказали его будущую славу. Подобно многим другим гениальным людям, он готовился к юридической карьере, но она оказалась не отвечающей его склонностям, и он вскоре оставил всякую мысль об этой профессии, предпочтя ей литературу и философию. В ранней юности он успел войти в милость к знаменитой Ниноне де Лапкло, которая завещала ему две тысячи ливров

на покупку библиотеки; это важное в его жизни событие, без сомнения, много способствовало развитию его литературных способностей.

Первые литературные произведения Вольтера были задуманы им в Бастилии, куда он попал, когда ему было всего двадцать лет, за приписанные ему стихи, в которых осмеивалась распущенность двора покойного короля Людовика XIV .

Случайная ссора с одним наглым царедворцем была причиной вторичного заключения Вольтера в Бастилию, откуда он был выпущен через полгода с предписанием немедленно оставить столицу. Испытав таким образом на самом себе деспотический произвол и деморализацию общества, он олицетворил этот опыт. спустя долгое время, в двух из своих сатирических произведений. Сделавшись жертвой таких гонений, Вольтер решился, наконец, искать убежища в Англии, свободный воздух которой уже вдохновил Ньютона, Локка, Шафтсбэри и многих других знаменитых представителей прогрессивных идей. Вольтер нашел себе там лестный прием, и подписка на его *«Генриаду»*, принятую в Англии, лучше, чем во Франции, удовлетворила его честолюбие и наполнила его кошелек. В продолжение своего трехлетнего пребывания в этой стране, он у потреблял большую часть времени на изучение лучших образцов ее литературы и на поддержание знакомства со знаменитейшими из ее живых писателей.

Особенно важны по своему влиянию на современную мысль были его знаменитый *«Письма об Азии»*, — произведения, в которых он знакомит своих соотечественников с литературой, идеями, политическими и теологическими партиями соперничавшего с ними народа, и в особенности, с открытиями Ньютона и Локка. В ту пору в апогее своей славы во Франции был Декарт, общепризнанный глава так называемых аристотельянцев. Система его, хотя и представлявшая значительный шаг вперед сравнительно со старыми системами, страдала однако некоторыми заблуждениями в объяснении физических законов, как, например, в той искусственной теории, которую он пытался объяснить движение планет. Но еще более вредной и предосудительной ошибкой было его нелепое отрицание сознательного чувства и ума у животных, которое Вольтер так блистательно опроверг в своем сочинении о Ньюtone и других писаниях. В Англии необычайные открытия Ньютона уже подорвали учение Декарта, по крайней мере, во мнении ученых; но во Франции ученый мир еще оставался сторонником этого мыслителя. В то же время Локк ниспроверг католическое учение о «прирожденных идеях», заменив их ощущением и размышлением. Защита Вольтером новой философии дополнила славу, которую он приобрел своими трагедиями.

«На меня сыплется, говорит он в своих *«Мемуарах»*, целая библиотека памфлетов, в которых доказывается, что я плохой поэт, атеист и сын мужика. Появилась уже моя биография, в которой приведена эта генеалогия. Один трудолюбивый немец постарался собрать все рассказы этого сорта и начинить ими пасквиль на меня. Мне приписывают любовные похождения с женщинами, которых я никогда не знал, или который никогда не существовали. Я нашел сейчас письмо от маршала Ришелье, который извещает меня о выходе бесстыжего пасквиля, где говорится, что его жена подарила мне роскошную кровать, и еще кое-что в то время, когда он не был еще женат. Вначале меня забавляло собирать коллекции этих клевет, но число их так быстро росло, что я должен был отказаться от этого. Вот какие плоды я пожинаю от моих трудов. Впрочем, я легко нахожу себе утешение в моем уединении, в Сирее, или же в кругу лучшего общества».

В *«Письмах об Англии»* заключается превосходный очерк о квакерах, которым Вольтер отдает справедливость. Он приводит разговор свой с одним из них, который оправдывался в своей эксцентричности следующим образом:

«Сознайся, что ты не без труда удерживался от смеха, когда я на все твои любезности отвечал, не снимая шляпы и говоря тебе «ты». Но ты показался мне слишком ученым, чтобы не знать, что во времена Иисуса Христа ни у какого народа не существовало глупого обычая заменять в разговоре единственное число множественным. Цезарю Августу все говорили: «люблю тебя», «прошу тебя», «благодарю тебя». Уже долго спустя после него, люди придумали говорить друг другу «вы» вместо «ты», словно они двойники, и нагло присваивать себе разные титулы, которые один червь дает другому червю, в то же время

называя самого себя, с глубокою почтительностью (и с бесстыжей лживостью), «всенижайшим и всепокорнейшим» слугою. Чтобы предостеречься от этой недостойной лжи и лести, мы всем одинаково говорим «ты», и никому не делаем общепринятых комплиментов, считая себя обязанными делать людям только добро и уважать только закон. Мы носим платье несколько отличное от платья других людей для того, чтобы оно постоянно предостерегало нас не походить на них. Другие носят на себе знаки своего достоинства, а мы — знаки христианского смирения. Мы никогда не произносим клятв ни даже в судах, зная, что имя Всевышнего не должно быть произнесимо в жалких людских спорах. Когда нам приходится свидетельствовать в судах по чужим делам (так как сами мы никогда не ведем процессов), то мы говорим только «да» или «нет и судьи верят нам на слово, тогда как многие христиане дают ложные клятвы над Евангелием. Мы никогда не воюем, но не потому, что боимся смерти, а потому что мы не тигры, не волки, не собаки, а люди, христиане»...

Около этого времени Вольтер стал реже посещать светское общество, прискучившее ему своею пустотой, и довольствовался небольшим кружком людей, которым он мог сочувствовать.

«Мне наскучила, пишет он в своих неоконченных *«Мемуарах»*, шумная и праздная парижская жизнь; наскучили толпы *петиметров*, скверные книги, издаваемый с одобрения цензоров и с разрешения короля; интриги и партии среди ученых, кражи чужих сочинений и выдавания их за свои, и бумагокропательства, позорящие литературу».

Вольтер уже подарил в эту пору миру (1741 г.) свои *«Основы философии Ньютона»*, — творение, доказывающее, вместе с другими его произведениями, что он достиг бы громкой славы и на поприще науки, если бы отдался исключительно философии, естественной истории и математике. В этих *«Основах»* мы находим его благородный протест как против жестокой гипотезы Декарта, о которой мы выше упоминали, так и против эгоистической жестокости человеческой расы:

«Человеку вообще присуще сострадание, равно как и другие инстинкты. Ньютон развил в себе это чувство гуманности и распространил его на низшие расы. Вместе с Локком, он был убежден, что Бог наделил их такими же чувствами, и отчасти понятиями, как и наши. Ньютон считал невероятным, чтобы Бог, ничего не создавший напрасно, даровал низшим животным органы чувств с тем, чтобы они не чувствовали».

«И он считает странной непоследовательностью верить, что животные чувствуют, и в то же время причинять ими страдания. В этом пункте нравственное чувство его согласовалось с его философскими воззрениями. Он с отвращением делал уступки варварскому обычаю питаться кровью и мясом таких же существ, как и мы сами, — существ, которых мы ласкаем, — и никогда не позволял в своем доме убивать их медленным и изощренным способом с целью сделать мясо их более вкусным. Сострадательный к животным, он возвышался, в отношении человека, до чувства истинного милосердия. Без гуманности, этой добродетели, включающей в себя все добродетели, нельзя быть истинным философом, заслуживающим это имя».

В Сирее Вольтер написал некоторый из лучших своих трагедий: *«Альзиру»*, *«Меропу»*, *«Магомета»*, *«Рассуждение о человеке»* — нравственную поэму в стиле Попа, признаваемую за один из лучших памятников французской поэзии; а также *«Опыты всеобщей истории»* (написанные для друзей, в видах исправления и дополнения великолепной, но краткой философской истории Боссюэта); *«Нравы и дух народов»* и многие мелкие произведения, включая обширную переписку. Кроме этих литературных трудов, он занимался и научными, и написал несколько ценных брошюр на математические и другие научные темы.

Вольтер сделался своего рода монархом (которого боялись даже более, чем настоящих монархов) и вместе с тем предметом ненависти и страха для политических и других притеснителей. После некоторого колебания, он избрал своим местопребыванием достопамятный Ферней, местность на французской территории близ швейцарской границы, и другое местечко близ Женевы, и жил поочередно, то в одном, то в другом из этих мест, избегая, когда было нужно, и католической нетерпимости и пуританского ригоризма. С ним жила его племянница, заботливо ходившая за ним во время его болезни. Из этих убежищ

голос его раздавался на всю Европу в защиту разума и гуманности.

1757 год достопамятен в литературе тем, что в этом году вышло полное издание уже печатавшихся произведений Вольтера, обогащенное одним из замечательнейших его произведений: «*Нравы и дух народов*», законченном в этом издании. Автор справедливо жалуется в этом сочинении, что до сих пор история была только однообразной хроникой царствований, дворов и придворных интриг; история же законодательства, искусств, наук, торговли и общественной нравственности всегда или почти всегда находилась в пренебрежении.

«Читая историю, — говорит Кондорсе, — можно подумать, что человечество создано лишь на то, чтобы выставлять политические и военные таланты нескольких лиц, и что цель общества состоит не в счастье всего человечества, а в удовольствии немногих».

Хотя в лучших исторических сочинениях настоящего времени сделан уже значительный шаг вперед сравнительно с теми, на которые Вольтер писал свою критику, однако и теперь еще замечание Кондорсе применимо ко многим из популярных и школьных руководств. Этот способ писать «историю», осмеянный Лукианом уже за 16 столетий до Вольтера, оставался общепринятым до появления названного сочинения Вольтера.

Сочинение это, написанное легким, сжатым», философским слогом, заключает в себе, начиная с Карла Великого, наиболее интересные и важные черты, не только европейской, но и всемирной истории, рассказанные с той свободной грацией, которой так мастерски владел Вольтер. Многие представляют себе философию и эрудицию не иначе, как облеченными в туманное многословие. Публика полагает, что ученость и скука — синонимы. Так было во все времена, и Вольтеру ставили в вину самую ясность его слога, считая ее признаком поверхностного ума и недостатка точного знания, то есть, именно тех недостатков, в которых всего менее можно было обвинять его.

Обозревая историю и обычаи индусов, он неоднократно выражает более или менее прямо свое сочувствие их отвращению к грубой пище Запада.

«Индусы, приняв учение о переселении душ, наложили на себя одною уздою более. Боязнь убить своего отца или мать, убивая людей или животных, сделала то, что ужас, внушаемый им убийством и всяким другим насилием, стал их второю натурой. Вследствие этого, все индийские народы, семьи которых не связаны родством с арабами или с татарами, доньше отличаются кротостью. Их религия и климат делают их совершенно схожими с теми мирными животными, которых мы разводим в наших овчарнях и голубятнях, с целью перерезать им горло, когда нам вздумается...

Христианская вера, которую одни квакеры понимают буквально, столь же враждебна кровопролитию, как и пифагорейское учение; но христианские народы никогда не применяли своей религии на практике, тогда как древние индийские касты всегда применяли свою. Пифагореизм — единственное религиозное учение в целом мире, которое внушало своим последователям отвращение к убийству на основании религиозного чувства...

Многие полагают, что колыбелью нашей расы был Индостан на том основании, что слабейшее из животных должно было родиться в самом мягком климате и в такой стране, где природа производит, без помощи человека, наиболее питательные и здоровые плоды как финики и кокосы. Последние, в особенности, представляют людям легкое средство к существованию, давая к тому же материал для одежды и для постройки домов, — а что же еще нужно для жителя индийского полуострова?.. Наши дома убийства, именуемые бойнями, где для пропитания тела каждого из нас изготавливается столько трупов, занесли бы моровую язву в индийский климат...

Эти народы нуждаются в чистой и прохладительной пище. Природа щедро наделила их лесами из лимонных, померанцевых, фиговых, пальмовых и кокосовых деревьев, а равнины устлала рисовыми полями. Самый сильный человек может существовать там на один или два су в сутки

. Наши рабочие тратят в один день более, чем малабарский туземец истратит в целый месяц...

Вообще природа наделила юго-восточных людей более мягким характером, чем западных. Климат располагает первых воздерживаться от спиртных напитков и от мясной пищи, которая горячит кровь и нередко развивает в людях жестокость. Хотя суеверие и наплыв иностранцев уже успели испортить первобытную доброту юго-восточных народов, однако и теперь все путешественники согласно утверждают, что в характере этих народов нет ни той раздражительности и своенравия, ни той грубости, которые так трудно обуздывать у народов северных стран».

Говоря об успехе, который имеют в Индии некоторые иностранные религии, Вольтер замечает: «Одна магометанская религия сделала сравнительные успехи в Индии, в особенности среди более богатых классов; и это потому, что, во-первых, это религия монарха этой страны и, во-вторых, она учит поклоняться единому Богу, согласно древнему учению первых браминов. Христианство, прибавляет он, не имело такого успеха, невзирая на обширные колонии португальцев, французов, англичан, голландцев и датчан. Соперничество между этими нациями повредило успеху нашей веры. Так как все они ненавидят одна другую и нередко воюют между собою у себя дома, то естественно, что их вероучение отталкивает мирных жителей. К тому же и обычаи их возмущают индусов. Их скандализирует видеть, что мы пьем вино и едим мясо, которое они ненавидят».

Факт этот, — что главной помехой к распространению христианской цивилизации на Востоке, в особенности, в Индии, служит то, что мы едим мясо и пьем водку, неизменную спутницу мясной пищи, — признается и христианскими миссионерами новейшего времени.

Когда знаменитая «Энциклопедия», издаваемая Даламбером и Дидро, только что начала выходить, Вольтер поместил в ней несколько своих статей. Он с надеждой смотрел на этот великий труд, ожидая, что он послужит началом серьезной борьбы с невежеством и предрассудками. Здесь не место приводить историю ожесточенной войны па словах, которую породила «Энциклопедия». Она была окончена через пятнадцать лет, в 1775 году, достопамятном в истории литературы.

«Несколько литераторов, — говорит Вольтер, вкратце объясняя этот проект, — людей, всеми уважаемых за их ученость и личный характер, образовали ассоциации для составления обширного словаря, в который вошло бы все, что может служить к просвещению человеческого ума, и вступили по этому поводу в переговоры с книгопродавцами. Канцлер, министерство, — все поощряют это благородное предприятие. Семь томов словаря уже вышли и переведены на английский, немецкий, голландский и итальянский языки. Это сокровище, к которому французы открыли доступ всем нациям, может считаться самым почетным делом нашего времени, тем более, что превосходных статей в «Энциклопедии» гораздо более, чем плохих, которых, впрочем, также достаточно. Издание это почти не в чем упрекнуть, за исключением чрезмерного обилия пустых декламаций, к сожалению, допущенных издателями, которые хватались за все, что попадалось под руку, чтобы увеличить объем томов. Но все, что писали они сами, очень хорошо».

Составители этой книги долго после того назывались «энциклопедистами» и «философами», и эти названия как бы клеймили их в глазах публики. Такая опала повела к соединению сил этой партии для общей защиты. Самому Вольтеру это принесло важную выгоду. До этого самые видные из писателей и ученых находились между собою, большею частью, во враждебных или в холодных отношениях; теперь же они соединились под его неоспоримым главенством.

В этот период времени он написал много произведений в стихах и прозе, направленных против его разнообразных врагов, театральных и клерикальных. Но перейдем лучше от этих войн и репрессий, в которых ни одна сторона не была безупречна, к доказательствам великодушия Вольтера. Мы можем только вскользь упомянуть здесь об его добровольных,

ником не вызванных усилиях спасти адмирала Бинга и графа де Лалли, и об его еще более похвальном заступничестве за Каласа и Сервена. И не в одной только своей общественной деятельности этот человек, считавшийся «злым», выказал свою гуманность: многие из несчастной литературной братии и других бедняков были обязаны ему советом денежной помощью, в которых он никому не отказывал.

В его «*Философы истории*» заключается осуждение давно установленного и господствующего поклонения древности, благодаря которому одобрялось с поразительным легковерием все, что было освящено ею. Против этого сочинения восстала многочисленная толпа критиков. Их забавный способ отстаивать уважение к древности дал обильную пищу беспримерной силе иронии, которой обладал Вольтер; он выказал ее в «*Защите своего дяди*», как он назвал сочинение, в котором защищался сам.

Не менее важным трудом, чем «*Философы истории*», были «*Вопросы*», касавшиеся «*Энциклопедии*» и обращенные к любителям наук. В этих «*Вопросах*», как красноречиво говорит Кондорсе. «Вольтер последовательно трактовал о теологии, грамматике, естественной философии и литературе. То беседовал он о древнем лире, то разбирал политические, законодательные или экономические вопросы. Слог его, всегда живой и увлекательный, облакал эти разнообразные предметы в такую изящную форму, которая была доступна только ему. Часто, повинувшись только случайному настроению, он отдавался потребности сарказма и осмеивал вещи, способные внушать только ужас, и почти тотчас вслед за тем, увлеченный сплосу чувства, принимался энергически и красноречиво возмущаться против злоупотреблений, о которых только что говорил с насмешкой».

Собственно нас наиболее интересуют его романы, так как свои мнения о мясной пище он высказывает преимущественно в этих легких произведениях своего гения. В прелестной сказке «*Принцесса Вавилонская*» феникс объясняет принцессе таким образом молчание своих братьев, низших рас:

«Мы молчим, потому что люди предпочитают есть нас, вместо того, чтобы разговаривать с нами и учиться у нас. Варвары! как они не могут понять, что коль скоро нам даны такие же органы, как у них, такая же сила чувства, такие же нужды, желания, то, значить, и у нас есть то, что они называют душой, и мы братья их. Только злые и дурные существа заслуживают быть сваренными и съеденными. Правда, многие из ваших женщин постоянно разговаривают со своими собаками, но те решились никогда не отвечать, после того как их начали принуждать ударами плети гоняться за дичью и участвовать в избиении наших старых друзей: оленей, зайцев и куропаток. У вас еще существуют старинные поэмы, в которых лошади разговаривают, и ваши кучера и теперь еще постоянно разговаривают с лошадьми; но они делают это так грубо и в таких гнусных выражениях, что лошади, когда-то любившие человека, теперь ненавидят вас. Пастухи берегов Ганга, которые все родятся равноправными, владеют бесчисленными стадами, которые пасутся на лугах, вечно покрытых цветами; они никогда не убивают своих животных. В стране Ганга считается страшным преступлением убить и съесть своего ближнего. Руно их овец более тонкое и блестящее, чем самый лучший шелк, служит важнейшим предметом торговли на Востоке.

Один монарх осмелился напасть па этот безобидный народ и был взят в плен с войском в 600 слишком тысяч человек. Его выкупали в водах Ганга и посадили на здоровую местную пищу из растительных продуктов, которыми природа так щедро наделила человека. Все люда, питающиеся убийством и пьющие спиртные напитки, имеют отравленную, едкую кровь, которая делает их безумными па сто различных способов. Главное безумие их состоит в том, что они проливают кровь своих собратьев и опустошают плодоносные равнины, чтобы царствовать над кладбищами».

Мудрый наставник принцессы заставил ее войти в столовую, где стены были покрыты померанцевым деревом. «Пастухи и пастушки, в длинных белых одеждах с золотыми поясами, начали подавать принцессе, на простых фарфоровых блюдах, сотни вкуснейших кушаний, между которыми ни было ни одного замаскированного трупа. Все эти блюда состояли из риса, саго, манной крупы, вермишели, макарон, яичниц, сливочного сыра,

всевозможных печений, овощей и фруктов, таких душистых и сочных, о каких и понятия не имеют в других странах; а для утоления жажды подавались разнообразные прохладительные напитки, превосходящее лучшие вина».

Герою рассказа, любезному поклоннику принцессы, случилось быть в стране любителей мяса по преимуществу и пользоваться гостеприимством в доме некоего лорда. На вопрос хозяина: едят ли в стране Ганга хороший ростбиф, вегетарианский путешественник отвечал со свойственной ему учтивостью, что в этой части света люди не едят своих братьев. Он стал объяснять ему систему пищи, которой учили Пифагор, Порфирий. Ямвлих, и милорд, слушая его, крепко заснул».

Молодой индус Амабед, в письмах из Европы к своей невесте, описывает впечатление, которое произвели на него христиане: «Жаль мне этих несчастных европейцев, созданных всего каких-нибудь 6940 лет тому назад, тогда как наша эра начинается за 115652 года (по браминскому вычислению). Жаль мне их за то, что у них не родится перца, сахарного тростника, чая, кофе, шелка, хлопка, ладана, ароматных трав, — всего, что делает жизнь приятной. Но еще более жаль мне их за то, что они приезжают к нам из-за такого далекого расстояния, подвергаясь всевозможным опасностям, чтобы похищать у нас вооруженною рукой наши продукты. В Калькутте говорят, что они совершили страшные злодеяния для того только, чтобы добыть перца. Индусы, по природе столь непохожие на них, содрогаются от этих рассказов. Желудки западных людей плотоядны; они опьяняются бродящим виноградным соком, говоря, что виноградная лоза была посажена их праотцем Ноем. Отец Фа-Тутто (один из миссионеров), человек цивилизованный, собственноручно перерезал горло двум цыплятам; он дал их сварить в котелке и сел без малейшей тени страдания. Этот варварский поступок навлек на него ненависть всех соседей, гнев которых нам с трудом удалось укротить. Да простит мне Бог! я думаю, что этот чужеземец был бы способен съесть даже наших священных коров, дающих нам молоко, если бы ему позволили это. С него потребовали обещания не убивать более кур и довольствоваться свежими яйцами, молоком, рисом и нашими превосходными фруктами и овощами, — фисташками, финиками, кокосами, миндальным печеньем, бисквитами, ананасами, апельсинами, — словом, всем, что производит, благодаря Всевышнему, наш благодатный климат».

В письме из Рима, к своему старому индусскому учителю. Амабед, которого миссионеры уговорили поехать в Рим, описывает пиршества в этой «крепости веры».

«Обширная, удобная столовая была богато убрана. Буфеты блестели золотом и серебром. Веселость и остроумие воодушевляли гостей. Но в то же время, в кухне, кровь и сало стекались в страшную массу; шкуры четвероногих, птичьи перья и внутренности, сваленные в груду, угнетали душу и распространяли заразу».

Можно было предвидеть, что человек, ненавидящий и осуждающий всякую несправедливость и сочувствующий страданию всякого безобидного существа, не останется равнодушным к жестокому обычаю бойни и к не меньшим, если еще не большим, варварствам физиологической лаборатории. Странен и необъясним тот факт, что Вольтер был, по-видимому, единственным из гуманных умов своего времени, осуждавшим тайные жестокости вивисекторов и патологов; хотя, быть может, всеобщее молчание о них объясняется именно тайной, в которой они хранились, и которая разоблачилась вполне только в новейшее время. Осуждая нелепое и высокомерное отрицание у животных ума и рассудка и приводя в пример собаку, Вольтер прибавляет:

«И есть варвары, которые схватывают эту собаку, столь изумительно превосходящую человека способностью к дружбе, прикрепляют ее к столу и рассекают живую, чтобы показать нам ее внутреннее строение. Вы находите у нее такие же органы чувств, как и у вас самих. Отвечайте же мне, «машинист» (т. е., сторонник теории чисто механической деятельности): для того ли природа дала этому животному все органы чувств, чтобы оно не чувствовало? Для того ли ему даны нервы, чтобы оно было неспособно страдать? Нет, не считайте природу способной на такие грубые противоречия».

Мы можем только упомянуть здесь о триумфе, ожидавшем в Париже этого защитника слабых, когда ему минуло уже 84 года, о беспримерном энтузиазме народа и о заключительном акте

этой богатой событиями жизни. В Берлине Фридрих приказал отслужить торжественную панихиду в кафедральном соборе в память гениального ума и добродетелей покойного. Но Вольтер сам поставил себе гораздо более прочный памятник, чем все условные знаки человеческого уважения, завещав потомству свои сочинения, которые будут жить, пока существует французский язык; — завещав ему, в особенности, то гуманное чувство, которое выражено в одном из его последних стихов:

«Я сделал немного добра, это мое лучшее произведение».

Беспристрастный критик признает, что недостатки характера и сочинений Вольтера, — недостатки большей частью поверхностные (одним из них была иногда, к сожалению, рабская лесть людям сильным, единственным оправданием которой служит только желание расположить их к умеренности и справедливости), — с лихвой выкупаются его истинными и существенными достоинствами. Главный недостаток его сочинений состоит в том, что пылкое негодование слишком часто заглушало в нем чувство приличия в обращении с такими предметами, к которым можно подходить только с серьезной и рассудительной оценкой. В своей вступительной речи, во французской академии, он сам говорит, что «искусство поучать, если оно совершенно, достигает в конце концов лучшего успеха, чем искусство осмеивать, потому что сатира умирает вместе со своими жертвами, тогда как разум и добродетель вечны». Он поступил бы хорошо, если бы в иных случаях не отступал от этого правила. Впрочем, как бы ни была неуместна форма, в которой он выражал иногда свои убеждения, но уже одной своей пламенной любовью к истине и ненавистью к несправедливости он заслужил неувядаемую славу, умственное же превосходство его было таково, что Гете признает его величайшим именем во всей литературе, и это мнение едва ли скоро будет оспариваться потомством.

1

Первое его сочинение, «Новый взгляд на лихорадку», было скоро позабыто. Как ученый Чайн был одним из первых и лучших истолкователей механической теории, явившейся на смену учению старой химической школы и пытавшейся применить механические законы к жизненным феноменам. Новая теория встретила поддержку в Европе даже со стороны первоклассных авторитетов. В основе этой теории, так же как и в основе многих других гипотез, лежало естественное желание открыть какую-нибудь точную и простую формулу для медицинских наук. Нужно, однако, заметить, что Чайн и сам относился недоверчиво к предположению, что все жизненные процессы могут быть объяснены с помощью механических правил.

2

Одно из превосходств растительной пищи составляет свойство фруктов и овощей давать из себя достаточно сока для исключения надобности во всяких посторонних напитках, в особенности, алкогольных. Таким образом, растительная пища служит самым легким и верным средством против неумеренного употребления вина. Английские и немецкие вегетарианские общества собрали много свидетельств в подтверждение этого факта.

3

Поп мог бы прибавить сюда еще более жестокие пытки вроде обычая заставлять телят, повешенных головою вниз, медленно истекать кровью. Хотя этот обычай в настоящее время существует и не везде, как то было лет десять тому назад, но он вместе с другими процветает еще во многих частях нашей христианской страны, нисколько не стесняемый законодательством.

4

Глубокое негодование возбуждало в нем также зверство современных ему вивисекторов. По этому поводу он спрашивает, почему могут знать люди, что им дано право убивать существа, над которыми они (но крайней мере огромное большинство людей) так мало возвышаются, и убивать ради любопытства или хотя бы и для личной пользы.

5
Гулливер попадает в царство лошадей — гуингнемов, где лошади одарены разумом, а люди, лишенные его, влачат жалкое существование.

6
Поп издал свою поэму «О человеке» только четыре года спустя по выходе «Времен года» Томсона.

7
Образчик обычной путаницы понятий и логики. То доказательство, что большая часть животных плотоядна, несколько не оправдывает плотоядности человеческой расы. Сущность вопроса состоит только в том, плотоядна ли эта раса по своей природе; и с кем ее связывает более тесное родство: тигром или с обезьяной.

8
Персидские поэты 10-го и 13-го веков

9
Факт, показывающий излишество роскоши, которой окружают себя английские обитатели Индии.

XXXIV

ДЖЕНИНЗ

1704-1787

Он писал в разных периодических изданиях и, кроме того, напечатал два тома поэм. Его главная книга носит название «*Свободное исследование происхождения зла*». В ней он своими оптимистическими воззрениями старается примирить наличность зла в мире. Джонсон, бывший всей своей ортодоксальности пессимистом, строго критиковал эту апологию теизма. В ярком противоречии с индифферентизмом громадного большинства людей его класса, в Дженнизе обнаруживается в значительной мере чувство справедливости и гуманности. Ряд рассуждений в его энергичных нападках на различного рода жестокости, совершавшиеся, санкционировавшиеся или извинявшиеся английским обществом или английским законом последнего столетия, но большей частью существующие и до сих пор, — *логически* приводит к необходимости уничтожения боен, этого источника и рассадника зла.

«Как сумел человек как кровавый тиран оправдаться перед всеобщим Отцом в бесчисленных жестокостях, учиненных им над бедными тварями, предоставленными его власти и попечению? Не малая часть человечества находит свое главное удовольствие в смерти и страдании низших животных. Еще большая часть видит в них лишь машины, полезные в разных занятиях и производствах. Возчик погоняет свою лошадь, как плотник вгоняет свой гвоздь, целым рядом ударов, и пока последние производят желаемое действие, ни тот ни другой не рассуждают о том, есть ли какое-нибудь сознание или чувство в том, на кого попадают эти удары.

Мясник опускает топор на голову быка с не большим состраданием, чем кузнец, вбивая гвоздь в подкову, и вонзает нож в горло невинного ягненка так же спокойно, как портной,

продевая иглу в воротник пальто

1

. Если немногие, имеющие более мягкое сердце, с жалостью смотрят на страдания этих безвинных существ, то *вряд ли найдется человек, которому пришла бы в голову мысль, что они имеют право на справедливость и благодарность за оказываемые ими услуги.*

Смирный и ласковый пес, защищая личность и собственность своего хозяина, нечаянно разбудил его своим лаем, — и его безжалостно гонят со двора; благородный конь, носивший на себе столько лет своего неблагодарного владельца, состарился, и какая же судьба этого верного слугу? Он принужден влачить жалкие дни, запряженным в мусорную телегу, где, чем больше он напрягает остаток своих сил, тем больше ему приходится выносить ударов, чтобы избавить своего тупоумного погонщика от труда хлестать другого коня, менее послушного бичу. Иногда манежная лошадь, наученная множеству неестественных и бесполезных фокусов, продается, наконец, извозчику, который ежедневно муштрует ее за проделывание тех штук, которым она выучилась за время продолжительной и суровой манежной дисциплины. Прибавьте к этому заключительные ужасы, ожидающие состарившихся лошадей на живодерне.

Неповоротливого медведя для развлечения толпы учат, вопреки его природе, танцевать, подкладывая под ноги раскаленное докрасна железо. Величественного быка мучают всевозможными способами лишь потому, что он отказывается нападать на своих безжалостных диких палачей

2

. Эти и иные бесчисленные акты жестокости, несправедливости и неблагодарности совершаются ежедневно не только безнаказанно, но даже не вызывая *ни малейшего осуждения, ни даже замечания...*

Если есть люди, (их очень много и в наше время), вкусы которых настолько извращены, и сердце настолько очерствело, что они находят удовольствие в бесчеловечных жертвах (мучительстве боен и кухонь) и питаются ими без угрызения совести, то на них следовало бы посмотреть, как на демонов в человеческом образе, и ожидать, что их возмездием будут такие же мучения, *каким они подвергали невинных тварей ради своих развращенных и неестественных вождлений.*

Страсти гнева и мщениия настолько сильны в человеческом сердце, что, к сожалению, нет ничего удивительного в той жестокости в том озлоблении, с какими люди преследуют своих действительных или мнимых врагов. Но казалось бы совершенно невероятным наличие в природе такого существа, которое находило бы удовольствие в самом акте причинения боли, если бы мы на основании печального опыта не знали, что таковых не только много на свете, но что это необъяснимая склонность некоторым образом присуща природе человека

3

.
Мы видим, как дети смеются над страданиями, которые они причиняют попавшему в их руки несчастному животному. Все дикари мастера на изобретения самых ухищренных мучений, и толпа во всех странах нив чем не находит такого удовольствия, как в бое быков, кулачных поединках, казнях и вообще всяких жестоких и ужасных зрелищах... Человек вооружает петухов искусственным оружием, которого природа благодушно лишила их, и с криками торжества и ободрения смотрит, как они вонзают его в тело друг друга. Он с наслаждением следит за тем, как трепещущая лань или беззащитный заяц по целым часам, вне себя от страха и отчаяния, продолжают свой бег, пока истомленные не пожираются своими безжалостными преследователями. Он с радостью смотрит, как красавец-фазан или невинная куропатка, пораженные на лету, падают, обливаясь собственной кровью, или, может быть, погибают от ран и голода под защитой гостеприимной чаши, в которой они тщетно искали своего спасения... Вдобавок ко всему этому, люди не жалеют ни трудов, ни

издержек для сохранения и разведения этих невинных животных, с единственной целью увеличить число своих жертв.

Каким именем мы бы назвали то высшее существо, все старания и желания которого были бы направлены на то, чтобы устрашать, мучить, ловить и губить род человеческий; коего высшие способности направлялись бы на раздувание вражды между людьми, на изобретение орудий разрушения, на поощрение их к уродованию и умерщвлению друг друга, коего власть над ними употреблялась бы на помощь грабящим, обманывающим доверчивых, угнетающим невинных? Как назвать того, кто без всякого повода или выгоды продолжал бы изо дня в день, не чувствуя ни жалости, ни угрызений совести, мучить подобным образом человечество, всячески стараясь в то же время сохранить жизнь людей и помочь их размножению только ради увеличения числа жертв своей злобы? Какое достаточно презрительное имя могли бы мы придумать для такого существа? Между тем если мы беспристрастно рассмотрим поведение людей, то должны будем признать, что их положение по отношению к животным как раз такое».

XXXV

ГАЛЛЕР

1708-1777

Основатель новейшей физиологии родился в Берне. В 1723 году он поехал в Тюбинген изучать медицину, а впоследствии переселился в Лейден, где в ту пору гремела слава знаменитого Бергаве. Двенадцать лет спустя Галлер получил место врача при госпитале в Берне, но вскоре после этого был приглашен курфирстом ганноверским на кафедру анатомии и хирургии в Геттингенский университет.

Галлер оставил необыкновенно много ученых сочинений. С 1727 по 1777 г. он издал около 200 трактатов. Его большой труд «Основы физиологии человеческого тела» есть важнейшее из сочинений по медицине или, по крайней мере, по анатомии и хирургии, какое существует до сих пор. Его же «Анатомические фигуры» представляют изумительно точные, превосходно гравированные изображения различных органов человеческого тела. Сочинения Галлера вообще отличаются необыкновенной ясностью слога и точностью, а равно и глубиной исследований.

Мы желали бы на этом остановиться, но уважение к истине заставляет нас прибавить, что слава этого ученого, как ни велик блеск ее в науке, запятнана, по крайней мере, в наших глазах, страшными муками, которым он подвергал невинных существ, приносимых им в жертву на алтаре эгоистичной и бессердечной науки.

Одно только можно сказать в оправдание бесчувствия, с которым он относился к страданиям животных: это то, что в его время бесполезность этих чудовищных экспериментов не была еще доказана долгим опытом, как она доказана в наше время; и понятия о высшей нравственности не были еще так распространены, как теперь. Между тем, и в настоящее время, после всех гуманных учений, которые проповедывались за последнее столетие, со времени смерти Галлера, десятки тысяч лошадей, оленей, собак, кроликов и других животных хладнокровно подвергаются самым ужасным пыткам во всех европейских анатомических кабинетах. Научная жестокость Галлера не мешает нам сослаться на следующее его свидетельство как физиолога, которое должно иметь известный вес в глазах его современных последователей и представителей:

«Описанная мною пища, говорит он, не заключающая в себе мяса, полезна для здоровья; она вполне питательна, содействует продлению жизни и предупреждает или исцеляет болезни, берущие свое начало в едкости или других вредных свойствах крови».

XXXVI

КОККИ

1695-1758

Может показаться очень странным, что в Южной Европе (где и климат, и почва, по выражению Виргилия, соединились, чтобы сделать *гуманный* способ питания более доступным, чем в наших холодных краях) последователей проповедников вегетарианства было необыкновенно мало. Между тем, если опыт и наука достаточно доказали, что растительная пища полезна для здоровья даже в холодных странах, то очевидно, что она должна быть тем полезнее для народов, живущих ближе к экватору.

Италия, давшая Сенеку, Корнаро и Кокки, менее заслуживает упрека в этом отношении, чем западный полуостров; тем не менее, и этому «раю Европы» остается еще заслужить достославный титул «рая мира» и загладить (если это возможно) жестокое и бесполезное проливание невинной крови.

Антонио Кокки, знаменитый профессор медицины и хирургии, был в свое время известен и как физиолог. Он родился в Беневенто и, прежде чем избрать медицинское поприще, посвятил несколько лет на изучение древних и новейших европейских языков. Знание английского языка помогло ему вступить в сношение со многими из английских ученых, и с некоторыми из них он встретился при посещении своего Лондона. По возвращении в Италию он сделался профессором медицины в Пизе, но вскоре перешел оттуда во Флоренцию, где получил кафедры анатомии и философии. Флоренция обязана ему своим ботаническим сообществом, которое он учредил с содействием Микели. Кокки оставил много сочинений.

В его труде «О греческих хирургических книгах» заключаются весьма ценные извлечения из греческих научных сочинений, нигде дотоле не напечатанных. Из других его трудов заслуживает внимание «Трактат об употреблении холодных бань в древности». Трактат этот дает своему автору право на место в нашем труде. Он был напечатан во Флоренции под заглавием «Пифагорейская пища». Д-р Кокки начинает этот небольшой трактат похвалой и защитой самосского реформатора и его радикальной реформой пищи. Он цитирует греческих и латинских писателей, а в особенности древнеримские законы, фаннийские и ликийские и затем прибавляет:

«Истинная и прочная сила тела есть результат здоровья, которое лучше сохраняется сочной, растительной умеренной и мягкой пищей, чем спиртуозной, обильной и жесткой, как мясо; а самыми ценными плодами здорового тела бывают ясный ум и желание подавлять в себе вредные наклонности и обуздывать неразумные страсти».

Кокки ссылается на примеры греков и римлян в доказательство того, что растительная пища не уменьшает в человеке мужества и силы:

«Зная, как неосновательно общепринятое мнение, будто для здоровья полезна животная пища, а растительная вредна, я всегда считал нужным восставать против этого мнения, основываясь как на опыте, так и на тонком знании естественных условий, почерпнутом мною в науке и в беседах с великими людьми. Убедившись теперь, что это твердое мое убеждение разделяется авторитетными учеными и медиками, я счел своим долгом ознакомить публику с основаниями пифагорейской системы питания, которую медицина признает полезною, как лекарство, и в то же время благоприятствующей чистоте нравственности, умеренности и здоровью человека. Растительная пища допускает вместе с тем и гастрономические удовольствия, если к выбору и приготовлению ее будет приложено надлежащее искусство и знание; а плодородие и естественное богатство нашей прекрасной страны уже сами собою приглашают нас к такой пище. Меня побудило избрать этот предмет также и желание послужить реформаторам пищи, которые, наверное, не нашли бы, насколько мне известно, ни одной книги, написанной исключительно на эту тему и объясняющей с надлежащей точностью и полнотой происхождение и доказательство пифагорейского учения о пище».

Впрочем, существенным мотивом издания этого трактата было желание доказать право самосского реформатора на признательность людей: «Я желал показать, — говорит автор, — что Пифагор, великий проповедник растительной пищи, был вместе с тем и великим физиком и медиком, что ни в ком чувство гуманности не было так тонко развито, как в нем; что он был мудрый и опытный человек, и мотивы его усилий изменить образ жизни людей вытекали не из суеверия, а из желания улучшить здоровье и обычаи человечества».

Немногие биографии знаменитых писателей известны нам так полно и подробно, как жизнь Руссо, этого красноречивейшего из французских писателей. Действительно, никто из вожатых мысли, за исключением великого отца латинской Церкви, св. Августина, не открывал нам так полно своей внутренней жизни, со всеми ее ошибками и слабостями (подчас поразительными), а равно и лучших сторон своего характера, как Руссо; и мы не знаем, оплакивать ли слабости или восхищаться искренностью автобиографа.

Жан-Жак Руссо, сын женева купца, имел несчастье лишиться матери в очень раннем возрасте. Недостаток материнских забот и попечений, быть может, и был источником его позднейших заблуждений. После короткого пребывания в школе он был отдан в учение к граверу, грубый характер которого подействовал как нельзя вреднее на нервный темперамент чуткого ребенка. Побои принудили его к побегу, и он нашел себе убежище у г-жи Варенс, швейцарской католички, занимающей видное место в первой части его *«Исповеди»*. Под влиянием ее расположения и красноречивых аргументов учителей Туринской гимназии, куда она поместила его, молодой Руссо отрекся от протестанства и принял, по крайней мере формально, учение католицизма. Исключенный из гимназии за то, что отказался от поступления в духовное звание, он поступил в услужение в частный дом, т. е., в лакеи. Но он не долго оставался в этом положении, возвратив себе протекцию г-жи Варенс, жившей в Шамбери. С 1740 г. и по 1745 г. он вел скитальческую и нельзя сказать, что примерную жизнь. Он был учителем в Лионе, а потом служил секретарем во французском посольстве в Венеции. В 1745 г. он приехал в Париж, где стал зарабатывать себе средства к жизни перепиской нот. Около того времени он познакомился с Луизой Левассер, дочерью своей квартирной хозяйки, и вступил с ней в прочную, но несчастную связь.

В 1748 г., будучи уже 36 лет, Руссо познакомился в доме г-жи Д'Эпине, с издателями *«Энциклопедического словаря»*, Даламбером и Дидро, которые пригласили его писать статьи о музыке и о других предметах в этой первой из популярных энциклопедий. Первым его самостоятельным вкладом в литературу был этюд по вопросу: *«Благоприятствует ли прогресс наук и искусств человеческой нравственности?»* Он отвечает на этот вопрос отрицательно. За это произведение он получил премию Дижонской академии. Следующим его произведением была *«Речь о неравенстве между людьми»*. В этом труде, служившем прелюдией к его более обширному *«Общественному договору»*, Руссо отстаивает мнение натуралистической школы, если можно так назвать ее, утверждавшей, что идеалом, к которому должно стремиться человечество, есть первобытное состояние. Гораздо легче было защищать тот тезис, что все люди рождаются с одинаковыми правами. В этой *«Речи»* за родом пищи признается важное значение в связи с общим благосостоянием.

В 1759 г. вышел роман *«Юлия, или Новая Элоиза»*, возбуждивший необычайный интерес. Важнейшее же из сочинений Руссо, *«Эмиль, или Воспитание»*, вышло тремя годами позже. В нем он излагает свои взгляды на интереснейший из вопросов, занимающих умы людей: на воспитание юношества. Первая часть этой книги почти безусловно превосходна и полезна; последняя же более доступна критике, но не в том отношении, в каком она преследовалась тогдашними властями, несправедливо признававшими это сочинение безнравственным и противорелигиозным.

Руссо начинает с изложения нового и более разумного способа ухода за младенцами, соглашаясь во многих частностях с методом своего предшественника Локка; и протест его против неразумного воспитания детей не остался напрасным, по крайней мере, в некоторых отношениях. В высших сферах общества матери начали сознавать зло, причиняемое обычаем отдавать детей кормилицам, вместо того, чтобы кормить их собственной грудью, и стали также покидать нелепый обычай пеленать их. Не остался без действия и протест его против бесчеловечной строгости родителей и школьных учителей, хотя надлежащие плоды

он начал приносить лишь гораздо позже. Руссо восстает и против неисчислимого вреда, приносимого юношеству почти всеобщим обычаем прививать ему в детстве суеверные понятия и представления, которые укореняются с возрастом, как бы в силу естественного развития. Но важнейшим и самым еретическим из всех его нововведений в воспитание, несомненно, был совет кормить детей растительной пищей.

Издание этого трактата о воспитании навлекло на автора бурю презрений и гонений. Появившийся вскоре «*Общественный договор*» еще подлил масла в огонь. Наши, что он подкапывается под политические и общественные традиции, как «*Эмиль*» подкапывался под педагогические предрассудки почтенного прошлого. Руссо был принужден бежать из Парижа и искать убежища на Женевской территории. Но тамошние власти, забыв старинную репутацию страны свободы, отказали ему в нем, и он должен был бежать в Невштатель, находившийся в ту пору под прусским владычеством. Там его приняли хорошо. Из Невштателя он отвечал на нападки архиепископа Парижского и написал письмо Женевским правителям, сложив с себя звание гражданина этого города. Он издал также «*Письма с горы*», в которых строго осуждал гражданскую и церковную администрацию своего родного кантона. Все эти поступки не могли расположить в его пользу правителей народа, у которого он нашел себе приют. Восстановив, наконец, против себя все правительства европейского материка, он охотно принял предложение Давида Юма искать убежища в Англии, прибыл в Лондон в 1766 г. и поселился в деревне, в Дербишире. Однако он недолго пробыл в этой стране.

Следующие восемь лет своей жизни Руссо провел в сравнительной безвестности, переезжая из одного места в другое в окрестностях Парижа. Большая часть его досугов этом уединении посвящалась садоводству и ботанизированию. В это время он познакомился с Бернарден-де-Сен-Пьером, своим восторженным поклонником, обессмертившим себя романом «*Павел и Виргилия*». Конец жизни Руссо наступил внезапно. Лишь за несколько месяцев перед тем, он поселился в деревенском домике, подаренном ему одним из его многочисленных аристократических друзей и поклонников. Однажды утром, почувствовав себя дурно, он попросил жену отворить окно, дабы он мог «в последний раз взглянуть на зеленые поля», и, выражая свой восторг при виде прелестного пейзажа и голубого неба, вдруг упал ничком и испустил дух. Согласно его желанию, тело его было предано земле на островке среди озера, в Вермонвильском парке, самом подходящем месте для последнего успокоения красноречивейшего из поклонников природы.

Характер этого человека вполне открывается нам в его «*Исповеди*», написанной отчасти во время его кратковременной эмиграции в Англии. В этом, как и в других своих произведениях, он выказывается человеком с необыкновенно чуткой душой.

Что бы ни говорили против Руссо его многочисленные враги, все согласны с тем, что он был человеком с хорошими импульсами и природной» склонностью к гуманности, развитою чтением и размышлением.

В своей теории воспитания юношества он красноречиво доказывает важность растительной пищи:

«Как на одно из доказательств того, что мясная пища не свойственна человеку, можно указать на равнодушие к ней детей и на предпочтение, которое они всегда оказывают овощам, молочным блюдам, печеньям, фруктам и т. п. Чрезвычайно важно не исказить этого природного вкуса и не делать детей плотоядными, если не ради их здоровья, то хотя бы ради их характера, потому что, чем бы это ни объяснялось, а достоверно, что большие охотники до мяса вообще бывают людьми жестокосердыми. Наблюдение это подтверждалось во всех странах и во все времена. Дикари вообще жестоки, и эта жестокость имеет своим источником не природу их, а пищу. Они ходят на войну, как на охоту, и поступают с людьми, как с медведями. Важные преступники, готовясь к убийству, пьют кровь, чтобы закалить себя

(питавшихся лотосом) — таким приятным народом, что всякий, кто имел с ними дело, тотчас забывал все, даже свою родину, и оставался жить с ними».

Здесь Руссо приводит в вольном переводе значительную часть «Опыта» Плутарха. Он особенно настаивает на том, чтобы дети с раннего возраста приучались к простой пище.

«Чем более мы удаляемся от природного состояния, тем более утрачиваем свои естественные вкусы; вернее, привычка делается нашей второй натурой, которую мы так хорошо заменяем первую, что никто из нас не может уже разобраться в этой первой. Из этого следует, что самые естественные вкусы должны быть также и самыми простыми потому именно, что они изменяются всего легче; тогда как, изощренные и раздраженные нашими прихотями, они облекаются в форму, которая более не изменяется. Человек, не принадлежащей ни к какой стране, без труда применится к обычаям какой бы то ни было страны; но человек, принадлежащей к одной стране, не может привиться к другой. Первою нашею пищею бывает молоко; мы только постепенно приучаемся к острой пище; вначале она нам противна. Пирьы первых людей состояли из плодов, овощей, трав и, наконец, жареного мяса без приправ и соли. Дикарь, пробуящий в первый раз вино, делает гримасу и выплевывает его: и даже из нас, кто не пробовал до двадцати лет спиртных напитков, тот не может потом приучиться к ним. Никто из нас не стал бы пить водки, если бы нам не давали в детстве вина. Словом, чем проще наши вкусы, тем легче применяемся мы ко всякой пище; отвращение обыкновенно возбуждают в нас составные кушанья. Видано ли, чтобы кто-нибудь чувствовал отвращение к воде или хлебу? Вот вам указание природы! Вот что должно быть нашим правилом! Постараемся как можно долее сохранять первобытные вкусы ребенка. Пускай пища его будет самая простая и несложная, дабы он не приучался к приправам, не вырабатывал себе исключительного вкуса... Я наблюдал иногда за людьми, для которых вкусный обед был делом важным; просыпаясь утром, они уже думали о том, что они будут есть в этот день, и описывали обед с большею точностью, чем Полибий описывает битву. Я находил, что все эти так называемые взрослые люди были сорокалетними детьми, лишенными бодрости и устойчивости. Жадность есть порок сердец, лишенных содержания. Душа обжоры вся заключается в его нёбе. Он живет для того только, чтобы есть: при тупости своих способностей, он только за столом бывает на своем месте; он умеет судить только о блюдах. Оставим за ним эту роль без сожаления; для него, как и для нас, лучше, чтобы он занимал эту роль, нежели всякую другую».

В «Юлии, или Новой Элоизе», описывая свою героиню, он говорит, что она предпочитала невинную пищу:

«Хотя обеды ее были роскошны, но она не любила никакого мяса. Обычный стол ее состоял из превосходных блюд из овощей, яиц, сливок, фруктов; и, если бы не рыба, которую она любила, то она была бы настоящей пифагорейкой».

Хотя Руссо и не придерживался строгого воздержания от мяса, но он с восторгом говорит о своих простых обедах, из которых мясо бы, по-видимому, почти исключено; хотя он ел его на пышных пирах у своих великосветских поклонников.

«Кто может описать, кто может понять прелесть этих обедов, состоящих из ломтя хлеба, вишен, сыра и немного вина. Какою чудною приправою служили к этому дружба, доверие и благодушие!»

XXXVIII

ЛИННЕЙ

1707-1778

Карл Линней, знаменитый шведский натуралист, достиг своей бессмертной славы главным образом наперекор своим близким и условиям своего положения. Пророчества не всегда сбываются. Ярким примером тому служат мнения учителей Линнея, считавших его безнадежным «тупицей» и предсказывавших, что он останется ничтожеством в умственном отношении. Они советовали даже его родителям отдать его в обучение какому-нибудь ремеслу.

Прослушав в продолжение одного года лекции в Лундском университете, где он имел доступ к хорошей библиотеке и к естественноисторическим коллекциям, он перешел в Упсальский университет. Там, будучи вынужден удовлетворять все свои желания и потребности на получаемую ежегодно от отца субсидию в размере около 70 рублей, он отчаянно боролся против почти непреодолимых препятствий, которые ставила перед ним крайняя нищета, часто позволявшая ему есть не более одного раза в сутки. Ему было в ту пору двадцать лет. Наконец, благодаря гостеприимной дружбе профессора ботаники и небольшому заработку уроками, Линней получил возможность посвятить себя великому делу всей своей жизни. Планы важных трудов, которые впоследствии он напечатал, были набросаны им в доме этого друга, профессора Рудбека. В 1731 году университет командировал Линнея на исследование лапландской флоры. За пять месяцев он прошел, один, с небольшим запасом провизии, около 4000 миль. Плодом этой многотрудной экспедиции была его книга «*Лапландская флора*».

Три года спустя Линней с какими-нибудь полутора рублиями в кармане, накопленными с большим трудом, отправился искать университет, где бы можно было получить степень доктора медицины, чтобы иметь возможность зарабатывать практикой средства к жизни. Он нашел то, чего искал, в Голландии, где ему был сделан радушный прием. В это же время он посетил Англию, где осмотрел ботанические коллекции Оксфорда и Эльтгэма, по-видимому, не удовлетворившие шведского ученого. По возвращении в Швецию, будучи уже тридцати одного года, он начал свою врачебную практику и в то же время был назначен правительством лектором ботаники и минералогии в Стокгольме. Имя его получило европейскую известность. Он вел переписку с некоторыми из первейших светил науки. Книги и коллекции присылались к нему со всех сторон; ученики его сообщали ему результаты своих исследований в самых разнообразных странах. Упсальский университет предложил ему кафедру медицины, и вскоре после того к его действительным достоинствам и отличиям прибавилось еще пустое, чисто внешнее отличие: он получил дворянское достоинство.

Плоды его гения и трудолюбия в продолжение двадцати лет, с 1740 г., были весьма обильны. Кроме «*Systema Naturae*» и «*Species Plantarum*», двух своих важнейших сочинений, он написал множество диссертаций, которые собрал впоследствии под общим заглавием «*Amoenitates Academicae*» («*Академические наслаждения*»). Все, что он писал, принималось ученым миром с величайшим уважением. После его смерти весь Упсальский университет явился отдать последний долг его памяти. Шестнадцать докторов медицины, его бывших учеников, держали кисти покрова, и вся страна оделась в траур.

Научными заслугами Линнея была точность и сжатость классификации. Он привел в некоторого рода порядок хаотические и педантические системы своих предшественников, чересчур многословные и обремененные классами и названиями. Если ботаника и до сих пор носит характер излишнего педантизма, то виновен в этом не Линней, а его преемники. Свидетельство этого ученого в пользу вегетарианства коротко, но сильно:

«Этот род пищи (плоды и мучнистые) *наиболее соответствует потребностям* человека, что подтверждается сравнением с дикарями, питающимися растительной пищей, обезьянами, некоторыми четвероногими, по устройству тела наиболее аналогичными с человеком, и, наконец, подтверждается самим строением человеческих рук, рта и желудка».

БЮФФОН

1707—1788

Замечательный пример извращения логики (кстати сказать, нередкий в истории человеческой мысли) представляет нам этот знаменитый французский ученый в своей «*Естественной Истории*», — произведении в высокой степени интересном по красоте слога и по подробному и вообще точному описанию характера и привычек различных видов животных; но в строго научном отношении, безусловно, авторитетном. Ярко изобразив низкое положение плотоядных в природе и немаловажное зло, проистекающее из плотоядности человека, Бюффон, тем не менее, по странному извращения фактов сравнительной физиологии, записывается в число защитников этого противоестественного для человека способа питания. Но факты сильнее предрассудков, и наивные признания самого Бюффона, который мы приводим ниже, достаточно говорят сами за себя:

«Человек, говорить он, мастерски умеет пользоваться своею властью над животными. Он выбрал из них тех, мясо которых находит вкусным, и сделал из них своих домашних рабов. Он расплодил их более, чем сделала бы это природа. Он развел бесчисленные стада и своими заботами о расположении их *как бы*

б

приобрел право приносить их в жертву себе. Но он заходит в этом праве *гораздо* далее своих нужд, так как независимо от тех видов животных, которые он подчинил себе и которыми располагает по произволу, он ведет войну также и с дикими животными, и с птицами, и рыбами. Он не ограничивается даже животными того климата, в котором обитает, а ищет себе пищи и в других странах, и даже в отдаленнейших морях. Для удовлетворения его неумеренности, его требующих разнообразия appetitов как будто мало всей природы.

Человек, один, потребляет и, поглощает более мяса, чем все остальные животные вместе. Стало быть, он величайший истребитель, и — не столько по необходимости, сколько по злоупотреблению. Вместо того, чтобы пользоваться своими средствами умеренно и распределять их равномерно; вместо того, чтобы восстанавливать соразмерно разрушению, созидать соразмерно уничтожению, богатый человек полагает всю свою славу *в потреблении*, всю свою пышность в уничтожении в один день, за своим столом, более даров земных, чем сколько необходимо для пропитания нескольких семейств. Он злоупотребляет своею силой в отношении не только животных, но и существ одного с ним рода, которые голодают, томятся в нищете и работают лишь для удовлетворения ненасытных appetitов и еще более ненасытного тщеславия одного человека, который, *губя других голодом, самого себя губить излишествами.*

А между тем человек мог бы питаться растительностью, как и другие животные. *Мясо не питательные зерен или хлеба.* Истинно-питательное вещество, — то, которое содействует питанию, развитию, росту и поддержанию жизни в теле, — заключается не в сыром материале, из которого, по-видимому, состоит мясо или растение, а в органических молекулах, которые содержатся в том и другом; ибо бык, питаясь травой, приобретает столько же мяса, сколько и человек или животные, питающаяся мясом и кровью... Существенный источник питания один и тот же: быка, человека и всех животных питает одно и то же вещество, одни и те же органические молекулы... Из того, что мы сказали, следует, что человек, желудок и внутренности которого не обладают большою силой сравнительно с размерами его тела, не может питаться просто травой. *Но доказано фактически, что он вполне, может существовать, питаясь хлебом, овощами и зернами растений,* так как мы знаем целые народы и классы людей, которым религия воспрещает употреблять в пищу каких бы то ни было живых существ».

Изо всего этого, казалось бы, прямой вывод должен быть тот, что пища, которой придерживаются более богатые классы общества, вовсе не необходима человеку. Но, к несчастью, Бюффон почему-то считает себя обязанным стать, в конце концов, на сторону

потребителей мяса, и, вопреки своим вышеприведенным признаниям, которые должны казаться простому уму убедительными доводами в пользу отречения от мясной пищи, — он прибавляет, противореча самому себе: «Но примеры эти, хотя бы и подкрепленные авторитетом Пифагора (и многими позднейшими, не менее авторитетными голосами,— мог бы он прибавить) и восхваляемые иными медиками, слишком склонными к преобразованию пищи, не убеждают меня. что человеческое здоровье и распространение человеческого рода выиграли бы от питания одними овощами и хлебом. Тем более есть причины сомневаться в этом, что бедное сельское население, вынуждаемое к такому питанию роскошью и безумной расточительностью городов, хиреют и умирают раньше, чем люди среднего класса, которым равно неизвестны, как и недостаток питания, так и излишества

7

».

Клеймя в последующих словах жестокость хищных животных, Бюффон, сознательно или нет, клеймит и плотоядного человека:

«После человека величайшими истребителями являются животные, питающиеся только мясом. Они в одно и то же время враги природы и соперники человека».

XL

ХОКСУЭРТ

1715-1773

Хоксуэрт наиболее известен как издатель «Авантюриста», газеты, выходившей два раза в неделю в 1752- 54 г. Джонсон Уортон и другие были его сотрудниками в этой газете, первом из периодических изданий, решившемся восстать против варварства «спорта». Статьи Хоксуэрта об этом предмете представляют поразительный контраст с обычным тоном и практикой его современников, да, кстати сказать, и наших.

В 1761 г. он издал сочинения Свифта с его жизнеописанием, заслужившим одобрение Джонсона, и в этой именно книге заключаются мысли, дающие издателю ее право на место в нашем труде. В 1773 году английское правительство поручило ему составить историю путешествия капитана Кука. Он же перевел «Приключения Телемака» Фенелона. Редко кто осуждал с такой силой грубость общепринятой системы питания, как Хоксуэрт. Он выражает свое отвращение совершенно в духе Плутарха:

«К числу ужасных и отвратительных образов, с которыми мы так часто свыкаемся, принадлежат те, которые связаны с животной пищей. Люди, с отвращением отворачивающиеся от трупа животного, обглоданного птицами или червями, должны сознаться, что только *привычка* делает их способными выносить вид разрубленных костей и мяса трупов, ежедневно подаваемых им на стол. Человеку не мешало бы спросить себя, размышляя о множестве жизней, загубленных ради поддержания его жизни, выкупает ли он чем-нибудь эти жертвы, уравнивает ли их своими добрыми делами, своим содействием высшему счастью более разумных существ?»

XLI

ПЭЛИ

1743-1805

За исключением Джозефа Бутлера, Пэли едва ли не наиболее интересный и талантливый из английских католических теологов. Он заслуживает внимания социальных реформаторов как один из очень немногих писателей этого многочисленного класса, серьезно задумывающийся над трудностью согласовать общепринятую *диететику* с высшими нравственными и религиозными инстинктами; и, как моральный философ он имеет право на место в нашем труде.

Сын сельского учителя, Пэли начал свою карьеру учителем в Гринвичской академии. Потом

он поступил в Кембриджский университет и был избран впоследствии студентом высшего класса в своей коллегии. Лекции о моральной философии, читанные им в университете, заключают в себе зачатки полезнейших из его сочинений. Пройдя обычные предварительные стадии, он был назначен, наконец, архиепископом.

Важнейшим из трудов Пэли были *«Основы нравственной и политической философии»*. Он основывает нравственные обязательства на началах пользы. на том же многозначительном соображении он основывает и в политике обязанности правителей и управляемых и, руководствуясь этим принципом, утверждает, что, если оказывается правительство подкупным или пренебрегает общественной пользой, то управляемые должны сменить его, хотя бы законность происхождения его власти никем не оспаривалась. «Конечная цель государственной политики, говорит он, должна бы состоять в достижении счастья наибольшего числа людей». Относительная смелость некоторых из предъявляемых им требований к правительству немало встревожила политических и церковных сановников его времени, а сочувствие к программе Клэксона и «фанатиков», как называлась в ту пору ничтожная кучка реформаторов, домогавшихся отмены невольничества, было мало способно смягчать впечатление, произведенное его политической философией.

В *«Естественной теологии»*, лучшем из его богословских произведений, он старается доказать благую цель творения, основываясь на наблюдении различных явлений природы и жизни. Каков бы ни был результат его попыток, но нельзя отрицать его искусства и красноречия в защите своих тезисов; по меньшей мере, книга его свидетельствует об огромном запасе физиологических и анатомических знаний. Сэр Дж. Мэкинтош справедливо называет ее «изумительным трудом человека, который на седьмом десятке изучил анатомию, чтобы писать о ней».

Но для нас представляет наиболее интереса его *«Основы нравственной и политической философии»*. Пэли справедливо полагает, что личная нравственность человека находится в большой зависимости от установленных обычаев; «образ жизни, как он выражается, зависит от того, как сложились наши привычки».

«Право есть мясо животных — это *совсем другое дело*, чем то право, о котором мы выше говорили (есть растительные продукты земли). Необходимо найти какое-нибудь оправдание страданий и потерь, которые мы причиняем живым существам, лишая их свободы, увеча их тела и, наконец, отнимая у них жизнь ради нашего удовольствия или удобства. Мотивы, обыкновенно приводимые в оправдание этого обычая, следующие: многие рода животных созданы таким образом, что должны питаться другими животными

9

; а отсюда, по аналогии, можно вывести заключение, что и человеческой расе предназначено питаться другими животными; они заполнили бы землю, если бы им было предоставлено плодиться неограниченно, и вытеснили бы человека

10

; и, наконец, они вознаграждаются за свои страдания нашими попечениями о них.

На это можно возразить, что предполагаемая аналогия представляется очень спорной. Плотоядные животные не имеют возможности поддерживать свою жизнь другим способом, *мы же имеем такую возможность, так как весь человеческий род мог бы существовать, питаясь исключительно фруктами, стручковыми растениями, травами и кореньями, как питаются ими многие индийские племена*

11

. Два другие мотива, которые еще бы могли иметь некоторое основание, если бы не было несомненно, что употреблении людьми исключительно растительной пищи большая часть тех животных, которые погибают теперь ради нужд нашего стола, никогда не рождалась бы

12

, и, во всяком случае, эти соображения не дают нам права на жизнь других животных в той мере, в какой мы присваиваем его себе. Какая может быть, например, конкуренция между нами и рыбами в их стихии, и в чем состоят наши попечения о них?

Трудно было бы подыскать в законах природы какие-нибудь аргументы в защиту нашего права на мясную пищу. В подтверждение этого права нам необходимо сослаться на Библию. При создании Адама, ему и его потомству было предоставлено в пищу «всякое зелие травное» и более ничего. Впоследствии первоначальный дар был распространен и на мясо животных: «И всякое движущееся, еже есть живо, вам будет в снесь: яко зелие травное дах вам все»; но это было уже после потопа. Допотопным же людям, насколько вам известно, не давалось такого позволения, но воздерживались ли они от мясной пищи, — это другой вопрос. Писание говорит, что Авель был пастух, а к чему могли служить ему его овцы, кроме как к пище, — это трудно решить (если только не для жертвоприношений). Не было ли между допотопными людьми таких сект, которые строго воздерживались от мясной пищи, и не принадлежал ли к ним Ной со своею семьей? Невероятно, чтобы Бог разрешил обычай, который никогда никем не оспаривался»

13

Все это относится к нравственной стороне вопроса. Что же касается до социальной и экономической, то здесь Пэли, не стесняемый более своим званием, говорить решительнее. В главе «*О населении и продовольствии*» мы читаем:

«Благодаря тому, что религия запрещает туземцам Индостана употреблять другую пищу, кроме растительной (да и той они требуют мало, за исключением риса, который страна производит в изобилии) и благодаря еще тому, что в жарком климате люди почти не имеют других нужд, кроме пищи, — эти страны густо населены, несмотря на несправедливости деспотического правительства и на волнения непрочного установленного порядка. Если бы какое-нибудь преобразование или так называемая «утонченность нравов» породили у этих народов вкус к мясной пище, какой господствует, например, среди аравийских орд; превратили бы в пастбище рисовые поля; научили бы их считать мясную пищу необходимой для жизни, — то от одной этой перемены население поредело бы в несколько лет, и продолжало бы редеть, невзирая ни на каше законы, ни на какие даже улучшения в его гражданском положении. В Ирландии только простота народной жизни поддерживает населенность страны, несмотря на все недостатки полицейского, промышленного и торгового ее положения... Рядом с образом жизни, следует принимать в расчет количество требуемых съестных припасов, местного ли производства или привозных, так как мы взяли эти условия в основание, приступая к рассмотрению причин более или менее густого народонаселения. Если мы будем измерять количество припасов по числу людей, здоровье и силы которых они должны поддерживать, то количество это, при данном качестве и пространстве почвы, которая должна произвести его, будет в значительной мере зависеть от *рода* провизии. Участок земли, способный прокормить мясною пищею всего десять человек, прокормит зерном, кореньями и молоком, *по меньшей мере, вдвое большее число.*

Первым ресурсом дикаря служило мясо диких животных; а так как этот род пищи добывается в наименьшей пропорции сравнительно с другими родами, то земли, принадлежащие диким племенам, бывают относительно малонаселенны. Следующим шагом было скотоводство, значительно увеличившее запасы провизии. Последним же и *важнейшим улучшением было земледелие, или искусственное разведение хлебных зерен, съедобных растений и кореньев.* Это открытие, изменив качество человеческой пищи, увеличило в то же время в огромной мере ее запасы. В виду того, что населенность страны подчиняется количеству доступных ей съестных припасов, ничто не влияет так на положение народа, как род и качество пищи, введенной в страну случаем или обычаем. В Англии, несмотря на значительное расширение в последнее время площади пахотной земли разработкою пустошей, и па успехи, сделанные земледельством, незаметно соответственного увеличения народонаселения; и причину этого, мне кажется, следует искать в более общераспространенном потреблении мяса в этой стране. Многие классы народа, питавшиеся в

прошлом столетии почтиисключительно молоком, кореньями и овощами, требуют в настоящее время ежедневной и значительной порции мяса. *В виду этого, большая часть плодороднейшей земли обращена в пастбища.* С другой стороны, большое количество хлеба, потреблявшееся непосредственно людьми, идет теперь на откармливание овец и быков. *Количество жизненных припасов таким образом уменьшилось, и выгода от улучшения почвы теряется, вследствие свойства продуктов.*

Это соображение учит нас, что вообще земледелие более, чем скотоводство, заслуживает быть предметом государственных забот и поощрений, потому что плоды первого способны поддерживать жизнь большего числа людей, нежели продукты второго. Другое соображение, говорящее в пользу земледелия, состоит в том, что оно *дает занятие гораздо большему числу рук.* Вообще, скотоводство свойственно нациям или мало цивилизованным, как среднеазиатские племена, или же таким, которые, как испанская, приходят в упадок, вследствие роскоши и праздности».

В другом месте Пэли замечает, что «роскошь в одежде и домашней обстановке предпочтительнее роскоши *в пище,* потому что предметы первой бывают более продуктами человеческого искусства, и труда, нежели предметы второй».

XLII

ПРЕССАВЕН

1750

Выдающийся хирург в Лионе, где он профессорствовал при медицинской хирургической академии и где собрал обширный анатомический музей. Когда разыгралась революция 1789 г., он сделался горячим сторонником ее и занимал пост муниципального офицера и прокурора коммуны в день лионских казней, назначенных по распоряжению трибуналов 9 сентября 1792 г. Прессавен вмешался в дело и успел спасти нескольких из осужденных. В национальном конвенте, в который он был избран депутатом, он подал голос за казнь короля; в других случаях он восставал против чрезвычайных мер крайних революционеров и в сентябре 1793 г. был исключен из общества якобинцев. В 1798 г. он был назначен членом совета пятисот от департамента Роны. День его смерти остался, по-видимому, невыясненным.

Главные его сочинения следующие:

«Трактат о нервных болезнях»; «Трактат о венерических болезнях, в котором указывается новое средство»; последнее и самое важное, — «Искусство продолжить жизнь и сохранить здоровье». Оно было переведено на испанский язык и издано в Мадриде.

Прессавен следующим образом высказывает свои убеждения относительно роковых последствия мясоедения:

«Мы не можем сомневаться в том, что, если бы человек всегда ограничивался употреблением в пищу того, что назначено для его органов, то теперь бы ему не пришлось сделаться жертвой тех бесчисленных болезней, которые сводят в могилу столь многих людей в то время, когда, судя по возрасту, им остался бы еще долгий срок жизни. Другие животные, напротив, почти все доживают свой век, не испытывая никаких болезней. Я говорю о тех, которые живут на воле; потому что животные, закабаленные нами для наших потребностей (действительных или мнимых) и называемые нами *домашними,* разделяя с нами наказания за наши злоупотребления, испытывают почти то же изменение в своем телосложении и подвергаются бесчисленному множеству болезней, от которых избавлены дикие животные.

Выйдя из рук природы, люди долго жили, не думая об уничтожении живых существ для утоления своего голода. Это, без сомнения, были те счастливые времена, когда древние поэты описывали нам под названием *золотого века.* В действительности, человек, будучи *от природы* кроткого нрава и питаясь растительной пищей, должен был первоначально иметь мирные наклонности, способствующие тем добрым отношениям между людьми, которые составляют благоденствие общества. Зверство, повторяю, свойственно плотоядным

животным, оно поддерживается в них кровью, которой они питаются.

Но если разум снабдил человека такими обширными средствами к умножению своих наслаждений и увеличению своего благосостояния, то с другой стороны, сколько зла навлекли на него многочисленные злоупотребления его этими средствами? И в том числе злоупотребления в пище составляют далеко не последнюю причину его как физического, так и нравственного упадка...

Как на одно из доказательств этого можно указать на деревенских жителей, лишенных мясной пищи; они избавлены от множества болезней, причиняющих порчу кровяных соков, каковы: катар, гнилой тиф и злокачественная лихорадка, — от апоплексии, худосочия, подагры и т. д. и т. д.; они достигают весьма преклонного возраста, не зная тех недугов, которые уде довольно рано постигают наших старых *сибаритов*. Напротив того, обитатели городов, питающиеся по преимуществу мясом, становятся жертвой всех этих болезней, которые поэтому можно считать свойственными такому образу жизни.

Другим весьма наглядным доказательством, что мясо не составляет естественной пищи для человека, служит тот факт, что если воздерживающийся в течение известного времени от этой пищи снова перейдет к ней, то в большинстве случаев это переход становится в нем источником болезни, которая бывает тем сильнее, чем полнее было воздержание. Мы имеем случай наблюдать это после католических постов на большинстве людей, строго воздерживающихся от мяса».

Прессавен допускает, что могут быть организмы, пищеварительные органы которых настолько испорчены продолжительным употреблением мяса, что *быстрая* перемена могла бы оказаться для них небезопасной; зато постепенный переход всегда приносит пользу.

«Я не сомневаюсь в том, что апоплексии, этой роковой и столь обычной среди богатых горожан болезни, можно избежать совершенным воздержанием от мяса. Всегдашней предрасполагающей причиной этой болезни бывает полнокровие или чрезмерное обилие соков в организме. Внезапное разжижение крови или жидкостей в сосудах составляет ее ближайшую причину; это разжижение происходит только от предрасположения телесных соков к порче».

Значительную часть своего трактата Прессавен посвящает доводам из сравнительной физиологии. Твердо убежденный в неестественности и неизбежном вреде мясной пищи

14

, он выражает полное сомнение в скором торжестве разума и гуманности, возможном лишь при коренном и всеобщем преобразовании в деле питания.

XLIII

БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПИЕРР

1737-1814

Сен-Пиерр известен главным образом как автор прелестной идиллии-романа «*Павел и Виргиния*». Он начал свою карьеру гражданским инженером, но потом перешел в армию. Столкновение с начальством побудило его искать другого занятия, и он поступил в русскую службу, где его научные знания нашли себе справедливую оценку. Поощряемый уважением, которое он успел снискать себе, он задумал основать колонию по каспийскому берегу и ввести в ней справедливые и равноправные законы. Он представил этот план на одобрение русского министерства, которое отнеслось к нему не совсем благоприятно. Тогда Сен-Пиерр отправился в Польшу, в тщетной надежде помочь этой стране сбросить с себя чужеземное иго. Не успев и в этом предприятии и обескураженный на время за дело свободы, он отправился на время в Берлин и в Вену. Но перед тем он посетил Голландию, эту страну свободы, где нашел себе радушный прием. В Париже, по возвращении его во Францию, его проект свободной колонии нашел себе лучший прием, чем в Петербурге, благодаря, быть может, не совсем бескорыстному сочувствию французского правительства к возмущившимся английским колониям в Америке. Чтобы осуществить свой план, Сен-Пиерр принял

официальный пост в Иль-де Франсе, намереваясь проехать оттуда при случае на остров Мадагаскар и там осуществить свою давно лелеянную мечту. Дорогой он открыл, что компаньоны его питают совсем другие цели, чем он сам, а именно — намереваются заняться торговлей невольниками. Отделившись от таких несочувственных ему спутников, он высадился в Иль-де-Франсе и прожил там два года. Этому пребыванию его в тропической стране мы и обязаны его романом «Павел и Виргилия», действие которого происходит на этом тропическом острове.

По возвращении оттуда в свое отечество, Сен-Пиерр познакомился с Даламбером и другими руководящими парижскими писателями, а в особенности с Руссо, своим философским учителем. Во время великой революции 1789 года Сен-Пиерр потерял свое место главного смотрителя королевских ботанических садов, которое он занимал при прежнем бурбонском правительстве, и впал в нищету. Несмотря на его сочувствие, если не радикальной, то конституционной партии, жизнь его при господстве крайних революционеров (1792-94) подвергалась некоторой опасности вследствие его известных деистических убеждений. После реакционного переворота первой империи Сен-Пиерру был возвращен его первый пост и вместе с тем он был пожалован орденом Почетного Легиона. Сверх этой пустой чести, он получил более существенную награду пенсией и другими окладами. Сочинения его были избраны и изданы в двух томах. Самым популярным из них, после его знаменитого романа, была «Индийская хижина»; другими же главными произведениями его признаются «Этюды природы», «Мечты пустытника», «Поездка на Иль-де-Франс» и «Аркадия». Достоинства признаются их состоят в известной утонченности чувства, в красноречивом описании красот природы и в гуманном духе, которым дышат все его произведения. По поводу его романа «Павел и Виргиния» он говорит: «Я приступил к этому небольшому произведению с широкими замыслами... Мне хотелось соединить с красотами тропической природы нравственную красоту небольшого общества человеческих существ. Я намеревался доказать таким способом некоторые великие истины, между прочим ту, что счастье паше состоит в том, чтобы жить согласно законам природы и добродетели».

Он уверяет, что главные из описанных им характеров и событий вовсе не вымышлены. Действительно, трудно было бы поверить, что гений автора придал такой изумительно-жизненный характер чисто вымышленным сценам. Роман этот разом снискал себе популярность, как во Франции, так и во всей Европе, и был последовательно переведен на английский, итальянский, немецкий, голландский, польский, русский и испанский языки. У матерей вошло в моду давать своим детям имена героя и героини этого романа; но еще лучше сделали бы они, если бы и воспитывали своих детей в правилах той чистой и невинной жизни, в которой заключается истинная, хотя и далеко не всеми признанная тайна чарующей прелести этой книги. Вот, например, в каких красноречивых словах вспоминает автор о простых и естественных обедах своих юных героя и героини: «Милые дети! Так проходили в невинности ваши первые дни. Как часто, на этом самом месте, ваши матери, держа вас в своих объятиях, благодарили небо за утешение, которое вы готовили их старости, и за счастье видеть вас вступающими в жизнь при таких благоприятных предзнаменованиях! Как часто я разделял, под сенью этих скал, ваши обеды под открытым небом, не стоившие жизни ни одному животному! Меха, полные молока, только что снесенные яйца, рисовые лепешки на банановых листьях, блюда с картофелем, манго, апельсинами, гранатами, бананами, финиками, ананасами, блистая красотой красок, представляли в то же время самую здоровую и сочную пищу. И все эти тонки и приятные блюда приправлялись таким же разговором».

Гуманность обитателей этой прелестной и мирной гавани, которую они устроили для себя, привлекала к ним всякого рода красивых птиц, прилетавших за ежедневным кормом и за ласками к своим покровителям.

Излагая свои взгляды на народное воспитание, Сен-Пиерр приглашает законодателей и воспитателей обратить серьезное внимание на важность приучения юношества к той пище, которая предписывается человеку природой. «Они (истинные воспитатели народа) приучат детей к растительной пище. Народы, живущие на такой пище, бывают красивыми и сильными, менее подверженными болезням и страстям, и более долговечными. Такова, в Европе, большая часть швейцарцев. Большинство крестьян, которые в каждой стране

образуют самую сильную часть народа, потребляет в пищу очень мало мяса. Русские, несмотря на долгие и частые посты, в течение которых даже солдаты не едят мясного, тем не менее, отличаются большою выносливостью. Негры, тяжелым трудом которых так злоупотребляют в наших колониях, питаются только маньоком, картофелем и маисом. Индийские брамины, нередко доживающее до ста лет, употребляют одну растительную пищу. Пифагорейская секта дала Эпаминонда, славившегося своими добродетелями; Архитаса, гениального математика и механика, и Милона Кротонского, отличавшегося физической силою. Сам Пифагор был красивейший мужчина своего времени и, бесспорно, самый просвещенный, так как он был отцом греческой философии. Так как растительная пища создает много добродетелей и не исключает никаких хороших качеств, и так как она имеет благотворное влияние на красоту тела и спокойствие духа, то было бы полезно воспитывать на ней юношество. Такая диета способствует продолжительности детства, а, следовательно, и самой жизни.

Я видел пример, подтверждающий это, на одном 15-ти-летнем английском мальчике, который на вид казался 12-ти-летним. Он отличался чрезвычайно интересным лицом, крепким здоровьем и самым кротким характером. Он имел привычку делать дальние прогулки. Никогда никакие неприятности не выводили его из терпения.

Отец его, м-р Пигот, говорил мне, что он воспитал сына по чисто пифагорейской системе, полезные плоды которой он уже испытал на самом себе. Он задумал употребить часть своего значительного состояния на устройство в англо-американских владениях общества сторонников безубойного питания с тем, чтобы они воспитывали по той же системе детей колонистов и обучали их всем искусствам, имеющим связь с земледелием. Дай Бог, чтобы этот план, достойный лучших и счастливейших времен древности, удался!»

1

Кто *истинный виновник* этого зла? Невежественный, необразованный бедняк, принужденный так или иначе добывать себе кусок хлеба, или те, кому вверено, или кто сами взяли на себя руководство общественной совестью? Без сомнения, почти вся вина лежит и будет всегда лежать на этих последних.

2

Травля быков у нас (в Англии) запрещена несколько лет тому назад, но одним из столь же необъяснимых, как и обыкновенных явлений непоследовательности представляется то обстоятельство, что моралисты и другие писатели, гордясь уничтожением этой народной забавы, умалчивают о столь же варварских, хотя и более фешенебельных спортах, как охота на оленя и пр.

3

«То есть», замечает Ридсон, «присуща состоянию общества, находящегося под влиянием суеверия, гордости и множества столь же неестественных, как и нелепых предрассудков».

4

Из предшественников Кокки, заслуживающих внимания как приверженцев вегетарианства, назовем *Рамацини* (1633- 1714 г.), которого соотечественники прозвали «Гиппократом III», и французского врача и члена академии *Лемери*.

5

Можно себе представить, как взглянул бы французский апостол смягчения нравов на новейший метод французских и других врачей посылать своих пациентов на бойню, чтобы пить там свежую кровь быков.

6

Слово «как бы» здесь, как и во многих других случаях, имеет важное значение и заслуживает быть подчеркнутым.

7

Бюффон совершенно игнорирует в этом случае истинную причину недостатка питания бедных классов. Причина эта кроется в недостатке не мясной, а вообще питательной пищи, хотя она и находится в изобилии в складах природы, в различных странах растительного мира. Знай бедные, как добывать и как полезнее употреблять самые питательные виды мучнистых растений, фруктов и овощей, поставляемых местными и иностранными рынками, мы никогда и не слышали бы о позорных сценах голодания, которые в настоящее время составляют обычное явление среди нас. Такие примеры как питание ирландцев несколькими картофелинами и пахтаньем или как питание шотландских крестьян, — примеры, на которые указывает Адам Смит, — ясно свидетельствуют, как достаточно могла бы быть пища, доставляемая растительным миром при умелом выборе из его богатств. Если ирландцы при таком скудном питании существуют и обладают физическими качествами, вызвавшими в прошлом столетии удивление автора «*Богатства природы*», то тем легче могли бы существовать бедные классы, например, в Англии, где они могли бы пользоваться более обильной и питательной растительной пищей, если бы не изумительное равнодушие правящих классов этому вопросу.

8

Каноник Сидней Смит, известный весельчак и остряк, писал в конце своей жизни своему другу, лорду Моррею: «Я слышу, что вы начинаете соблюдать диету. Если вы желаете пользоваться некоторым счастьем в *пятом* акте вашей жизни, то *ешьте и пейте около половины того, что вы могли бы съесть и выпить*. Передавал ли я вам когда-нибудь мои вычисления относительно пищи и питья? Вычислив вес того количества пищи, которое я потребил, я нашел, что между 10 и 70 годами моей жизни я съел и выпил припасов на 44 груженных вагона более, чем столько было нужно для поддержания моих жизни и здоровья. Эта масса пищи, переложенная на деньги, составила бы 7000 фунтов стерлингов. Из этого вычисления следует, что я уморил голодной смертью *ровно сто человек*. Страшная, но математически точная истина!» Это наивное сознание не требует комментариев. Если есть между богатыми классами люди, съедающие меньшее количество живых существ в продолжение своего более или менее продолжительного существования, то все же в сумме оно должно быть достаточно поразительно для всякого, кто решится поразмыслить об этом воистину ужасном предмете. При этом настойчиво напрашивается и другая мысль: какая доля человеческих жизней., поддерживаемых такой ценой, приносит действительную пользу миру?

9

В возражение на это оправдание можно спросить: разве образ питания *плодоядных* и *травоядных* животных, образующих значительную часть млекопитающих, не должен приниматься в расчет?

10

Против этого общепринятого заблуждения необходимо возразить, что природа, по всем вероятностям, сумела бы поддержать равновесие; да, наконец, и на самом человеке лежит обязанность регулировать, на сколько у его силах, различные условия жизни и поддерживать в них гармонию; но — не таким способом, который удовлетворял бы только его эгоистические наклонности, а — принимая на себя роль благотворной и милосердной власти. Прибавим, в подкрепление нашей мысли, что человек выступил на сцену в сравнительно позднейший геологический период, и что земля, по-видимому, прекрасно обходилась без него в продолжение бесчисленного ряда веков.

11

Фактически, по меньшей мере, две трети всего населения земного шара.

12

Со своей стороны прибавим, что здесь опровергается самый слабый и неостроумный из всех

соображений, приводимых в защиту мясной пищи. Может ли одно дарование жизни вознаградить жертв человеческого эгоизма и жестокости за все ужасные и разнообразные страдания, которые им причиняются? Скольким известным и неизвестным мукам изо дня в день подвергаются на бойне живые существа? Ведь слишком хорошо известно, что огромное большинство из них ведет от рождения до смерти такую жизнь, в которой отсутствие страданий той или иной формы — от недостатка ли пищи или от душных жилищ или от дикой жестокости погонщиков, — составляет скорее исключение, чем правило.

13

Нельзя не пожалеть, что таких людей как д-р Пэли, у которых хватает искренности, честности и чувствительности, чтобы оспаривать такое установленное понятие, как право людей убивать животных, встречается между христианским духовенством лишь самое ничтожное меньшинство. Достаточно красноречив уже тот факт, что честность и любовь к истине побуждают его отказаться от обычных уловок и предлогов, приводимых в оправдание мясоедения, и прибегнуть к предполагаемому свидетельству Библии. Для всякого мыслящего человека ясно, что такой способ защиты равняется отказу от защиты мясоедения, и представляется даже удивительным, что Пэли, при своем уме и чистосердечии, не понял, что, защищая креофагию на основании Библии, пришлось бы, чтобы быть последовательным, защищать и рабство, и многоженство, и самые варварские войны и пр.

14

В числе просвещенных медицинских авторитетов наших дней д-р Б. В. Ричардсон, быть может, самый выдающийся из находящихся в живых гигиенистов и санитарных реформаторов Англии, категорически высказывается за превосходство беззубой пищи. В своем недавнем сочинении *Salutiland* он изгоняет бойни со всеми их ужасами из этого образцового государства. См. также его *Hygieiea*.

15

См. подобное же наблюдение у Флуранса, секретаря французской академии наук, в его «Трактате о продолжительности человеческой жизни». Он цитирует Корнаро, Лессю, Галлера и других авторитетных сторонников беззубого питания.

XLIV

ФРАНКЛИН, ГОВАРД, СВЕДЕНБОРГ, ВЕСЛЕЙ и ГИББОН

Из многих более или менее интересных людей этого периода, практически засвидетельствовавших достаточность или, вернее, превосходство беззубой системы пищи, особенно выдаются четверо: *Франклин, Говард, Сведенборг и Веслей*, прославившиеся своей научной или филантропической деятельностью.

Веньямин Франклин приписывает свои последующие удачи в жизни главным образом тому, что он рано, будучи еще учеником бостонской школы, отказался от мясной пищи

1

Не менее важно свидетельство *Веслея*, знаменитого основателя методизма, беспримерная нравственная и физическая энергия которого, в продолжение полувековых непрерывных гонений, как юридических, так и народных, поддерживалась (как он сам говорит в своем «Дневнике») главным образом воздержанием от мясной пищи.

Что касается до *Эммануила Сведенборга*, то, хотя воздержанию и не придается такого важного значения в его богословских и других сочинениях, какое можно было бы ожидать,

зная его личные взгляды на этот предмет, — но причина этого молчания объясняется не тем, что лично он был приверженцем мясной пищи (сам он отличался воздержностью), а, вернее, тем, что ум его был всецело занят выработыванием его известной спиритуалистической системы.

Размеры нашего труда не позволяют нам привести всех писателей 18-го века, чья философия, наука или душевная чуткость заставляли сомневаться в необходимости варварского обычая бойни. Мы назовем только два самых громких имени в английской философской литературе, как имена людей, мнения которых заслуживают особенного внимания: политико-эконома *Адама Смита* и историка *Гиббона*.

«Сомнительно, говорит Адам Смит, чтобы мясо было где-нибудь необходимо для человеческой жизни. Зерна и другие растения, с добавлением молока, сыра и коровьего масла (или оливкового, где коровьего нельзя достать), могут дать и без мяса самую обильную, здоровую, питательную и подкрепляющую пищу

2

».

Немалое значение для этого вопроса имеет и мнение Гиббона, всегда старательно избегавшего всякого выражения чувств, не отвечающего характеру беспристрастного судьи и непредубежденного наблюдателя, но который в этом случае, видимо, не может подавить чувства отвращения. Описывая случай монгольских племен, Гиббон говорит:

«Азиатские престолы неоднократно ниспровергались свирепыми пастушескими народами, оружие которых распространило ужас и опустошения в плодороднейших и воинственных странах Европы. В этом случае, как и во многих других, беспристрастный историк вынужден отказаться от приятных иллюзий и сознаться, хотя и неохотно, что пастушеский образ жизни, который принято украшать всеми атрибутами мира и невинности, был, напротив того, гораздо более приспособлен к буйным и жестоким обычаям военной жизни. Чтобы иллюстрировать это замечание, рассмотрим три главные условия жизни пастушеских и воинственных народов: их пищу, жилища и занятие. Хлеб или даже рис, составляющий обычную и наиболее здоровую пищу цивилизованных наций, могут быть добываемы только с помощью терпеливого земледельческого труда. Некоторые из счастливых диких племен, обитающие между тропиками, могут быть сыты от щедрых даров природы; но в северном климате пастушеские народы принуждены питаться своим скотом. Пускай же опытные врачи-практиканты определяют (если могут), как изменяет человеческий характер тот или иной род пищи, и следует ли смотреть на ассоциацию плотоядных, и, стало быть, жестоких людей, как на явление невинное и даже здоровое. Если же правда, что чувство сострадания незаметно ослабляется в человеке привычкой к жестокостям над домашними животными и зрелищем плодов этой жестокости, то не мешает напомнить, что эти страшные предметы, маскируемые утонченным искусством европейцев, выставляются во всей своей наготе и возмутительной простоте в шатрах монгольских пастухов. Быки и овцы убиваются той самой рукой, из которой они привыкли получать пищу, и окровавленные члены их подаются почти в сыром виде на столы их бесчувственный убийц

3

».

XLV

КУПЕР

Казалось бы, ближе всего ожидать прославления вегетарианской пищи от поэтов, выдающих себя за толкователей и жрецов природы; к сожалению, это ожидание оказывается большей частью напрасным. Поэты вроде Гезиода, Калидаса, Мильтона, Томсона, Шелли, Ламартина обнаруживают великодушную, но очень немногочисленную кучку. Из тех же, которые, не входя в самое святилище гуманности, ограничиваются служением на его внешних дворах, следует назвать Бэрнса и Купера. Последний живо чувствовал «все угнетения, насилия,

мученья, которым человек обрек без сожаленья породы низшие, не внемля стонам их», и красноречиво негодовал на бессердечную войну человека «с беззащитной невинностью» и на разнообразные формы человеческого эгоизма, но, к сожалению, остановился там, где следовало бы указать коренную причину всех этих зол. — Это можно объяснить себе только слепым подчинением обычаю и авторитетом. Тем не менее, мы не можем не привести в этом труде его живого описания диких сцен бойни с сопровождающими их жестокостями:

... И он, в безумии себялюбивом,
Из ненасытной жалости одной,
Или шутя, от скуки для забавы злой,
Животных убивать находит справедливым;
Кругом и зверь, и птица — все должно страдать,
Все пытки выносить, в мученьях умирать;
Кровавою струей течет вода речная, —
А жители ее на казнь осуждены;
И стонет грудь земли, дрожа, изнемогая,
Под тяжким бременем безжалостной войны, —
Войны с Невинностью, безгласной, беззащитной.
А он, чревоугодник злой и ненасытный,
Для новых жертв своих все ищет новых мук,
И прежде чем пожрать, — терзает их напрасно.
О, счастлив, кто живет вдали от жадных рук,
Их ненавистной силы неподвластный!

Встань и свидетельствуй, засеченный щенок,
За малую вину, под плеткой узловатой
Визжа, валявшийся в крови у ног его!
Свидетельствуй и ты, ни в чем не виноватый
Страдалец — бык, — ты, пыткой лютой, злой,
Ударами кнутов, глумленьем разъяренный
До бешенства, — гонимый, несмотря на вой
На бойню смрадную хохочущей толпой!
И ты, товарищ конь! Ты, друг порабощенный,
Скажи, как ты убийцу вез и день и ночь,
Хлыстом и шпорами гонимый во всю мощь.
Весь окровавленный и пеною покрытый,
И, добежав до цели, наземь пал забитый!
Свидетельствуйте все: — «Немилосерден он к нам,
Он, — в милосердии нуждающийся сам!»
Но где же правый суд? Где зверь найдет защиту?
Где обвиняемый закону даст ответ?
За всех страдальцев — вас? Суда такого нет

4

XLVI

ОСВАЛЬД

1730-1793

Среди менее известных проповедников новой диеты почетное место занимает Освальд, автор «Крика природы», одного из самых красноречивых воззваний к справедливости и чувству законности, какое было когда-либо обращено к совести людей. Наши сведения о жизни Освальда весьма скудны и ограничиваются немногими фактами. Он родился в Эдинбурге, и в ранней молодости поступил рядовым в английскую армию; но с помощью своих друзей вскоре получил офицерский чин. Затем он оправился в Ост-Индию, где приобрел известность своей редкой храбростью и дарованиями. Но его военная служба

продолжалась недолго; он распродал свое имущество и предпринял путешествие по Индостану, чтобы познакомиться с учением браминов, и по своем возвращении в Англию усвоил одежду буддистов, а также их умеренный образ жизни.

Во время своего пребывания в Англии он постоянно воздерживался от всяких мясных кушаний и, по рассказам современников, чувствовал такое отвращение к бойням, что обыкновенно делал обход, чтобы не пройти мимо мясной лавки. В том же направлении воспитывались его дети. В 1790 году Освальд, разделяя увлечение некоторых из его соотечественников, принял, заодно с ними, сторону французской революции и отправился в Париж. Здесь он прославился между республиканцами введением нескольких полезных реформ и получил видную должность. По некоторым данным, он пал на поле битвы вместе со своими сыновьями, сражаясь за национальное дело в Ванде.

В предисловии к «Крику природы» он говорит:

«Наскучив отвечать на вопросы и замечания друзей относительно странного, принятого им образа жизни, он решил, ради собственного спокойствия, выступить раз навсегда перед публикой с печатным оправданием своих мнений... Автор весьма далек от самонадеянной уверенности, что его незначительный труд (который является в сыром и необработанном виде при нынешнем торопливом печатании) мог когда-либо оказать влияние на общественное мнение. Тем не менее, принимая во внимание естественную склонность человеческого сердца к жалости и состраданию и тот факт, что во всей Европе варварский общественный строй уступает место лучшему порядку вещей, — он надеется, что приближается день, когда возрастающее чувство миролюбия и доброжелательства к людям примет более широкие масштабы и распространит свое благоволение на низкие разряды существ.

Во всяком случае, отрадная уверенность, что его труд может способствовать *смягчению* свирепых предрассудков и *уменьшит*, до некоторой степени, массу бедствий, угнетающих низший животный мир, послужит для автора в тяжелые минуты душевным утешением, которое не может быть оправдано ядом злословия».

Мы видим здесь благородное и искреннее побуждение, выраженное красноречиво и с достоинством. Доводы, которыми автор желает убедить читателя и подействовать на его лучшее чувство, исходят из самого глубокого чувства нравственности.

Автор повторяет, между прочим, указание Порфирия на прямые выгоды для человечества гуманного обращения с животными:

«Разве человеческая раса сама не заинтересована в высшей степени в прекращении обычая пролития крови? Может ли человек, привыкший к насилию, быть разборчивым в отличии источника жизни четвероногого от пролития крови двуногого существа? Разве борьба со смертью ягненка менее трогательна, чем агония какого-либо живого существа? Таким же образом злодей, который остается безучастным к умоляющим взглядам невинности и, не обращая внимания на детские крики теленка, безжалостно вонзает нож в его трепещущий бок. Остановится ли он в ужасе перед человекоубийством?

Далеко ли путем кровавым преступленья
Зайдем мы, смертные? Мы кровь, как воду, льем;
Мы, равнодушные, глядим без сожаленья
На связанных телят, дрожащих под ножом;
Мы глухи к жалкому бляню ягненка,
Когда, чтобы убийц разжалобить сердца,
Он им напоминает первый крик ребенка,
Но тщетно... Что же дальше? Разве нет конца
Жестокости людей?

От привычки убивать невинных животных других видов до умерщвления человека путь нетруден и недалек. Англичане понимали это, учредив, что в процессах по убийству ни один мясник не имел права заседать в суде присяжных...

Но сама природа человеческого сердца представляет самый сильный аргумент в пользу преследуемых животных. В душе нашей заложено коренное отвращение к пролитию крови, — отвращение, которое уступает только обычаю и не всегда может быть вполне пересилено даже самым застарелым обычаем. Поэтому неприятная обязанность пролития крови — этого источника жизни — ради обжорства была везде предоставлена низшему классу людей и их профессия во всех странах составляла предмет омерзения.

Люди питаются трупами без угрызения совести, потому что борьба со смертью убиваемой жертвы скрыта от их глаз, потому что ее крики не поражают их слуха, потому что пронзительные вопли агонии не западают в их души. Но если бы люди были вынуждены убивать собственными руками пожираемые ими жертвы, то каждый из нас не бросил бы нож с отвращением, не согласился ли бы скорее отказаться навсегда от привычной пищи, чем осквернить свои руки убийством ягненка? Что мы скажем на это? Напрасно ли вложено в нашу грудь это отвращение к жестокости, это искреннее сострадание к несчастным, не служат ли наши чувства более безошибочным велениям природы, чем вся искусственно выработанная мудрость людей, которые на алтарь науки принесли лучшие человеческие стремления?»

Затем Освальд после красноречивой защиты низших угнетенных рас обращается с порицанием к мучителям, производящим научные опыты над живыми существами, а равно и к тем, которые злоупотребляют наукой, пытаюсь найти в ней оправдание убийства:

«Вы, сына новейшей науки, которые не поклоняетесь мудрости среди молчаливой красоты ее рош, — не видите ее в полноте жизни и прелести ее творений, но рассчитываете встретить ее среди нечистот и разложения; вы, которые из любознательности роетесь в куче навоза и надеетесь открыть высшую мудрость для чувства; — вы осмеливаетесь также осквернять человеческий образ и, подняв в руке человеческие внутренности, восклицаете: !Смотрите, вот внутренности мясоедного животного!» Варвары! Во имя этих самых внутренностей я протестую против вашего жестокосердного учения, — во имя этих внутренностей, которые природа одухотворила чувством жалости и признательности, сознанием родственности всего живущего и всеобъемлющей любовью.

Если бы природа предполагала создать человека хищным живоним, она бы вселила бы в душу человека инстинкт, на столько противоположный его цели... Ведь не одарила же природа ноги человека быстротой крыльев, для того, чтобы он мог настичь убегающую жертву. Где у него когти для растерзания существ, назначенных для его пищи? Сверкают ли от кровожадности его зрачки? Чувствует ли он издали обонянием следы своей жертвы? Стремится ли его душа к пиршеству крови? Представляет ли грудь человека мрачное вместилище кровожадных мыслей, вертеп смерти, где возбуждаются его хищные инстинкты, так что при виде других животных у него является желание убивать, терзать и пожирать их?

Идите сюда, люди, просветившиеся в тонкостях науки, подойдите ближе и рассмотрите внимательно это мертвое тело. Перед вами труп молодого оленя, который резвился и прыгал на лоне родной земли, пробуждая в душе чуткого наблюдателя целый рой нежных ощущений. Нож мясника пресек жизнь существа, составлявшего наслаждение любящей матери; избранное дитя природы лежит распростертое в луже пролитой крови. Подойдите ближе, люди утонченной науки, и скажите мне: возбуждает ли ваш аппетит это мрачное зрелище? Зачем отстраняетесь вы с отвращением? Готовы ли вы отступить перед протестом ваших чувств, свидетельством совести и здравого смысла; или — под влиянием жалкого и низкого стремления блеснуть риторикой вы будете упорствовать в ваших попытках убедить нас, что в убийстве невинного существа нет ничего жестокого и несправедливого, и что употребление в пищу падали не представляет ничего дурного и неприличного?»

Однако, среди мрачных сцен варварства и преступного равнодушия к страдающей невинности встречаются проблески лучших побуждений, для которых нужен только одушевляющий импульс истинной религии и философии:

«Мы видим, что давний, весьма давний обычай не мог вполне заглушить этих проявлений симпатии к низшим животным. Даже теперь, несмотря на узкое, безотрадное и

жестокосердное направление господствующих предрассудков, — даже теперь, в каждом углу земного шара, мы встречаем несколько добродушных суеверий, в пользу преследуемых животных; и почти в каждой стране находим некоторых привилегированных животных, к которым не смеет прикасаться беспощадное общество

5

Долгое время спустя после того, как нечестивый обычай пожирания мяса животных обратился у разных народов в застарелую привычку, — мы видим, что почти в каждой стране, в каждой религии и в каждой секте существовал более чистый, мудрый и праведный класс людей, которые своими учреждениями, своими правилами и примером сохраняли традицию первобытной простоты и невинности. Пифагорейцы относились с омерзением к умерщвлению каких-либо животных, Эпикур и другие достойные из его учеников услаждали себя одними продуктами своего сада; что касается первых христиан, то многие секты считали великим грехом пролитие крови, и довольствовались пищей, которую непосредственно дает природа для нашего существования...

В первобытном состоянии человек немногим, по-видимому, превосходил других животных. Не подлежит сомнению, что он одарен крайне счастливой организацией; но зато противовесом его искусству и ловкости служат значительные преимущества на сторону других существ. Он уступает в силе волу, в быстроте движений собаку, а прямой лоб, черта общая в нем с обезьянами, едва ли может внушить ему то самомнение и идею величия, которую старается вывести отсюда гордость усовершенствованного человека. Он действует под влиянием тех же физических потребностей, воспринимает те же впечатления, возбуждается теми же страстями и одинаково подвержен страданиям болезни и мукам наступающей смерти, как и те бедные твари, которых он с гордостью называет бессловесными.

Я считаю нелепым сам термин «бессловесные»: на каком основании может быть применено, например, это название к маленьким сиренам роцц, которым природа даровала способность своим пением чаровать душу человека? Эти прелестные певчие птицы выражают свою любовь, страдания и печали в трогательной мелодии, с которой напрасно соперничает человеческое искусство.

Разве природа не дала почти каждому существу те же произвольные выражения различных ощущений? Разве мы не наблюдаем у других животных то, что всего красноречивее в человеке — силу желания, слезы горя, пронзительный крик боли, жалобный, умоляющий взгляд? Все эти выражения различных ощущений действуют на душу с такой силой, которая не может быть передана словами».

Вот содержание небольшой книги Освальда, о котором можно судить по вышеприведенным выдержкам, проникнут духом истинной религии. Мы добавим, со своей стороны, что книга эта, снабженная многими пояснительными примечаниями, служит настолько же свидетельством здравого смысла и душевной чуткости автора, как и его учености и добросовестности исследования.

XLVII

ШИЛЛЕР

1759-1805

Величайший после Гете поэт Германии начал свою карьеру военным лекарем. двадцати двух лет он написал свою первую драму «Разбойники». В некоторых местах ее сказалось революционное или, по меньшей мере, демократическое направление автора, что и навлекло на него неудовольствие Вюртембергского герцога, вследствие чего Шиллер был принужден покинуть Штутгарт. Его главные драмы: «Валленштейн», «Вильгельм Телль», «Орлеанская дева», «Мария Стюарт» и «Дон Карлос», из которых первое место обыкновенно отводится «Валленштейну». Еже с большей, чем в драме, силой, проявляется гений Шиллера

в его балладах, а в лирическом вдохновении он не уступает Гете. «*Песнь о колоколе*», одна из наиболее известных его баллад, принадлежит к прекраснейшим в своем роде.

Из прозаических его произведений самые интересные — его «*Философские письма*» и *переписка* со своим великим соперником по поэзии.

В «*Элевзинском празднике*» и «*Альпийском стрелке*» высказываются его гуманные чувства. Последнее стихотворение мы здесь приводим целиком:

«Хочешь ты пасти барашка?

Дам тебе ручного я.

Щиплет травку белый бляшка

И играет у ручья»...

—Нет, родная! манит сына

На охоту гор вершина.—

«Хочешь с рогом и свирелью

Стадо по лесу водить?

Там звонки певучей трелью

Будут слух твой веселить»

—Нет, родная! манит сына

На охоту гор вершина.—

«Подожди, цветочки снова

Запестреют на грядках...

Сада нет в горах — сурово

На суровых высотах!»

—Пусть цветочки тешат взоры...

Отпусти, родная, в горы» —

И пошел он на охоту

— Все к вершине, все вперед;

По скалистому оплоту

Он бестрепетно идет.

Перед ним, меж скал ущелий,

Промелькнула тень газели.

По обрывам, над скалами,

Через пропасти без дна

Легким скоком и прыжками
Переносится она;
Но стрелок, в упорстве смелом,
Мчится вслед ей с самострелом.

На утес с крутой вершиной
Перепрыгнула она
И повисла над стремниной
Где застыла крутизна:
Там под ней утес громадный,
А за нею враг нещадный.

В страхе взор она подьѐмлет:
О пощаде молит он:
Но напрасно! — враг не дремлет:
Самострел уж наведен...

Вдруг восстал из бездны черной
Дух ущелий, старец горный,

И газель своей рукою
Оградивши, произнес:
«Для чего сюда с собою
Смерть и ужас ты занес?
Вам ли тесто, персти чада!
Что ж мое ты гонишь стадо?»

XLVIII

БЕНТАМ

1749-1832

Этот великий реформатор в области законодательства воспитывался в Вестминстере и тринадцати лет перешел в Оксфордский университет. Шестнадцати лет он получил первую степень бакалавра словесных наук. Впоследствии он живо описывает то неприятное чувство, с каким он подписывал обязательное исповедание «тридцати девяти пунктов». Сделавшись вскоре после того адвокатом, он начал подавать чрезвычайно блестящие надежды, но, не будучи в силах примирить свои нравственные идеалы с общепринятой моралью в своей профессиональной среде, он скоро покинул эти занятия. Его первое сочинение, «Отрывок об управлении», появившееся без его имени, назначалось для некоторых наиболее выдающихся людей того времени. Следующим и главным трудом его было: «Введение в принципы нравственности и законодательства». В эту пору он совершал обширные путешествия по Восточной Европе. Затем он написал «Паноптикон» («Рассуждение о

тюремной дисциплине»). «Книга заблуждений» (разобранная Сиднеем Смитом в «*Эдинбургском обозрении*»), где безжалостно осмеивается воображаемая «мудрость предков», составляет наиболее известное и наиболее живо изложенное из его сочинений. Его рассуждение «О судебной процедуре» и «Конституционный кодекс» имели наибольшее влияние на законодательные и судебные реформы.

Бентам стоит в первом ряду реформаторов в законодательной области и в качестве бесстрашного и упорного противника несправедливостей английского уголовного законодательства он заслужил благодарность и уважение всех мыслящих людей. Тем не менее, в течение почти шестидесяти лет он служил примером клеветы и насмешек, расточавшихся на него в печати и с трибуны со стороны врагов реформы; имя его стало синонимом *утопанизма* и революционных учений. В собственном отечестве сочинения его долго оставались в пренебрежении, но в других странах, особенно во Франции, его мнения распространялись успешнее, благодаря передаче Дюмона. Во «*Введении в принципы нравственности*» основой его учения служит идея о наибольшем счастье наибольшего числа людей; по его мнению, все остальное бывает хорошо или дурно в зависимости от того, насколько оно способствует или мешает всеобщему счастью, которое должно было бы быть целью всякой морали и всякого законодательства.

Не последней его заслугой в качестве моралиста является утверждение его о правах животных, на покровительство закона и его протест против преступного эгоизма законодателей, выражающегося в том, что они представляют животных произволу жестоких тиранов-людей. Величайший из последователей Бентама, Джон Стюарт Милль (нашедший себя вынужденным защищать эти принципы своего учителя против насмешек дублинского архиепископа Уотли и других) повторяет это протес и объявляет, что:

«Причины вмешательства закона в пользу детей приложимы в неменьшей степени к случаю низших животных — этих несчастных рабов и жертв самой зверской части человечества. Только вследствие грубейшего непонимания начал свободы наложение примерных наказаний за злодеяния над этими беззащитными существами считалось неуместным вмешательством власти в дела, стоящие вне его сферы — во внутреннюю жизнь семьи. Домашняя жизнь домашних тиранов при надлежит к числу тех явлений, *вмешиваться в которые составляет самую первую обязанность закона*. Нужно сожалеть, что многие горячие сторонники законов против жестокого обхождения с низшими животными основывают свои доводы на косвенном вреде от такой жестокости для людей, а не на внутренней нравственной незаконности самого деяния. Существующие законы Англии имеют тот главный недостаток, что высшая степень налагаемого ими наказания, даже в наихудших случаях, сводится почти на нет».

Бентам говорит:

«В то время, как человеческие существа признаются законодательством *личностями*, остальные животные считаются им *вещами*. В магометанской и индусской религиях интересам животных удалено, невидимому, *некоторое* внимание. Почему же повсюду не было принято в соображение их право на наше сострадание? *Потому что существующие законы явились плодом взаимного страха* — чувства, воспользоваться которым животные не имеют одинаковой с людьми возможности. Почему бы не приложить к животным хоть частицу того сострадания, которое мы оказываем друг другу? Нельзя придумать почему...

Было время (оно и теперь еще не прошло), когда к большей части племен, под названием *рабов*, законы относились на точно таком же основании, как в Англии, например, относятся и сейчас к животным. Желательно, чтобы наступило время, когда животные получают права, *которых они никогда не были бы лишены, если бы того не сделала тирания*. Французы еще в 1790 году признали, что черный цвет кожи не может быть поводом к тому, чтобы отдавать человека на беспрепятственный произвол мучителя.

Авось наступит день, когда поймут, что количество ног, волосатость кожи или длина хвостцовой кости не могут служить достаточным основанием предоставлять такой же участи чувствующее существо. Что другое могло бы служить разграничительной линией? Дар ли

рассудка или, может быть, способность речи? Но взрослая лошадь или собака несравненно более разумное и общительное существо, чем однодневный, недельный или даже месячный ребенок. Но хотя бы было и наоборот, это ничего не доказывало бы. Вопрос не в том, могут ли живые существа рассуждать; — не в том, *могут ли они говорить, а в том, могут ли они чувствовать страдание».*

СИНКЛЕР

1754—1835

Знаменитый реформатор в области земледелия и деятельный покровитель разных благотворительных предприятий, Синклер был самым плодовитым писателем. В течение шестидесяти лет он почти все время был занят составлением более или менее полезных книг. Он получил образование сначала в высшей школе в Эдинбурге, а потом в Глазговском и Оксфордском университетах. В 1775 году он сделался членом юридического факультета и впоследствии получил практику в английских судах. Пять лет спустя, он был избран представителем своего графства в парламенте. Более полувека сэр Джон Синклер занимал выдающееся положение в политическом, а также в ученном и литературном мире. Его репутация знатока в сельском хозяйстве далеко распространена была в Европе и Америке, и государственные люди и политико-экономы отзывались с большим уважением о его трудах, хотя и не оказывали им должной поддержки.

Главные его сочинения следующие: 1) *«История доходов Великобритании»*; 2) *«Статистическая ведомость о Шотландии»*, самый кропотливый труд; 3) *«О милициях и постоянных армиях»*; 4) *«Письма о земледелии»*; 5) не менее других важное — *«Кодекс здоровья и долголетия»*, где проницательный и неутомимый автор собрал множество интересных подробностей касательно пищи различных народов. Сравнивая два рода питания, он говорит:

«Татары, живущие всецело на животной пище, отличаются зверским характером, свойственным всем плотоядным животным. С другой стороны, исключительно растительная пища, принятая, например, у браминов и индусов, сообщает мягкость нравам, нежность и кротость чувствам, — одним словом, придает человеку совершенно противоположные черты. Пища эта имеет также особое влияние на *умственные* способности, сообщая большую живость воображения и быстроту суждения».

Сэр Джон Синклер в другом месте приводит следующие замечания из одной французской энциклопедии:

«Человек, проливающий кровь быка или овцы, скорее другого способен стать равнодушным свидетелем пролития человеческой крови. Бесчеловечность овладевает его душою, и деятельность, направленная к умерщвлению животных с целью удовлетворения мнимых потребностей человека, развивает в занимающихся ею свирепые наклонности, далеко не поддающиеся смягчающему влиянию сношений этих людей с обществом».

L

ГУФЕЛАНД

1762-1836

Хотя Гуфеланд не может быть поставлен наряду с великими проповедниками, которые проницательностью своего ума постигли всю глубину варварства, а равно и неестественность креофагии, но мы, тем не менее, должны признать важные заслуги этого наиболее популярного из немецких врачей, который, наравне с Корнаро и Абернети, стремился изменить господствующий характер неестественного питания. Хотя теперь питание уже не имеет тех грубых форм, как в былые времена, и хотя оно отчасти прикрыто ухищрениями искусства, но именно ввиду этих прикрас тем труднее вести против него борьбу. Если для более глубоких мыслителей наступила пора возрождения пифагорейских правил диеты, то для массы патентованных ученых еще не скоро наступит век истинной науки и разума; поэтому все пионеры, выступившие в этом направлении, заслуживают, до известной степени, нашей благодарности, хотя бы им и не удалось вполне расчистить путь.

Христиан Вильгельм Гуфенланд был одним из самых плодовитых медицинских писателей. Он изучал врачебную науку в Иене и Геттингене и получил степень доктора в 1783 году. Затем

он занял профессорскую кафедру в Иете, а через пять лет после того переселился в Берлин, где был назначен директором Медицинской коллегии. При этом Гуфенланд заслужил одновременно как практический врач и профессор европейскую известность. Французская академия наук избрала его в число своих членов. Его многочисленные сочинения были несколько раз изданы в Германии. Наиболее полезные из них: 1) «Популярные рассуждения о здоровье»; 2) *Макробиотика, или искусство продлить человеческую жизнь*; (знаменитое сочинение, переведенное на все европейские языки); 3) «Добрые советы матерям по поводу важнейших вопросов физического воспитания детей в первые годы жизни»; 4) «История здоровья, или физические характеристики нашей эпохи»

8

». Мы приведем здесь наиболее характерные доводы Гуфеланда в пользу общего превосходства образа жизни, соответственного природе.

«Чем больше человек следует природе и повинуетя ее законам, тем продолжительнее будет его жизнь. Чем больше отступает он от них, тем короче будет срок его существования... Только безыскусственное и простое питание способствует здоровью и долгой жизни, тогда как смешанная и обильная пища сокращает наше существование... Мы часто встречаем самую преклонную старость среди людей, которые с самой юности соблюдали преимущественно растительную диету и даже, быть может, никогда не отвеживали мяса».

LI

РИТСОН

1761-1830

Ритсон известен миру как ученый антикварий и, в частности, как один из первых и наиболее остроумных исследователей источников английской романтической поэзии. Но в будущем он приобретет еще лучшую и более прочную славу своим, — в настоящее время забытым, — трактатом о воздержании, который был напечатан под заглавием «Нравственное исследование о воздержании», и представляет в этическом отношении одно из самых основательных и философских толкований креофагии.

Ритсон родился в Стоктоне, в Дургемском графстве. Будучи нотариусом по профессии и получая доход от официальной должности, он пользовался своим досугом для литературных занятий. В течение двадцати лет, от 1782 до 1802 г., он непрерывно посвящал свое время и способности изданию своих различных антикварных и критических сочинений.

Мы познакомим наших читателей с историей перехода Ритсона в гуманитарную веру, рассказанной им самим в одной из глав его трактата о воздержании, где он также ссылается на авторитет одного ревностного и весьма известного реформатора гуманизма:

«Мистер Ричард Филлипс

9

, издатель этого трактата, сильный, здоровый и цветущий человек, отстал от мясной пищи более двадцати лет тому назад, и сам автор (Ритсон), под влиянием серьезных размышлений, вызванных чтением «Басни о пчелах» Мандевилля, имея всего девятнадцать лет от роду, перешел окончательно к растительной и молочной диете. С этих пор он твердо соблюдал ее до издания настоящей книги (1802 г.); по крайней мере, в течение этих тридцати лет он ни разу не ел никакого мяса, дичи или рыбы или чего-либо, изготовленного с его ведома с этими веществами или в мясном и рыбном отваре. Только в одном случае, во время своего пребывания в южной Шотландии, промокнув от дождя, он решился съесть несколько картофелин, изготовленных на говяжьем сале, которые оказались ему отвратительными».

Ритсон начинает свой «Очерк о воздержании» кратким обзором мнений некоторых древних греческих и римских философов о происхождении и строении мира и рисует в общих чертах положение человека в природе по отношению к другим животным. Между прочим, он

приводит выдержки из Руссо «О неравенстве между людьми». Затем он доказывает неестественность мясоедения доводами, заимствованными из физиологии и анатомии и из сочинений разных авторитетов, и распространяется о несостоятельности предрассудка о том, что «мясные кушанья необходимы или способствуют укреплению тела». Против этого, говорит он, достаточно свидетельствуют примеры целых наций, существующих, почти или исключительно, не мясной пищей, а равно и случаи с многочисленными индивидами, которые подробно описаны в его книге. Он ссылается также на авторитет Арбутнота, сэра Ганса Слоуна, Чайна, Адама Смита, Вольнея, Пэля и других и при этом высказывает убеждение, что жестокость или грубость души, прямо или косвенно, вызваны кровью, употребляемой в пищу:

«Опыт веков достаточно подтверждает тот факт, что употребление мясной пищи располагает человека к жестоким и свирепым поступкам. Скифы, употребляя для питья кровь своего домашнего скота, стали пить кровь своих врагов. Некоторые писатели предполагают, что свирепый характер и жестокость диких арабов, если не исключительно, то главным образом происходит от того, что они питаются мясом верблюдов. С другой стороны, кротость нравов туземцев Индостана, вероятно, зависит в значительной степени от их умеренности и воздержания от мясной пищи. Между тем, общепринятое употребление мяса у других наций, говорит Пажес, усилило их природные страсти; и он не может объяснить никакими другими причинами суровую и грубую наружность мусульман и христиан в сравнении с тонкими чертами и кротким нравом приверженцев религии Браммы. «Простые и несведущие люди, пресыщенные всякого рода мясом», по наблюдению Смелли, «несравненно более склонны к гневу, свирепы и жестоки, чем те, которые преимущественно питаются растительной пищей». То же действие пищи заметно и на низших животных. «Один офицер на русской службе имел медведя, которого он кормил хлебом и овсом и которому никогда не давал мяса. Но случайно возле его конуры бродил поросенок; медведь схватил его и втащил к себе; и как только он почуял кровь и попробовал мяса, то с ним уже нельзя было справиться; он бросался на всех, кто приближался к нему, так что хозяин вынужден был убить его» (Мемуары П. Г. Брюса). «Не из тех, которые питались овощами, выходили разбойники, убийцы и тираны, — говорит Порфирий, — а из среды потребителей мяса

10

». Добыча — почти единственный повод к распри между хищными животными, между тем как травоядные живут между собой в постоянном мире и согласии; и не подлежит сомнению, что, если бы люди принадлежали к последним, то они скорее бы достигли счастливого существования.

Варварские и безжалостные спорты англичан, — их конские бега, охота, стрельба, травля быков и медведей, петушьи

11

и кулачные бои и пр., — все это вызвано их склонностью к мясной пище. Это портит их природный характер; они постоянно и ежечасно совершают преступления против природы, справедливости и гуманности, что должно возмущать чувствующего и размышляющего человека, который не привык к подобной диете и не разделяет их мнимого пристрастия к ней. Английские короли с давних времен увлекались охотой; и даже один король и сын другого короля погибли на охоте. Иаков I, по свидетельству Скалигера, вообще отличался милосердием, но становился жестоким на охоте и приходил в сильнейшую ярость, если ему не удавалось изловить оленя. «Господь гневается на меня, — говорил он обыкновенно в подобных случаях с досадой, — и отнимает у меня мою добычу». Но, если ему попадалась добыча, он, потроша животное, засовывал всю свою руку до плеча в его желудок и внутренности. А вот случай, бывший с одним из его преемников, о котором сообщает тогдашняя газета: «В последний вторник охота началась близ Сольтгилля и занимала пространство свыше пятидесяти миль. Его величество присутствовал при умерщвлении оленя близ Тринга, в Герте. В продолжение многих месяцев это первый зверь, загнанный на смерть; когда открыли внутренности, то волокна сердца оказались совсем порванными, что, вероятно, произошло от усиленного бега

Конечно, все эти кровожадные чувства поддерживают и торг невольниками, — это гнусное нарушение всех прав природы, — равно и множество других актов насилия, которые обыкновенно приписывают другим причинам, и которые совершаются настолько же целой нацией, как и отдельными личностями. В сессиях английского парламента 1802 года большинство членов подало голос в пользу обычая травли быков, а некоторые из них даже решились произнести речи в пользу этого увеселения».

Ритсон, в подтверждение своих замечаний, приводит выдержки из Плутарха, Купера и Попа, которые представляют самый убедительный и красноречивый протест против жестокостей «спорта» и против обжорства. В пятой главе он приписывает происхождение человеческих жертв обычаю мясоедения:

«Суеверие, — говорит он, — мать невежества и варварства. Жрецы начали с того, что убедили народ в существовании известных невидимых существ, которых они изобразили в виде создателей мира, раздающих добро и зло, между тем, как сами жрецы являлись единственными истолкователями их воли. Отсюда возникла необходимость жертвоприношений, по-видимому, для того, чтобы утишить ярость воображаемых богов или заслужить их благосклонность, но, в сущности, — для удовлетворения обжорства и противоестественных похотей действительных демонов. Домашние животные были первыми жертвами. Они находились непосредственно на глазах жреца и пришлись ему по вкусу. Этого было достаточно на некоторое время; но он так часто ел то же мясо, что его сластолюбивая похоть стала требовать разнообразия. Он пожирал овцу; у него явилось желание пожрать пастуха. Гнев богов, выраженный, как думал народ, кстатип наступившей грозой и громом, мог быть смягчен только особенно богатым жертвоприношением. Народ в трепете предложил жрецу своих врагов, своих рабов, своих родных, своих детей, чтобы увидеть снова ясное небо в солнечный день и светлый месяц ночью. Неизвестно, когда и по какому особенному случаю человеческое существо было впервые принесено в жертву, и нет необходимости добиваться разрешения этого вопроса. Как только козлята и тельцы были принесены в жертву, то переход был не труден от животного к человеку. Во всяком случае, этот обычай существовал в далекой древности и был распространен повсеместно, так что едва ли есть какая-нибудь страна в мире, где бы он не был господствующим в то или другое время».

В подтверждение этого правдоподобного вероятного тезиса Ритсон делает ссылку на Порфирия, самого ученого из позднейших греческих философов, который приводит доводы более ранних писателей по этому вопросу и сравнивает религиозные обряды прежних и нынешних наций. Переход от принесения в жертву человеческих и нечеловеческих существ одинаково легок и естественен.

«Подобно тому, как принесение в жертву людей было прямым следствием суеверной жестокости, которая привела к умерщвлению животных, так можно ожидать, что те, которые привыкли есть «скотину», не долго будут воздерживаться от человеческого мяса. Это было тем легче, что и то, и другое мясо, сжаренное и испеченное на алтаре, по виду, запаху и вкусу было если не совсем, то почти одинаково. Но какая бы ни была причина этого, — одно можно считать вполне достоверным, что употребление в еду человеческого мяса, начиная с самого далекого периода, а в некоторых странах обычай этот держится и до настоящего времени. Не может быть никакого сомнения в том, что он является следствием употребления мясной пищи, так как ни один случай людоедства немислим среди народа, который исключительно придерживается растительной диеты. Привычка заставляет людей осваиваться с жестокостью и находить ее естественной».

Человек, который привык питаться кореньями и овощами и впервые пожирает самого малого из млекопитающих, совершает большее насилие над собственной природой, чем то, какое должна совершить над собой нежная женщина, привыкшая к мясной пище, если она для пропитания прольет кровь кроме себе подобного человеческого существа, одаренного

тонкой чувствительностью, разумом и, согласно ее собственным убеждениям, — душой.

Люди во время морского плавания, при истощении съестных припасов, неоднократно, во избежание голодной смерти, убивали и поедали друг друга. Подобное преступление никогда не придет в голову умирающему от голода брамину или вообще тому, кто не привык к мясной пище. Даже между бедуинами или бродячими арабами пустыни, — по свидетельству путешественника Вольнея, — никогда не слышно было о пожирании человеческого мяса, хотя они часто испытывают самый крайний голод».

В двух последующих главах Ритсон приписывает большую часть человеческих болезней и страданий физических и душевных неестественному питанию. Он приводит выдержки из сочинений д-ра Бухана, Гольдсмита, Чапйна, Стобса и Спармана, известного ученика Линнея.

В девятой главе Ритсон поместил подробный перечень «прежних и современных наций и личностей, которые исключительно существовали растительной пищей». В числе других приведены некоторые из наиболее знаменитых древних греческих и латинских философов, а также многие современные автору путешественники, подобные Вольнею и Спарману. Основную важность представляют сведения, сообщаемые сэром Ф. М. Эден в своей книге «Положение бедных», который, сравнивая питание бедных в различных частях Великобритании, доказывает, что мясо почти не употребляется и, во всяком случае, *не употреблялось* ими в пищу. Факт этот, до сих пор еще действительный относительно земледельческих округов, не только очевиден для поверхностного наблюдателя, но и подтверждается официальными данными.

Из отдельных случаев, приводимых автором, наибольший интерес представляют два примера, а именно: Джона Уилльямсона (открывшего знаменитый железистый источник); он почти достиг столетнего возраста и в последние пятьдесят лет своей жизни воздерживался от всякой мясной пищи

13

, а затем — Джона Освальда, автора «Крика природы». В этой части своего труда Ритсон рассказывает историю своего собственного обращения и диетических опытов, а также историю обращения известного издателя своих сочинений м-ра Р. Филлипса.

LII

НИКОЛЬСОН

1760-1825

В числе наименее известных и в то же время наиболее почтенных защитников прав животных на жизнь и предвестников рассвета лучшего дня заслуживает особого внимания и уважения скромный йоркширский типографщик, который принял на себя непопулярный и благородный труд заявить миру о бедствиях и страданиях низших нечеловеческих существ. Он имеет, кроме того, право на признательность потомства, как первый организатор общедоступной литературы, отличавшейся как достоинством, так и поучительностью содержания, и, благодаря своей дешевизне и мелкому формату, имевшей самое широкое распространение.

Георг Николсон родился в Бадфорде. В ранней молодости устроил он печатный станок и начал издание своей «Литературной смеси», которая не представляет собой цельного сборника, как можно думать по заглавию, но заключает ряд сборников избранных стихотворений, среди которых встречаются перлы английской литературы. Эти «сборники классических произведений для чтения в гостиной, в домашнем уединении, в вагоне или под тенью деревьев» приобрели большую популярность, и число их дошло до двадцати томов. Полное издание этой книги в настоящее время составляет библиографическую редкость и высоко ценится любителями.

Из многих полезных изданий Николсона некоторые касаются занимающего нас вопроса, как, например, «Обхождение человека с низшими животными». Кроме того, мы укажем на

обширный труд Никольсона, который появился в 1801 г. под заглавием «Первобытная диета человека: доводы в пользу растительной пищи, с замечаниями относительно обхождения человека с другими животными».

Книга «Первобытная диета» получила еще большее значение в последующем издании, когда она была дополнена трактатом «О пище», где указаны способы приготовления ста различных приятных на вкус и вполне питательных веществ, стоимость которых гораздо ниже цены мяса животных... Некоторые из этих рецептов по простоте своей главным образом предназначаются для тех, которые при скудных доходах хотят избежать нужды или иметь в запасе деньги для покупки книг и пользования умственными удовольствиями. Кроме того, Никольсон издал трактат «Об одежде», заключающий много разумных и практических советов по поводу этого важного вопроса.

По свидетельству его биографа, «Никольсон обладал в высшей степени силой ума, неизменным благодушием и неуклонной прямою действий»... «Во всех его сочинениях ярко выступает чистота и искренность его намерений. Он обсуждает самостоятельно каждый поднятый им вопрос, не обращая внимание на общепринятые взгляды или предрассудки».

В кратком предисловии к своему обширному труду Никольсон выражает грустную уверенность в бесплодности своего протеста:

«Всем известно, как трудно преодолеть глубоко вкоренившиеся предрассудки, и насколько не действительны всякие рассуждения и доводы, если они противоречат господствующим мнениям. Отсюда вопрос о гуманности, как бы он ни был ревностно защищаем, не может быть проведен фактически. Мы не рассчитываем произвести впечатление на общественное мнение, и наша компиляция посвящена немногим великодушным и сочувствующим нашей идее людям, которые не придерживаются общепринятых взглядов или — основанных на безотчетном веровании. Ложные и вредные правила и развращающие примеры не оказывают влияния на их привычки: они не глухи к воплям отчаяния, не безжалостны к страдающей невинности; они не остаются безучастными к фактам насилия, тиранства и убийства».

Во всей гуманитарной литературе едва ли может что-либо произвести большее впечатление на сочувствующего читателя, как подобное заявление благородного ума, проникнутого глубоким пониманием нравственной спячки окружающего мира и убежденного в преждевременности всяких попыток к преобразованию господствующего порядка вещей. В своих двух главных трудах Никольсон не без основания придерживается большей частью компилятивного метода и взамен своих собственных индивидуальных взглядов преимущественно представляет в сжатой и общедоступной форме мнения предшествующих гуманистов, различных по складу ума и времени. Он справедливо замечает, что на значительное большинство людей скорее можно подействовать авторитетом великих имен, нежели доводами, прямо обращенными к их совести и разуму. Но местами, — там, где оказывается нужным, — он вставляет свои собственные философские размышления. Так, в одной из глав своего сочинения «Об оправдании мясоедения», заключающие его ответы «защитникам мясоедения», он ловко сопоставляет обычные оправдания крефагов:

«Рассудительный читатель не может ожидать серьезного опровержения общеизвестных доводов — вроде того, что «между животными было бы больше несчастий и убийств, если бы мы не применяли к ним известных правил и не управляли ими! Где могли бы они найти пастбища, если бы мы не удобряли и не загоразивали для них землю?» и пр. Наряду с этим, считаем нужным обратить внимание на следующее замечание: «Животные неизбежно должны умереть, и поэтому не лучше ли для них прожить короткое время в довольстве и покое, чем подвергаться нападению врагов и в старости влачить по необходимости жалкое существование?» На это мы ответим, что жизнь животных *в естественном состоянии* оказывается «жалкой» в весьма редких случаях, — и что скорее можно назвать варварством и дикостью преждевременное их убийство среди радостного и счастливого существования, в особенности, если мы вспомним, какие причины побуждают к этому. В сущности, оказывается, что вместо дружеской заботливости об их счастье наша цель заключается в удовлетворении ваших собственных чувственных похотей. Обратите

внимание, насколько ваше поведение не согласимо с основным принципом чистой нравственной и истинной доброты (о которых как бы на смех рассуждают некоторые из вас), — *поступайте с другими так, как вы желали бы, чтобы они поступали с вами*. Ни один человек не отдаст себя добровольно в пищу животным, и поэтому он не должен пожирать их. Люди, которые считают себя членами мировой семьи и звеньями великой цепи существования, не должны самодовольно присваивать себе власть над другими существами, по природе свободными и независимыми, хотя бы эти существа были ниже их разумом или силой... Некоторые утверждают, что на основании долгого опыта человеческого рода человеку дано разрешение есть мясо других животных, а, следовательно, убивать их; и так как некоторые звери исключительно питаются мясом других животных, то этот обычай утвердился среди человеческого рода. Но при нынешнем, весьма низменном состоянии нравственности человеческой расы существует немало видов всякого зла, которые должны быть искоренены будущими более просвещенными поколениями, так как это составляет их прямую обязанность. Подтверждением такой истины служат различные утонченности цивилизованной жизни, многочисленные усовершенствования искусств и наук и различные преобразования в законах, политике и управлении наций. Не подлежит сомнению, что человеческий род, следуя обычаю мясоедения, при нынешнем состоянии культурной жизни прямо действует против принципов справедливости, сострадания и гуманности. Если мы лишаем жизни какое-либо счастливое существо, поступаем как грабители и насильники и отказываемся от всякого сострадания, то мы унижаем этим человеческий род, возбуждаем сомнения в признанных достоинствах его природы. Но если мы пожираем какое-либо животное, то это двойное нарушение тех же принципов, потому что это *крайняя степень* зверской жестокости. Так поступает самый дикий из хищных зверей и самый некультурный и жестокий из представителей нашего рода. Кто из людей может хладнокровно выслушать, когда его сравнивают по свойствам характера с гиеной, тигром и волком? Между тем, по своим склонностям он представляет с ними полнейшее сходство.

Человеческий род восстает против убийц, возмущается пролитием крови и, тем не менее, усердно, без угрызения совести, питается телами животных, видоизмененных кулинарным искусством. Какое умственное ослепление овладело человеческой расой: она не сознает, что каждое пиршество крови *прямое поощрение* и потворство тому преступлению, которое возмущает ее *мнимую деликатность* чувств! Я говорю «мнимая деликатность», потому что здесь притворство вполне очевидно. Поэтому, когда подобные люди рассуждают о чувствительности, гуманности и пр., то это просто бессмысленно. Между тем, каждый из нас встречает среди своих знакомых почтенных лиц, приятных в других отношениях, которые являются защитниками так называемых прав человечества и в то же время настолько слабы и исполнены предрассудков, что довольствуются вышеприведенными доводами для оправдания обычая мясоедения! Воспитание, привычка, предрассудок, мода и выгода ослепили глаза людей и ожесточили их сердца.

Противники сострадания к животным настойчиво доказывают, что, «если мы будем питаться растительной пищей, то что станем мы делать с нашим *скотом*? Какая участь ожидает домашних животных? Если мы не станем убивать и съедать их, то они размножатся во вред нам в такой степени, что съедят нас самих». Однако на свете есть много животных, которых люди не убивают и не едят, но мы не слышали, чтобы они приносили вред человеческому роду, и для них оказывается на земле место. Исключая некоторых народов, — обыкновенно лошадей не убивают и не употребляют в пищу; но не слышно, чтобы в какой-либо стране был чрезмерный избыток их. Вороны и реполовы никогда не бывают особенно многочисленны, хотя их убивают в редких случаях. Если бы потребовалось уменьшение количества коров, овец и других животных, то человеческий род сразу бы нашел средства сократить их численность. Скот в настоящее время составляет предмет торговли, и поэтому люди употребляют *все старания*, чтобы способствовать их размножению».

В другом отделе своей книги Никольсон доказывает несостоятельность обычных доводов потребителей мяса и нелогичность многих людей, которые восстают против разных проявлений жестокости и при этом оправдывают величайшую из всех жестокостей обязательную жестокость мясников:

«Несостоятельность поступков и мнений человеческого рода, вообще, достаточно ясны и

очевидны: но когда талантливые писатели попадают в те же явные заблуждения, то мы вправе сожалеть об этом и выразить наше крайнее удивление. В связи с красноречивыми замечаниями Соэма Дженинса относительно обращения человека с животными, о нем будет сказано ниже, мы встречаем следующие суждения:

«Богу угодно было создать бесчисленных животных, назначенных для нашего пропитания; достаточным же доказательством того, что они были созданы для этой цели, служит то, что вкус мяса нравится нам, и что оно доставляет здоровую пищу нашим желудкам. Ввиду того, что животные сотворены для нашей пользы, плодятся с помощью нашей культуры, вскармливаются нашими попечениями, мы, конечно, имеем право лишать их жизни, тем более, что жизнь дана им и сохраняется при этом *условии...*»

Мы уже доказывали, что мясо животных не предназначено для питания человека; к тому же, мнения в пользу целебности мяса животных достаточно опровергнуты убедительными доводами медицинских и других писателей. *Приятный вкус* не всегда служит доказательством питательных или целебных свойств пищи. Истина эта постоянно подтверждается ошибками, которые случаются особенно часто с детьми. Бывали примеры, что они, привлеченные красивым цветом и видом плода ядовитого паслена, съедали его, так как он и вкусом походит на черную смородину».

Утверждают, что мы имеем право лишать жизни всякое существо, *если* оно было вскармлено нами и пользовалось нашей помощью; но это заявление противоречит всем установленным правилам справедливости и нравственности. Никакое «условие» не может быть заключено без взаимного согласия обеих сторон; и, следовательно, то, что этот писатель называет «условием», не что иное, как несправедливость, произвол и связанное с обманом насилие. Влияние привычки или обычая чрезмерно и поразительно, говорит м-р Лауренс; и таково свойство предрассудка, что оно действует губительно и развращающим образом, — так что люди, которые, быть может, вовсе не склонны по природе к варварским поступкам, относятся безучастно к самым вопиющим фактам, какие постоянно происходят на их глазах...

Кухарка плачет, слушая печальный рассказ, и в то же время сдирает кожу с живого угря. Даже те женщины, которые получили воспитание и готовы проливать слезы при чтении трогательного, назидательного рассказа, — способны без всякого сожаления, без ужаса и без угрызений совести смывать запекшуюся, еще теплую кровь убитого животного, резать его мясо, разрубать кости и вырывать его внутренности. Разве нам не приходится постоянно слышать и видеть, что так называемый *нежный* пол не только на словах, но и на деле с полным хладнокровием занимается приготовлением мяса оленя, зайца, ягнят и телят? Между тем, это унижает достоинство женского характера, по природе мягкого и чуткого. Нам могут возразить, что, тем не менее, женщины в других отношениях обладают отличительными свойствами своего пола, являются гуманными и чувствительными. Но это служит еще более очевидным доказательством их несостоятельности. Добродетель, проявляемая лишь в некоторых случаях, не может считаться нравственностью: она должна представлять собой нечто постоянное».

К сожалению, размеры настоящей книги не позволяют нам привести более двух или трех дальнейших выдержек из замечательного сочинения Никольсона. Его замечания по поводу тех терминов и выражений, которыми стараются маскировать истинный характер кушаний, подаваемых за богатым столом, тем более заслуживает внимания, что порицаемая им неточность выражений составляет почти общее явление: тело убитого животного, подаваемое к столу, никогда не называется настоящим своим именем, т. е. — мертвым телом, трупом, мертвечиной; а существуют особые термины, вроде: говядина, жаркое и т. п., не напоминающие об истинном происхождении подаваемого кушанья.

Не менее интересны размышления Никольсона по поводу очевидной несправедливости (чтобы не употребить более резкого выражения) господствующего обычая, по которому убой скота и торговля их мясом предоставляется особому классу людей — мясникам. Вопрос этот был уже не раз затронут в нашей книге:

«Среди мясников и тех, которые распределяют в пищу различные части животного, не трудно встретить лиц, более далеких от качеств, связанных с разумом и совестью, чем

какие-либо дикари на земном шаре! Чтобы избегнуть всяких великодушных и произвольных проявлений сострадания, обязанность пролития крови предоставлена особому разряду людей, воспитанных в жестокости, и чувствительность которых была заглушена и уничтожена в раннем возрасте привычкой к зверству. Таким образом, для того, чтобы избежать зрелища страданий, одни люди развращают других; и так как очевидная жестокость невыносима для людей, и они не могут совершать поступки, болезненно действующие на их чувства, то они поручают совершение таких поступков особому классу людей, у которых с раннего детства участие в зверском ремесле притупило чуткость сердца и способность к жалости. Тем не менее, истинная ответственность за жестокости, совершаемые мясниками, остается на тех, кто пользуется услугами этих мясников, сохраняя притом свой душевный комфорт.

Громадный и кроткий вол, выдержав вдесятеро большую силу ударов, чем те, какие могли бы умертвить его убийц, под конец падает, оглушенный: голова его привязана веревками к земле; и тут нож убийцы наносит ему широкую рану, перерезая горловые вены. Какой смертный может без ужаса и содрогания слышать его жалобные вопли, прерываемые приливом крови, выносить его тяжелые вздохи, вызываемые острой болью, глухие, раздирающие стоны, которые вырываются из глубины его сильной трепещущей груди? Взгляните на его дрожащие члены, сведенные судорогами; посмотрите, как дымящаяся кровь льется из него потоками, и постепенно тускнеют и слабеют его глаза, взгляните в его предсмертную борьбу, затрудненное дыхание, последние усилия жизни.

Когда существо проявляет такие убедительные и несомненные признаки страха, боли и агонии, то едва ли кто решится отказать ему в сострадании»

14

В другом, более раннем очерке, «Обращение людей с низшими животными», Никольсон, сопоставляя выдержки из разных писателей, гуманистов и не гуманистов, представляет длинный перечень всяких жестокостей, совершаемых над животными тем субъектом, который с гордым сознанием своего превосходства заявляет, что «он создан по образу и подобию Божию». В этом перечне едва ли не первое место занимают адские мучения, виновниками которых являются люди науки, производящие опыты над живыми животными; а затем непосредственно следуют те пытки, которым подвергаются животные на бойнях.

LIII

АБЕРНЕТИ

1763-1831

Абернети, знаменитый хирург и физиолог, обязан своей прочной репутацией тому обстоятельству, что он первый восстал против застарелых предрассудков медицинской профессии о происхождении болезни, и стремился объяснить последние не только местными и случайными, но общими причинами, — организмом и привычками пациента.

Абернети, ученик Джона Гентера, был назначен в 1786 г. ассистентом хирургии в больнице св. Варфоломея в Лондоне, и вскоре после того начал читать лекции по анатомии и хирургии в этом учреждении, которое прославилось как школа хирургии, благодаря его дарованиям и необыкновенному уму. Он пользовался такой заслуженной репутацией и популярностью в качестве лектора, каким до него пользовались весьма немногие и даже, быть может, ни один из преподавателей в медицинских школах, что объясняется его редкой проницательностью, логическим методом в связи с наглядным и ясным изложением. Что касается честности, бескорыстия и семейных добродетелей, то личность Абернети является безупречной, хотя в публике и в обращении с пациентами он далеко не отличается той кротостью, какую выказывал в домашнем быту. Всем было известно, насколько он становился суров и даже резок, когда ему приходилось иметь дело с капризными больными.

Главный труд Абернети — «*Органические причины и лечение местных заболеваний*» —

представляет отрадное явление, в сравнении с массой других произведений медицинской литературы, вышедших до этого времени. Здесь Абернети приводит два основных принципа, а именно, что «местные заболевания служат симптомами расстроенного организма, а не каких-либо новых и независимых болезней, и что их нужно лечить средствами, которые должны подействовать на общую систему организма, а не местным лечением и не с помощью одной хирургии». Это принцип сам по себе изменил характер всей тогдашней хирургии, стоявшей на степени ремесла, и поднял ее до высоты науки. К этому он присоединил другой принцип, который не может иметь такого широкого применения, но не уступает первому в практическом значении, а именно, что «расстроенное состояние организма или происходит от расстройства желудка и кишок, или тесно с ним связано. Таким образом, исцеление может быть достигнуто только средствами, которые прежде всего оказывают полезное действие на эти органы». Но так как слава великих общественных деятелей не должна затемнять значения менее известных, хотя не менее почтенных тружеников (что случается нередко), то, не умаляя заслуг Абернети, считаем долгом добавить, что те же взгляды приводили на практике его предшественник д-р Чайн и его современник д-р Ламбе.

Абернети познакомился с д-ром Ламбе в то время, когда это скромный и искренний проповедник нового учения заведовал бесплатной аптекой. Этому знакомству суждено было оказать немаловажное влияние на медицинские теории великого хирурга. Абернети писал тогда свои наблюдения над опухолями и поручил своему другу одного из его пациентов, страдавшего раком, чтобы испробовать над ним способ лечения растительной диетой и дистиллированной водой. Абернети тщательно следил за ходом лечения и описывает следующим образом результаты своих наблюдений:

«Насколько мне известно, едва ли существует вопрос, который мог бы более занять ум хирурга, как попытка улучшить или изменить состояние раковой опухоли. Самая своевременная и самая искусная операция должна иметь дурной исход, если при этом оказывает влияние болезненное предрасположение организма. Врачи, по моему мнению, должны после операции обращать особенное внимание на состояние организма, так как расстройство его может вызвать возобновление болезни. Равным образом, необходимо успокоить и укреплять нервную систему и следить за тем, чтобы пищеварительные органы были в возможно удовлетворительном состоянии. Поэтому, на основании многих произведенных опытов, я нахожу возможным рекомендовать преимущественно растительную, менее возбуждающую диету, прибавляя к этому то количество молока, хлеба и яиц, какое окажется необходимым для предупреждения упадка сил пациента.

Недавно д-р Ламбе предложил способ лечения раковых заболеваний *исключительно* диетой. Он советует строго придерживаться растительной пищи, избегать употребления возбуждающих напитков и находит также необходимым заменить простую воду очищенной и дистиллированной водой не только для питья, но и в тех случаях, где употребляют воду, как, например, в супе, чае и пр. Причины, на основании которых он находит нужным предписать эту диету, равно как и ожидаемые им полезные результаты, изложены в его «Отчетах о раке».

«К сожалению, мой собственный опыт относительно результатов этой диеты ограничен и не дает мне права говорить решительно о данном предмете. Но я считаю долгом заметить, что в одном случае раковых изъязвлений, где была применена упомянутая диета, болезненные симптомы, насколько я мог заметить, стали менее резки, и рожистое воспаление вокруг язвы исчезло, что, по моему мнению, должно было в значительной мере продлить жизнь пациента. Более мелкие фактические подробности изложены в шестом случае «Отчетов» д-ра Ламбе. Я считаю вполне уместным и желательным, чтобы действие диеты, рекомендованной д-ром Ламбе, было надлежащим образом проверено в виду следующих причин:

— Я знаю многих лиц, которые при соблюдении упомянутой диеты пользовались прекрасным здоровьем, и мне приходилось встречать других лиц, которые, испытав на себе действие этой диеты, находили, что она принесла им значительную пользу. Правда, они не страдали раком, но были вынуждены прибегнуть к перемене диеты для того, чтобы ослабить нервное возбуждение и уменьшить расстройство пищеварительных органов, которое

плохо поддавалось влиянию медицины.

— Вообще, можно считать несомненным, что растительная пища вполне достаточна для тела.

— Все значительные перемены организма могут быть скорее вызваны изменениями в диете и образе жизни, нежели медициной.

— Перемена диеты служит источником надежды и утешения для пациента в таких болезнях, в которых медицина бессильна, а хирургия доставляет только временное облегчение».

«Вышеприведенное мнение м-ра Абернети, — замечает один писатель, который по своей опытности может быть признан авторитетом по данному вопросу, — имеет тем большее значение, что, в упомянутом случае, он следил в течение трех с половиной лет за действием диеты д-ра Ламбе. Между тем, эта диета представляла полную противоположность той системе питания, которую он отстаивал до встречи с д-ром Ламбе в первом томе своего труда *«Органические заболевания»*; и не подлежит сомнению, что, если бы д-р Абернети дождал до второго издания своей книги, то при своей строгой честности он бы сам исправил свою ошибку». Во всяком случае, чистосердечие, с каким этот известный ученый готов был отступить от мнений, высказанных печатно, и изменить их, — заслуживает большого уважения, тем более, что большинство ученых придерживается, к сожалению, совсем противоположного образа действия».

ЛАМБЕ

1765-1847

Д-р Ламбе, один из наиболее известных гигиенистов и ученых, защитников растительной диеты, занимает видное положение в медицинской литературе вегетарианства и, наряду со своим предшественником д-ром Чайном, может считаться основателем научной диететики в Англии.

Около двухсот лет до рождения доктора Ламбе предки его поселились в графстве Герфорд, где владели поместьем, которое по наследству перешло к нему. Уильям Ламбе в раннем возрасте представлял задатки блестящих умственных способностей. Он был первым учеником в Герфордской школе, затем поступил в Кембриджский университет. В 1786 г., на двадцать первом году жизни, он кончил курс и вскоре был причислен к коллегии для ученых занятий и оставался здесь до 1794 г. Пользуясь предоставленным ему досугом, он посвящал свое время изучению медицины. Составленные им записки этого периода, которые находятся в распоряжении его биографа м-ра Гэра, «служат доказательством прилежания, с каким он начал свою профессию. Здесь мы видим корень его широкого взгляда на причины болезней, которые обращали на себя внимание тогдашних отцов медицины, и которыми в наше время врачи также пренебрегают в своем увлечении медикаментами. После своей женитьбы д-р Ламбе переселился в Уорик и занялся медицинской практикой. Здесь его ближайшими друзьями были: Пар, известный критик греческих литературных произведений, и Ландор, который пишет о Ламбе, что он был крайне общителен и отличался добродушным юмором. «Я достаточно беседовал с Ламбе, добавляет Ландор, чтобы убедиться в том, что это недюжинный человек». Д-р Джефферсон в своем адресе, поданном несколько лет тому назад Британскому медицинскому обществу, говорит о заслугах Ламбе в следующих выражениях:

«До конца прошлого столетия мы не встречаем никаких научных исследований о химическом составе воды. Около этого периода д-р Ламбе занимался медицинской практикой в Уорике. Хотя относительно своей профессии д-р Ламбе отличался некоторой эксцентричностью взглядов, тем не менее, это бы ученый человек, разумный наблюдатель природы, превосходный врач и, кроме того, один из самых блестящих медицинских писателей того времени. Минеральные источники соседней деревни Лимингтон привлекли его внимание. Он занялся тщательным изучением и анализом вод, а в 1797 г. напечатал о них отчет в пятом томе «Трудов Манчестерского философского Общества», которое по своему значению не уступает ни одному из ученых обществ в Европе, и где, в числе членов, мы видим почтенные имена: Пристляя, Дальтона, Уатта и других».

Подобно многим другим отступникам от господствующей системы питания, какие являлись и до него, д-р Ламбе вынужден был испытать на себе действие растительной пищи, вследствие дурного состояния своего здоровья. Действительно, расстройство его организма было такого рода и носило такой сложный характер, что можно удивляться не только тому, как ему удалось значительно уменьшить приступы болезни, но что он вообще дожил до преклонных лет. В своих «Дополнительных отчетах» он пишет о себе в третьем лице и, представляя весьма подробную и добросовестную историю собственной болезни, сообщает нам, что в течение долгого времени, — начиная с девятнадцати лет, — он испытывал сильные страдания, и что при этом болезненные симптомы постоянно увеличивались:

«Поэтому он решился окончательно осуществить то, что считал тогда временной мерой, а именно, — отказаться совсем от мясной и всякой прочей неудобоваримой пищи и обречь себя исключительно на растительную диету. Это решение было приведено им в исполнение на второй неделе февраля 1806 г., и с тех пор он неизменно придерживался его до настоящего момента. Ему приходилось сожалеть об одном, — что это не случилось в более ранний период его жизни. Он никогда не замечал каких-либо дурных последствий от этой перемены в виде упадка сил или питания или угнетенного состояния духа. Ему никогда не приходилось испытывать несварения или тяжесть в желудке даже от тех овощей, которые по

общепринятому мнению должны вызывать ее; желудок его никогда не страдал от какого-либо растительного вещества, употребляемого без всяких приправ и без применения поваренного искусства. Единственным неприятным последствием перемены было ощущение пустоты в желудке, что продолжалось несколько месяцев. Но к концу года он совсем привык к новому способу питания и чувствовал себя настолько же удовлетворенным растительной диетой, как и прежде при мясном обеде. Он может сказать по совести, что с тех пор, как он, согласно принятому решению, отступил от старых привычек, здоровье его становилось лучше с каждым годом. Но при этом он должен заметить, что перемены, вызванные в организме растительной диетой, происходили крайне медленно, и что поэтому не следует ожидать какого-либо *значительного* улучшения через несколько недель или месяцев. Мы можем рассчитывать на результаты более продолжительных сроков, а именно — *полугодий или годов*».

С тем же чистосердечием и добросовестностью этот терпеливый экспериментальный философ сообщает все мелкие обстоятельства своего собственного диагноза. Затем, представив подробный отчет разных симптомов своих болезней и их постепенного удаления, он приходит к следующему неизбежному выводу:

«Если изложенные здесь факты вполне верны и описанный мной случай представлен в настоящем свете, то может быть поднят вопрос: какой другой метод, кроме принятого, в данном случае может принести те же благотворные результаты? Я должен сознаться, что, если существуют такие методы, то они совсем неизвестны мне... Хотя головная боль еще возвращается до известной степени, но вообще получилось определенное и весьма существенное облегчение для мозга. Оно проявилось в увеличенной восприимчивости всех органов, в особенности, чувств — осязания, вкуса и зрения, — в большей мускульной деятельности, более свободном и сильном дыхании и в возрастающей умственной деятельности. Результаты растительного питания настолько же заметны ночью, как и днем. Сон стал покойнее, менее нарушен сновидениями и доставляет больший отдых. Вообще, требуется, по-видимому, меньше сна; но потеря в количестве вознаграждается с избытком здоровым и непрерывным сном...

На второй день, особенно в первой его половине, симптомы ипохондрии по временам продолжали действовать угнетающим образом, но впоследствии заметно ослабели; и в настоящее время он пользуется более ровным и спокойным расположением духа, чем то, какое было у него в течение многих лет, при смешанной диете. Из суммы этих фактов можно вывести заключение, что все органы и что даже все фибры нашего тела одновременно подвергаются действию веществ, которыми обыкновенно наполняется наш желудок. Несовместимость этих веществ с условиями нашего организма, в свою очередь, постепенно приводит к тому предрасположению к заболеванию, какое существует в нас при видимом здоровье и при заболевании. Я могу подтвердить этот факт более точными данными с помощью наблюдений над зубами, волосами и кожей. Я мог бы доказать, что при постоянном соблюдении растительной диеты ткань на ладонях рук становится плотнее и крепче, и что даже наросты, которые в течение двадцати и более лет становились твердыми, плотными и глубокими, становились мягкими и исчезали. Мы сказали достаточно, чтобы дать более или менее ясное понятие о том, какого рода перемена может быть произведена в нашем организме посредством растительной диеты и в каких размерах. Поэтому я перейду к описанию других явлений, вызванных этой диетой, которые любопытны сами по себе и могут повести к важным заключениям».

Затем д-р Ламбе переходит к вопросу о постепенном уменьшении болезненных симптомов. Далее он утверждает, что для всех мозговых страданий воздержание от грубой и возбуждающей пищи имеет первостепенную важность; и что, с другой стороны, предположение, что такое воздержание связано с какой-либо ощутительной потерей физических сил, оказывается совершенно ложным.

«Вполне очевидна вся неосновательность мнения, будто бы бездействие и потеря сил вызваны растительной диетой. На самом деле, все наблюдения, какие были сделаны до сих пор, служат прямым опровержением такого предположения».

Весьма важны также личные наблюдения д-ра Ламбе относительно возможности питаться исключительно овощами и плодами, так как они большей частью заключают в себе достаточно жидкостей, помимо употребления каких-либо других напитков:

«Прежде, когда он придерживался общепринятой диеты, то постоянно чувствовал жажду и, подобно большинству занятых людей, при сидячем образе жизни, пил чай в значительном количестве. Но в последние два-три года он почти совсем отвык от употребления жидкостей и убедился, что можно, до известной степени, избавиться от жажды и посредством употребления плодов и сырых овощей. Даже чай потерял для него свою прелесть, и он редко пьет его. Поэтому он убежден, на основании собственного опыта, что употребление жидкостей — не более, как искусственно приобретенная привычка, не нужная ни для каких функций животной экономии».

Какие бы ни были окончательные выводы теории о возможности полного воздержания от всяких *посторонних* жидкостей, не может быть ни малейшего сомнения в том, что разумное употребление растительной пищи уменьшает до наименьшей степени ощущение жажды и стремление к искусственным напиткам. В этом, я думаю, могли убедиться на опыте все те, которые воздерживаются от употребления мясных кушаньев».

Д-р Ламбе, кончая первую часть своего *диагноза*, говорит, что «если бы не те, которым он преимущественно посвящает свой труд, а именно лица, страдающие от обычных или хронических болезней, убедились его доводами и вообще составили бы себе верное понятие о том, чего они могут ожидать от растительной диеты и, кроме того, вооружились твердостью, терпением и настойчивостью, — то он не считал бы лишней ни одну из написанных им строк

15

».

В 1805 г. Д-р Ламбе на солроковом году своей жизни переселился в Лондон, где занялся практикой. Пять лет спустя он получил должность врача в одной из лондонских больниц. Кроме того, он был избран членом Общества врачей и неизменно присутствовал на его собраниях. Своеобразные взгляды д-ра Ламбе не могли способствовать его популярности, и сочувствие таких людей как д-ра Абернети, д-ра Питкерна лорда Эрскина и м-ра Бротертон (одного из первых членов Вегетарианского общества) представляло тем более резкий контраст с равнодушием основной массы общества.

К числу любопытных фактов жизни д-ра Ламбе следует отнести его участие в привлечении сочувствия поэта Шелли к вегетарианским идеям и дружба с И. Ф. Ньютоном и его семьей, в доме которого собирались эти первые пионеры новой системы питания и справляли свои скромные вегетарианские пиршества. Видное место в диетической системе д-ра Ламбе занимает *дистиллированная вода*, употребление которой он предписывает с особой настойчивостью. В своих «Отчетах» он пишет о семье Ньютона: «Я хорошо знаком с его детьми, которые никогда не прикасались к мясной пище и в течение последних трех лет не употребляли никакой другой воды, кроме дистиллированной. Ни один из их сверстников не может сравниться с ними в свежести и красоте цвета лица, мускульной силе, в умеренной полноте и пропорциональности тела, в крепости здоровья и в зрелости ума»

16

Мы уже упоминали выше лорда Эрскина в числе знаменитых друзей д-ра Ламбе. Этот гуманный и выдающийся юрист в письме к приятелю, извещая его о получении «Отчета» д-ра Ламбе, говорит следующее: «По моему мнению, оба труда в высшей степени важны. Я прочел их с особенным интересом, в виду нападок «*Британского критика*» (периодического издания того времени), о которых упоминает автор в предисловии, так как ни одна журнальная критика, которая когда-либо существовала в Англии, не отличалась в такой степени пристрастием, невежеством и наглостью»... Мнение Абернети относительно влияния

диеты в случаях рака приведено в сочинении д-ра Ламбе, в виде примечания. В числе наиболее любопытных писем последних годов жизни этого знаменитого врача-практика особенного внимания заслуживает его обмен мыслей с Сильвестром Грехамом, первым из американских проповедников беззубой диеты. Письмо его к этому известному американскому вегетарианцу, по справедливому замечанию биографа д-ра Ламбе, до сентября 1837 г., — двадцать три года спустя после сообщенных им заметок о своем здоровье, при описании собственного случая, опубликованного в ноябре 1814 г. Письмо д-ра Ламбе, кроме того, служит доказательством его искренности и философского ума, который медленно приходил к выводам и скорее склонен был преувеличивать, нежели уменьшать следы болезни, которые он все еще чувствовал на себе. В этом письме д-р Ламбе указывает и на медленное, хотя и неизбежное, благотворное действие растительной диеты; и эта его оговорка может служить хорошим ответом тем лицам, которые жалуются на то, что соблюдение такой диеты (быть может, в течение всего нескольких недель) не дало никаких удовлетворительных результатов. Далее д-р Ламбе говорит:

«Моя книга *«Дополнительные отчеты о диете»* появилась в свет двадцать три года тому назад. Причины, почему она мало обратила на себя внимания и не встретила особенного сочувствия в публике, довольно понятны, хотя неудача в известной степени огорчила автора. Учение, которое изложено в его книге, составляет прямую противоположность с общепринятыми и глубоко вкоренившимися предрассудками. Предлагают совершенно ошибочно, что это учение направлено против лучших удовольствий и самых существенных удобств жизни. Кроме того, оно возбудило злобное недоброжелательство многочисленного и влиятельного круга в обществе, а именно — круга практикующих врачей, которые занимаются своей профессией ради выгоды и, по-видимому, убеждены, что болезнь существует для профессии, а не профессия для болезни.

«Не оставляя в стороне бесплодные жалобы на равнодушие общества, мы перейдем к более важному вопросу, о том, насколько основные положения, изложенные в *«Отчетах»*, были подтверждены дальнейшими и более многочисленными опытами. На это я отвечу прямо и с полной уверенностью, что в промежуток от 1815 г. (год издания книги) до настоящего времени рекомендуемый нами способ лечения растительной диетой привел к успешным результатам в весьма многочисленных и разнообразных случаях. Поэтому я могу заранее поручиться в том, что тот врач, который отнесется добросовестно и без всяких предвзятых идей к производимому опыту, не испытает никакого разочарования. *Опыт этот требует полной добросовестности.* Я не стану утверждать того, что можно ожидать успеха при упадке жизненных сил пациента, в несомненных случаях изнурительной лихорадки, при изъязвившемся раке, в хронических заболеваниях или старческой дряхлости. В более раннюю пору моей деятельности я старался оказать помощь и в подобных случаях; но опыт скоро убедил меня в бесплодности таких попыток. Лечение возможно только в тех случаях, когда субъекты не особенно преклонного возраста или, например, золотушные дети с вздутыми животами, припухшими суставами и извращенным аппетитом, а также при кожных заболеваниях, чесотке или английской болезни и в случае застарелой эпилепсии. Всякий врач даже при умеренной практике не затруднится выбором субъектов, если его поступками руководит любовь к человечеству.

Кроме того, пациент не может безусловно рассчитывать на полное исцеление, в особенности если он достиг зрелого возраста. Во многих случаях растительная диета служит скорее предупредительным, чем вылечивающим средством. Этот факт не подлежит никакому сомнению. Но в сущности можно быть довольным и тем, что болезнь, которая имеет свойство постоянно усиливаться, остановлена в своем развитии, если ее симптомы становятся все более и более слабыми, и если человеческое существо, которое при других условиях было бы обречено могиле, получает возможность пользоваться жизнью».

Д-р Ламбе, пользуясь своими обширными медицинскими сведениями и опытностью, занялся специально лечением рака. В упомянутом письме к известному американскому вегетарианцу Сильвестру Грехаму он сообщает следующие любопытные факты:

«У меня явилось горячее желание добиться успешных результатов в случаях заболевания раком. Я настойчиво преследовал эту цель (с 1803 года) до настоящего времени. В прошлом

письме я сообщил вам, в общих чертах, подробности случая, где лечение оказывалось настолько успешным, что я мог бы заподозрить самого себя в ошибочном диагнозе, если бы не было положительных, резко выраженных симптомов, которые убедили меня в несомненном присутствии болезни. В настоящее время против моего ожидания не осталось даже того, что я называю раковым узлом, так как получилось полное разрешение. Между тем, этот случай противоречит большинству моих прежних наблюдений и может, как я писал вам, показаться подозрительным. Но я могу, в подтверждение его, привести некоторые факты. Так, например, я наблюдал в одном случае, что окружность скирра (особый вид раковых опухолей) была восстановлена, тогда как центральная часть осталась без изменения; сверх того, результат этот получился не так быстро, как в первом случае, но после весьма продолжительного соблюдения растительной диеты. Отсюда можно вынести заключение, что, если одна часть опухоли исчезла, то нет основания считать невозможным, что, при благоприятных обстоятельствах и своевременном лечении, может наступить полное исцеление. Все дело в том, что в данный момент наши сведения слишком недостаточны для общих заключений, и мы должны довольствоваться накоплением фактов, которыми воспользуются наши преемники».

Во всяком случае, если разумный образ жизни оказывал такое влияние на пациентов д-ра Ламбе, то, вместе с тем, и сам он собственной особой мог служить лучшим свидетельством преимуществ растительной диеты со стороны восстановления и укрепления сил. Один из посетителей описывает следующим образом впечатление, которое произвел на него знаменитый доктор: «Согласно вашему желанию, посылаю на ваше усмотрение краткий отчет о моем свидании с д-ром Ламбе в Лондоне. Я посетил его в первый раз в феврале. У него манеры настоящего джентльмена и почтенная наружность. Он скорее высокого, чем среднего роста. Волосы его совсем белые, так как ему теперь семьдесят два года. Он сообщил мне, что в продолжение тридцати одного года соблюдает растительную диету, и что теперь здоровье его лучше, чем было в сорок, когда он начал вести новый образ жизни. Он рассчитывает, что, вероятно, проживет еще тридцать лет, сверх своего теперешнего возраста. .. Несмотря на то, что ему семьдесят два года, он ходит каждое утро в город, который находится на расстоянии трех миль от его жилища, и возвращается к ночи домой. Говорят, что д-р Ламбе тратит большие денежные суммы на опыты и опубликование их результатов». В более раннем периоде своей жизни он был очень худощав и имел истощенный вид и, по общему отзыву, до глубокой старости оставался сильным и деятельным. Некоторые случаи его необыкновенной энергии и выносливости сообщены печатно его семьей; что касается длинных путешествий пешком, которые он совершал на восьмидесятом году жизни, то в этом отношении немногие могли сравняться с ним.

Его надежда дожить до ста лет, к сожалению, не оправдалась. «Наши тела, справедливо замечает его биограф, представляют собой машины, приспособленные к определенному количеству работы; а слабый от природы организм д-ра Ламбе был сильно истощен болезнью и неправильной диетой первых сорока лет его жизни. В восьмидесятилетнем возрасте силы его начали слабеть; но, по словам его внука, почти до самой смерти незаметно было в нем никаких проявлений нездоровья, кроме признаков старости. Существование доставляло ему наслаждение до последних минут, и он до конца сохранил свои умственные способности. Он умер спокойно на восемьдесят третьем году жизни.

Из современных и позднейших похвальных отзывов об его личных достоинствах и научном значении достаточно будет привести следующие слова: «Это был человек науки с обширными знаниями, человек творческого ума, который отличался редким бескорыстием и честностью». Таково было мнение о нем его друга, д-ра Прара, на которое ссылается Самуэль Джорнсон. Во время торжественного празднования годовщины Гарвея, в 1848 г., д-р Франсис Хокинс в качестве представителя Общества врачей, — почтил в своей речи память д-ра Ламбе следующими словами: «Я не считаю себя вправе обойти молчанием понесенную нами потерю в лице д-ра Ламбе, известного химика, ученого человека и искусного врача. Он был прост, чистосердечен и в высшей степени скромн. Жизнь его была чиста. Прости же, кроткая душа; никто не отходил в вечность более чистым и беспорочным, чем ты!»

НЬЮТОН

1770-1825

Друг и товарищ д-ра Ламбе, Джон Франк Ньютон, Шелли и небольшой круг людей, которые собирались в доме Ньютона за его вегетарианским столом, были первыми последователями д-ра Ламбе, которому Ньютон посвятил свой труд *«Возвращение к природе»*, в благодарность за восстановление здоровья, которое он приписывал соблюдению новой диеты.

Ньютон издал свой небольшой труд, как он пишет в предисловии, чтобы сообщить другим о благотворных испытанных им результатах. Он в особенности считал нужным довести до сведения отцов семейств тот факт, что вся его семья, — включая его самого, жену и четырех детей, ниже девятилетнего возраста, с их нянькой, — в течение последних двух лет питались одной растительной пищей, и в это время аптекарский счет не превышал шести пенсов; но и этот расход понадобился для него самого.

Достопамятные собрания в доме Ньютона, где Шелли был постоянным гостем, описаны следующим образом биографом великого поэта: «Шелли был самым близким человеком в доме Ньютона и, следуя примеру последнего, с 1813 года строго придерживался растительной диеты. Его дружеские сношения с благовоспитанными и образованными сторонниками *возвращения к природе*

17

едва ли не были лучшим временем его поэтической и философской жизни... В течение нескольких лет я был весь поглощен этой жизнью, говорит поэт, так как находился в избранном и весьма почтенном обществе лиц (Ньютонов), которые «вернулись к природе», и слышал от них много справедливых суждений о растительной диете. Я могу смело сказать, что их вегетарианские обеды были необыкновенно приятны и превосходно изготовлены; мясо, домашняя птица и «дичь» никогда не появлялись на столе, а также масло и яйца, которые *в натуральном виде* не считались годными для еды. То и другое было допущено только для приправы кушаний, в возможно меньшем количестве, под условием вывести их из употребления в непродолжительном времени. Супы были весьма разнообразны и казались нам особенно вкусными при отсутствии мясных кушаний.

Нам подавали всякого рода овощи, вареные в воде или искусно приготовленные иным способом. Пудинги, торты, компоты и пирожные появлялись на столе в большом изобилии; сыр был изгнан. Молоко и сливки допускались в умеренном количестве в пудингах и чае. Мы с особенным удовольствием пили чай и кофе, а временами для разнообразия подавали какао и шоколад. Масло и поджаренные в нем ломтики хлеба не подавались, но вместо этого было вволю хлеба, лепешек и сладких кексов с тмином».

Ньютон объясняет следующим образом поводы, побудившие его издать свою книгу *«Возвращение к природе»*.

«После многих лет постоянной болезни растительная диета доставила мне, наконец, то облегчение, какое я напрасно надеялся получить от лекарств, и поэтому, из сочувствия к страждущим, у меня явилось горячее желание сообщить другим о благотворных испытанных мною результатах. С другой стороны, я хотел бы, по мере сил, содействовать уничтожению предрассудков, против которых человечество ведет борьбу, и которые касаются вопросов, имеющих такое близкое отношение к здоровью и счастью людей.

Подробности моей болезни изложены на последних страницах «Отчета о раке» д-ра Ламбе. Я могу только добавить к этому описанию, что, соблюдая по-прежнему диету, предписанную д-ром Ламбе, я продолжаю испытывать на себе ее благотворное действие: нынешнюю зиму я чувствовал себя несравненно лучше, чем в предыдущую, и, хотя моя старая болезнь еще до конца не искоренена, но она настолько уменьшилась, что не особенно беспокоит меня. В течение нескольких месяцев мне пришлось только один день просидеть дома; и в целом я пользуюсь существованием, которому могут позавидовать многие, считающие себя

вполне здоровыми. К сожалению, настоящей труд является перед публикой в весьма несовершенном виде. Люди, сведущие в медицине, приобретают первоначальные знания посредством наблюдений над больными. Для меня же руководством служат мои собственные ощущения, и вся ответственность за выведенные из них заключения падает на меня одного, тем более, что никто не исправлял и не проверял рукописи этой книги. Хотя я и претендую на сведения в медицинской науке, но я не мог допустить, чтобы посторонний человек обсуждал или поднимал на смех мои чувства или считал заблуждением истину, которая подтвердилась для меня продолжительным и много раз повторяемым наблюдением».

Ньютон особенно настаивал на употреблении дистиллированной воды, которая, как мы видели, составляла существенное условие в диетическом учении его друга, д-ра Ламбе. Он горячо убеждает родителей прибегать к естественным средствам предупреждения и лечения болезней, вместо искусственного метода с помощью медицины и лекарств. Он описывает до мелких подробностей диету, на которой держит своих детей, и утверждает, что благодаря этому до момента издания его книги они были совершенно избавлены от всяких болезней и расстройства, и что

«Они пользуются таким замечательным здоровьем, что многие медики, которые видели их и внимательно следили за ними, вывели общее заключение, что им никогда не приходилось встречать семьи, которые могли бы сравниться с ними в крепости организма. Если опыт, начатый три года тому назад, будет продолжаться с тем же успехом, в чем едва ли можно сомневаться, то автор позволяет себе надеяться, что это должно произвести некоторое впечатление на публику, и что каждый отец семейства, для которого болезнь домашних служит источником огорчения и лишних расходов, наконец, себя: «Неужели я буду настолько неосторожен и безрассуден, что не позабочусь о здоровье своих детей?» Подобная решимость заслуживает полного сочувствия. Но пока все не придут к тому же заключению, я нахожу необходимым обратиться к тем, у кого имеются на попечении дети, и буду уговаривать их самым убедительным образом, чтобы они произвели опыт,,, который уже был сделан мной с полнейшим успехом. Я обращаюсь в особенности к тем родителям, которые понимают, что уверенность в наслаждении лучше ручательство его продолжительности, и сознают, насколько вредны и пусты лихорадочные развлечения, доставляемые нашими собраниями, обедами и театрами, в сравнении с безмятежными и тихими удовольствиями счастливого домашнего кружка».

Ньютон рисует привлекательную картину результатов, какие должна произвести естественная диета на здоровье детей. Он утверждает, что

«Они не только окрепнут и сделаются красивее, но приобретут прямую осанку и твердую поступь, кроме того, растительная диета должна задержать столь нежелательное преждевременное развитие в критический период юности; а затем, что всего важнее, уменьшится во всех отношениях опасность болезни и смерти детей. Между тем, веселость их заметно увеличится, и их умственные способности сделаются в такой степени ясными, что это послужит блестящим доказательством благодетельного действия диеты... Нам приходилось иногда слышать такое возражение: «Если дети, выросшие на растительной диете, вздумали бы впоследствии перейти к мясной пище, то они, конечно, больше страдали бы от этой перемены, чем если бы не привыкли к исключительно растительной пище: . Я убежден, что оказались бы обратные результаты. Желудок субъекта, выросшего на растительной диете, настолько окреп от общей прибыли здоровья, что он может вынести то, чего не перенесет другой человек при меньшем равновесии физических сил. По этой же причине ирландские носильщики, работающие в Лондоне, с успехом выносят перемену диеты, и, если обладают физической силой, то в значительной степени обязаны этим растительной пище своих праотцов и своей собственной, до переселения из Ирландии, где они по всем вероятностям месяцами не отвеживали мяса».

Что касается общеизвестного довода, будто бы склонность к мясу и вкусовое наслаждение, которое оно доставляет, служит луч шим доказательством его пригодности, то Ньютон справедливо возражает, что многие дикие народы с таким же наслаждением пожирают всякого рода неестественную отвратительную пищу, так что приятный вкус, сам по себе,

ничего не доказываете или, вернее, доказывает слишком многое». Ньютон обращается вообще к медицинскому сословию и в частности к его отдельным представителям заведующим госпиталями, лазаретами и рабочими домами, и настойчиво убеждает их испытать действие растительной диеты на своих пациентах и в особенности — больных раком. В числе известных ему лиц, испытавших благотворное действие такой диеты, он указывает на д-ра *Адама Фергюсона*, историка Римской республики, который строго придерживался растительной диеты. В 1794 году он был неизменным спутником Ньютона во время его экскурсий в окрестностях Рима. Фергюсон дожил до 1811 г. и умер девяностолетним стариком, оставаясь до конца профессором Эдинбургского университета.

1

Причина, которой он объясняет свое позднее отречение от этой добровольной реформы, недостойна ни его философского ума, ни его обычного здравого смысла. Однажды, когда его товарищи ударили рыбу, он увидел внутри одной пойманной рыбы остатки другой, только что съеденной ею. В это факте он усмотрел закон природы, предписывающий живым существам питаться другими существами, и оправдывающий человеческую плотоядность. Но это плохой аргумент; на подобное оправдание человеческой плотоядности довольно возразить, что рыба, о которой идет речь, от природы так организована, что должна питаться другими рыбами; человека же природа совсем не так создала, чтобы питаться другими землеводными, и огромное большинство последних не живет убийством.

2

См. также *«Естественную историю Ямайки»*, сэра *Гакса Слона*, который перечисляет почти все растительные продукты, употребляемые или годные в пищу в различных частях земного шара; Французский философ *Вольней* в своих *«Путешествиях»*, сравнивая креофагов с вегетарианцами, вынужден сознаться, что привычка проливать кровь или хотя бы видеть, как ее проливают, извращает чувство гуманности. Упомянем еще о шведском путешественнике *Шпарманне*, ученике *Линнея*, исправляющем поразительные физиологические заблуждения *Бюффона* относительно человеческого пищеварительного аппарата; об *Анкетиле*, французском переводчике *«Зенд-Авесты»*, вынесшем из пребывания своего среди вегетарианцев Индии и Персии те гуманные понятия, которые заставили его осуждать грубую пищу западных народов.

3

Вопреки автору, мы решаемся заметить, что внушающие ему такой ужас «бессердечные палачи» монгольских степей, которые убивают животных только для собственных нужд, по нашему мнению, поступают лучше *цивилизованных* европейских народов, создавших у себя даже особый класс париев для жестокой и унижительной профессии мясников.

4

Когда *Купер* писал эти стихи (1782 г.), в законах еще ничего не говорилось в защиту прав животных. Первое упоминание об этих правах (да и то лишь частное) появляется только полувеком позже. Между тем, картина *Гогарта* «Четыре стадии жестокости», не говоря уже о произведениях литературы, находилась перед глазами людей уже за много лет до того. Внесенные в закон поправки на этот счет были плодом энергии и мужества одного из ирландских членов парламента, который храбро решился сделаться мишенью насмешек и злобы, как в стенах, так и вне парламента, прежде чем ему удалось достигнуть своей цели, составляющей одну из величайших заслуг в духе гуманности. *Билль Мартина*, как называется эта поправка, не раз после того изменялся и дополнялся и всякий раз встречал немалые затруднения и оппозицию.

5

В индусском священном писании преимущественно в учении великого основателя буддизма, самой распространенной религии земного шара, уважение ко всем низшим существам более очевидно, недели в каких-либо других священных книгах.

6

Необходимо прибавить, что нахождение па одной и той же странице, рядом с таким неоспоримо верным рассуждением, признания за человеком права *убивать* других животных, с целью питания их мясом, является новым доказательством странной непоследовательности, в которую, благодаря «логике обстоятельств», может впасть в других отношениях столь справедливый и независимый мыслитель, как Бентам. Между недавними выдающимися работами по вопросу о правах низших животных (за исключением «*Права на жизнь*») можно указать на «*Животные и их господа*» Артура Гельпса и на «*Права животных*» Е. Б. Никольсона.

7

Ср. «*Путешествия Вольнея*», одного из самых глубоких мыслителей восемнадцатого века, прилагавшего, по-видимому, и к себе теорию воздержания от мясной пищи. Приписывая зверский характер американского дикаря, — «охотника и мясника, видящего в каждом животном только предмет добычи и сделавшегося похожим на волка или тигра», — именно такому образу жизни этот знаменитый путешественник высказывает мысль, что «привычка к пролитию крови или даже к созерцанию этого зрелища развращает всякое чувство человечности. Ср. также *Тевеню* (младшего), более раннего французского путешественника, описывающего Банионский госпиталь, где он видел нескольких больных верблюдов, лошадей и быков и много инвалидов из царства пернатых. Многие животные, по его словам, содержались там всю жизнь. а выздоравливающие продавались исключительно индусам.

8

Сочинения *Гуфеланда* пользовались у нас, в России, особенной и весьма продолжительной популярностью, как показывают многочисленные переводы некоторых из его книг, появившихся в нескольких изданиях.

9

Впоследствии сэр Ричард Филлипс, автор статьи, напечатанной в «*Медицинском журнале*», где он прекрасно изложил причины, заставившие его отказаться от мясоедения.

10

«Я видел, — говорит д-р Арбутнот, — немало примеров, где растительная пища в значительной степени способствовала укрощению пылких страстей». Прим. Ритсона.

11

Ритсон писал это в 1802 году. С тех пор «зрелище» травли быков и медведей запрещено было законом в Англии и вышло из употребления. Но петушьи бои, несмотря на запрещение, все еще пользуются популярностью у «любителей спорта» в низшем классе народа.

12

С тех пор, как Ритсон привел эту выдержку (из газеты того времени), прошло более 80-ти лет, и те же сцены равносильного, если еще не большего, варварства на королевских и других охотах описываются каждую осень в нынешних английских газетах, с повторением тех же отвратительных подробностей. — Совсем нелишним привести замечания Вольтера относительно этого вопроса: «Некоторые писатели утверждают, что Карл IX написал книгу об охоте. НЕ подлежит сомнению, что, если бы этот король упражнялся в искусстве пытки и умерщвления животных и не приобрел в лесах привычку видеть пролитие крови, то от него труднее было бы добиться приказа о варфоломеевской резне. Охота — одно из самых верных средств для заглушения в человеке чувства жалости к себе подобным существам, и результаты ее тем более печальны, если охотой увлекаются люди, занимающие высокое общественное положение, которые особенно нуждаются в обуздании своих злых наклонностей. В замечательном рассказе Флобера («*Легенда о св. Юлиане*») у героя «постепенно развивается склонность к пролитию крови. Он убивает мышь в часовне,

голубей в саду и вскоре с годами получает возможность удовлетворить свои кровожадные инстинкты: он проводит целые дни на охоте, увлекаясь менее спортом, чем убийством». Но случилось раз, что св. Юлиан застрелил молодого оленя, и когда самка в отчаянии, «подняв глаза к небу, крикнула громким человеческим голосом, исполненным тоски», то он убил и ее. Затем он застрелил самца, красивого стройного оленя, который, невзирая на это, к ужасу убийцы, подошел к нему на несколько шагов, «внезапно остановился и со сверкающим взором произнес трижды торжественным тоном праведного судьи, в то время, как в отдалении звонил колокол: «Будь проклят! Жестокосердный! Так же убьешь ты отца своего и мать!» После этих слов олень зашатался и, закрыв глаза, умер. Наступает момент, когда запятнанного кровью человека преследуют по пятам все жертвы его ненасытной жестокости и теснятся вокруг него, взывая о мести взглядами и криками. Он исполняет пророчество оленя и убивает своих родителей.

В одном журнале конца прошлого столетия была помещена статья, из которой мы приводим следующую выдержку: «Между прочим, Джон Уилльямсон был сведущ в натуральной философии и мог быть назван моральным философом, не только в теории, но и в точной, неизменной практике. Он был замечательно человеколюбив и отличался благотворительностью и, несмотря на бедность, был смелым и открытым врагом всякого рода притеснений... Убийство самого малого из животных, кроме случаев самозащиты, он считал крайне преступным нарушением законов природы, и доказывал, что Творец вселенной создал человека не *тираном*, но законным и ограниченным *монархом* низших животных; и, хотя человек ведет против них борьбу, но они более соответствуют цели своего существования, чем их ничтожный деспот... Растительная и молочная пища, очевидно, доставляла Уилльямсону достаточное питание: когда я встретил его в последний раз, то, несмотря на восьмидесятилетний возраст, он все еще был высоким, сильным и даже плотным человеком. Ходили слухи, что Уилльямсон верил переселению души из одного животного в другое. «По всем вероятностям», замечает Ритсон, «это говорили невежественные люди, которые не в состоянии отличить справедливости или человеколюбия от нелепой и невозможной системы. Составитель настоящей книги, подобно пифагорейцам и Джону Уилльямсону, воздерживается от мясной пищи; но он не верит в переселение душ и сомневается, что это было *действительное* верование кого-либо из этих философов».

Автор выбрал эпиграфом для заглавного листа того сочинения, из которого мы заимствовали эти выдержки, слова Руссо: «Люди, будьте гуманны! Это ваш первый долг. К чему вся ваша мудрость без милосердия?»

Из ценных диагнозов этого рода особенного внимания заслуживают отчеты пастора Коллинза, которые впервые появились в газете «Times» и были дважды перепечатаны Вегетарианским обществом. Применение растительной диеты с целью облегчения припадков и даже окончательного излечения наследственной подагры дало самые утешительные и несомненные результаты. Таким же успехом увенчался недавно опубликованный опыт д-ра А. Г. Вилльнев, президента французского вегетарианского общества.

Шелли также говорит, что дети Ньютона «самые красивые и здоровые существа, каких только можно себе представить. Девочки могли бы служить превосходными моделями для скульптора и при этом отличались кротким, обходительным нравом».

Автор здесь намекает на книгу Ньютона «*Возвращение к природе*».

LVI

ГЛЕЙЗЕ

1773 — 1843

Из всех образованных и гуманных мыслителей XVIII века, на деятельности которых отразилось великое движение во Франции конца прошлого столетия ни один не был вдохновляем более чистыми и возвышенными побуждениями, чем Жан-Антуан Глейзе, этот едва ли не самый восторженный из всех проповедников гуманности. Он родился в Дурнье, в нынешнем Тарнском департаменте. Отец его был адвокатом при старом провинциальном парламенте. Окончив предварительный курс наук, Глейзе избрал медицинскую профессию, побуждаемый к этому, по словам его биографа, не столько склонностью к ней, сколько любовью к человечеству; но ужас, внушенный ему вивисекцией в застенках физиологических лабораторий, заставил его отказаться от этой профессии. Однако, он успел уже приобрести в ней в короткое время кое-какие сведения, которые не раз позволяли ему впоследствии быть полезным своим ближним. Первый период революции, застигший его еще очень молодым человеком, приветствовался им с пылкими надеждами, как начало *НОВОЙ ЭРЫ*. К несчастью, власть попала впоследствии в руки фанатических вожаков, слишком подражавших примерам старого порядка и полагавших, что массовые казни вернее всего прочистят путь ко всемирной республике и прочному миру. Юный энтузиаст, душа которого возмущалась против самой мысли о кровопролитии и о причинении страданий, с отчаяния удалился в уединение и посвятил свою жизнь науке, литературе и мирному созерцанию природы.

В 1794 г. Глейзе, которому шел 22 год, женился на Аглае де-Бомель, дочери довольно известного писателя. Около этого времени Глейзе сделался учителем, увлекшись, по-видимому, надеждой содействовать просвещению своих сограждан; но разочарованный неудачей своего плана открыть курсы исторических лекций в центральной школе своего департамента, он совсем удалился от дел и поселился в не-большом замке своей жены, близ Мезьера и подошвы Пиренейских гор, где вел потом мирную и счастливую жизнь. Здесь, среди великолепной, пустынной природы, он решился, на 25 году своей жизни, навсегда отказаться от пищи, требующей кровопролития и убийства, и потом до самой своей смерти, т. е. в продолжение 45 лет, питался исключительно молоком, фруктами и овощами. Он так строго придерживался этого правила, что из боязни подлога или ошибки сам готовил свое кушанье. Обедал он всегда один (жена его не могла или не хотела разделять его высших стремлений), так как не мог выносить запаха или вида мясных блюд. Непобедимое отвращение к ним и было отчасти причиной, заставлявшей его удаляться от света или, по крайней мере, от обычных «званных обедов».

Уверенный в том, что очевидная истина и возвышенность его принципов не могут не быть оценены лучшими умами из его соотечественников, Глейзе излагал их некоторым из знаменитейших мыслителей своего времени и, между прочим, Ламартину, Ламеннэ и Шатобриану. Первый, автор «*Падшего Ангела*», — поэмы, в которой он выражает свои вегетарианские симпатии, ответил, если не восторженно, как следовало бы ожидать от автора такой поэмы, то, по крайней мере, в сочувственном тоне. Остальные двое вовсе не ответили. Такой индифферентизм со стороны людей, которые, казалось бы, первые должны были бы поддержать Глейзе своим авторитетом, естественно огорчил его и сделал еще более чувствительным для него его умственное и нравственное одиночество. Впрочем, он был не совсем одинок: нашлось несколько возвышенных умов, у которых хватило мужества заявить о своих убеждениях и осуществить их па деле. Это были Анкетиль, Шарль Нодье, Жиро де-Шаптран и Кабанту, декан факультета словесности в Тулузском университете. Брат Глейзе, полковник и член академии наук в Тулузе, также примкнул к этому движению.

Как ни горько было для Глейзе убедиться в глубоком эгоизме и равнодушии окружающих к предмету, имевшему в его глазах интерес и важность новой религии, однако это не поколебало природного благодушия его характера и желания быть полезным всем, с кем он имел дело, а в особенности своим слугам и арендаторам, которые долго благословляли его память. «Возвышенная натура его, говорит его брат, с жаром откликалась на все истинное и доброе». Несчастьем его жизни был, по-видимому, недостаток сочувствия со стороны его жены, для которой, тем не менее, он всегда оставался добрым мужем.

Первое его сочинение: «*Думы одинокого*», вышло в 1794 г.; в 1800 г. за ним последовали «*Елисейские ночи*», а четыре года спустя — «*Аристей*»; и во всех этих

произведениях он более или менее сильно отстаивает то, что считает истиною. После того прошел довольно долги промежутки времени, прежде чем он снова решился высказаться в печати. В 1830 г. вышло его «Объяснение христианства, или единство веры для всех христиан». Семь лет спустя, эта книга вышла под измененным названием: «Истинный смысл христианства». В этом сочинении автор старается на основании Евангелия доказать, что Христос осуждал убийство животных.

Последним сочинением Глейзе было: «Новая жизнь». Он пережил всего несколькими месяцами это последнее свое воззвание к миру в пользу безубойной пищи. Мы имеем полное основание думать, что дни его были сокращены горьким разочарованием, «той грустью (по выражению его биографа), которая постоянно гложет сердце непризнанного реформатора». «Новая жизнь», — его серьезнейшая работа, не произвела, по-видимому, большого впечатления при своем первом появлении. Книга эта нашла себе сочувственного критика в вышеупомянутом Кабанту, который прочел о ней ряд лекций со своей профессорской кафедры. Несколько лет спустя, один парижский адвокат, Бло-Лекен, написал трактат, в котором горячо рекомендовал принципы, изложенные в этом сочинении Глейзе. Не менее горячо рекомендовал их публике и Эжен Штурм, издатель, «Фаланги». Наконец, эта книга нашла себе критика в «Revue des Deux Mondes», в лице Альфонса Эскироса, который, как и следовало ожидать, отозвался о ней в духе обычного высокомерного предубеждения. Повторного издания «Новой жизни» не появлялось более, пока Шпрингеру не пришла мысль познакомить с этой книгой своих соотечественников. Немецкий перевод ее, с интересной заметкой о жизни и трудах Глейзе, вышел в Берлине в 1872 г. Шпрингер, критикуя одну статью в английском «Журнале питания» и справедливо возмущаясь легкомысленным и пренебрежительным тоном ее, который так льстит общественным предрассудкам, прибавляет: «Глейзе издал, наконец, свое важное сочинение, которое, по выражению Вейльгезера, он написал «кровью своего сердца». Если это сочинение эксцентрично; как уверяет м-р Джерольд, то это — эксцентричность евангелия гуманности. Глейзе был настолько эксцентричен, что написал следующие строки, найденный после его смерти в его бумагах: *«Бог мой. чистый источник света, повинуйся Твоей воле, написал я эту книгу. Соболаговли защитити и поддержать мои усилия, ибо ничтожная пылинка, ныне к Тебе взывающая, может завтра навсегда умолкнуть, и в пустыне — воцарится безмолвие!* Да, м-р Джерольд прав: эта теория была религией для своего автора. В «Новой жизни» нас поучают высшим истинам в вопросах о человеческом здоровье и счастье. Глейзе, лучше всех натуралистов и философов, объясняет нам тайны природы, говоря, что грабеж и убийство (в широком смысле этих слов) происходят единственно от извращенности, вследствие отступления от основных законов мироздания, и что человек мог бы искоренить эту извращенность, вместо того, чтобы, как теперь, потворствовать ей. Таким образом Глейзе, вместо пустых фраз оптимистов и безнадежного мирозерцания пессимистов, возвращает мир нашим душам, подавая надежду на грядущее царство мудрости и любви».

Во вступлении к «Новой жизни» Глейзе выражает свои убеждения, надежды и общую цель своих трудов в следующих словах:

«Система, которую я излагаю миру, не есть свод более или менее справедливых принципов, выводы из которых можно принять или отвергнуть, смотря по желанию. Это цепь принципов, безусловно, истинных и справедливых, от которых человек не может отступать, не подвергаясь наказанию соответствующему степени своего отклонения от них. И, однако, не взирая на понесенные уже, и до сих пор тяготеющие над ним, наказания, человек не сознает своего заблуждения. Судьба его похожа на судьбу раба, который, родившись в рабстве, забавляется своими цепями, даже насмехается иногда над свободными людьми и заходит в своем безумии до того, что отказывается от свободы, когда ее предлагают ему, отдавая предпочтение своему рабству».

«Мы знаем, что величайшие умы древней Греции учили людей лучшей жизни; но они не имели успеха потому, — говорит Глейзе, — что учение их было достоянием слишком замкнутого кружка».

«Положение человеческой расы служит ясным доказательством ее заблуждений. Положение

это представлялось бы отчаянным, если бы можно было достоверно сказать, что люди дошли до предала доступного им знания. К счастью, одна отрасль человеческого знания, самая существенная и без которой все остальное имеет мало значения, почти совсем! еще не изучена. В эту-то отрасль и заглядывали великие люди, о которых мы упомянули; но они удержали для одних себя наслаждение своим знанием

1

, — вернее, мудростью (как известно, у греков эти два понятия выражались одним словом), которую мне хотелось огласить. Я могу изложить ее гораздо полнее, чем могли бы сделать они в свое время, потому что природа отказывает в жизненном духе изолированным семенам и оплодотворяет только те, которые входят! в общее наследие человечества.

В настоящее время люди, более чем когда-либо сознающие, чего им недостает, всюду ищут новых общественных начал, новой, высшей цивилизации. Правда, мы не впервые видим такое стремление: оно являлось после каждого нравственного переворота, содействовавшего духовному росту человечества. Но те перевороты, которых мы были свидетелями (французская революции 1789 г. и реформы во Франции 1830 г.), казались более значительными, более законченными; глядя на оставленные ими развалины старого мира со всеми его устаревшими понятиями, можно было думать, что эти перевороты последние, — что ими завершится длинный ряд бесплодных споров, среди которых так медленно подвигался вперед человеческий род.

Изложенные мною принципы абсолютны и непреклонны. Но на пути, ведущем к занимаемым ими высотам, есть ступени, и если бы человечество могло подняться хотя на одну ступень в этом направлении, то уж и это имело бы свое значение. Таким! образом, книга эта, сделавшись руководством для тех, кого она убедит, не будет бесполезна и для остальных, по крайней мере, как, хоть сколько-нибудь, умеряющий и обуздывающий их инстинкты фактор. Признаюсь, что мои надежды и не заходят далее этого. Я был бы вполне удовлетворен даже и в том случае, если бы моя книга была принята моими современниками лишь настолько благоприятно, чтобы ничто не препятствовало ее распространению и не мешало ей дойти до поколения, если не более достойного, то лучше подготовленного, чем настоящее, к восприятию изложенных в ней начал».

Глейзе делит свое большое произведение на двенадцать «Бесед», заключающихся в двух томах с дополнением третьего, под заглавием: «*Нравственные доводы*». Этот труд представляет полное и красноречивое изложение и историю занимающего нас предмета. Единственный недостаток этого едва ли не самого горячего воззвания к разуму и совести людей заключается, по нашему мнению, в его чересчур пространной аргументации. Но этот скорее кажущийся, чем действительный недостаток обменяется видимым старанием автора предусмотреть все уловки, опровергнуть все возражения противников или людей равнодушных. Во всяком случае, даже поверхностное знакомство с «*НОВОЮ ЖИЗНЬЮ*» не может не вызвать даже у самого предубежденного читателя справедливая удивления перед этим чистым и благородным умом, посвятившим всю свою энергию на служение возвышенной нравственности.

В первой части своего сочинения он делает обзор способов питания у различных народов древнего мира, и называет различных философов и других писателей, высказавших свое мнение о мясной пище. Далее следуют новейшие авторитеты, а затем, приведя большое число свидетельств против креофагии, автор отвечает, в пятой беседе, противникам своей системы и, в особенности, главному врагу его, своему соотечественнику Бюффону, опровергая изумительные абсурды, которые последний высказывает в своей «*Естественной Истории*»

2

«Внимательного наблюдателя человеческой жизни более всего поражает относительная незначительность человека в сравнении с тем, чем он должен бы быть;

неудовлетворительность работы сравнительно со способностями работника. Вдохновляемый прекрасными побуждениями, он часто совершает скверные поступки; и этим странным фактом объясняется, без сомнения, то презрение, которое люди так часто питают друг к другу... Рассмотрим, прежде всего, *отличительное* качество человека, — то, которое ставит его выше всех других существ. Ясно, что оно заключается в *сострадании*, источнике разума, поставившего человека во главе высшего нравственного порядка, несокрушимого среди всех переворотов и изменений в природе. Мы видим, однако, что человек мало выказывает это чувство сострадания как к равным ему, так и к низшим существам; и естественно спрашиваем себя: в чем же коренится та *постоянная* причина, которая мешает проявлению сострадания? Мы видим ее прежде всего в несчастном легкомыслии, с которым человек воспринимает свои впечатления от окружающих его существ. По этим впечатлениям, наследуемым с жизнью и укорененным привычкой, вокруг человека образовался особый, отдельный от него Мир, стоящий вне законов его совести, или, если хотите, вне его обычных правовых понятий. Вследствие этого, люди, постоянно обвиняя друг друга в несправедливости, насилиях, жестокости и коварства относительно других людей, никогда не ставят, друг другу в вину того, что они режут горла животным и едят их изуродованные члены; а между тем именно в этом жестоком отношении к животным и кроется первая причина всех остальных человеческих несправедливостей, насилий, жестокости и коварства.

Хотя и не у всех людей эти пороки развиты в одинаковой степени, — что и способствует главным образом самообману, — но можно ясно доказать, что во всех — лежат зародыши их, и если они менее развиты, то лишь благодаря внешним обстоятельствам.

Таким образом, многие из европейцев, которых судьба забрасывает в страны людоедов, после нескольких месяцев пребывания с ними, охотно присутствуют на их банкетах и делят с ними их страшное угощение, которое вначале внушало им ужас и отвращение. Начинают с пожирания собаки, а от собаки недалеко и до человека.

Люди считают себя правыми, коль скоро они исполняют в отношении других людей то, что им вменяется в обязанность. Но справедлив только тот, кто добр, а нельзя быть добрым к одному созданию, не будучи таким же и к другим. Не следует обманываться *внешностью*. Сенека, питавшийся только плодами своего сада, чему он и был обязан последними лучами философии, освещавшими, так сказать, в его лице упадок Римской империи, также указывает на то, что преступление не может быть ограничено. А если, как утверждает Овидий, меч начал поражать людей лишь после того, как окрасился в крови животных, то, как было бы важно для нас не нарушать этой границы! Подобно Эолу, держащему в своих руках мех с ветрами, мы можем успокаивать землю или поднимать на ней страшные бури, смотря по тому, Читаемся ли мы растениями или животными.

Я слишком хорошо предвижу, что противники мои, в оправдание преступления, прибегнуть к уловке, сошлются на роковую необходимость, оклеветают Провидение. Большинство людей старается показать, что оно верит в то, что животные отняли бы у человека господство над миром, если бы их не убивали. Но на это довольно ответить указанием на те страны, где народ гнушается кровопролитием, не отнимает жизни ни у одного живого существа, не исключая даже самого низкого и презренного, но, тем не менее, продолжает нераздельно властвовать в природе

3

. Пример этих народов убеждает, даже помимо всяких других доказательств, в том, что человек вполне располагает возможностью ограничивать или увеличивать расплождение тех животных, которые находятся в его распоряжении. Несомненно и то, что при меньшем количестве гулевого скота земля была бы в состоянии прокармливать несравненно большее число людей, чем она прокармливает в настоящее время. Рано или поздно, переход на растительную пищу сделается абсолютно необходимым на всем земном шаре. Время это наступит тогда, когда человеческий род разрастется до известной, предопределенной нормы»

4

Из других возражений, которыми люди селятся оправдать свой эгоизм, следует указать на предположение, будто их жертвы не сознают, или мало сознают свои страдания; — будто смерть является к ним так неожиданно, что не возбуждает в них ужаса. Глейзе красноречиво опровергает этот чудовищный самообман, против которого говорит и вседневный опыт:

«Инстинкт жизни вообще порождает в животных предчувствие или страх смерти, — то есть, *насильственной* смерти; естественная — не возбуждает в них тревоги просто потому, что она составляет естественный закон. То же самое мы видим и на человеке. Он не сокрушается мыслью о смерти, когда пробьет его час, и покоряется ей, как покоряется всякой другой необходимости. Совершенно то же самое чувствуют и другие существа. Когда лошадь, например, обречена сделаться добычей льва, когда она слышит рев этого животного и не может различить места, откуда он исходит, и потому не знал куда бежать, то ее всю бросает в пот, который течет по ее ногам; она падает на землю, как пораженная громом, и если бы лев не поймал ее, то лошадь могла бы издохнуть от одного страха

5

Между жизнью человека и жизнью окружающих его животных существует такая аналогия, такое близкое сходство, что довольно обратиться к самому себе, довольно мысленно представить себя в положении убиваемых животных для того, чтобы понять, что человек должен уважать их жизнь. А если бы он был действительно обречен природой отнимать ее у них, то имел бы справедливое основание проклинать порядок вещей, который, с одной стороны, внушает ему сострадание, а с другой — подчиняет его такой жестокой необходимости. Если же человек имеет детей, если он носит в сердце дорогие ему образы, то как ему не тяжело окружать себя такими предметами, которые постоянно напоминают ему о смерти, о том, что у него всякий день может быть похищен кто-нибудь из любимых существ, или же сам он может быть похищен у них? И если он добр, если он справедлив, то как не противно ему совершать всякий день такие дела, которые должны постоянно вызывать в его уме мысли о неблагодарности, жестокости, насилии? Будем же уважать жизнь животных; и — не только за то, что они помогают нам нести тягости жизни, которые иначе подавили бы нас, но и потому, что *они имеют одинаковое с нами право на жизнь...* Есть и еще причина, которая не терпит возражения в глазах великодушных людей. Это — доверие и верность, с которыми относятся к нам домашние животные. Природа не внушила им боязни к человеку: он — единственный из их врагов, на которого она им не указала. Не следует ли из этого то, что человек не предназначен быть их врагом? Неужели беспристрастная природа способна обманывать всех своих созданий в пользу одного человека? Замечено, что ни на одном из необитаемых человеком островов туземные животные не бегали от него при его появлении. Даже птиц можно было брать руками.

Правдоподобно, но совершенно ошибочно то мнение, будто, коль скоро человек приобрел вкус к мясной пище, то и следует предоставить ему питаться ею. Во-первых, сама природа не дает ему *вареной* нищи; во-вторых, прошло много веков, прежде чем люди выучились разводить огонь. Известно, что во многих новооткрытых странах огонь не был известен. Стало быть, природа могла дать человеку только *сирое или живое мясо*, а известно, что он повсеместно чувствует отвращение к такому мясу. Вот эта именно черта и отличает хищных животных от других. Первые, по крайней мере, крупные их виды, вообще питают крайнее отвращение не только к вареному, но даже и к несвежему мясу. Стало быть, человек бывает плотоядным только при известных, ненормальных условиях. Вкус его, на который он ссылается в оправдание своей плотоядности, до такой степени извращен, что он стал бы есть, не подозревая этого, и человеческое мясо, если бы его подали ему под видом телятины, на которую оно, как слышно, походит вкусом. Съел же Гарпаг, не подозревая того, тело своего сына».

Глейзе указывает на примеры коров и северных оленей в Норвегии, приученных питаться

рыбой и охотно евших этот не свойственный им корм.

«Было бы слишком долго перечислять все причины, способствующие такой ненормальности. Я хочу сказать только несколько слов о причинах, поддерживающих эти уклонения. Первая из них — это своего рода легкомыслие или, вернее, род тупости, которая делает трудным для большинства людей всякое рассуждение о том, что противоречит их привычкам. Они с отвращением отвернулись бы от своей пищи, если бы знали, чего стоит природе каждый их обед. Они едят животных так же бессознательно, как артиллеристы пускают бомбу в середину осажденного города, не думая о зле, которое она причинит множеству людей, не причастных войне, — женщинам, детям, старикам; между тем, если бы они видели все зло, которое они наделали, то даже их черствые сердца не вынесли бы такого зрелища... В настоящее время, когда все так точно вычисляется, конечно найдутся люди, которые будут самоуверенно доказывать, что для домашних животных все же лучше родиться и жить под покровительством человека, хотя бы и с тем, чтобы в конце концов быть зарезанными, чем пребывать в «небытии» или же — в своем естественном диком состоянии. Что касается до состояния «небытия», то, признаюсь, я не могу составить себе о нем никакого представления; относительно же естественного состояния животных скажу только, что мне всегда казалось непостижимым, как мог человек довести свою жестокость до того, чтобы, сначала лишив свободы диких животных и изуродовав их до такой степени, до какой изуродованы все домашние животные, потом, в довершение всего безжалостно их убивать? Но сильно ошибаются люди, если полагают, что на них не отразятся последствия таких гнусных дел...

Я знавал многих добрых душ, которые искренне желали торжества гуманного учения вегетарианцев, признавали его справедливым во всех отношениях и верили во все, что оно провозглашает; но, несмотря на такое похвальное расположение, не решались, первые, подать в нем примерь. Они ждали осуществления этих принципов от кого-нибудь другого, посильнее их характером. Без сомнения, подобные толчки даются Миру людьми с сильным характером, но нужно ли ждать общего движения, как скоро человек сам по себе убедился в чем-нибудь? Дозволительно ли медлить, когда дело идет о жизни или смерти безобидных существ, вся вина которых состоит лишь в том, *что они родились?* И можно ли оправдываться в подобном случай недостатком характера? Нет! Поступать хорошо, к счастью, вовсе не так трудно. Малодушные, чем вы оправдываетесь? Я краснею за ваши желания отговорки. Вы говорите, что для того, чтобы быть последовательным, вам пришлось бы отделиться от света, отказаться от ваших друзей и знакомых. Я не вижу в этом никакой надобности. Напротив, если вы действительно любите свет и ваших соседей, то тем скорее подадите им пример в том, что должно оказать такое огромное влияние на их счастье и будущность».

Нельзя не пожалеть еще раз о вкусах наших литераторов и издателей, которые издают без конца книги, не имеющих никакого существенного значения для мира, и пренебрегают наиболее истинно просвещенными литературными трудами. Это в особенности относится к сочинениям Глейзе. Его *«Новая жизнь»*, насколько нам известно, не выходила во Франции вторым изданием, а в Англии нашла себе переводчика и читателей лишь в вегетарианском кружке. Одной Германии принадлежит честь попытки сохранить от забвения имя одного из немногих людей, по справедливости заслуживающих бессмертия.

ШЕЛЛИ

1792 — 1822

Мы глубоко сожалеем, что новейшие искатели поэтической славы или совсем просмотрели, или игнорировали принцип, имеющий великое значение для благосостояния человечества в частности, и для мирной гармонии вселенной вообще, — принцип чистого спиритуализма, знакомство с которым замечается у лучших из поэтов даже до-христианских веков. Томсон, Поп, Шелли, Ламартин, Мильтон, — такова небольшая группа, которая почти одна представляет и развивает в своих произведениях более ранние вдохновения Гезиода. Овидия и Вергилия, — этих поэтов — творцов новых и правдивых идей, которые, верные своему призванию, старались очистить от варварства и возвысить человеческую жизнь, будя в людях, в большей или меньшей степени, чувства ужаса и отвращения к царящему в жизни материализму.

Из этой знаменитой группы, да и из всех нравственных и умственных светочей, оказавших на человечество гуманизирующее влияние, — оставив после себя «дышащие мысли и жгучие речи», — ни один не имеет права на большее уважение сторонников гуманности, чем поэт из поэтов, — влияние жизни и произведений которого, значительное даже и теперь, и постепенно возрастающее, без сомнения, станет в недалеком будущем равным влиянию наиболее знаменитых проповедников мира. Посвященный ему очерк в нашем труде, хотя по необходимости ограниченный, должен, однако, выйти из обычных рамок.

Перси Бише Шелли происходил из старинной богатой фамилии, давно поселившейся в Суссексе. 13-ти лет он был отправлен в Итонь, где ему пришлось перенести тяжелые испытания от грубых и невоспитанных школьных товарищей и от несправедливостей жестокого учителя (таков был дух, господствовавший в ту пору, да и долго спустя, как в общественных, так и в других школах). Шелли, необыкновенно чуткий и чувствительный, решался противиться несправедливостям и притеснениям, но отказ его смиренно подчиняться мелкой тирании, по-видимому, навлек на его голову более неприятностей, чем обычная доля их, терпимая всеми вообще. Все это запало в его душу и внушило ему начальные стансы в его «*Восстании Ислама*», произведении редком по силе чувства. Умственные дарования его приносили ему некоторое облегчение в этих страданиях его детства. Для развлечения, он перевел, как уверяют, несколько томов «*Естественной Истории*» Плиния. Из греческих писателей он читал тогда (в английском переводе) Платона, который затем, уже в подлиннике, оставался одним из главных спутников его на литературном поприще. Он усердно занимался также изучением французского и немецкого языков. Из естественных наук он наиболее занимался, по-видимому, химией.

В 1810 г., семнадцати лет от роду, он поступил в Оксфордский университет. Там он учился и писал без отдыха. Пристрастие к литературе заставило его с жаром отдаться изучению великих мастеров диалектики, Локка и Юма, а также их главных представителей во французской философии. Отдаваясь с горячим энтузиазмом изысканию истины, он старался всеми способами расширить свои познания и идеи, и вступил в переписку с выдающимися людьми, разбирая в этой переписке интереснейшие из философских вопросов. Подобно всем действительно плодотворным умам, юный исследователь не питал слепой веры в мнения авторитетов и не подчинялся условным, хотя и общепринятым понятиям. Он не колебался подвергать анализу даже наиболее распространенные из догматов древности, проверять которые собственным умом способен всякий образованный человек. Скорее под влиянием такого настроения, чем каких-либо зрелых убеждений, и желая добраться до истины в глубочайшей из метафизических задач, он дал напечатать в несчастный для себя момент извлечения из анти-теистических умозрений Давида Юма и других авторитетов, изложив их в форме математически выраженных положений. Копии этих скромных тезисов, всего в две страницы, были разосланы, не то самим автором, не то кем-нибудь другим, к начальству его коллегии, и эти духовные чины, внимая скорее голосу оскорбленного авторитета, чем спокойного рассудка, который, может быть, показал бы им бесполезную несправедливость слишком крайних мер, тотчас решили исключить его из университета. Один из его новейших

биографов утверждает, что, несмотря на свои пылкие нападки на стереотипные понятия о теизме, Шелли был по темпераменту человеком в высшей степени религиозным. «При всей своей горячей любви к людям, говорит этот биограф, Шелли не сочувствовал тем формам, в которых выливались их чувства и думы. Существой только возможность свергнуть анархию обычая, — и «золотой век», по его словам, наступил бы немедленно. Его останавливала мысль о том громадном различии, какое он замечал между своими стремлениями и — воззрениями окружающей среды. В своем поклонении тому, что он признавал *жизненным*, он не сумел сохранить ни малейшего уважения к окостеневшему опыту прошедших веков. Но у него была живая вера, позволявшая ему верить в возможность его идеалов: вера в обязанность и желательность ниспровержения идолов, вера в евангелие свободы, братства, равенства, в божественную красоту, в возможное совершенствование человека, вера в вездесущую душу, атомами которой являются отдельные человеческие души, и вера в любовь как основную сущность всякой нравственной жизни. Человек, живший такой верой, не мог быть «атеистом» в обыкновенном смысле этого слова. Провозгласив себя таковым, он хотел только выразить свою ненависть к той темной религии, которая служила в руках светской и духовной власти орудием для порабощения других людей». «Он употреблял слово «атеизм», — говорит его друг Трелони, — чтобы выразить свое отвращение к суеверию; он принял это прозвище, как принимает рыцарь брошенную ему перчатку: с презрением к обиде».

Презрение его к рутине и к принятым на веру понятиям было так велико, что даже Аристотель, этот кумир средневековых ученых, донныне остающийся предметом необыкновенного поклонения в старейшем университете, служил для него как бы синонимом деспотического авторитета.

«Томы рассудочных заблуждений, которыми восхищается невежество», — говорит он о писаниях Аристотеля в своих стихах, вообще относясь к нему с чрезмерной небрежностью. К политике, как она представлялась парламентом и прессой его времени, он относился с негодованием за свойственную ей мелочность и неправдивое изображение общественной жизни. Он редко читал газеты и никогда не мог интересоваться политической болтовней. Таким образом, под влиянием антипатии к установленному порядку окружающей жизни, поэт все более и более удалялся от нее, сосредотачиваясь в самом себе, в своих мыслях, надеждах и стремлениях, которыми он делился с близкими своими друзьями. Некоторые из тех, в общество которых он попадал случайно, были не совсем одинакового с ним склада ума, но все же с уважением отзывались о его нравственности, уме и характере.

Ни в ком, быть может, нравственное чувство не было развито так полно, как в Шелли, — говорит один из ближайших его друзей, — ни одно существо не было более чутко к праву и несправедливости. Настолько сильна была его любовь к умственному труду и необыкновенна мощь его гения, настолько же замечательна чистота и святость его жизни... Я имел счастье вступить в близкие сношения с многими честными и порядочными людьми; но (да простят мне мою откровенность) Шелли был почти единственным встреченным мною примером никогда не изменяющего себе, даже в самых мелких частностях, чистого, цельного и современного благородства во всех разнообразных житейских обстоятельствах». Таково добровольное свидетельство друга, который не отличался склонностью к излишним похвалам. Неожиданное окончание его карьеры в Оксфорде стало причиной отчуждения между ним и отцом, который, в противоположность сыну, этому энтузиасту-реформатору, был характера сурового и закоснелого в нетерпимости и предрассудках. Женитьба молодого Шелли, вскоре после исключения его из университета, на Генриетте Вестбрук, молодой девушке, очень красивой, но малообразованной и далеко не равной ему по своему общественному положению, еще более отдалила от него отца. Брак этот, вначале довольно счастливый, оказался впоследствии неудачным, и разные неблагоприятные обстоятельства ускорили его неминуемый разрыв. После трех лет сожителства супруги, по обоюдному желанию, разошлись. Спустя два года, неизвестно, от каких причин, молодая женщина покончила с собой. Этот страшный и трагический конец необдуманной связи должен был причинить Шелли глубокое горе и набросил, по-видимому, мрачную тень на всю его последующую жизнь.

Как ни коротко было его жизненное поприще, но мы может остановиться только на самых

интересных событиях его жизни. Из них нельзя не упомянуть об его полных энтузиазма усилиях поднять бескровную революцию в Ирландии, которая, если бы она удалась, могла бы предупредить бесконечные несчастья этой пренебреженной части Соединенного Королевства. Шелли жил со своей молодой женой и ее сестрой в Кезвике, когда, по внезапному вдохновению, решился переплыть канал и вступить на путь пропаганды своих политических и социальных реформ. Это было в начале 1812 г. В Дублине, где находилась главная квартира его партии, он издал «*Воззвание к ирландскому народу*», которое он деятельно распространял, как сам, так и через своих агентов. Соблюдение принципов, изложенных в этом замечательно обдуманном и умном манифесте, было так же несомненно необходимо для успеха освобождения от векового угнетения и дурных законов, как несомненны были искренность и преданность Шелли к своему безнадежному предприятию. Космополитический характер его воззвания ясно сказывается в следующих словах:

«Не спрашивайте о человеке, еретик ин или квакер, еврей ли или язычник, а спрашивайте, добродетелен ли он, любит ли свободу и правду, желает ли счастья и мира человечеству? И будь он самый верующий из людей, но без такой любви — он бессердечный лицемер и раб... Терпимость не заслуга, но нетерпимость — преступление. Будьте спокойны, кротки, рассудительны, терпеливы. Думайте, говорите, рассуждайте... Будьте спокойны и счастливы, но прежде всего будьте благоразумны и добры. Нужно воспитать и укоренить в себе привычку к умеренности, правильной жизни и способности рассуждать».

Имея более правильные понятия о коренных причинах и способах облегчения национальных бедствий, чем большинство людей его партии, он настаивал на существенных переменах в нравственном и социальном строе жизни, без которых простые перемены политических условий или увеличение материального благосостояния тех или других классов общества оказываются при точной оценке благосостояния всего государства лишены всякого значения. Шелли издал также в форме брошюры «*Проект ассоциации*», состоявший в учреждении громадного общества ирландских католиков с целью ускорить их освобождение. Мера эта была приведена в исполнение только 20 лет спустя, после долгой и сильной оппозиции. Два месяца были посвящены этому великодушному, но бесплодному делу; ирландский народ не поднялся, и молодой реформатор возвратился в Англию, не отказываясь, однако, от пропаганды принципов свободы и равенства. В 1817 г. он опубликовал «*Проект реформы системы голосования при выборе представителей в парламент*». «Он видел, что палата общин вовсе не является представительницей страны; исходя из того принципа, что правительство должно быть слугой правых, он придумывал средство узнать истинную волю народа в отношении парламента и выразить коллективное мнение населения о его правителях. Предлагаемый им план состоял в образовании обширной сети комитентов, при помощи которых могло бы быть спрошено мнение каждого из граждан. Мы находим здесь же мирный прием осуществления желаемой реформы, как и в его ирландском проекте». Но в то же время, ввиду неизмеримого невежества, нищеты и продажности огромной массы общества, — необходимого следствия долгих веков дурного и эгоистического законодательства, — всеобщая подача голосов не казалась ему надежной комбинацией. Доказательством его полемических способностей служит его содержательное и благородное письмо к лорду Элленборо, приговорившего к тюремному заключению издателей «*Века Разума*»; — письмо, заключающее в себе красноречивую аргументацию в пользу терпимости и свободы разума, переносящее дело выше суда узаконенной тирании и обсуждающее его с философской и беспристрастной основательностью.

До своего посещения Ирландии Шелли начал писать (как он говорил своему корреспонденту Вильяму Годвину) «*Исследование причин неудачи французской революции в ее стремлении облагодетельствовать человеческий род*». Мы глубоко сожалеем, что этому исследованию не суждено было быть доведенным до конца, так как оно, несомненно, представляло бы чрезвычайный интерес. Такова была сила и деятельность ума двадцатилетнего Шелли, проявившаяся в области практической философии, прежде чем он дал миру свое первое поэтическое произведение.

«*Королева Маб*», часть которой он написал двумя годами раньше, была окончена и издана в 1813 г. Хотя в этом произведении и встречаются кое-какие недостатки недозревшего гения, но зато она представляет всю прелесть непосредственного поэтического вдохновения.

Характеристическими чертами этой единственной в своем роде поэмы являются глубокая ненависть к эгоистической несправедливости и фальши во всех ее проявлениях, такое же глубокое сочувствие ко всякому страданию, вера в конечное торжество добра, — облеченные в увлекательно красноречивую и возвышенную форму речи. В этом восхитительном пророчестве о предстоящем «золотом веке» волшебница, королева Маб, бестелесное существо, являющееся руководительницей и проповедником поэта во Вселенной, разворачивает в обширной панораме перед его изумленными очами ужасы прошлого и настоящего. А вслед за тем она в чудном откровении рассеивает его отчаяние, показывая ему «новые небеса и новые земли», которые совершенно удалят все зло с нашей планеты:

— А вот и он, — мудреное созданье,
Загадка-Человек! Он, больше всех других
Способный познавать и высшие страданья,
И радость высшую мечтаний неземных.
Он, в чьей душе сменялись быстро ощущенья,
Кипели, клокотали, мощною волной,
Будя в нем лучшие природные влеченья:
Он, бывший бременем и славою земной —
В изменчивом движеньи жизни мировой:
Он первый, в постепенном общем возрожденьи,
Служил его успехам сердцем и умом
И каждый новый шаг вперед, на путь спасенья,
Глубокими чертами отражался в нем

.....
Смотри, вот он, — прекрасный, чистый, непорочный
Душой и телом. Он, красою безупречной
Нетленную возвысил красоту земли;
К нему — блаженному теперь, со дня рожденья,
В согретую любовью душу низошли
Желанья чистые, благие вдохновенья;
Его (с надеждою и верою святой
Стремящегося вечно к благам высшим, новым,
Для добродетельных сердец всегда готовым
В неистощимой, общей житнице земной)
Всепобеждающею силой одарила
Мысль бесконечная. И не страшится он
Ни тьмы забвения, ни седины времен,
Ни мрака верного сияющей могилы.
бывало, человек бесследно исчезал
Как мимолетное и смутное виденье,
С лица земли родной; теперь на ней он стал
Бессмертным!

*Не зарежет он без сожаления
Ягненка жалкого, смотрящего с мольбой
Глазами кроткими и ждущего пощады;
И труп, истерзанный и кровью залитой,
Не пожирает, помня "Убивать не надо";
И всем, нарушившим святой любви закон,
Кровь неповинных жертв отметит за преступленье;
Заразой неизбежной, ядовитой тленья
Убийца кровожадный будет поражен;
В сердцах немилосердных, кровью оскверненных,
Ее карающая, пагубная власть
Родит пороки все; разнуздывает страсть,
И ненависть, и злобу в душах исступленных;
Зародыши болезней, горя, нищеты*

И смерти - вмести с нею - людям привиты!

Не губит он теперь жестокою рукою
Крылатых жителей своих родных лесов;
И смело к небесам певучею душою
Возносятся они; и нет у них врагов.

.....
Никто не знает страха. Властелин державный
Всего живущего жестокий скипетр свой
С презрением отбросил и теперь, как равный,
Меж равными живет.

И счастья зарей
И знания благими, кроткими лучами
Утешена, согрета, наконец, земля;
Благословенно все: и воды, и поля;
Благоволение и мир под небесами!
Там — воздержанием была побеждена
Болезнь, — последствие позорных наслаждений;
Здесь миром кончена последняя война
Страстей с Рассудком. Общее стремленье
Существ, освобожденных от оков былых:
«Трудиться друг для друга», — чтоб в делах земных
Род человеческий свободный, благодарный
Склонялся лишь пред властью Разума одной,
Добывшей Истину, как камень лучезарный,
Из тайных рудников, сокрытых вечной тьмой
И в дар Земли принесшей это украшенья.

.....
Счастливица Земля, небось осуществленья,
Небес, куда стремилось столько душ людских,
Возвышенных и чистых! Подвигов святых—
Святая цель, и край обетованный,
Всем человечеством предвиденный, желанный!
Безгрешных чистых духов радостный приют,
Где нет бессилия, печали и паденья,
Куда ни скорбь, ни смерть, ни нужды не зайдут, —
Счастливица Земля, — небес осуществленья!

.....
Ты Гению явилась в вдохновенных снах,
Неясным предвкушеньем счастья улаждая,
Надежд осуществимых корни утверждая,
И воплощая грезы светлые в сердцах.
Ты пристань Мира и Любви. Покой сердечный
Нашла душа достигших до тебя людей,
Участников живой работы бесконечной,
Создавшей совершенство красоты твоей!

Из статьи, которую автор приложил в виде примечания к приведенным стихам, извлекаем следующие главные аргументы:

Болезням подвержены только человек и те из животных, которых он заразил своими болезнями или развратил своим господством. Бизон, кабан никогда не бывают больны и умирают или от внешнего насилия, или же от глубокой старости. Но домашняя свинья или корова подвержены самым разнообразным болезням и, подобно извратителям их природы, имеют своих врачей, извлекающих свою выгоду из их страданий. Преимущество человека, как и сатаны, оказывается преимуществом страдания, и большинство людей, обреченных на бедность, болезни и преступления, имеют полное основание проклинать несчастную случайность, которая, дав им способность обмена мыслей, выдвинула их над уровнем им

подобных животных. Но совершающееся невозвратимо, и теперь все человеческое знание направлено к решению вопроса: как согласовать выводы разума и цивилизации со свободой и чистыми удовольствиями естественной жизни? Как извлечь благо и отбросить зло из того образа жизни, который в настоящее время переплелся со всеми фибрами нашего существа? Я верю, что воздержание от мясной пищи и спиртных напитков много помогло бы нам при разрешении этого важного вопроса.

Правда, что нарушение правильности умственных и физических отправления следует приписать отчасти отклонениям от нормы и природы не в одной только пище. Зараженная атмосфера переполненных городов, испарения химических процессов, все лишнее в наших одеждах, нелепое воспитание детей, — все это носит лепту в массу человеческих страданий.

Сравнительная анатомия учит нас, что человек, походя во всем на плодоядных, ничего не имеет общего с плотоядными. У него нет когтей, чтобы схватывать свою добычу, нет и достаточно острых зубов, чтобы рвать живое мясо. Мандарин первого класса, с когтями в два дюйма, нашел бы их вполне недостаточными, чтобы удержать даже зайца.

Но прожорливость увертывается от этих указаний самой природы и с помощью бесчеловечной и неестественной операции быки превращаются в волов для того, чтобы вялые фибры оказывали менее сильное сопротивление нашим неестественным аппетитам. Но и при этом требуется еще размягчение мертвого мяса переработкой при помощи кулинарных приемов для того, чтобы оно сделалась годным к пережевыванию и пищеварению человеческим желудком, и для того, чтобы вид этого окровавленного сырого мяса не внушал ужаса и отвращения. Пусть защитник животной пищи попробует, как советует Плутарх, сделать следующий опыт: пусть он принудит себя живого ягненка рвать собственными зубами и, погрузившись головой в его трепещущие внутренности, утолять свою жажду бьющей ключом кровью. Затем, под свежим впечатлением всех этих ужасов, пускай он обратится к возмущенному, неодолимому инстинкту своей природы и решится сказать: «Природа создала меня для этого». Только тогда он себя испытает надлежащим образом.

Орангутанг близко похож на человека, как порядком, так и числом зубов. Вообще, орангутанг больше всех других пород обезьян принадлежит к человекообразным, а весь этот класс животных питается исключительно плодами. Из плотоядных ни один вид не представляет такой аналогии с человеком. Даже у многих из плодоядных клыки острее и более развиты, недели у человека. Желудок орангутанга также наиболее похож на человеческий, чем на желудок других животных. Стало быть, все строение человека, во всех своих существенных частях, приспособлено к чисто растительной пище. Правда, что люди ограниченного ума, привыкшие к возбуждающим свойствам мясной пищи, встречают проповедь о воздержании от нее с непобедимой оппозицией; тем не менее, они не могут привести никаких веских доводов в ее пользу. Ягненок на корабле, экипаж которого кормил его мясом, отказывался потом от своей естественной пищи. Можно бы привести много примеров лошадей, овец, быков и даже голубей, приученных к мясной пище и получивших отвращение от своей природной. Дети, видимо, предпочитают печенье, апельсины, яблоки и другие фрукты мясу животных, пока постепенная порча их пищеварительных органов не доведет их до того, что употребление одной растительной пищи на время станет для них сопряженным с серьезными неудобствами, — я говорю, *на время*, потому что не было примера, чтобы переход от спиртных напитков и мяса к растительной пище и чистой воде не укрепил с течением времени тела, очистив его соки, и не возвратил человеку ясности духа и гибкости ума, которыми, при теперешнем образе жизни, не обладает и один из полсотни. Почти каждый помнит гримасу, которую вызвал в нем первый стакан портера.

Неизвращенный инстинкт всегда непогрешим и заключать о потребности к животной пище по извращенному аппетиту, который мало-помалу создается привычкой к такой пище, — значит, делать преступника судьей в его собственном деле. Хуже того: это значит предоставить отъявленному пьянице решить вопрос о пользе водки. По выходе из детства человек утрачивает самые следы того инстинкта, которым остальные животные угадывают свойственную ему пищу. Взрослые до такой степени утрачивают этот инстинкт, что является необходимость доказывать им на основании сравнительной анатомии то, что нам в пищу самой природой предназначены только плоды.

Преступление есть безумие. Безумие есть болезнь. Когда причина этой болезни будет открыта, корень, от которого все пороки и несчастья, вырастая, набрасывают тень на земной шар, обнажится для секиры. Все усилия людей с того момента могут быть направлены к их совершенствованию. Здоровый ум в здоровом теле не решится на настоящее преступление... Система безубойного питания обещает выгоды не утопические. Она не похожа на законодательную реформу, бессильную укротить дикие страсти и порочные наклонности. Она, напротив, поражает самый корень зла. И прибегнуть к ней могут не только нации, но и маленькие общины, семьи и отдельные личности. Не было случая, при котором возвращение к растительной пище произвело бы малейший вред; напротив, оно всегда сопровождалось неоспоримыми выгодами. Во имя всего святого заклинаю людей, желающих видеть счастье и мир на земле. Всякие рассуждения излишни в таком предмете, пользу которого довольно испытать в продолжение полугода, чтобы убедиться в ней навсегда. Но подобной жертвы своими аппетитами и предрассудками можно ожидать только от людей светлого ума и сильной воли, хотя бы конечная польза ее и не подлежала никакому сомнению.

Близорукие жертвы болезней предпочтут облегчить свои страдания лекарствами, чем предупреждать их здоровой пищей. Люди неразвитые вообще бывают чувственны и не любят внимать указаниям разума; но я убежден, что, как скоро благодетельства растительной пищи будут доказаны с математической точностью, как скоро для всякого станет ясно, как дважды два — четыре, что люди, живущие естественной жизнью, ограждены от преждевременной смерти, то и самые глупые из людей предпочтут спокойную и долгую жизнь короткой и полной страданий. Средним числом, в три года умирает четыре человека на 60; а я надеюсь, что в апреле 1814 г. будет сделано заявление о том, что из кружка шестидесяти лиц, уже отказавшихся от мясной пищи, ни один не умер в три года, и что все оказались здравствующими. Вот уже более двух лет, как они придерживаются этой диеты, и ни один из них еще не умер. А попробуйте найти подобный пример на шестидесяти людях, взятых наудачу! Семнадцать лиц различного возраста (семьи д-ра Лэмба и м-ра Ньютона) прожили семь лет на одной растительной пище, не потеряв никого из своего числа, и почти не испытав ни малейшего недуга. Вескость такого доказательства, разумеется, соизмеряется с числом прозелитов. Как скоро можно будет указать и на тысячу человек, существующих растительной пищей и дистиллированной водой и не знающих никаких болезней, имея в перспективе только смерть от старости, то мир волей-неволей будет принужден взглянуть на мясо и на спиртные напитки как на медленный, но верный яд»

6

Далее Шелли настаивает на неисчислимых благодетельствах безубойного питания в экономическом, социальном и политическом отношениях:

«Богач, питающийся мясом, не стал бы более расстраивать свой желудок, съедая в один обед продукты акра земли, и краюха хлеба не содействовала бы подагре, безумию и апоплексии, будучи потребляема в форме кружки портера или стакана джина, вместо того, чтобы утолять голод детей крестьянина, несущего не себе тяжкие труды. Количество питательного материала в виде растительных продуктов, сконцентрированное в откормленной туше быка, будучи собрано непосредственно с лона природы, могло бы дать вдесятеро более съестных запасов, чем дает эта туша, и притом припасов неиспорченных и непригодных к порождению различных болезней. Самые плодородные участки обитаемой земли предоставляются теперь людям животным с такой затратой времени и пищевых продуктов, которая решительно не поддается вычислению. Даже и теперь только богатые могут обильно удовлетворять свой неестественный аппетит к мертвым телам, и они же платятся за это потворство себе наибольшим расположением к бесчисленным болезням... Характер нации, которая стала бы во главе этой великой реформы, разумеется, сделался бы мало-помалу *земледельческим*.

Выгоды реформы пищи, очевидно, важнее выгод всякой другой. Она бьет в самый корень зла. Исправлять злоупотребления законодательства, ничего не сделав против тех дурных наклонностей, которыми они порождаются, все равно, что ожидать прекращения причины от

устранения следствия.

Не следует, однако, ожидать от этой реформы слишком многого. Самый здоровый из нас не обеспечен от наследственных болезней. Прекрасно сложенный, атлетически сильный и по всем данным долголетний человек все-таки является существом неизмеримо низшим в сравнении с тем, чем он мог бы быть, если бы противоестественные привычки его предков не вложили в него задатков болезней и ненормальностей. В самом совершенном образчике цивилизованного человека критический взгляд физиолога нашел бы какие-нибудь недостатки. Может ли, в таком случае, возвращение к природе моментально искоренить предрасположения, накопившиеся веками? Без сомнения, нет. Можно ручаться только в том, что, с момента отречения от противоестественных привычек в организме не зародится никакой новой болезни, а предрасположение к наследственным заболеваниям постепенно исчезнет за отсутствием условий, которые бы его поддерживали бы. Это неизменно наблюдается в случаях чахотки, рака, подагры, одышки и золотухи».

Шелли заключает это философское рассуждение горячим воззванием к различным классам общества:

«Я обращаюсь не к одним только молодым энтузиастам, горячо отдавшимся служению правде и добродетели, — чистым и страстным моралистам, еще не тронутых заразой жизни. Такой энтузиаст с радостью примет ту систему во имя ее отвлеченной правды, красоты и простоты, и во имя широко распространенных благодеяний, которые она сулит. Если обычаи еще не успели заразить его, он будет инстинктивно гнушаться зверского удовольствия охоты. Он исполнится ужаса и разочарования, видя что существа, способные к величайшему состраданию, находят удовольствие в предсмертных муках и последних конвульсиях умирающего животного.

Человек преклонных лет, юность которого была отравлена невоздержанностью, или который жил только с кажущейся умеренностью и страдает под старость от разнообразных тяжелых болезней, мог бы найти себе облегчение в благотворной перемене своего образа жизни, не рискуя отравить себя медицинскими снадобьями. Мать, которую постоянное беспокойство за здоровье детей и необъяснимые случаи их смерти делают несчастной, могла бы при этом образе жизни постоянно радоваться на них, видя их цветущими и резвыми

7

Жизнь самых цветущих людей ежедневно подрывается болезнями, облегчать которые паллиативами рискованно, а вылечить невозможно. До каких же пор, наконец, человек будет отдавать себя на съедение смерти, своего коварного, неумолимого и вечного врага?»

Спустя некоторое время после грустной кончины первой жены Шелли он женился на Марии Вольстонкрофт, дочери Виллиама Годвина, автора *«Политического правосудия»*, самого революционного из планов преобразования общества, когда-либо выходившего из-под пера прозаического купца, каким был Годвин, судя по его биографии и переписке в обычных, житейских делах (недавно изданной). Ее мать была знаменитой и одной из первых защитниц прав женщин. Новобрачные путешествовали по Франции и Германии, и впоследствии м-сс Шелли описала это шестинедельное путешествие.

В 1815 г. вышел *«Алястор, или дух одиночества»* Шелли; а в 1817 г. он снова оставил Англию для Женевы. В Швейцарии он познакомился с Байроном, и знакомство это возобновилось во время его пребывания в Италии. В том же году Шелли возвратился на родину и, после короткого пребывания у Лэя Хонта, поселился в Грэйт-Марло, на одном из самых живописных берегов Темзы. Здесь он, несмотря на свое слабое здоровье, выказал в широких размерах свойственную ему благотворительную деятельность, не только в более легких формах раздавания милостыни, но и в частых посещениях больных и неимущих, рискуя усилить симптомы чахотки, принимавшие у него угрожающий характер. Здесь же он создал *«Восстание Ислама»* или, как оно удачнее называлось вначале, *«Леон и Цинта»*. В этой поэме он выражает устами Леона свои гуманные убеждения и симпатии. Обращаясь к

освобожденным нациям, она говорит:

Братья, мы свободны! В вышине небесной
Звезды заблестели чудной красотой;
А под небом рдеют спелые плоды,
Зелены, душисты темные сады;
Ветерочек веет над землей, волнуя
Мимолетным вздохом жатву золотую.
Дремлет зверь и птица сладким мирным сном,
И царит святая тишина кругом.
Спите мирно, звери! Вас, — детей природы, —
Старший брат не губит, как в былые годы;
На пирах не льется свежей крови яд;
Не восходит к небу смрадный дым и чад,
Кровопийц в злодействах наглых обвиняя
И прося пощады. И зараза злая
Нас не оскверняет; не царит в сердцах
Ни тоска, ни злоба, ни безумный страх
Все земные твари в нас нашли защиту,
Приютились ближе, радостны и сыты;
Весело порхает хор лесных певцов,
Дружно льются песни выше облаков;
Вся земля оделась красотой вечной;
Такова работа мысли бесконечной;
Братски потрудились пахарь и поэт,
И мудрец-ученый; всюду — радость, свет;
В городах и селах не слышать проклятья
И голодных стона. Мы свободны, братья!

В 1818 г. Шелли покинул Англию и более не возвращался туда. В это время он написал главную часть своего лучшего произведения, *«Освобожденный Прометей»*, наиболее тщательно отделанной и законченной из его поэм. В 1819 г. в Риме он написал поэму *«Ченчи»*, внушенную ему знаменитым портретом Гвидо Рени, изображающим, как полагали до последнего времени, Беатриксу Ченчи, и распространенным еще во времена поэта преданием об ее жестокой судьбе. За *«Ченчи»* быстро следовали *«Волшебница Атласа»*, *«Адонаис»*, (элегия на смерть Китса) и *«Эллада»*, внушенная поэту его горячим сочувствием грекам, которые вели в то время войну за свою независимость. Из мелких произведений его несравненно по силе вдохновения *«Ода жаворонку»*. Поэт, вместе с «блаженным духом», к которому он обращается, в экстазе стремится «все выше и выше». Читателей, интересующихся другими произведениями Шелли и остальными событиями его уже клонившейся к концу жизни, мы должны отослать к изданию полного собрания его сочинений. Последнее произведение, над которым он работал, было *«Торжество жизни»*, поэма, написанная размером стихов *«Божественной комедии»*. Она обрывается неожиданно знаменательными словами: «Так что же — жизнь? вскричал я».

Подробности смерти Шелли хорошо известны. В одну из своих любимых прогулок на лодке он утонул в бухте Специи. Тело его было выкинуто волнами на берег и, согласно тогдашним постановлениям итальянских правительств в предупреждение эпидемий, оно было сожжено там, где лежало, в присутствии его друзей, Байрона и Тренолея, а прах был собран и погребен на протестантском кладбище в Риме. Здесь не будет лишним привести следующую справедливую характеристику ума и произведений Шелли, данную одним основательным критиком: «Ни один человек не был более поэтом по натуре, чем он, — не стремился так от земли к небу. Шелли был, так сказать, «весь — воображение». Во всех своих поэмах он выставляет на позор порок и безнравственность во всякой форме, и его многочисленные описания любви всегда чисты и утонченны. В них меньше чувственности, чем у многих из лучших английских писателей. Его слава как поэта постоянно расширялась со времени его смерти, и до сих пор еще не достигла своей кульминационной точки. Он был поэтом будущего, — идеального будущего, и потому современники не могли вполне сочувствовать

ему. Его прозвали «поэтом из поэтов» — гордое, но отчасти заслуженное прозвище.

Он твердо верил в конечное торжество добра, в способность человеческого рода к совершенствованию, и вера, эта, пожалуй, наиболее отличала его от других мыслителей. «Он верил, говорит одно авторитетное лицо, имевшее случай хорошо узнать его мысли и чувства, — что стоит только захотеть человеческому роду, чтобы не было зла, — и его не будет. Не мое дело критиковать в этих заметках те аргументы, которые выставляются против этой мысли; я отмечаю только тот факт, что Шелли увлекался ею с полным энтузиазмом. Исходной точкой его мирозерцания было то, что человек способен так усовершенствоваться, чтобы совсем изгнать зло из своей природы и из большей части мира. И образ, который он наиболее любил вызывать, был образ Существа, борющегося с принципом зла, подавляемого не только злыми, но всеми, и даже добрыми, которые ошибочно с читают зло неизбежным условием жизни; образ, полный благодарности, надежды и духа торжества, вытекающего из упования на всепокоряющую силу добра. Таково было убеждение, внушившее Шелли его величайшую поэму, «Освобожденный Прометей».

Одна из главных прелестей его поэзии состоит именно в том, что отталкивает заурядного читателя: «Он любил идеализировать действительность, а этот труд приходится лишь немногим по силам. Мы любим, чтобы наши прихоти возводились в степень страстей, так как это льстит нашему тщеславию; но немногие из нас способны понимать и сочувствовать старанию соединить поклонение идее красоты и добра с любовью к человеческому роду

8

». Небезынтересно ознакомиться и с внешними чертами такой оригинальной личности как Шелли.

«Черты его лица, говорит один из его биографов, не были правильны за исключением, пожалуй, рта; но общее впечатление, которое оно производило, было в высшей степени обаятельно. От него веяло воодушевлением, огнем, энтузиазмом, живым, необыкновенным умом, как ни от одного другого лица. Не менее прекрасна была и печать нравственных свойств, лежавшая в этом лице: мягкости, чуткости, кротости и, в особенности, как ни странно это кажется, той глубокой религиозности, которая характеризует лучшие произведения великих мастеров Флоренции и Рима. Глаза у него были голубые, но темные и лучистые; волосы также темные, но они рано поседели, между тем как лицо до конца сохранило удивительную молодость и не имело морщин. Согласно общему мнению, от него не осталось ни одного схожего портрета. Живописец Молрэди говорил, как уверяют, что он слишком красив, чтобы можно было верно передать его черты. Но, при всей своей красоте, он был обязан своим обаянием скорее неуловимой личной привлекательности, нежели красивыми чертами лица ил грации движений».

Один из его биографов так описывает обаятельность его голоса: «Как вообще бывает у отзывчивых натур, оттенки его голоса гармонировали с предметом его мыслей. Возбуждение делало его звуки резкими и пронзительными. Глубокое чувство, или чувство красоты, понижало его тон до густых оттенков, но тембр был всегда резкий, соответствующий его нервному темпераменту. Это была в высшей степени цельная натура. особенный голос его, меняющийся из минуты в минуту и затрагивающий чувство слушателя с различных сторон, отвечал возвышенным порывам его жизни, его чуткому, изощренному воображению, его звучному, трепещущему жизнью стиху. Такой неземной голос, проникающий в глубь души, мог быть только у того, кто мог подниматься в высочайшие сферы человеческой мысли».

Если физическая характеристика великого учителя или гения внушает естественное любопытство, то тем более должны интересоваться нас нравственные стороны его личности. Мы уже упоминали о чрезвычайно приятном характере творца «Ченчи» и «Освобожденного Прометея»; дополним это беглый очерк его жизненного пути живыми впечатлениями, оставленными им в уме близко знавших друзей. Любовь к правде и ненависть во лжи не ограничивались у него страницами книги и не забывались под мертвящим влиянием житейской суеты, а проникали всю его жизнь, все его разговоры. Мы заимствуем следующую выдержку из предисловия его жены к изданному ею собранию его сочинений:

«Качества, которые располагали к Шелли каждого нового человека, были, во-первых, сердечная доброта, вдохновлявшая его речи теплотой и сочувствием; во-вторых, искренняя горячность, с которой он относился к делу человеческого счастья и совершенствования, и пылкое красноречие, с которым он говорил об этих предметах. Разговоры его отличались плодотворностью и прекрасным слогом, в который он облачал свои поэтические идеи и философские мысли. Мечтой его было очистить всю мощь своего ума от несчастий и зол, и он посвящал этой мечте всю мощь своего ума, каждое биение своего сердца. Он смотрел на политическую свободу как на прямое средство достигнуть счастья человеческого рода; и всякая новая надежда на расширение этой свободы доставляла ему радость и даже тожество, более глубокое, чем могли бы доставить личные успехи. Те, кто никогда не испытывали действия альтруистических страстей, не могут понять этого, как не могут понять подрастающие молодые поколения той ненависти и тех гонений, которых были предметом несколько лет назад сторонники реформ. По праву происхождения Шелли мог бы пользоваться многими выгодами, но он с презрением отверг их, когда они оказались противоречащими тому, на что он смотрел как на свои обязанности. Он был великодушен до безрассудства, до героизма. Вся его поэзия дышит этими характерными чертами. Борьба за человеческое счастье, непоколебимая готовность к мученичеству, неудержимое стремление к намеченным целям, радость при торжестве добра, решимость никогда не отчаиваться, — таковы главные черты его характера. В высшей степени кроткий и сдержанный в своих манерах, Шелли принужден был почти постоянно бороться с самим собой для подавления своей раздражительности, вернее, возбужденности, и таким образом в свою короткую жизнь испытал больше душевных волнений, чем многие другие, более долговечные люди. Нелегко было ему нести бремя своих чувств и мыслей. Это угадывалось по его истощенному телу; но оживленное лицо и блестящие глаза показывали, какую власть имел он над своей брэнной оболочкой.

Он умер, и мир даже не вздохнул по нем; но его влияние на человечество, мешкавшее обнаружиться, теперь быстро растет. В благотворных политических реформах, произошедших в его стране, мы можем проследить и его горячую борьбу. Он умер, но место его среди тех, кто его знал, навсегда осталось незанятым. Подобно духу добра, он оставался с ними, чтобы ободрять и благодетельствовать, — чтобы освещать их жизнь лучами своего гения и скрашивать ее сочувствием и любовью.

LVIII

БАЙРОН

1788-1824

С именем Шелли обыкновенно связывают имя его более популярного современника, Байрона. Оба поэта, как уже раньше замечено, встретились в Швейцарии и вместе прожили некоторое время в Италии в последний год жизни Шелли. Но между ними было мало общего, за исключением гениального таланта и одинакового возмущения против общепринятых законов и обычаев. Впрочем, утверждать, что автор *«Чайльд Гарольда»* вдохновлялся только презрением к человеческому роду, несправедливо. Большая часть его поэм, очевидно, проникнута глубоким убеждением, что зло порождается человеческим себялюбием и глупостью. Но автор *«Освобожденного Прометея»* более всего отличается от своего великого соперника (если можно так назвать Байрона) своей твердой и несокрушимой надеждой на будущее счастье мира. Понятно, что у Байрона вера в важность пищи как главного фактора в порождении добра и зла на земле выражается не так определенно, как у Шелли. Однако и

Байрон в лучшие моменты вдохновения возмущался грубым материализмом английских пиршеств, которыми, как он выражается, «Англия привыкла похваляться, словно выставка обжорства есть достопамятное зрелище»; и мы охотно верим, что он сохранил бы свою первоначальную склонность к безубойной пище, если бы не соблазнился роскошными обедами английского общества. В письме к своей матери, написанном в ранней молодости, он объявляет, что решил отказаться от употребления мяса и уже ощущает плоды этой перемены в более ясном умственном состоянии; и, по-видимому, он доходил иногда в своем воздержании даже до того, что питался одними сухарями да водой.

Вот что пишет о нем его биограф, Томас Мур:

«Так как никому из нас не были известны его особенности в отношении пищи, то наш хозяин оказался в очень затруднительном положении, узнав, что на столе не было ничего, что мог бы есть или пить его благородный гость. Лорд Байрон не хотел касаться ни мяса, ни рыбы, ни вина, а спрошенных им бисквитов и содовой воды, как на грех, не оказалось в запасе. Однако он утверждал, что вполне довольствуется картофелем с уксусом; и из таких незатейливых материалов он ухитрился состряпать себе блюдо вполне по вкусу...

Мы часто, в течение первых месяцев нашего знакомства, обедали вместе одни... Хотя по временам он охотно и в порядочном количестве пил красное вино, но в отношении пищи продолжал держаться своей системы воздержания. По-видимому, *он составил себе понятие, что животная пища имеет какое-то особое влияние на характер*; я помню, как однажды, когда я сидел против него и усердно поедая бифштекс, он после нескольких минут наблюдения надо мной серьезным тоном спросил меня: «Мур, не находишь ли ты, что поедание бифштексов делает тебя свирепым?»

В этих мемуарах о Байроне упоминание о его отвращении к «пище мясников» встречается довольно часто; *в течение большей части своей жизни он, по-видимому, соблюдал в действительности чрезвычайную воздержанность в еде, хотя к рыбе питал далеко не такую антипатию, как к мясу*. Как мы раньше уже заметили, это воздержание от мяса основывалось скорее на физических и умственных, чем нравственных соображениях. Хорошо было бы для Байрона, если бы он, подобно Шелли, *по принципу* воздерживался от грубой пищи и вина. Останься он верен решению, принятому им в молодые годы, нам не пришлось бы оплакивать его слишком хорошо известное половое воздержание. К сожалению, он далеко не так был умерен в питье, как в пище; и этому обстоятельству должно было в значительной мере приписано то, что его воздержание в пище не принесло ему всей той пользы, которую в противном случае следовало бы ожидать.

Замечания автора книги под заглавием «нравственные размышления о положении животных», вышедшей в 1839 году и удостоившейся одобрительного отзыва Шопенгауэра, вполне достойны внимания:

«Многие весьма просвещенные люди в различные периоды своей жизни совершенно переставали есть мясо, и это очень выгодно отражалось на их здоровье. М-р Лорен, слава которого как хирурга хорошо известна, обходился много лет одной растительной пищей. Так же поступали поэты Байрон и Шелли и многие другие знаменитые писатели, которых бы я мог назвать. Д-р Лемб и м-р Ф. Ньютон издали очень дельные сочинения о растительной пище и осудили употребление мяса как способного подрывать организм, медленно отравляя его. Сэр Р. Филипс написал: *«Шестнадцать оснований к воздержанию от мяса животных»*, а в Англии существует даже целое, довольно многочисленное общество, члены которого не едят ничего, имевшего жизнь.

Внимательные исследования, которые мне удалось сделать относительно здоровья всех этих лиц, заставляют меня думать, что растительная пища есть самая естественная для человека. Я испытал на себе ее несомненную пользу. Силы мои увеличились, ум приобрел большую ясность, способность переносить продолжительное напряжение усилилась, и состояние духа стало гораздо лучше, нежели в то время, когда я ел смешанную пищу. Я склонен к мысли, что неудобство, испытываемое некоторыми при ограничении себя одной растительной пищей, лишь временное. Несколько повторных попыток скоро убедят не только в безвредности, но и в приятности такого питания, и конечным результатом опыта будет

отвращение ко вкусу мяса, *под каким бы видом оно ни подавалось*. Кармелиты и другие духовные ордена, питающиеся лишь произведениями растительного царства, живут дольше людей, употребляющих мясо; да и вообще сторонники вегетарианского образа жизни отличаются большей мягкостью нрава, нежели остальные люди. Доказано, что та же *самая площадь земли способна прокормить большее и сильнейшее население растительной, нежели мясной пищей*. Опыт свидетельствует, что у живущих на такой упрощенной диете *соки тела чище, и пищеварительные органы менее подвержены болезням*.

«Все эти факты, взятые вместе, указывают на возможность наступления такого периода в истории цивилизации, когда люди перестанут убивать животных для пищи и будут стараться осуществить представления древних и предсказания Сивиллы о «Золотом веке».

LIX

ФИЛЛИПС

1767-1840

Не подлежит сомнению, что уничтожение боен со всеми прямыми и косвенными их жестокостям логически ведет к признанию необходимости искоренения всякого вида жестокостей и несправедливостей. Эту истину уже семнадцать веков тому назад тщательно доказывали величайшие из проповедников языческой нравственности. Содержание настоящей главы послужит ей веским подтверждением.

Сэр Чарльз Филипс в продолжение всей своей долгой и деятельной карьеры, как общественной и политической, так и литературной, не переставал быть искренним гуманистом, и влияние его на окружающих было всегда благотворно. Филипс бесстрашно выступал на защиту угнетенных против озлобленной и поносившей его толпы, которая систематически противится всяким нововведениям и уклонениям от «проторенных дорожек». Как реформатор тюрем он имеет право на второе место после Говарда.

Жизнь его лучше известна нам, чем жизнь других проповедников безубойной пищи; неизвестно лишь в точности место его рождения. По одним данным, он родился в Лондоне и был сын пивовара; по другим, более достоверным, месторождением его были окрестности Лейчестера, и отец его был фермер.

Для нас более интересно повествование о первом отречении от креофагии. Занятие сельским хозяйством пришлось ему, по-видимому, не по вкусу, и он в очень молодых годах, с согласия своих родителей, отправился искать счастья в столице. Были ли у него какие-нибудь определенные цели, — мы не знаем; но достоверно, что вскоре он впал в такую нужду, что буквально голодал и после короткой борьбы с ней был рад, что ему удалось вернуться домой. Его встретили на ферме как «блудного сына», хотя, к счастью, он имел с ним мало сходства. Закололи в честь его «откормленного тельца», и юноша разделил его со всей семьей. Он только потом узнал, что убитый теленок был его любимец, товарищ его детских игр. Чувствительный от природы, он был так возмущен этим фактом, что дал обет никогда более не есть мяса. И он остался верен этому решению до конца своей жизни.

Первая профессия, которую он выбрал послу того, будучи еще очень молодым человеком, была педагогическая: он открыл школу. Вывесив флаг у двери дома, в котором он нанял комнату, он начал давать элементарное образование детям, которых поручали ему лейчестерские родители. Опыт оказался не совсем удачным; в конце года Филипс бросил это дело, чтобы искать счастья в другом поприще. Он пустился в торговлю, сначала в очень

скромных размерах. Дело пошло, и следующим его предприятием было основание газеты «*Лейчестерский вестник*», сделавшейся местным либеральным органом. Но в ту пору такая газета считалась революционной. Хотя и сам Филипс пользовался репутацией талантливого политического писателя, но главным столпом газеты был д-р Пристлей, доставивший ей своим именем и своими статьями такую популярность, какой иначе она не могла бы иметь. Ответственному редактору ее не удалось избежать опасности, грозившей в то время всем обличителям судебных и социальных несправедливостей: обвиненный в преступлениях против установленного порядка, Филипс был приговорен к трехлетнему заключению в лейчестерской тюрьме, в продолжение которого он выказал природную доброту своего характера, стараясь облегчить страдания наиболее несчастных из своих товарищей. По освобождении из тюрьмы он продал свою долю участия в газете и отдался на некоторое время исключительно торговым делам. Переселившись из Лейчестера в Лондон, он завел там чулочное заведение, но вскоре превратил его в более подходящую к своим наклонностям книжную лавку. Успех первой его газеты побудил его основать вторую. Посоветовавшись в Пристлеем и другими своими друзьями, он начал издавать «Ежемесячный Журнал», основанный в июле 1795 г. и имевший положительный успех. Около этого времени он вступил в переписку с Фоксом по поводу истории Якова III, которую писал в то время этот знаменитый предводитель партии вигов. Четыре письма к нему Фокса были напечатаны, но в них не заключается ничего особенно важного.

В ту пору Филипс был уже женат. История его брака представляет не один только биографический интерес. При первом своем прибытии в Лондон он нанял комнату у одной модистки. У нее служила мастерицей красивая валлийская девушка, мисс Гриффит, которая, узнав о непобедимом отвращении жильца к мясной пище, взялась сама стряпать для него обед из одних растительных припасов. Такие отношения не замедлили вызвать взаимное сочувствие, которое повело к браку.

В 1807 г. лондонский мещанский совет избрал Филипса председателем своего суда в Сити и в графстве Мидльсекс, и на этом ответственном посту представилась возможность испытать искренность его реформаторских убеждений. Он с честью вышел из этого испытания. В продолжение своей власти он ввел много улучшений в обращении в тюрьмах с действительными или мнимыми преступниками, поступавшими в его ведомство. Всякому, кто читал «Положение тюрем» Говарда, вышедшее на свет за тридцать лет до вступления в должность Филипса, или хотя только общие отчеты о тюрьмах, хорошо известно, что они служили настоящими рассадниками болезней, порока, зол и преступлений всякого рода и вечным позором для современных им правительств и цивилизации. Нельзя сказать, что они заметно улучшились и в 30-летний промежуток времени после выхода книги Говарда.

Новый президент суда ежедневно посещал Ньюгэтскую и Флитскую тюрьмы и, лично ознакомившись с условиями жизни заключенных, успел улучшить их положение во многих отношениях. По его распоряжению, на многих видных местах были выставлены кружки для сбора пожертвований, Ии собранная в них милостыня обращалась на поддержку семейств несостоятельных должников. Далее он потребовал, чтобы лица, обвинение против которых не было доказано, не задерживались в душных и зараженных тюрьмах, а немедленно освобождались.

Свое превосходное письмо к лондонскому мещанскому совету он начинает с воззвания к простому чувству гуманности, которым должны были руководствоваться те, кто стоит у власти. Он напоминает читателям, что «люди слишком верят в правило, будто чувство неуместно в общественных делах и будто общественный деятель должен быть чужд всякой чувствительности. Между политическими и государственными людьми принято думать, будто естественные чувства человека не должны иметь никакого влияния на его политические соображения».

В примечании к этому месту он прибавляет:

«Мне сдается, что все политические ошибки проистекают в значительной мере от этого предвзятого чувства из соображений государственных людей. Наши заключения часто оказываются ложными вследствие неправильного понимания посылок, из которых они

выводятся; чувство же, будучи во многих отношениях синонимом совести, почти всегда право. Государственные люди склонны смотреть на общество, как на машину, отдельные части которой должны исполнять каждая свое дело для прогресса целого. Такое сравнение часто приходится слышать, но оно не совсем удачно. Части этого общественного механизма состоят из живых людей, из которых каждый, как бы ни было скромно его положение, наделен точно такими же чувствами, как и люди наиболее высокопоставленные. Гармония и счастье целого зависят от степени чувства, выражаемого правителями и руководителями:

После этого вступления он разворачивает потрясающую картину тупоумных жестокостей уголовного кодекса и его применителей. Он рисует живыми красками Ньюгэтскую тюрьму в особых ее отделениях для преступников и для несостоятельных должников. Размеры этого здания не превышали 150 ярдов длины на 40 ярдов ширины, и из этой площади всего одна четвертая часть находилась под камерами заключенных. На этом пространстве скопилось до 800 и никогда не менее 500 человеческих существ обоего пола и всех возрастов. Грязь, эпидемии и голод господствовали во всех отделениях, и несостоятельные должники делили, по-видимому, одинаковую участь с преступниками. Заключенные женщины помещались так тесно, что между ними не оставалось ни вершка свободного пространства, когда они ложились спать. Что касается плодов такого пренебрежения со стороны властей, то Филлипс не находит достаточно ярких красок, чтобы изобразить их, и не может надивиться тому, что весь город не делался от этого жертвой эпидемий. С помощью неутомимой энергии ему удалось добиться некоторых преобразований, но предложение его построить новую тюрьму не имело успеха. И вины многих людей, запертых в этих гнездах заразы, были сравнительно маловажны, хотя они делили заключение с крупными преступниками. Филипс взял на себя защиту многих из заключенных, преимущественно женщин, которые, просидев несколько лет в тюрьме, нередко отправлялись в ссылку, которая, кроме других своих ужасов, навек разлучала их с родным домом, с мужем, с семьей. Филипс дважды тщетно обращался с докладной запиской к государственному секретарю, ходатайствуя в их пользу; но традиции и официальная рутина были слишком сильны даже для несокрушимой энергии.

Незадолго перед тем Ромилей внес в палату поправку к варварскому и кровожадному уголовному кодексу Англии. Ричард Филипс обратился с письмом и к нему, указывая на некоторые вопиющие злоупотребления в применении законов, открытые им в бытность свою президентом суда. Он рассказывает, что при министре юстиции Мансфильде и лорд-канцлере Терлоу вешание стало таким обычным делом, что однажды в «вешальный день» он видел девятнадцать повешенных, из которых младшему было всего 22 года. И, по всем вероятностям, большая часть этих несчастных были приговорены к этой варварской смерти только за воровство. Между тем, уже ха триста лет назад, Мор написал свою «Утопию», а за полвека назад Беккария и Вольтер протестовали против чудовищных несправедливостей уголовного законодательства; но все это осталось без действия, по крайней мере, в Англии. Для современников и для ближайшего потомства все это писалось напрасно.

В письме к Ромилей Филипс особенно настаивает на следующих реформах: 1) Никто из заключенных не должен быть заковываем в цепи до суда. 2) Никому не должно отказывать в свиданиях с друзьями или с легальными защитниками. 3) Никого нельзя лишать достаточного для пропитания количества ищи (в ту пору 14 унций хлеба в сутки были максимальной мерой для заключенного). 4) как скоро верховный суд признал заключенного невиновным, он должен быть тотчас освобожден. %) Плата тюремщикам, вымогаемая ими даже у самых бедных из заключенных, а также другие непомерные штрафы и поборы должны быть строго преследуемы. 6) Умалишенные арестанты должны быть обязательно отделяемы от остальных. 7) Бедные люди должны пользоваться советами защиты бесплатно.

В 1811 г. Филипс написал «Трактат о власти и обязанностях суда присяжных и об английских уголовных законах». Три года спустя вышли его «Золотые правила для юристов», которые он впоследствии дополнил и издал под заглавием «Золотые правила социальной философии». Книга эта содержит в себе руководство в различных житейских делах для юристов, духовенства, педагогов и прочих лиц, к которым могут относиться заключающиеся в них наставления. В этом произведении Филлипс пространно излагает те начала, на которых основана его несокрушимая вера в вегетарианство. Он приводит следующие основания для безубойного питания:

1. Будучи сам смертен и зная, что жизнь его такой же непрочный и временный дар, как и жизнь всякого другого существа, он не признает за собой никакого превосходства, которое давало бы ему право нарушать наслаждение жизнью другого существа, исключая случаи необходимой самозащиты.
2. Любовь к жизни так очевидно преобладает в каждом живом существе, что лишение жизни безвредного создания или участие в убийстве его противно его (автора) чувствам, как бы ни было, по-видимому, ничтожно это создание.
3. Он чувствует такое же отвращение к мясу вообще, какое чувствуют плотоядные люди к человеческому мясу или к лошадиному, кошачьему, собачьему, — словом, к такому, какое в иных странах люди не привыкли есть.
4. Природа с избытком наделила плодоядных животных сахаристым веществом плодов и корней, мучнистым веществом зерен, семян и стручковых растений и маслянистым веществом стеблей и листьев многочисленных растений.
5. Он чувствует непреодолимое отвращение к принятию в свой желудок мяса или соков мертвых животных организмов.
6. Разрушение механической организации растений не причиняет им страданий и не возмущает нравственного чувства, а между тем растения укрепляют здоровье, силы и дух человека лучше, чем самая обильная мясная пища.
7. В продолжение 30-летнего строгого воздержания от мясной пищи он (автор) ни одного дня не был серьезно болен; физические силы его равнялись силам других людей, если не превосходили их, а дух его твердо выдерживал бесчисленные столкновения с коварством, завистью и различными бесчестными поступками людей.
8. Видя полное отсутствие доброты и кротости у плотоядных животных, например, у гиены, тигра, коршуна, орла, крокодила, акулы, он находит, что эти лютые хищники отнюдь не достойны служить примером или оправданием для разумных, мыслящих, одаренных совестью людей.
9. Плотоядные люди, не обуздываемые ни чувством, ни размышлением, поступают со своими жертвами даже более жестоко, чем самые лютые звери, умерщвляя их медленным кровопусканием, сдирая с живых шкуру, жаря или варя их живыми, тираня их без зазрения совести, лишь бы удовлетворить свое прихотливое обжорство тонкими и разнообразными блюдами.
10. Убийство живых существ так противно природе человека, что немногие из мужчин и женщин могли бы есть тех животных, которых они были бы вынуждены сами убивать; а между тем, лакомясь останками убитого животного, они забывают или делают вид, что забывают о его привязанности к жизни и предсмертные страдания.
11. Животная пища так противна природе человека, что немногие могли бы употреблять ее, если бы она не была замаскирована и приправлена кулинарным искусством. И, однако, всякое разумное существо должно бы понимать, что, как бы ни была приготовлена эта пища, сущность ее от этого не изменяется, и никакие приправы не могут скрасить того, что само по себе отвратительно.
12. 47 миллионов акров земли в Англии и Валлисе могли бы дать обильное пропитание такому же числу жителей, если бы последние питались исключительно зерном, фруктами и овощами, тогда как теперь, при мясоедении, эта площадь земли прокармливает всего 12 миллионов в 1811, да и то скудно.
13. Убойный скот не представляет сплошной массы пищевого материала, подобно растениям; каждая часть в экономии его тела приспособлена к нуждам исключительно его собственного существования: кровь для жизни, кости для силы, мышцы для движений и нервы для чувства.

14. Обычай убивания и пожирания животных в странах, где природа родит в изобилии растительную пищу, и где искусство огородничества и земледелия пользуется всякими поощрениями и не встречает затруднений в характере почвы и климата, не может оправдываться ни нравственными причинами, ни физической пользой, ни какими бы то ни было другими соображениями.

Едва ли не самое интересное из сочинений Филипса — его *«Утренняя прогулка из Лондона в Кью»*. В этой «прогулке» он пользуется различными предметами, встречающимися ему дорогой, для назидательных бесед. Так, встречая искалеченного на войне ветерана, он распространяется об ужасах и жестокостях войны. При виде лошади, карабкающейся на крутизну, испытывая жестокие муки от неудобной упряжи, он говорит о вседневных формах жестокого человеческого эгоизма; или же сожалеет о пропадающих задаром неисчислимым ресурсам питания, вследствие беспечности землевладельцев и государства, допускающего заполнение земли бесполезными или малополезными парками, вместо разведения на ней полезных плодовых деревьев, сообразно климату и почве.

Следующим важным сочинением его было *«Миллион научных фактов»*. Этот труд, которым Филипс снискал себе, быть может, наибольшую известность, заключает в себе огромную коллекцию идей и фактов, представляющую интерес и до сих пор, несмотря на то, что многие из его утверждений подлежат в настоящее время критике. План этой книги состоял в систематическом подборе сведений по всем отраслям искусств и наук. Это произведение пользовалось такой популярностью, что в семь лет вышло пятью большими изданиями. В предисловии к стереотипному изданию автор говорит, что притязание издать подобный труд было внушено ему продолжительным и непрерывным знакомством с книгами и литераторами. В продолжение 49 лет он служил редактором различных популярных журналов; через его руки вышло из печати несколько сот книг по все отраслям человеческого знания, и он находился в близких отношениях к людям, прославившимся своими литературными трудами. В заметках об анатомии и физиологии приведены у него ссылки на ученых или другие авторитеты по вопросу о мясной пище. В этой же книге встречаются биографические факты, имеющие некоторые интерес. Так, например, автор говорит, что в начале 1825 г. он подал д-ру Биркбеку, а затем, по его совету, и лорду Бруму, первую мысль об учреждении общества распространения полезных знаний. Мысль его состояла в основании фонда для продажи и раздачи книг и трактатов, по примеру общества распространения религиозных книг.

Не менее интересен и следующий его труд, *«Словарь житейских сведений»*. В этом *«Словаре»* в статье о *«Пище»*, говорится:

«Многие считают вопросом вкуса, питаются ли люди мясом или растениями, вопросом личного вкуса, но другие связывают с ним нравственные отношения к животным. Последние, понимая ценность жизни для всего живущего, находят, что даже при равновесии аргументов против того и другого рода пищи, чувство сострадания должно перевешивать... В животных, питающихся исключительно растительной пищей, мы находим все лучшие физические и социальные свойства... Хищные звери трусливы и по необходимости живут одиноко; они боятся даже друг друга. Физиологи, будучи сами плотоядны, смотрят на этот вопрос с различных точек зрения, но никак не с *нравственной*.

Хотя всем известно, что индусы и восточные народы питаются почти исключительно рисом, что ирландские и шотландские крестьяне питаются картофелем и овсяной мукой, и что вообще бедные земледельческие классы всех стран употребляют такую пищу, какой один акр земли приносит в десять раз более, чем мяса, и пользуются при этом крепким здоровьем и долговечностью, — тем не менее, люди продолжают измышлять бесконечные софизмы в доказательство мнимой необходимости убивать и пожирать животных.

Автор этой книги, двенадцати лет от роду, случайно увидел варварства лондонской бойни, и это зрелище так поразило его, что вскоре после того он перестал есть мясо. Невзирая на зловещие предсказания окружающих, здоровье его нимало не страдало от того, что он продолжал держаться этого правила; и теперь, в 66 лет, он легче выдерживает физическое и умственное утомление, недели все другие люди его возраста. Он приводит в пример самого

себя, потому что в такой плотоядной стране как Англия подобные случаи редки, в особенности в тех классах общества, среди которых он привык жить... Он не воздерживается по принципу ни от каких растительных лакомств, ни от спиртных напитков; но всякая побрякка себе в отношении последних (спешит он прибавить) требует корректива в виде углекислой соды. Автор всегда чувствует себя здоровее, когда пьет одну воду, и то же утверждают все те, кто последовал его примеру».

Под рубрикой «Земледелие» автор замечает, что «один фунт мяса, съедаемого человеком, *равноценен* 6 фун. пшеницы или 120 фунтам картофеля. Вот в каких размерах тратится национальное богатство страны!

Филипс составил и издал множество учебников; он сообщает, что все элементарные научные руководства, вышедшие между 1798 и 1815 под именем Гольдсмита, Блэра и другими, были его произведениями. Но деятельность его не ограничивалась литературной сферой; его сильно занимали также научные изобретения и механика. В предупреждение огромных затрат на устройство железнодорожных дамб и на снесение улиц он предлагал воздушные железные дороги на десять футов выше кровель домов с уклонами от 20° до 30° и с запасными локомотивами для содействия подъему и спуску на каждом конце. Таким образом, утверждал он, можно было бы проезжать над городами по прямой линии, спускаясь или поднимаясь на промежуточных пунктах. Этим смелым и гениальным планом Филипс предвосхитил идею нью-йоркских воздушных дорог, хотя даже и они не достигли той высоты, какую он считал желательной.

Он интересовался также и пароходством, и находился в частых сношениях с Фультоном в бытность его в Англии. Вечером, после первой поездки свой по Гудзонову заливу, Фультон написал своему другу, в Англию торжествующее письмо. Оно было показано графу Стэпгопу и некоторым знаменитым инженерам, которые отнесли к нему с насмешками, как к баснословному вымыслу. Тогда Филипс опубликовал объявление, приглашающее к составлению акционерного общества для воспроизведения на Темзе того, что стало совершившимся фактом на американских реках. Затратив на эти объявления большую сумму денег, он привлек только двух подписчиков, внесших по десять фунтов. Тогда он напечатал в своем журнале, со своими комментариями, письма Фультона, за что почти все укоряли его в легковерии. Здесь нелишне упомянуть, что в первую поездку парохода их Кляйды по Темзе единственными пассажирами, у которых хватило храбрости сделать этот пробный путь, были Филипс с тремя лицами из его семьи и всего пять или шесть других пассажиров. Чтобы успокоить страх публики, он разослал в газеты письмо, и в то же лето видел, как на том же самом пароходе отчалило 350 пассажиров.

В 1840, в год, следовавший за последним изданием его самой популярной книги, он умер в Брайтоне на 73-м году своей жизни. Если в продолжение своей деятельной карьеры он нажил себе своей реформаторской энергией много врагов и клеветников, зато, с другой стороны, приобрел и немало верных друзей и приверженцев своих гуманных идей.

LX

ЛАМАРТИН

1790-1869

Аристократ по происхождению, носивший фамилию Дю-Пра, Ламартин получил образование в гимназии, управляемой душховенством, и рано всосал в себя принципы, совершенно не схожие с принципами его великого современника Мишле. К счастью, природа наделила его мать редкой возвышенностью чувств и гуманностью и, вероятно, ее пример и наставления вложили в него семена тех возвышенных идей, которыми характеризовалась большая часть его сочинений в зрелые годы. Еще при первой империи он поступил на военную службу, но вскоре вышел из армии и в свободное время предавался любимому удовольствию — путешествиям.

В 1820 г. вышло первое его произведение, «Поэтические думы», которое в четыре года разошлось в количестве 45000 экземпляров. Партия реакции приветствовала нового поэта как литературную надежду своего направления, поборника церкви и монархии, способного

уравновесить политическое влияние поэта революции, Беранже. Гюго в ту пору еще не выступил. Тем не менее, этот томик замечательных стихотворений с великим трудом проложил себе дорогу в печать.

«Молодой человек, пишет один из его биографов, только что оправившийся от тяжелой болезни, с бледным, страдальческим лицом, на котором читалась грусть от недавней потери любимого существа, переходил от одного издателя к другому, нося небольшой пакет стихов, смоченных его слезами; и отовсюду поэт и его стихи выпроваживались с вежливым поклоном, наконец, один более умный книгопродавец или, может быть, подкупленный обаятельной наружностью молодого поэта, решил принять злополучную рукопись. Меланхолическая красота их слога и мелодия рифмы не замедлили обратить на них внимание всех читателей со вкусом и чувством, не исключая тех, которым были противны его политические предрассудки. Рифма его была «полна небесной мелодии, стих гибок, звучен, равномерен; он мягки вибрирует, подобно Эоловой арфе, под дыханием вечернего ветерка».

Надо полагать, что скорее политические, чем поэтические заслуги расположили в его пользу правительство Людовика XVIII и доставили ему дипломатический пост во Флоренции, который он занимал до династического переворота 1830 г. Он служил также короткое время секретарем французского посольства в Лондоне, где познакомился с богатой англичанкой, на которой женился впоследствии во Флоренции. Значительное наследство после дяди, оставленное ему под условием принятия фамилии Ламартина, еще более обогатило его.

В 1829 г. вышел сборник его стихотворений под заглавием «Поэтические и духовные созвучия». Главной чертой их, как и всех его первых произведений, является преданность церкви и монархии. Переворот 1830 г. значительно изменил его политические и религиозные взгляды. «Я желал бы вступить в ряды народа, делал бы думать, говорить, действовать и бороться, как он», говорит он в этот переходный период своей деятельности. Одним из первых доказательств его новых, прогрессивных убеждений была брошюра, требовавшая отмены смертной казни. При Луи-Филиппе Ламартину не удалось пройти в палату депутатов, быть может, вследствие этой брошюры или же вследствие его политического прошлого. Он посвящал свои вынужденные досуги путешествиями и в 1832 г., вместе с женой и маленькой дочерью (которая умерла во время путешествия в Бейруте, к неутешному горю своего отца) отплыл на Восток на корабле, оснащенном и вооруженном на его собственные средства. Описание этого путешествия мы находим в его «Путешествии по Востоку». В следующем году вышел его «Жослин» — поэма, полная невыразимой нежности и красоты слога, а немного спустя — «Падший ангел», в которой он впервые выражает свое возмущение против варварства бойни. В этой поразительно оригинальной поэмы одной из самых замечательных в своем роде в литературе всех языков, Ламартин сознается, что он не смотрит более на человеческие учреждения, на общественное мнение и на освященные временем обычаи народов сквозь розовые очки традиционных предрассудков. Оно проникнуто глубоким сознанием несправедливости и ложности многих из тех вещей, которые допускаются и даже одобряются церковными и общественными законами и полно пылкого негодования против жестокости и эгоизма. В этой поэме, в отталкивающем описании древних тиранов земли, спасшихся от всеобщего потопа, слышится протест против возмущенного автора. Один из представителей более гуманной расы обращается к прекрасной героине, Даиде, в следующих словах, которые мы переводим прозой:

«Эти люди для утоления своего голода не довольствуются теми плодами, которыми Бог их окружил. Посредством такого преступления перед Богом, от которого содрогается природа, они ищут еще другой пищи — в крови, которая течет ручьями в их смрадном городе! Раскромсанные трупы так выставляются напоказ. *Они волокут за ноги невинную овцу, вскормленную их же руками, и безжалостно режут ее пред глазами ягненка. Они наслаждаются ее мясом, смертью питая жизнь...* Постоянно пропитанные жестокой пищей, они лишаются всякой жалости, и сердце их развращается. И глаз их, видом этих постоянных преступлений приученный к преступлениям, наслаждается кровью и убийством невинного *Они оттачивают железные стрелы и кинжалы, считая умнее убивать великим искусством: резня в крупных размерах называется «победой», и «слава» пишется кровавыми буквами».*

Отшельник читает Даиде и ее небесному спутнику следующие строки из «Книги мудрости», будто бы ниспосланной людям в самые первобытные времена:

Страницы вдохновенные читая,
Не говорите, люди, что сам Бог,
В уста избранных слова свои влагая,
Святую книгу эту написать помог...
Слова его живут в созвучьях песни вечной:
Они начертаны на синеве небес,
И выше в бездне, полной тайны и чудес,
Там, где огни миров роятся бесконечно.
Одна лишь Книга есть, где Он Своей рукой
Нетленными чертами Имя пресвятое
Предвечно написал, — то дух бессмертный твой,
Твой разум, — человек! Лишь он над темнотою
Твоей всегда царит, в нем — искра божества,
Премудрости Его живое отраженье,
В нем, — говорит Он с вами.
Уст плотские слова
Все только искажают Вышнего внушенья!»

В следующем отрывке ясно слышится божественный голос совести и разума

12

:
«Не поднимай руки против брата твоего и не проливай крови никаких живых существ, населяющих землю, — ни людей, ни домашних животных, ни зверей, ни птиц: *в глубине твоей души вещей голос тебе запрещает ее проливать*, ибо кровь это жизнь, а жизнь ты не можешь вернуть. Питайся только хлебными злаками, покрывающими твои поля, и рисом, растущим на берегах твоих рек, — пищей, ежегодно для тебя возобновляемой, — кореньями, плодами и всеми теми дарами природы, которые как бы само напрашиваются тебе в пищу».

Человеку не только внушается воздержание от убийства остальных живых существ, но и предписывается ему уважение к ним и забота о развитии их незрелого сознания:

«Вступайте в единение даже с животными: ибо Бог, сотворивший их, желает, чтобы человек их любил. Каждое из них наделено своей, большей или меньшей долей разума и души, — признайте это. Во взгляде их просвечивают смутные проблески разума. Не душите этот зародыш просветления, предвозвестника света и бессмертия. Уважайте его. Цепь из тысяч звеньев соединяет человека с насекомым: не разрывайте этих звеньев, ни ближайшее к вам, ни дальнейшее, ни промежуточные, — ибо все они связаны с Богом!»

Из этого разумного представления неизбежно вытекают и практические выводы:

«Не оскорбляйте же животных гневными покриками, не угощайте их ударами кнута; не отнимайте у их детей материнского молока ради удовлетворения ваших собственных appetитов; не сажайте их на цепь, вызывающую в них трусливость и злость; не уродуйте их ртов жестокими уздечками; не давите их чрезмерным бременем. Поймите их природу, облегчайте их участь. *Связь между вами, люди, и ими — да не будет убийство*. Применяйте их способности к наилучшим целям, ссудите им частичку вашего разума. Смягчайте их инстинкты кротким обращением с ними; будьте посредниками между всеми ими... *Прекраснейший дар человека есть милосердие*».

Соответственно такому справедливому отношению к низшим тварям, определяется и отношение людей между собой и — к земле:

«Не устанавливайте между собой подразделений на расы, племена, народности и нации...

Не обрывайте ветки вместе с плодом: *слава — руке сеющей; позор — руке губящей!* Не оставляйте земли голой и безжизненной, ибо предки ваши застали ее одетой Самим Богом. Пусть те, кто впоследствии пойдут по вашим следам, — проходят в свою очередь, благословляя своих предшественников. Любите землю, как вашу мать, пользуйтесь временным солнечным светом...

Благодаря непостижимой тайте, человек, обрабатывая землю, делает ее плодородной. Милости ее неистощимы, и всех, кого она на себе носит, она в состоянии прокормить...

Помогайте друг другу во всех ваших нуждах и затруднениях; взаимно будьте друг для друга детьми, отцами и матерями. *Бремя каждого пусть будет общим бременем, и милосердие да будет вашим законом.* В вашей тени пусть отдыхает прохожий; оставляйте хлеб на вашем пороге для голодного ближнего. На ветвях всегда оставляйте несколько плодов для того, чтобы странник мог ими воспользоваться. *Не накапливайте себе больших запасов, ибо для вас земля ежегодно оплодотворяется.* И Бог, ниспосылающий дождь и оживляющий землю, хорошо знает числе приглашенных к земной трапезе».

В аристократическом мире «*Падший ангел*» был принят далеко не так одобрительно, как принимались более ранние и менее самобытные произведения этого поэта.

Ламартин был избран легитимистической партией в палату депутатов. Он занял место среди выдающихся политических вождей того времени в качестве прогрессивного консерватора, в котором уважение к старине смешивалось с некоторого рода философским демократизмом. Он часто говорил в палате о социальных и философских вопросах. В 1838 г. он сделался депутатом от Макона, своего родного горда. При Орлеанском правительстве он отказывался от официальных должностей из несочувствия к правлению Гизо и буржуазного короля; а в 1845 г. открыто присоединился к либеральной оппозиции. Его «*История жирондистов*» (1847), без сомнения, отчасти содействовала изгнанию Орлеанской династии в следующем году.

В сценах февральской революции 1848 г. Ламартин занимал видное положение посредника между двумя враждебными лагерями, и в сохранение трехцветного знамени вместо красного приписывается его влиянию. Будучи избран членом временного правительства, он сделался республиканским министром иностранных дел, и в этом качестве издал свой знаменитый «*Манифест к Европе*». Однако, несмотря на то, что он был избран в учредительное собрание десятью департаментами и сделался одним из пятерых членов исполнительной комиссии, популярность его была скоротечна. При всем его, по-видимому, искреннем сочувствии делу угнетенных, традиционные понятия и фамильные связи (достаточно обнаруживающиеся в «*Мемуарах*») мешали его политической карьере; компромиссы, на которые он шел, возбуждали недоверие более передовых политических реформаторов. Вместе с Луи-Наполеоном и Кавэньяком, он был выставлен кандидатом в президенты, но получил мало голосов. С этого времени он сошел с политической арены и весь отдался литературе. Его «*История революции*», «*История реставрации*», «*История России*», «*История Турции*», «*Рафаэль*» (история его детства и юности), другая его автобиография, «*Доверчивые беседы*», самое интересное из его произведений в прозе, и многие другие произведения, большей частью появившиеся в начале в периодических изданиях того времени, свидетельствуют в одно и то же время о разносторонней деятельности его ума. Некоторое время он редактировал газету «*Народный советчик*». В 1860 г. он издал полное собрание своих сочинений в сорока одном томе. Из них, вероятно, наиболее широкой известностью пользуется его «*История жирондистов*». Но для тех, кто умеет ценить истинное благородство души и различать, среди политических и традиционных предрассудков, достоинство возвышенного ума, наиболее интересным и поучительным из его произведений всегда останется «*Падший ангел*», а затем его «*Мемуары*». В «*Доверчивых беседах*» проглядывает природная чувствительность его характера, возмущающаяся против принятой обычаям пищи, — возмущающаяся искренне, хотя, к несчастью, он считал себя вынужденным соображаться с общепринятым, или, вернее, светским варварством. О своем первоначальном воспитании он в этой книге рассказывает:

«В физическом отношении оно вытекало из систем Пифагора и Руссо. Так, например, оно

было основано на величайшей простоте в одежде и на строгом воздержании в пище. Мать моя была убеждена, как и я сам сейчас, что убивать животных с тем, чтобы питаться их мясом и кровью, есть одна из слабостей нашей человеческой природы, навлеченная на нас тяготеющим над человеком проклятием, если не его собственной закостенелой порочностью. Она верила, как и я верю, что обычай ожесточать свое сердце по отношению к самым кротким из животных, наших товарищей, помощников, братьев по труду, и даже по чувству, — что убийство, жажда крови, вид трепещущего мяса, — все это такие явления, которые ведут к огрублению и заглушению лучших инстинктов сердца. Она верила, как и я, лучших инстинктов сердца. Она верила, как и я, что такая пища, хотя, как будто и более возбуждающая, содержит в себе раздражающие и разлагающие начала, которые делают ее вредной и сокращают человеческую жизнь.

В подтверждение этих идей она ссылалась на примеры нравственно чистых и благочестивых народов Индии, которые не употребляют в пищу убоины; — на сильные, закаленные пастушеские племена, и даже на наше собственное земледельческое население, которое несет такие тяжелые труды, ведя самый простой образ жизни, ест мясо не более десяти раз в жизни, а между тем отличается наибольшей долговечностью. Она никогда не позволяла мне есть мясное, пока я не попал в водоворот общественной жизни. Она не прибегала ни к каким доводам, чтобы отвратить меня от мяса, а полагалась на тот присущий нам всем инстинкт, который судит вернее всякой логики. У меня была овечка, подаренная мне одним крестьянином из Милли, и которую я приучил бегать за мной повсюду, подобно самой верной собаке. Мы любили друг друга той первой любовью, которую дети и молодые животные естественно чувствуют друг к другу. Однажды повар сказал моей матери в моем присутствии: «Сударыня, овца откормилась, и мясник пришел за ней; отдать ее ему?» Я вскрикнул и бросился к моей овечке, спрашивая, кто такой мясник, и что он будет делать с овцой. Повар объяснил мне, что это человек, который режет овец, баранов, телят и коров и зарабатывает таким образом деньги. Я не хотел верить этому. Мать моя, уступая моим просьбам, охотно оставила у себя мою любимицу. Спустя несколько дней после того мать взяла меня с собой в город и как будто случайно провела меня через бойню. Я видел так людей с обнаженными и окровавленными руками, сдиравших шкуру с быка. Другие убивали телят и баранов и рубили их еще трепещущие члены. Лужи крови дымились на мостовой. Жалость и ужас заставили меня попросить, чтобы меня увели прочь. Воспоминание об этих страшных и возмутительных сценах, необходимых для приготовления тех блюд, которые подаются на стол, внушило мне отвращение к мясным блюдам и ужас к мясническому ремеслу.

Хотя необходимость согласовываться с общественными обычаями заставляла меня есть то, что едят другие, но я навсегда сохранил сознательное отвращение к мясным блюдам, и мне всегда было трудно смотреть на профессию мясника иначе, как на профессию палача. Таким образом, до двенадцати лет я питался только хлебом, молочными продуктами, овощами и фруктами. Здоровье мое нисколько не страдало от этого, и развитие не шло медленнее, чем у других; быть может, даже именно этой пище я был обязан красотой черт, чуткостью сердца, ясностью ума и кротостью характера, которые я сохраняю и до сих пор»

13

За несколько лет до издания «Падшего ангела» Ламартин с высоты национальной трибуны явился вдохновенным выразителем тогда еще смутного сознания всех наиболее мыслящих людей, что необходимо найти какой-нибудь новый и лучший принцип, чем все, дотоле испытанные, для вдохновения людей и руководства человеческими поступками:

«Я вижу людей, восклицает он, встревоженных нашими непрерывными политическими потрясениями, ждущих, чтобы Провидение послало социальный переворот, ищущих вокруг себя какого-нибудь человека, философа, который провозгласил бы учение, способное покорить себе умы, направить их и подкрепить расшатанный мир. Они надеются, ищут, призывают эту власть, которая должна подчинить их себе по присущему ей праву, как судье и верховному правителю будущего».

Но уже несколькими годами ранее, с той же самой трибуны раздался другой, еще более положительный протест, о котором нельзя не упомянуть, хотя он и оказался тщетным. По поводу обсуждения вопроса о привозе во Францию иностранного скота, один из депутатов, *Александр де-Лаборд*, утверждал, что мясо есть не что иное, как предмет роскоши, и был поддержан двумя или тремя другими мыслящими депутатами, у которых хватило мужества высказать свои убеждения. Нужно заметить, что левая сторона отнеслась к этому гуманному заявлению довольно благоприятно, центр — апатично, правая — насмешливо и враждебно, а министр короля Карла X положил все свое влияние для противодействия гуманным идеям. Таким образом, слабая и последняя общественная попытка во Франции остановить поток материализма оказалась неудачной

1

Едва ли это справедливо в отношении Пифагора и его школы. Нельзя, конечно, не пожалеть, что эти люди не старались распространить учение, имевшее такую жизненную важность для мира, но причины их сдержанности и отчасти умалчиваний уже указаны нами в главе об этом основателе вегетарианства. Словом, они, как впоследствии и «основатели христианства», знали многое, чего современники их были еще не в состоянии усвоить. Притом же, как справедливо замечает Глейзе, сами учителя не обладали таким полным знанием сущности дела, какое стало доступно людям в позднейшие времена.

2

Едва ли нужно прибавлять, что, если слог и красноречие Бюффона безупречны, то нельзя того же сказать о точности его научных сведений. Из многих его ошибок удивительнее всего его утверждение, что анатомическая организация человека соответствует организации плотоядных, — заблуждение, не раз опровергавшееся более учеными физиологами, чем он.

3

В новооткрытых странах не находили решительного господства ни одного рода существ над другими; и это потому, что силы разделены между ними приблизительно равномерно, и сильнейшее животное не есть в то же время и умнейшее, и наиболее ловкое (*Примеч. Глейзе*).

4

На эту интересную и важную сторону вегетарианства читатели могут найти указания у Пэли, Ад. Смита, Ньюэна, Либиха, Грега и других авторитетов.

5

То, что жертвы бойни действительно предчувствуют ожидающую их судьбу, несомненно для всякого, кому случалось видеть партию быков или баранов, пригоняемую к месту бойни. Отчаянные попытки животных вырваться из страшной местности; усилия погонщиков и мясников удержать их и загнать на бойню; случаи, когда жертвы, обезумев от ударов, криков и предчувствия своей судьбы, вырываются и несутся по улицам, опрокидывая перепуганных прохожих, — все это достаточно доказывает, как ложны уверения в бессознательности или равнодушии животных к судьбе, ожидающей их на бойне.

6

Это тем вероятнее, что и теперь уже более двух тысяч лиц различных классов, из которых иные в продолжение 30 или 40 лет строго воздерживаются от мяса, внесены в списки вегетарианского общества в Англии, не говоря уже о, вероятно, большем числе отдельных вегетарианцев, рассеянных по всему королевству и по разным причинам не примкнувшим к этому обществу. А ввиду существования вегетарианских обществ также и в Америке, и в Германии, этот аргумент должен иметь двойной вес.

7

См. книгу Ньютона «Возвращение к природе». Его дети были самыми красивыми и здоровыми созданиями, каких только можно было себе представить. Девушки могли бы служить прекраснейшими моделями для скульптора, и при этом они были ровного и мягкого характера. Кроме всего этого было, без сомнения, разумное воспитание. Из 18000 родившихся детей 7500 умирает до 5-летнего возраста; а сколько из оставшихся в живых становятся несчастными от болезней не прямо смертельных! Употребление мяса вредно отзывается на качестве и количестве материнского молока. На одном острове у берегов Исландии, где нет никакой растительности, дети неизменно умирают от столбняка, не выживая и трех недель; и народонаселение пополняется с материка Макензи. (заметка Шелли)

8

9

Это мнение высказывается местами в его поэмах, как, например, при описании пиршеств и заседающих за ними гостей, причем он удивляется, «как такие тела могли иметь души, или души — такие тела».

10

В этом отношении полезно обратить внимание на слова покойного В. Р. Грега о том, что «количество человеческой жизни, возможной на данной площади, может быть почти бесконечно увеличено заменой мяса растительной пищей», — и на его дальнейшее утверждение, что «данная площадь пшеничного посева прокормит, по крайней мере, вдесятеро большее число людей, чем такое же пространство, употребленное на разведение овец. Обыкновенно считается, что для прокормления взрослого человека нужно около квартера пшеницы в год, а мы знаем, что хорошая земля производит четыре квартера. Но если предположим, что человеку, питающемуся хлебом, потребно два квартера в год, то питающемуся мясом нужно было бы его по 3 фунта в день; между тем хорошо, если акр, отданный для выпаса овец и рогатого скота, даст в среднем более 50 фунтов говядины и баранины (даже у лучшего норфолькского фермера получается кругом по 90 фунт, зато у значительного большинства хозяев Великобритании число это не превышает 20 ф.). На основании этих цифр, 22 акра пастбищ потребовалось бы для прокормления одного взрослого человека, питающегося мясом. Очевидно, что с переходом к растительной пище явилась бы возможность значительного увеличения того количества населения, которое можно было бы прокормить на данной площади».

11

Автор настаивает на том, что, какой бы отдаленной не представлялась *всеобщая* реформа в этом смысле, каждый в отдельности., претендующий на право называться сколько-нибудь культурным или просвещенным человеком, нравственно обязан воздерживаться от санкционирования своими привычками в деле питания возмутительных зверств, «сопряженных с кулинарным искусством и бесчисленных в длинном списке Юнгом в его книге о жестокости».

12

Продолжаем переводить прозой то, что в оригинале изложено стихами (ред).

13

В этой же книге он припоминает некоторые из многих зверств, безнаказанно или даже с согласия учителей совершаемых школьниками над беззащитными жертвами их забав и необузданной жестокости.

14

Вопрос о креофагии и анти-креофагии уже разбирался однажды во французском *институте* в период великой революции 1789 г., т. е. в период всеобщего пробуждения общественной совести, когда и невольничество было впервые публично осуждено. Результат этих прений во французском ученом собрании остался неизвестным, но, как справедливо замечает Глейзе, его не трудно угадать. Из прений об этом предмете в палате депутатов выяснился один любопытный факт, а именно, то, что в 1817 г. в Париже мяса было потреблено на 40000000 фунтов менее, чем в 1780 г. Факт этот может быть объяснен только тем, что обедневшие во время революции богатые классы наиболее потребляющие убойную пищу, сделались по необходимости менее плотоядными.

Ранняя молодость этого наиболее оригинального и талантливого из французских историков протекла среди трудов и лишений. Его отец, бывший печатником и служивший своим ремеслом правительству в эпоху революции (1790-94) несколько лет спустя, во время политической реакции, впал снова в бедность. Опытom прежней жизни в Жюле Мишле бесповоротно выработалось презрение к богатству и роскоши. До шестнадцатилетнего возраста мясо совершенно отсутствовало в его пище, которая была не только самой простой, но и скудной. От природы чуткий и сосредоточенный, возмущаемый грубыми манерами и мелочной тиранией своих товарищей, молодой студент нашел себе друзей в нескольких избранных книгах, из которых наиболее было в то время в ходу *«Подражание Христу»* Фомы Кемпийского. Двадцати четырех лет, получив степень доктора философии, он занял кафедру истории в коллегии Роллена. Его манера изложения, самобытная и полная огня, хотя и грешившая нередко недостатком метода и точности, оказывала на слушателей неотразимое обаяние, и все, кому удавалось слышать его, оставались очарованными его красноречием.

Первым из его главных произведений были *«Очерк к новейшей истории»*, а вскоре после того вышел его перевод знаменитой книги *«Новая наука»* Вико, которого он признавал своим учителем. После июльской революции Мишле получил значительный пост хранителя архивов, занимая который, он мог удобно продолжать подготовительные исследования для своего главного труда, *«Истории Франции»*, выходявшей выпусками через долгие промежутки времени. Первоначально он занимал кафедру в Сорбонне (которой лишил его Гизо, бывший в ту пору министром), а впоследствии ему было предложено занять кафедру истории в Collège de France

В 1847 году его передовые политические убеждения снова лишили его кафедры и средств к жизни, но в следующем году революция возвратила ему и то, и другое. Государственный переворот 1851 г. окончательно устранил его с арены общественной деятельности, по крайней мере, в сфере преподавания, так как Мишле был слишком добросовестен, чтобы принести присягу в верности новой империи. Подобно одному знаменитому писателю нашего времени, он, по принципу, предпочел сам заняться изданием своих сочинений, — поступок, который в связи с непопулярностью его мнений значительно умалил сбыт и распространенность его книг; таким образом, выиграв в независимости действий, историк много проиграл в денежном отношении.

Лишившись, благодаря своей добросовестности, средств к существованию, он уехал из Парижа почти нищим, и последовательно проживал после того сначала в Пиренеях, потом на нормандском берегу. В 1856 г. появилось его сочинение *«Птица»*, написанное, так сказать, кровью его сердца. Быстрая распродажа этого популярнейшего из его произведений доказала, что вкусы читающей публики еще не совсем испортились. В продолжение долгого времени *«Птица»* ежегодно выходила новым изданием и была переведена на все европейские языки. Мы не беремся решать, что более нравилось публике: талантливые ли иллюстрации Джиакамелли или содержание книги и превосходный слог ее изложения; достоверно только то, что она обеспечила известность автора и облегчила его финансовые затруднения. Это произведение Мишле — единственное в своем роде по глубокому сочувствию и любви к своему предмету, вдохновлявших автора; единственное, к которому пернатые, — по крайней мере, не хищные виды их — рассматриваются не только как интересный предмет для колассификатора-естественника, но и как существа, одаренные разумом, некоторым моральным чувством, способностью к глубокой материнской любви, одним словом — душой.

Из остальных его произведений наиболее заслуживает внимания *«Библия человечества»*, характеризующая метод Мишле в разработке исторических и этнографических тем. Несчастья глубоко любимого отечества, опустошительная война, навлеченная на него

ошибками развращенного правительства и естественно повлекшая за собой страшную борьбу страждущего пролетариата, глубоко потрясли маститого поборника человеческих прав. С разбитым сердцем покинул он свое родное пепелище и удалился в Швейцарию, а впоследствии в Италию. Он умер на Гиерских островах, когда ему было уже 77 лет. Тело его, привезенное в Париж для торжественных похорон, было встречено громадной толпой, которая провожала его до кладбища.

В следующей выдержке Мишле определенно высказывается в пользу вегетарианства, хотя и оговаривается, что кровавая пища, быть может, предоставлена человечеству жестоким роком. Конечно, он первый отрекся бы от этой оговорки, если бы имел случай изучить научные основы диетической реформы:

«Эгоистичного, исключительного спасения души, говорит он, не может быть. Человек заслуживает спасения только *через спасение всех*. Низшие животные также имеют свои права перед Богом.

Животная жизнь есть мрачная тайна! Это бесконечный мир мысли и немых страданий! Но, за недостатком речи, эти страдания выражаются слишком явными признаками. Вся природа протестует против варварства человека, который не понимает, унижает, тиранит своих низших братьев.

Эта мысль, написанная мной в 1846 г., часто приходила мне на ум. Нынче, в октябре (1863), на пустынном морском берегу, в последние часы ночи, когда и ветер, и волны словно притихли, я слышал голоса наших смиренных домашних животных. Снизу из-под дома, из темной глубины, доносились до меня эти слабые, жалобные голоса невольников и навеяли на меня глубокую печаль, — не просто меланхолическое настроение, а серьезную, положительную печаль.

Чем дальше подвигается мы в знании, чем глубже проникает в истинный смысл действительности, тем лучше понимает простые, но серьезные вещи, которыми, в увлечении жизни, мы пренебрегали. Жизнь! Смерть! Ежедневные убийства, которые вменяют нам наше питание другими животными, — все эти суровые и горькие вопросы настойчиво преследовали мой ум. Жалкое противоречие! Будем надеяться, что есть другой мир, в котором мы будем избавлены от этого гнусного, жестокого и рокового давления обстоятельств

1

Восхваляя учение индусов к чужой жизни, вменяемое им их священными книгами, Мишле особенно напирал на благодетельные услуги коровы, которой европейцы платят за ее благодеяния такой черной неблагодарностью.

«Воздадим прежде всего должную честь благодетельной кормилице человека — корове, которую он так любит и уважает, и которая дает ему прекрасную пищу, — среднюю между недостаточно питательными растениями и отвратительным мясом».

В своей «Птице» Мишле постоянно проповедует веру, «движущую горами», — веру, считающую возрождение и умиротворение земли целью и призыванием человечества:

«Вера, которую мы носим в сердце и проповедуем на этих страницах, состоит в следующем: человек мирно покорит себе всю землю, когда в свое время поймет, что всякое прирученное им создание, привыкнув к домашней жизни или, по крайней мере к стой степени общительности и дружелюбия, на какую способна его природа, сделается в сто крат полезнее, чем если ему будет перерезано горло. Человек не будет истинным человеком до тех пор, пока не начнет серьезно стремиться к тому, чего ждет от него земля, — к примирению и гармонии всего живущего в природе. Охотьтесь на львов и орлов, если хотите; ведите с ними войну, а не со слабыми и беззащитными».

Мишле неустанно повторяет эту истину, которая точно так же забывается новейшими

себялюбцами и промышленниками, как она забывалась в варварские боевые времена.

«Завоеватели всегда осмеивали кроткое, ласковое обращение с живыми существами; персы, римляне в Египте, европейцы в Индии, французы в Алжире часто обижали и убивали невинных братьев человека, к которым туземцы издревле питали уважение. Камбиз убил священного быка; римлянин убил ибиса, уничтожавшего нечистых пресмыкающихся. А что означал бык? — плодородие страны; а ибис? — ее оздоровление. Уничтожьте этих животных, — и страна делается необитаемой. Если Индия и Египет пережили столько несчастий и сохранили свое плодородие, то этим они обязаны не Нилу или Гангу, а уважению человека к чужой жизни, кротости и доброте человеческого сердца. «Во всем останетесь детьми», — сказал жрец греку Геродоту, и эти слова имеют глубокий смысл.

«Вечными детьми останемся и мы, люди Запада, тонкие и изощренные резонеры, пока не поймем простой и существенной причины вещей. Быть ребенком — значит только отчасти пользоваться жизнью; быть взрослым человеком — значит вполне понимать ее гармонию. Ребенок забавляется, портит, разрушает; он находит удовольствие в разрушении. То же самое делает и наука, находящаяся в детстве. Она не может изучать, не разрушая. Для нее живое существо служит лишь к тому, чтобы его анатомировать. Ни один ученый не вносит в науку того бережного отношения к жизни, за которое природа награждает раскрытием своих тайн».

Подобно Шелли, Мишле верил в бесконечный прогресс посредством торжества гуманных начал, — в постепенное совершенствование мира, которое приведет к тому, что «жало смерти» и страдания будут почти совершенно исключены.

«Отклонить смерть, конечно, невозможно, но мы можем продлить жизнь, можем сделать страдания более редкими, более легкими, даже почти совсем исключить их. Тем лучше, если закоснелое в своих предрассудках старое общество смеется над нашими словами. То же самое было и в те же времена, когда Европа, одичавшая от войн и ограничивавшая все медицинское искусство в одной только хирургии, считая нож единственным лекарством, — смеялась, тем не менее, над юной Америкой, открывшей чудодейственное усыпительное средство, уничтожавшее всякую боль при хирургических операциях».

Не менее горячо восстает Мишле и против охотников, и видит достаточное объяснение слишком распространенной умственной тупости в привычке к убийству и пренебрежению к низшим породам животных...

«Горе неблагодарным! Под этим соловом я подразумеваю толпу охотников, которые, забыв неисчислимую пользу, приносимую нам животными, уничтожают их безвредную жизнь. Страшное проклятие тяготеет над племенем «спортсменов»: *они ничего не могут создать ни в области искусства, ни в области промышленности. Они ничего не прибавили к наследию человеческой расы...* Не верьте мнимой аксиоме, будто из охотников вырабатываются постепенно земледельцы: это не верно, — охотники убивают или умирают. Такова вся их судьба; это доказано опытом. Кто убивал, тот и будет убивать; кто создавал, тот будет создавать.

Потребность в сильных ощущениях присуща каждому человеку от самого рождения, и ребенок, привыкший удовлетворять ее убийством, миниатюрными драмами с жестокостями и коварством, истязаниями беззащитных существ, — такой ребенок не найдет большого удовольствия в мирных и мягких волнениях, вызываемых успехами в труде, в науках, в искусстве все делать для себя. Создавать или разрушать, — таковы два главных удовольствия детства. Процесс создания медленен, труден; процесс разрушения быстр и легок.

Ужасно и отвратительно видеть ребенка, имеющего страсть к «спорту», или мать, поощряющую и восхищающуюся этой страстью к убийству в своем сыне! Эта нежная «чувствительная» женщина не дала бы ему ножа, но дает ружье. Убивай, если хочешь, издали, чтобы не видеть страданий. Такая мать должна была бы похвалиться сына, если бы он стал даже обрывать от скуки крылья у мух или мучить птицу или собаку, когда его запрут в его комнате? Дальновидная мать! Узнает она, но слишком поздно, что значит воспитать в

ребенке злое сердце! Состарившись и одряхлев, покинутая всеми, она в свою очередь натерпитя от грубости и черствости своего сына.

Нам слишком часто приходится наблюдать в детях почти невероятную отупелость. Иные, немногие, впоследствии развиваются, когда ум их уже обогащается опытом и знанием. Но первая свежесть сердца и ума уже никогда не возвращается»

2

Хотя, как мы уже выше заметили, Мишле, очевидно, не имел случая изучать *научных* основ безубойного питания, тем не менее, все его стремления и симпатии были на стороне бескровной пищи. Вместе с Локком, Руссо и многими другими они настаивали на том, чтобы матери не извращали природной склонности детей к той пище, на которую указывает им их неиспорченный инстинкт. В своей вышедшей наибольшим числом изданий книги «Женщина» он излагает в следующих словах правила воспитания молодых девушек:

«Чистота в пище и в образе жизни — прежде всего. Но что следует понимать под ней? То, что молодая девушка должна употреблять пищу, которая свойственна детству, т. е., молочную, как мягкую, успокаивающую и наименее возбуждающую. Если она обедает за общим столом, то надо приучить ее не прикасаться к блюдам, которые для нее, по крайней мере, равняются отраве.

У нас в кухне произошла революция. Мы отказались от умеренной французской кухни, и у нас все более и более входит в обычай грубая и кровавая пища наших соседей, более отвечающая их климату, чем нашему. И хуже всего то, что мы приучаем к ней и наших детей. Странное зрелище! Мать кормит свою дочь, которую только вчера отняла от груди, грубыми мясными блюдами и поит вином! И при такой опасной, возбуждающей диете она еще удивляется, что ее ребенок буянит, капризничает, нервничает. Но кто же виноват в этом, как не она сама? Она не подозревает самого важного: того, что в скороспелой французской расе такая пища прямо способствует раннему пробуждению страстей. Она не только не укрепляет, а волнует и расслабляет. Матери нравится в ее ребенке эта неестественная скороспелость, наследованная от нее же самой. Сама склонная не в меру возбуждаться, она желает, чтобы и ее ребенок был таким же, и, сама того не подозревая, портит свою дочь.

Но все это (неестественно возбуждающие средства) не может быть полезно ей, да и едва ли полезно и вам самой, сударыня! Вы говорите, что не можете ничего съесть, не поделившись в ней. Прекрасно! Так воздержитесь же сами или, по крайней мере, умерьте ваш аппетит к такой пище, которая может быть полезна разве только мужчине, исполняющему тяжелые работы, но не женщине, ведущей спокойную домашнюю жизнь. Для нее эта пища может иметь только роковые последствия, опошляя ее, делая раздражительной или расстраивая ее пищеварение».

LXII

КАУХЕРД

В истории вегетарианства нельзя не упомянуть о жизни и труде учредителей религиозных сект, которые установили в них гуманную пищу как необходимое правило для всех членов.

Виллиам Каухерд, положивший основание секте, называющейся «Библейско-христианской церковью», родился в Кэрнфорте, в 1763 г., и начал свою деятельность преподаванием филологии в Беверлейской богословской коллегии. Переселившись впоследствии в Манчестер, он сделался викарием при ректоре Клоусе, который принял богословскую систему Сведенборга, оставаясь членом господствующей Церкви. К этому же мистическому учению присоединился и Каухерд, бывший, как говорят, единственным их последователем шведского богословия, прочитавшим все его латинские сочинения. Сложив с себя вскоре должность викария, он проповедовал короткое время в сведенборгской молельне, в Петер-Стрите; но, должно быть, не найдя в этом учении той степени свободы мнений и широты

идей, какую ожидал, он решился проповедывать свои личные мнения, не подчиняясь никаким авторитетам. В 1800 г. он построил на собственные средства церковь Христа в Кинг-Стрите, в Сольфорде, первую молельню основанной им церкви

3

. Его необыкновенное красноречие, ум и искренность быстро привлекли к нему многочисленных слушателей. Слогом и содержанием проповеди его напоминали поучения великого константинопольского оратора IV века. Одной из отличительных особенностей внутреннего устройства его церкви было отсутствие сидений. Другим более серьезным отличием было то, что он, согласно учению павликиан, считал обязательным для каждого христианского проповедника добывать себе средства к существованию каким-нибудь «светским» трудом, и поэтому завел у себя школу для интернов, которая разрослась до внушительных размеров. Ему помогали в этом деле ревностные и способные люди, посвященные им впоследствии в духовный сан и сделавшиеся истинно благодетельными проповедниками. Из них заслужили особенную известность Меткальф, Кларк и Счофильд. Следуя примеру своего учителя, двое из них сделались врачами и зарабатывали свой хлеб этой профессией.

В 1809 г. Каухерд формально внес в число основных правил своего учения принцип воздержания от мясной пищи, внушенный ему, по-видимому, «медицинскими аргументами доктора Чайна и гуманными чувствами Сен-Пиерра». Он умер немного лет спустя с отрадной уверенностью, что великое дело возрождения религиозного чувства ради гуманизации мира будет продолжаться после него талантливыми и серьезными учениками.

Не последним из них по известности был *Джозеф Бротертон*, первый член парламента от местечка Сольфорд, которое не могло бы выбрать себе более достойного представителя. При институте Каухерда была основана типография, где был напечатан, после смерти основателя, составленный им сборник разнообразных фактов, иллюстрирующих некоторые места Библии, с придачей к ним его собственных комментариев. По меткому выражению его биографа, эта книга служит прочным памятником его огромной начитанности и разнообразных наблюдений. Путешественники, юристы, поэты, ученые, — все послужили ему в этом объемистом труде, полном интересного и наводящего на размышление материала. Были напечатаны и некоторые из менее важных его произведений. Он был не только ученый богослов, но также химик и астроном и, по его плану, в куполе церкви в Кинш-Стрите были устроены обсерватория и лаборатория. Микроскоп Каухерда до сих пор сохраняется в музее Пиль-Парка. Принадлежавшая ему ценная библиотека, которая одно время была доступна для публики, находится теперь в новой библейско-христианской церкви, в Кросс-Лэне. Эта коллекция свидетельствует об обширном уме того, кто собирал ее для собственного употребления. Библиотека эта служила мастерской, в которой он выработал себе новый образ жизни и новое учение. Он умер в 1816 г. и похоронен возле своей церкви в Кинг-Стрите, в Сольфорде.

LXIII

МЕТКАЛЬФ

1788-1862

Из ближайших учеников основателя новой христианской общины самым деятельным проповедником вегетарианства был Виллиам Меткальф, имя которого мы уже упоминали. Он родился в Артоне, в Вестморленде, получил образование в классической гимназии и начал свою деятельность бухгалтером в Кейли, в Йоркшире. Досуги свои он употреблял на свое умственное развитие посредством чтения и сочинения стихов. Обращенный Каухердом в 1809 г., на 21-м году своей жизни, он отказался от мясной пищи и оставался до конца своей жизни убежденным вегетарианцем. В следующем году он женился на дочери пастора Райта, ректора «Новой церкви» в Кейли, и сделался ее викарием. Жена его, высоко образованная женщина, была, подобно ему, неуклонной вегетарианкой. Как и многие другие реформаторы пищи, юные прозелиты встретили сильную оппозицию со стороны своих родных и друзей, которые старались действовать на них то убеждением, то насмешкой, то, наконец,

медицинским авторитетом. Но молодая чета оставалась непоколебимой в своих убеждениях. «Меня уверяли, — писал в позднейшее время Меткальф, — будто я быстро иду к чахотке, и старались всякими способами заставить вернуться к обычному роду пищи; но все эти попытки остались безуспешными. Иные предсказывали, что я умру через три-четыре месяца; другие, слыша, как я защищаю мой образ жизни, без обвиняков говорили, что я страдаю умственным расстройством, и что меня придется запереть в дом умалишенных, если я буду продолжать отказываться от мясной пищи. Но ничто не помогало. Вместо чахотки я приобрел несколько фунтов веса в первые же недели моего опыта; и вместо того, чтобы умереть через три месяца, — я женился.

Она (жена) вполне разделяет мои взгляды на растительную пищу да и вообще на все важные вопросы жизни и всегда готова защищать их по мере сил. Она старается показать нашим знакомым, когда они навещают нас, что можно прекрасно жить и вкусно питаться, не употребляя в пищу мяса. Так как она отличная стряпуха, то мы никогда не затрудняемся, придумывая наш обед. Мы начали вести хозяйство с января 1810 г., и с тех пор до настоящего времени в доме нашем ни разу не появлялось ни одного фунта мяса, и ни разу не оказали мы поощрения бойням и винным погребам.

Когда Бог благословил всех надеждой на прибавление семьи, нам пришлось сделать новое усилие, чтобы отстоять наши убеждения. Все уверяли нас, что жена моя не выдержит беременности, если не будет принимать *более укрепляющей пищи*; друзья и врачи одинаково настаивали на этом, но мы оставались непоколебимо верными нашим правилам. Доброжелательные советники наши уверяли нас, что ребенок не может достаточно питаться, если мать не будет съедать, хоть раз в день по небольшому куску мяса или по крайней мере выпивать ежедневно по кружке пива. Жена не делала ни того, ни другого, и как она, так и ребенок вышли из испытания совершенно здоровыми».

Биограф, которому принадлежат эти слова, и есть тот самый ребенок, о котором говорится выше. Он писал это воспоминание на 57-м году жизни, ни разу не отведав мясной пищи или каких бы то ни было спиртных напитков и сохраняя до этого возраста цветущее здоровье и ясность духа.

Едва ли нужно прибавлять, что подобные опыты в жизни последователей диетической реформы были нередки.

В 1811 г. Меткальф был приглашен заведовать классическим отделом в академии наук, основанной Каухердом. В том же году он принял духовный сан и, по просьбе фракции, отпавшей от учения Сведенбога (исповедники которого с явной нелогичностью относились к вегетарианству равнодушно и даже неодобрительно), сделался пастором в Эдингеме, в Йоркшире. При помощи одного из его последователей была построена церковь, к которой присоединили удобную школу. Тогда Меткальф, сложив с себя должность vicar при Каухерде, открыл с содействием своих друзей гимназию в Эдингеме.

Но цель его стремлений давно были Соединенные Штаты, сулившие большой успех пропаганде, которой он посвятил свою жизнь. Учитель и тесть его поощрял эти стремления и весной 1817 г. Группа членов Библейско-христианской общины, состоявшая из сорока одного человека, отплыла из Ливерпуля в Филадельфию. В этой группе было двадцать два взрослых человека, в том числе два пастора, Меткальф и Кларк, и девятнадцать детей. Но только часть этой группы устояла против соблазна сообразиться в пище с господствующими обычаями; огромные расстояния, разделившие вожаков от их последователей, сделали почти непреодолимой преградой к общению и единению. Меткальф, поселившись в Филадельфии, сделался учителем, чтобы добывать средства на содержание своей семьи, и в то же время продолжал исполнять свои обязанности пастора по отношению к небольшой группе своих прихожан. Школа, которую он завел, посещалась сыновьями некоторых их видных обывателей и в денежном отношении имела успех, пока не появилась в Филадельфии желтая лихорадка, разогнавшая учеников. Меткальф был поставлен этим в крайне затруднительное положение. У него было много влиятельных друзей, которые во время этого кризиса соблазняли его блистательными обещаниями поддержки, если только он покинет дело пропаганды религии, основанной на началах воздержания и деятельной

благотворительности. Как душевные, так и физические его способности указывали на него как на человека, который сделала бы честь всякому предприятию, и если бы он согласился пожертвовать своими убеждениями ради своей выгоды, то мог бы значительно улучшить свое материальное положение. Но он устоял против всех этих соблазнов.

Он не переставал сеять семена гуманного учения, распространяя их как с церковной, так и со школьной кафедр, а в особенности, через газеты. Но дух нетерпимости и гонения, свойственный эгоистическим учениям и мстительным предрассудкам, далеко не угас еще в великой республике, и (так называемая) «религиозная» печать соединила свои усилия против этого гуманного и свободного учения. Некоторые из его противников не посовестились даже назвать его «еретиком» и «скептиком». На эти клеветы он отвечал молчанием, продолжая защищать в газетах принцип чистой пищи с искусством и энергией. В 1821 г. он издал статью «*О воздержании от мяса животных*», которая быстро разошлась. Тем не менее, в продолжение многих лет миссионерские труды Меткальфа не приносили заметных плодов. В 1830 г. он приобрел двух последователей: д-ра Сильвестра Грехема, который читал в то время лекции «*О трезвости*» и глубоко изучил человеческую физиологию, и д-ра Олькота. Пять лет спустя был основан ежемесячный журнал «*Нравственный реформатор*», который впоследствии переименовал заглавие на «*Библиотеку здоровья*»; а в 1838-39 г. начал выходить в Бостоне «*Грехемский журнал*», и во многих американских городах были основаны ученые общества. Завязалась ученая полемика со ссылками на Библию, и проповеди Меткальфа получили широкое распространение в Соединенных Штатах. Но вся эта полемика не мешала ему думать о своих частных обязанностях, и постоянные труды его в школе, переполненной и плохо вентилируемой, не замедлили отозваться на его здоровье. Он был занят с 8 утра до 10 вечера, постоянно присутствуя как на утренних, так и в вечерних классах, и даже воскресенье не приносило ему отдыха.

Он неутомимо пропагандировал свои принципы в печати. Периодические издания: «*Свободный демократ*» и с 1838 г. «*Утренняя звезда*», печатались в его собственной типографии, причем эта последняя газета, несмотря на обещание поддержки со стороны политических друзей, принесла издателю огромный убыток. Не большим успехом пользовался и другой его орган, «*Вестник трезвости*». Здесь кстати заметить, что несколькими годами ранее, около 1820 г., Меткальф издал брошюру под заглавием «*Обязанность воздержания от всяких опьяняющих напитков*», так что основателю библейско-христианской Церкви в Америке принадлежит заслуга первого систематического провозглашения движения против пьянства.

В 1847 году было основано Английское Вегетарианское Общество, первым президентом которого сделался Джеймс Симпсон. Меткальф немедленно предложил организовать подобное же общество и в Соединенных Штатах. Он вступил в переписку с Грехемом, Олькотом и др., и 15-го мая 1850 г. в Нью-Йорке собрался американский вегетарианский съезд. Здесь встретились многие из сторонников этого дела, совсем не знавшие друг друга (или знакомые только по переписке). Съезд избрал своим президентом Меткальфа, разослал воззвания и составил устав общества. По организации его Олькот был избран президентом, а Меткальф и д-р Тролль — секретарями. В ноябре 1850 г. был основан под редакцией Меткальфа орган этого общества, «*Американский вестник вегетарианства и здоровья*», но регулярно выходить он начал только с 1851 года. В этом же году Меткальф был послан в качестве делегата Английского Вегетарианского Общества и Пенсильванского Общества Мира на международный съезд для договора «о всеобщем мире», который, как надеялись, должен был состояться по случаю всемирной выставки, происходившей в этом году.

Два года спустя Меткальф понес невознаградимую потерю со смертью подруги его жизни, делившей его надежды на возрождение мира. М-с Меткальф умерла на 74-м году жизни, пробыл 44 года строго верной принципу воздержания от мяса. Вся вегетарианская община оплакивала эту потерю.

В издании «*Вестника вегетарианства*» наибольшая часть трудов и издержек лежала на редакторе, и недостаточная поддержка со стороны общины вынудила издателей прекратить журнал. Последний том его вышел в 1854 г. Преемником его сделался впоследствии

«Реформатор здоровья», начавший выходить при более благоприятных обстоятельствах.

В 1855 г. Меткальф получил приглашение на место пастора при главной церкви общины в Сольфорде. Поручив церковь в Филадельфии своему шурина, он отплыл обратно в Англию. Самым достопамятным событием во время пребывания его в этой стране была смерть Бротертонна, двадцать лет служившего представителем Сольфорда в парламенте; вся община искренне оплакивала его как человека, снискавшего себе общую любовь своей благотворной деятельностью. Возвратившись вскоре после того в Америку по настоятельной просьбе своих филадельфийских друзей, он был избран в 1859 г. президентом Американского Вегетарианского Общества на место умершего Олькота, трудам и заслугам которого он отдал должную честь в своем надгробном слове по нем. Сам Меткальф умер в 1862 г. на семьдесят пятом году своей жизни, заболев воспалением легких, вероятно, вследствие чрезмерных трудов. Конец его, как и вся его внутренняя, если не внешняя жизнь, был полон мира и надежды, в лучшем смысле этого слишком условного выражения. Биография его может служить ему лучшей похвалой. Он первый начал систематически проповедовать реформу пищи в Новом Свете, заслужил этим вечную признательность всех истинных сторонников безубойного питания, как в Соединенных Штатах, так и в целом мире. Все, кто знал его лично, столь же любили, как и уважали его, и пресса засвидетельствовала всеобщее горе о потере такого достойного человека.

LXIV

ГРЕХЕМ

1794-1851

Сильвестр Грехем, автор лекций «Наука о человеческой жизни», всегда пользовался большой известностью среди вегетарианцев в Старом и Новом Свете как ученый, подробно разработавший и изложивший физиологические основы вегетарианского учения. Отец его, кончивший курс в Оксфордском университете, эмигрировал в 1818 г. в Бостон. Он был уже, должно быть, в преклонных летах, когда родился в Суффилде, в Коннектикуте его семнадцатый ребенок, Сильвестр. Ребенок был слабый, и жизнь его была сохранена только благодаря методу, рекомендованному Локком: постоянному пребыванию на открытом воздухе. Он прожил несколько лет на ферме своего дяди, где занимался полевыми работами. На двенадцатом году он был направлен в училище в Нью-Йорки, а четырнадцати лет поступил на короткое время в ученье на бумажную фабрику. Он бы красив, умен и одарен воображением. «Наслышавшись о благородных подвигах, говорит он, стремился составить себе громкое имя». Однако плохое здоровье принудило его вернуться в деревню, и на шестнадцатом году у него появились симптомы чахотки. До двадцати лет он испробовал несколько различных профессий, пока не сделался учителем; на этом поприще он имел большой успех, но болезнь его опять принудила его все бросить.

Тридцати двух лет он женился и вскоре после того сделался пастором пресвитерианской церкви. Сильно заинтересованный вопросом об искоренении пьянства, он бы вскоре приглашен читать лекции об этом предмете в Пенсильванском Обществе. В то же время он начал изучать физиологию и сравнительную анатомию, которыми всегда живо интересовался. Эти науки сослужили ему важную службу в его позднейшем походе против мясной пищи. В то же время он познакомился с Меткальфом, который укрепил уже лежавшие в нем зачатки стремления к радикальной реформе пищи.

«Он не замедлил убедиться, говорит один из его биографов, что искоренение пьянства возможно лишь под условием изменения частных и общественных обычаев, располагающих людей к спиртным напиткам. Эту мысль он вскоре применил к медицине и пришел к убеждению, что предупреждение и лечение болезней зависят главным образом от правильного образа жизни и от разумных гигиенических условий. Эти идеи он развил в своем «Опыте о холере» и в курсе лекций, которые он читал в различных частях страны, а затем издал под заглавием «Лекции о науке человеческой жизни». Это сочинение сделалось настольной книгой почти всех вегетарианцев и сторонников гигиенического образа жизни

».

«наука о человеческой жизни» представляет самое толковое и точное из известных руководств в диететике и гигиене, и если грешит чем-нибудь, то разве только излишним многословием, которое объясняется тем, что лекции были напечатаны в том самом виде, в каком они читались устно. Поэтому толковое извлечение, сделанное из них мистером Беккером, явилось очень кстати. Грехем написал также трактат «*О хлебе и хлебопечении*», и «Хлеб Грехема», известен теперь как одна из самых здоровых «опор жизни». Кроме этих практических сочинений, он начал писать в досужное время, незадолго до своей смерти «*Философию священной истории*». Характеристической чертой этого сочинения было, по-видимому, желание привести в гармонию догматы еврейского и христианского священного писания со своими взглядами на физиологию и диететику. Но он успел написать всего один том, который и вышел после его смерти.

Прослеживая историю медицины от самых ранних времен и открывая во всех ее стадиях большой или меньший эмпиризм, Грехем устанавливает причину огромного процента заблуждений ее профессоров в слепом предрассудке, побуждающем их лечить болезни лекарствами, а не предохранительными средствами. Как было в первые невежественные времена, так продолжается и до настоящей минуты, лишь с небольшими существенными изменениями:

«Все старания, говорит он, направляются лишь к тому, чтобы *вылечить* болезнь, а не к тому, чтобы узнать ее причину, словно болезнь напускается на человека какой-нибудь сверхъестественной силой; поэтому до сих пор медицина не сделала ни шага вперед в исследовании законов здоровья и философии болезни.

Медицина по приведении ее в систему, вдалась, подобно религии, в различные суеверия, которые были существенно необходимы для ее прогресса. Поэтому история ее представляет, за немногими исключениями, сплетение невежества и заблуждения, и служит только доказательством отсутствия истинного знания, которое одно могло бы служить основанием просвещенной системы врачевания. Она показывает, вместе с тем, что благородное искусство может быть до такой степени извращено невежеством, суеверием и алчностью людей, что вместо пользы приносит почти один только вред. В новейшее время в анатомии и хирургии почти уже сказано последнее слово, да и физиология также сделала большие успехи. Наука о человеческой жизни изучается с интересом и успехом, но изучается лишь немногими, и даже в наши дни в самой медицинской профессии общее направление противно распространению научных сведений...

В результате, получается то, что люди тратят зря свои жизненные силы, словно они неистощимы; а когда здоровье их расстраивается, они бегут к врачу, но не за тем, чтобы узнать, *каким нарушением законов жизни* они навлекли на себя болезнь, и какими средствами нужно предохранять себя, а затем, чтобы получить лекарства для облегчения своих страданий. Им как будто и в голову не приходит, что они сами виноваты в этих страданиях. При этом, чем более советы врача согласуются с *аппетитами* пациента, тем быстрее растет его популярность, и тем щедрее его вознаграждают.

Таким образом, все общественные требования клонятся к тому, чтобы заставить врача-практиканта ограничиваться терапевтикой, одним лечением болезней. Ничто не поощряет медицинскую братию к изучению *науки жизни*, и, наоборот, почти все, чем можно подкупать людей, поощряет его потворствовать человеческому невежеству и безумию. Если не все врачи становились шарлатанами, то это скорее благодаря личному характеру и нравственному чувству некоторых из них, чем поощрению их обществом к возвышенному взгляду на науку.

Таким образом, как природные, так и приобретенные привычки человека содействуют отклонению его внимания от изучения законов человеческой жизни, и он идет ощупью, или делает из того, что он называет опытом, те выводы, какие ему вздумается сделать. Уже замечено, что люди в своем (так называемом) индуктивном мышлении беспристрастно обманываются и, думая, что они делают свои выводы из фактов и опыта, делают их

просто из смешения истины с ложью. Единственный результат, достигаемый таким неправильным пониманием фактов, есть тот, что заблуждение становится сложнее. Ничего не может быть вреднее для интересов истины такого неправильного понимания фактов; и ни в чем люди не склонны так ошибаться, так неверно истолковывать факты и так плохо усматривать связь между действием и причиной, как в деле жизни, здоровья и болезней человека».

Противники безубойного питания утверждают, что род пищи должен определяться как для народов, так и для отдельных лиц, свойствами климата данной страны и организма каждого человека!

«Нам говорят, продолжает Грехем, что для одних людей полезен жаркий климат, для других — холодный; один организм требует мясной пищи, другой — растительной; что то, что для одного полезно, то для другого яд; что, следовательно, не существует правил в отношении пищи, которые можно было бы применить ко всем обстоятельствам.

Не вникая в обстоятельства, нам указывают на тот факт, что люди невоздержные доживают до старости, как на доказательство того, что невоздержность не вредит долговечности. Путем такой же аргументации люди приходят к ложным заключениям в этом вопросе и по отношению к другим нациям. Если племя, питающееся растительностью, оказывается слабым, ленивым, лишенным мужества и предприимчивости, то все эти недостатки объясняются растительной пищей. Между тем, по ближайшем исследовании оказывается, что действительные причины подобного явления не только не зависят от рода пищи, но, наоборот, даже отчасти умеряются растительной пищей, предохраняющей данное племя от еще худшего расслабления.

Точно также и тот факт, что люди с невоздержными привычками доживают иногда до глубокой старости, не служит доказательством благотворного влияния этих привычек на долговечность. Единственное заключение, которое мы можем вынести из этих примеров, исключительной долговечности, состоит в том, что человеческий организм обладает большим запасом жизненных сил и способен противостоять условиям, влекущим за собой смерть.

Ответа на вопрос, как нужно жить, чтобы пользоваться наилучшим здоровьем и наибольшей долговечностью, следует искать в физиологии. Но на вопросы, как долго может продлить нашу жизнь наиразумнейший способ жизни, не может ответить и физиология. По всем вероятностям, жизнь каждого пожилого человека состояла из хороших и дурных привычек и протекла среди смешанных, благоприятных и неблагоприятных обстоятельств. При всем кажущемся разнообразии в привычках и обстоятельствах жизни каждого человека заключается приблизительно равная с другими сумма благоприятных условий. Одни жили правильнее в одном отношении, другие — в другом. Все, что можно доказать примерами долговечности людей с дурными привычками, — это то, что они обладали большим запасом жизненных сил, без которого тысячи людей на их месте сошли бы в преждевременную могилу.

При другом образе жизни они прожили бы, может быть, и полтора года лет.

Более сильный организм лучше противостоит невыгодным гигиеническим условиям, и то, что убило бы большинство людей, иной может долго выдерживать без заметного вреда для здоровья. Но это можно отнести к особенностям организма, которые встречаются гораздо реже, чем принято думать. Вообще же, человеческий организм бывает одинаков и подчиняется одинаковым законам и правилам жизни; в нем не бывает таких отклонений, которые не уступали бы правильному образу жизни. Поэтому, что хорошо для одного, то хорошо и для всех... Одни рождаются без всяких склонностей к болезням, другие же бывают предрасположены к тому или иному виду болезни; но различие это происходит от причин, которыми человек в состоянии управлять, и может быть устранено разумным образом жизни в продолжение нескольких поколений; словом, человеческий род может быть приведен к такому же однообразию в отношении здоровья и жизни, какое представляют низшие расы».

Согласно с Гуфландом, Флурансом и другими авторитетными учеными, Грехем утверждает, что «физиология не представляет никаких доказательств того, что человеческий организм не

может постепенно возвратиться к природной долговечности человеческого рода. Вышие интересы нашей природы требуют, чтобы молодость длилась как можно дольше. И она может сохраниться, как и сама жизнь, будучи подчинена одинаковым с ней условиям. Если когда-нибудь человеческий организм мог существовать гораздо дольше нынешнего срока человеческой жизни, то этим он был обязан относительной гармонии условий жизни. Жизненные процессы совершались в нем не так быстро и полнее, чем теперь; развитие шло медленнее и правильнее, детство длилось дольше, и переход от юности к зрелому возрасту происходил гораздо позже, чем в настоящее время. Отсюда следует, что если мы желаем долголетия, то можем достигнуть этой цели не иначе, как соображаясь с теми законами, которые делают молодость продолжительнее».

По поводу *всеядности* человека Грехем говорит:

«Прирученный орангутанг легко приучается к мясной пище. Но если этот факт служит доказательством всеядности этого животного, то и лошадь, корова, овца и пр. точно так же всеядны, так как и они тоже легко привыкают есть мясо. Лошади часто выкармливались мясом, а бараны также легко приучались к мясной пище, что отказывались от травы. Все плотоядные могут быть приучены к растительной пище и могут существовать ею с меньшими неудобствами и вырождением, чем травоядные и плодоядные, приученные к мясной пище. Сравнительная анатомия доказывает, что природа создала человека плодоядными и указала ему питаться фруктами, семенами и мучнистыми растениями».

«Нас обманывает возбуждающее или алкогольное свойство мяса, заставляющее считать его наиболее питательным веществом».

«Но коль скоро возбуждение превышает ту меру, которая необходима для правильных отправлений органов, излишек составляет чистую трату жизненных сил в экономии тела, и следующее за тем истощение бывает соразмерно этому излишку. Отсюда происходит то, что, хотя пища, содержащая в себе наибольшую пропорцию возбуждающих элементов, вызывает *чувство* подкрепления, она же ведет и к наибольшему истощению, которое не замечается только благодаря ее возбуждающему свойству, принимаемому потребителями за подкрепляющее... Те же вещества, возбуждающая сила которых только как раз достаточна для того, чтобы привести в действие пищеварительные органы, всего более способствует здоровью организма, делая все его отправления строго соразмерными надобности, безо всякой лишней затраты сил.

В мясе содержится около 35% питательных веществ, тогда как в рисе, пшенице и во многих стручковых (как то: чечевице, горохе и бобах) их содержится от 80 до 95%, а в картофеле 25%. Таким образом, в одном фунте риса содержится более питательных веществ, чем в 2,5 фунтах мяса; в 3 фунтах хлеба — более, чем в 6 фунтах мяса, а в 3 фунтах картофеля — более, чем в 2 фунтах мяса».

Во всех странах земного шара, за исключением самых диких племен, мясом питаются, в сущности, только богатые и правящие классы; для бедных же почти повсюду едва хватает даже растительной пищи.

«Сельское население Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Турции, Греции, Италии, Шотландии, Ирландии, значительной части России и других европейских стран питается почти исключительно растительной пищей. Крестьяне новейшей Греции (как и во времена Перикла) питаются только грубым хлебом и плодами. Во многих частях России мужики наши едят один только грубый черный хлеб с луком и другими овощами, да и в этой пище им приходится быть крайне умеренными, равно как и крестьянам в Греции, Италии и других странах. И тем не менее, люди эти большей частью здоровы, сильны и трудолюбивы. В Германии бедные классы существуют преимущественно ржаным и пшеничным хлебом. У ирландского крестьянства главную пищу составляет картофель, а немногие народы дают более здоровых, сильных и трудолюбивых людей, чем ирландцы, когда они не испорчены спиртными напитками (и, следует прибавить неблагоприятными политическими и общественными условиями). Но алкоголь, опий и пр. (а равно и дурное законодательство) простирают свое пагубное влияние на большую часть мира, и нигде этот бич не ощущается так сильно, как и хижинах бедняков. Когда же бедность, пьянство, вредные гигиенические

условия и пр. порождают болезни, нередко эпидемические, то это объясняют скудной, мало питательной *растительной* пищей народа. Однако, там, где отсутствует влияние спиртных напитков и соблюдается известная степень опрятности, на растительную пищу не взводят таких клевет.

Те части английского и шотландского крестьянства, которая питается ячменным и овсяным хлебом, похлебками, картофелем и другими овощами, и соблюдает в своих привычках умеренность и опрятность, отличается большей выносливостью в труде и более крепким здоровьем, чем все другие классы населения этих стран. *Три четверти* всего человеческого рода во все времена (исключая, быть может, первобытных, хищнических веков) питались растительными продуктами и наслаждались здоровьем, когда этих продуктов было достаточно, и люди вообще жили в нормальных гигиенических условиях».

Вся прошлая и настоящая история человечества слишком ясно говорит, что кровавая пища и человеческая кровожадность всегда шли рука об руку, и что варварский или воинственный характер народа всегда соразмерялся с его плотоядностью. И не одними только своими жестокими обычаями отличаются плотоядные племена:

«Если присмотреться к плотоядным нациям, то, хотя некоторые из них и окажутся сравнительно хорошо сложенными (в тех случаях, когда этому благоприятствуют другие их привычки), но в общем они малорослы и дурно сложены; тогда как народы, питающиеся растительной пищей, в общем бывают гораздо красивее и стройнее, за исключением тех отдельных случаев, когда злоупотребление спиртными напитками или другая неблагоприятные обстоятельства вызывают сравнительную малорослость и уродливость

5

. Совершеннейшие образчики стройности человеческого тела встречаются только между такими племенами, которые не едят мяса и ведут воздержную жизнь.

«Ни один человек из многих тысяч не умирает естественною смертью. Мы называем смерть «насильственной», когда человек умирает от пули или от яда; но если он умирает от болезни, пользуемый врачами, то такая смерть считается «естественной». Но это не точно. Смерть от болезни есть такая же насильственная смерть, как и от пули. Проглотит ли человек мышьяка, всадит ли в себя пулю или разрушить свою жизнь постепенно какими бы то ни было способами, — он все равно умирает насильственной смертью. Только тот умирает естественно, кто, соображаясь с законами природы, не тратил понапрасну своих жизненных сил излишним возбуждением их, а медленно и правильно прошел через различные изменения своей системы до глубокой старости и заснул навек от естественного истощения жизненных сил».

Подобно Флуренсу, Грехем приводит множество примеров долговечности как отдельных лиц, так и целых общин, благодаря растительной пище. Далее он доказывает на основании сравнительной анатомии и физиологии, в особенности устройства зубов и желудка у человека (которое, по удивительному искажению фактов, стараются иногда представить плотоядным), природный плодоядный характер человеческой расы, ссылаясь на мнения Линнея, Кювье, Лоренса, Белля и многих других ученых.

LXV

СТРУВЕ

1805—1870

Германия, имеющая теперь полное право гордиться многочисленностью своих искренних поборников гуманных идей, до девятнадцатого столетия почти ничем не заявила о себе в литературе *гуманной диететики*. Правда, иногда раздавались более или менее смелые протесты таких людей, как Галлер иди Гуфеланд, против ходячих медицинских доктрин и общепринятого образа жизни, но они преследовали скорее гигиенические, чем гуманные цели. Название первого, по времени, сторонника гуманного направления в Германии бесспорно принадлежит автору «*Растительная пища как основа нового мирозерцания*» и

«Странствование Мандараса», жизнь которого, как в политическом, так и в литературном отношении, представляет непрерывную борьбу за торжество справедливости, свободы и истинного прогресса.

Густав фон-Струве родился в Мюнхене, 11-го октября 1805 г. Но отец его, живший здесь в качестве русского министра, вскоре переселился в Штутгарт. Начальное образование он получил в местной гимназии, в которой он пробыл до двенадцатилетнего возраста, а с 1817 по 1822 г. продолжал свои учебные занятия в Карльсруйском лицее. Пройдя в этих двух училищах курс элементарных наук, он поступил сначала в Геттингенский университет, из которого, года через два, перешел в Гейдельбергский. Благодаря четырехлетним усердным занятиям, он с успехом сдал свой первый экзамен и выказал при этом такие блестящие способности, что получил назначение члена при Ольденбургском союзном сейме.

Такое удачное начало сулило ему в будущем самую блестящую дипломатическую карьеру. Его фамильные связи, выдающиеся способности, редкие в таких молодых годах познания, — все заставляло предполагать, что он быстро будет переходить от низшего назначения к высшему и достигнет всевозможных отличий и почестей. Но такой человек, как Струве, разумеется, не мог удовлетвориться перспективой чиновнической службы, ради того только, чтобы самому получить возможность утопать в роскоши в то время, когда народ, содержащий этих чиновников, обременен налогами и задавлен непосильным трудом и всевозможными лишениями. Убедившись, что он создан для совершенно другого рода деятельности, он очень скоро оставил свою должность и уехал из Ольденберга. Оставшись без средств к жизни и без друзей, и разойдясь в то же время со своими родственниками, которые не могли оценить по достоинству его высших стремлений, он поселился сначала в Геттингене (1831 г.), но в следующем году переехал в Иену. Его попытки найти себе постоянные занятия в качестве профессора, учителя или редактора газеты долго оставались бесплодными, потому что на людей с честным и независимым образом мыслей, вообще редко встречающих сочувствие и поддержку, в то время особенно недружелюбно смотрели в Германии все те, кто находился в прямой или косвенной зависимости от двора. Тем не менее, во время своего трехлетнего пребывания в Геттингене и Иене Струве приобрел немало полезных и разнообразных сведений в практической жизни.

В 1833 г. он снова вернулся в Карлсруэ и после продолжительных хлопот и терпеливого ожидания он достиг, наконец, того, к чему стремился (занять такое положение, которое давало бы ему возможность приносить пользу ближнему), и в конце 1836 г. получил место адвоката при верховном суде в Мангейме. Так как его новая служба не поглощала всего его времени, то он мог продолжать свои ученые и философские занятия и попытать свои силы на литературном поприще. Кроме того, он первый открыл бесплатные периодические лекции с целью улучшения быта окружающего его люда. Около этого же времени он написал свой философский роман «Странствование Мандараса», в котором он высказывает не для всех приятные истины. Струве начал принимать деятельное участие в политической жизни с 1845 года

6

. В том же 1845 г. он сделался редактором «Мангеймского журнала» и смело вступил в борьбу за политические и социальные реформы. Он не раз был приговариваем к тюремному заключению и к уплате штрафов, но подобные преследования нимало не утратили этого энергичного защитника притесняемых, и он в большинстве случаев одерживал верх над своими влиятельными врагами.

В начале 1847 г. он приступил к изданию еженедельного периодического журнала «Германский наблюдатель», в котором приводились принципы свободы и братства в настоящем их значении, хотя ненавистные многим слова и не упоминались прямо. Политическая его деятельность в качестве защитника народных прав достаточно известная всему образованному миру

7

. Искренность и благородство убеждений, которыми проникнуты все сочинения автора, и

безукоризненная чистота его стремлений призивались даже наиболее беспристрастными из его политических противников, всегда отзывавшихся о нем с величайшим уважением. Тем не менее, ему едва удалось избежать смерти государственного преступника — *расстрела* по приговору военного суда.

Впоследствии этот горячий, но несчастный патриот вынужден был искать убежища в Англии, откуда он переехал в Соединенные Штаты (1850 г.). Когда вспыхнула отчаянная борьба между северянами и южанами, он тотчас же примкнул к первым и принимал личное участие в нескольких сражениях. В Америке же написано его большое историческое сочинение, а также «*Абеляр и Элоиза*». По возвращении в Европу в 1861 г. он написал в разные периоды два замечательнейшие из своих сочинений: «*Растительная пища как основа нового мирозерцания*» и «*Духовная жизнь, или естественная история человека*». В обоих этих сочинениях автор настойчиво указывает не только на целый ряд страданий, причиняемых самым варварским образом жертвам человеческого желудка, но и на развращающее влияние пищи, добываемой путем насилия и убийства:

«Хотя мы и не привыкли придавать значение тем мыслям и чувствам, которые возбуждаются в нас употребляемой нами пищей, но в общежитии они играют не последнюю роль. Человек, которому ежедневно приходится видеть, как убивают коров и телят, или который сам убивает их, закалывает свиней, потрошит кур, поджаривает еще живую рыбу, едва ли может сильно сочувствовать страданиям существ даже своей собственной породы. Вид отчаянной борьбы животных в ту минуту, когда мясник тащит их за собой, ожесточает его, и он привыкает равнодушно слушать и рев убиваемого быка, и визг истекающей кровью свиньи... Мало того, он может дойти до того., что будет смотреть с дьявольским удовольствием на то, как мучают и убивают животных, и даже будет готов сам убивать их...

Но даже и те, которые не принимают участия в убийстве и не видят, как оно совершается, хорошо знают, каким образом приобретаются мясные кушанья, появляющиеся у них на столе, и, следовательно, не могут не знать также и того, что *удовлетворение их прихотливых appetитов находится в тесной связи со страданием других существ*. По всей вероятности, большинство людей, питающихся мясом, не вникают во все подробности, сопровождающие добывание той пищи, которой они продовольствуются. Но такое легкомыслие — плохое оправдание и может привести их ко всевозможным порокам. Совершенно другого рода мысли и чувства возбуждает растительная пища».

Последние годы своей жизни Струве провел в Вене, и здесь, в августе месяце, 1870 г., этот неутомимый труженик окончил свою столь полезную деятельность. За несколько часов до своей смерти он с усилием проговорил, обращаясь к жене: «Я должен умереть... Эта война... эти столкновения...» Фраза осталась неоконченной. Со смертью Струве человечество лишилось одного из благороднейших своих защитников. Память его всегда будет дорога тем, в ком чувства справедливости и человеколюбия находят живой отголосок.

В романе «*Странствования Мандараса*», фикция которого так не похожа на обычные фикции произведений этого рода, и который проникнут такими возвышенными идеями, — в ярких чертах изображается чувство глубокого отвращения, испытываемое образованным индусом, впервые вошедшим в соприкосновение с варварством европейской цивилизации. Так как этот интересный роман едва ли известен всем нашим читателям, то мы считаем нелишним привести здесь вкратце содержание его.

Герой романа, молодой индус, живущий в одной из уединенных долин Гималайского хребта, по совету отца своей невесты, желающего испытать его, отправляется путешествовать по Европе. Рассказ начинается описанием прибытия корабля на итальянский берег, в Ливорно. Едва путешественник ступил на твердую землю, как к нему подошли две духовные особы, с утонченной любезностью предложившие ему свои услуги обратить его в свою веру. Но эта попытка не привела к желанному результату, потому что наш герой, подобно своему предшественнику Амабеду, узнал во время своего путешествия, что религия народа, посреди которого он находился, не воспрещает такого варварского обычая, о котором он и понятия не имел в своей нехристианской стране.

«Еще на борту корабля я с ужасом увидел, что часть пассажиров питается мясом животных.

«Кто дал нам право убивать животных и есть мясо?» — спросил я у них. Но они ничего не ответили мне и продолжали есть соленое мясо с таким же аппетитом, как и прежде. Признаюсь, я скорее согласился бы умереть с голоду, чем позволил бы себе проглотить хоть один кусок такой пищи. Но это было только начало тех ужасов, которые ожидали меня впереди. Теперь я не могу пройти ни одной улицы без того, чтобы не натолкнуться на трупы убитых животных, висящие целиком или разрезанными на части. Я слышу то и дело раздирающий душу рев и визг жертв, которых тащат на бойню, и вижу их тщетные попытки избежать беспощадного ножа мясника. Когда же я спрашиваю кого-нибудь из окружающих, какое право они имеют убивать животных и пожирать их мясо, то мне или совсем не отвечают, или отделяются пустыми фразами и грубым смехом».

Таким образом, молодой индус, попавший в христианские страны, совершенно неожиданно почувствовал себя в положении не поучаемого, но поучающего. Так, очутившись однажды среди многочисленной публики всех классов, очевидно, торопившейся на какое-то любопытное зрелище, он узнал, что собравшаяся толпа спешит взглянуть на торжественную казнь нескольких преступников, которая будет совершена по всем правилам этого ужасающего церемониала. Посетив большую часть Германии, индус избрал, наконец, Линденбергский университет для своих научных занятий. Здесь он встречается в обществе с одной молодой девушкой Леонорой, дочерью секретаря посольства, которая обращает на себя его внимание своим образованием и возвышенными понятиями. Во время экскурсии, предпринятой гостями отца молодой девушки на морской берег, заходит речь о человеческой пище, причем индус, удивляющий всех присутствующих *эксцентричностью* своих взглядов на вещи, обращается к дамам в надежде, что *в них* он скорее встретит сочувствие к тем принципам, которые он намеревается изложить им.

«Вы, сударыни, конечно, одобрите меня. Неужели вы могли бы убить *своими руками* кроткого ягненка или нежную голубку, с которыми вы, может быть, играли не дальше, как вчера? Вы отвечаете — нет, не так ли? И вы не решитесь даже сказать — да, потому что это значило бы прямо сознаться в черствости своего сердца. А почему вы не можете убивать? Почему вид беззащитного животного, которого ведут на бойню, причиняет вам страдание? Потому что *в глубине вашей души* вы чувствуете, как жестоко и несправедливо убивать беззащитное и невинное создание... Последуйте же побуждениям ваших сердец и перестаньте поощрять убийство невинных созданий, отказавшись от употребления мясной пищи».

Но, к удивлению индуса, «нежный пол» отнесся к его речи не только холодно, но даже с явным неодобрением, и только одна Леонора нашла ее вполне убедительной и заявила, что она постарается последовать его совету. Поощренный ее словами, молодой человек продолжал:

«Уверяю вас, что вам не придется раскаиваться в вашем намерении. Если человек с установившимися уже привычками добровольно подвергает себя какому-нибудь лишению, чтобы избавиться от страдания и смерти живые и чувствующие существа, то он непременно делается мягкосердечнее и добрее. Напротив того, человек, заглушающий в себе чувство сострадания к низшим животным, всегда бывает более или менее жесток также и к существам своей породы. Если человек больно причиняет страдание бессловесным тварям, то ему должно быть еще более заставлять страдать своих братьев — людей».

Но Леонора была редким исключением между европейскими знакомыми индуса, и чем больше он знакомился с христианскими обычаями, тем меньше чувствовал охоту переменить свою религию, которая, скажем кстати, отличалась замечательной возвышенностью принципов. За несколько времени до отъезда его из Линденберга жена секретаря посольства устроила в честь его обед, на котором не было ни одного мясного блюда. Между собравшимися гостями вскоре зашла речь о пище, причем один из присутствовавших на обеде клерикалов вступил с индусом в спор о его принципах. Но едва Мандарас успел изложить главный аргумент своих верований, составляющий самый существенный принцип нравственности, именно то, что несправедливо причинять страдания живому и чувствующему существу, и что оспаривать этот принцип нельзя, *не рискуя пошатнуть самые основы нравственности*, — как со всех сторон раздались возражения. Во главе протестующих

находился доктор медицины, который начал самоуверенно доказывать, что из устройства человеческого организма видно, что людям предназначено питаться мясом. Мандарас, со своей стороны, возразил следующее:

«Человеческий организм, напротив, яснее всего свидетельствует о том, что людям совсем не свойственно питаться мясом. Тигр, лев и вообще все плотоядные животные схватывают свою добычу на бегу или во время плавания или на лету и тут же пожирают ее, разрывая зубами или когтями. Человек же не может набрасываться на других животных таким образом и пожирать их в натуральном виде, разрывая на части... Сверх того, человеком управляют не только одни животные, но и высшие побуждения. Первые приводят его к обжорству, невоздержанию и многим другим порокам. Но Провидение наделило его разумом для того, чтобы он мог воздерживаться от того, что он признает дурным».

Но доктор, вместо того, чтобы признать справедливость этого аргумента, начал еще больше горячиться. «В мире животных, говорил он, все убеждает нас, что низшие организмы предназначены для удовлетворения потребностей высших. Как человек живет на счет слабейших пород, так и те живут на счет еще более слабых, а самые слабые — на счет растений и т. д.».

Индусский философ тщетно старается доказать, что так как сфера деятельности человека шире, чем других животных, то и стремления его должны быть выше, потому что чем шире круг, в котором вращается то или иное существо, тем больше оно имеет возможностей совершенствоваться; — что если мы в одном случае ставим себя на одну доску с плотоядными животными, то почему же нам и в других случаях не признать себя равными с ними и не допустить, что человек по своей природе так же груб, жесток и склонен к убийству, как и дикий зверь; — что разница, замечаемая в наклонностях тигра, гиены и волка с одной стороны и слона, верблюда, лошади и других травоядных с другой ясно свидетельствует о громадном влиянии пищи на ее потребителей, причем сравнение, разумеется, будет не в пользу плотоядных пород; — что человек должен идти по следам не низшего, но высшего разряда животных и пр. и пр.

«Все это прекрасно», — заметила индусу хозяйка дома, «но чем мы, хозяйки, будем угощать своих гостей, если нам придется вычеркнуть из меню все мясные блюда?» — «Тем же, чем наши гималайские хозяйки угощают своих гостей и чем наша хозяйка угощает нас сегодня», — возразил Мандарас. Он приводит и многие другие аргументы и, между прочим, указывает на высокую степень рассудочной способности и даже морального чувства, обнаруживаемую несчастными жертвами человеческой тирании. Слушатели делают всевозможные возражения, но друг слабых и беззащитных красноречиво опровергает их. После продолжительного и горячего спора гости, наконец, разъезжаются по домам.

Во второй части действие происходит в долине Сюти, в гималайском доме Мандараса, где читатель знакомится с его милым семейством. Один молодой немец, Теобальд, путешествующий в этой местности, случайно встречается с отцом Урваси (невесты Мандараса), которого он находит пораженным двойным горем — потерей дочери, не могшей перенести продолжительной разлуки с любимым человеком, и внезапной, как все думали, смертью его нареченного зятя, с которым сделался глубокий обморок, когда он узнал о постигшем его несчастье. Осиротелый старик отправляется вместе с молодым немцем к опечаленной сестре Мандавраса, Дамаянти, которую они застают в обществе ее подруги Сунанды, помогающей ей приготовить гирлянды для украшения гроба мнимо-усопшего. Между европейским путешественником и индусскими дамами завязывается разговор, причем индусски случайно узнают, что их собеседник употребляет в пищу мясо.

Сунанда. Неужели вы принадлежите к числу людей, считающих себя вправе убивать животных и питаться их кровавыми трупами?

Теобальд. В моем отечестве таков общепринятый обычай. А здесь разве мясо не употребляется в пищу?

Дамаянти. Какой странный вопрос! Разве у животных нет чувства, и разве им не дорога жизнь?

Теобальд. Разумеется, дорога. Но они стоят так низко сравнительно с нами, что о взаимных обязанностях между нами не может быть и речи.

Дамаянти. Чем выше занимаемое нами место, тем строже должны мы выполнять вечные законы нравственности и, в особенности, закон любви. Причинять же страдание невинному существу, способному чувствовать его, во всяком случае, отвратительно. Неужели вы считаете позволительным бить собаку и станете смотреть, как она дрожит от боли, или слушать ее жалобный вой?

Теобальд. Конечно, нет. Я тоже держусь того мнения, что мучить животных дурно, потому что мы не находим удовольствия в их страданиях.

Дамаянти. Не должны находить удовольствия — нет, не это холодное равнодушие, но отвращение и негодование — вот что должны мы чувствовать. И если эти чувства будут искренни, то не будет и желания заставлять страдать других ради эгоистических целей. Напротив, если у человека чувство отвращения к тому, что дурно, слабее желания доставить себе то удовольствие, которое ему обещает это дурное, то оно никогда не восторжествует. *Из-за наживы* мясник убивает свою жертву; *из-за гнусного сластолюбия* люди принимают участие в его убийстве и пожирают мясо животного, в котором еще так недавно кипела кровь, бились нервы и играла жизнь!

Теобальд. Может быть, вы и правы. Но все это так ново для меня. Я с самого детства видел, что животных убивают на бойне. Конечно, мне не доставляло удовольствия смотреть на их мучения; напротив, это было положительно неприятно для меня; но я никогда не задумывался о том, имеем ли мы право прибегать к убийству, чтобы доставать себе пищу, потому что до сих пор я не слыхал никаких сомнений на этот счет.

Сунанда. Я, теперь я понимаю, почему в вашей стране люди делаются такими холодными и бессердечными. Конечно, в них должно притупляться всякое нежное чувство всякое доброе побуждение видом ежедневных убийств и проливаемой крови, которой они привыкли питаться. Как я рада, что родилась вдали от таких ужасов! Мне в тысячу раз было бы приятнее умереть, чем жить в такой варварской стране.

Дамаянти. И для меня также жизнь посреди таких возмутительных сцен была бы настоящей пыткой. Но если бы я была мужчиной и обладала даром слова, то стала бы ходить из деревни в деревню, из города в город и объяснять людям, как отвратительно то, что они делают; и мне кажется, что если бы мне удалось пробудить в них искреннее сочувствие к другим живым существам, то я оказала бы человечеству гораздо большую услугу, чем основатели всевозможных религий. Какая польза от такой религии, которая не только допускает убийство, то даже освящает его? Что значит вера без любви? А разве можно назвать любовью такое чувство, которое не простирается на все живые существа без исключения? Конечно, хорошо жить в тихой долине, посреди кроткого и любящего народа; но еще гораздо лучше и достойнее человека следовать высшему его предназначению — бороться за добро против зла и распространять свет везде, где царит мрак. А что такое жизнь без дел? Мы, женщины, не можем и даже не смеем сами пускаться в волны моря житейского, где мы можем натолкнуться на грубых и неразвитых людей, но, по крайней мере, мы должны стараться возбуждать сочувствие ко всему доброму, истинному и прекрасному, отличая только тех мужчин, которые воодушевлены возвышенными стремлениями, и выбирая себе в спутники жизни такого человека, который заслуживает уважение своей благородной деятельностью.

Затем следует повествование о том, как мнимо-умерший герой романа ожил к общей радости, и как семья снова зажила мирно и счастливо, а молодой немец, оставшийся с ними, скоро совсем освоился с образом жизни своих новых друзей. Они занимались разнообразными полевыми и садовыми работами, а свободное от трудов время проводили в интересных беседах, в которых выказывался их ум и склонность к глубоким и серьезным размышлениям, причем младшие члены кружка руководились более зрелыми мнениями и житейским опытом находящегося между ними почтенного старца. Не раз заходила также речь об отношениях между человеческой и нечеловеческой породами, и во время одной из

таких бесед индуcский философ, между прочим, заметил, что «до тех пор, пока прочие животные будут исключены из круга духовной жизни, в котором признаются общие права и обязанности, люди не сделают ни шага вперед на пути к нравственному совершенствованию; пока они не перестанут, без малейшего угрызения совести, поддерживать свою жизнь за счет жизни других существ, с них не спадут забрызганные кровью цепи, заставляющие их влачить низменное существование».

Наконец, настает день разлуки, так как Мандарас решил вернуться в Германию, представляющую более широкое поле для его деятельности, чем гималайские долины; к этому его побуждает также открытие неизвестного ему до сих пор обстоятельства, что его мать была немка. Как ни тяжело ему расстаться с любимыми друзьями, но он признает силу их аргументов и, простившись еще раз со своими мирными долинами, опять отправляется в шумные европейские города. Корабль, на котором он плыл, потерпел крушение, причем он спас от смерти мать с ребенком, пожертвовав ради этого тем, что было для него дороже всего на свете — шкатулкой, в которой хранилось все, что ему осталось на память от его возлюбленной Урваси. Наконец, он снова очутился в Ливорно, где встретился со своими старыми знакомыми, по-прежнему проповедовавшими о необходимости просвещения «язычников» и совсем не подозревавшими, как сильно они сами нуждаются в просвещении. По смерти престарелого отца, Дамаянти отправляется к брату в Германию, в сопровождении своей прелестной подруги Сунанды и ее поклонника Теобальда, который все время оставался со своими индуcскими друзьями. Но по приезде в тот город, в котором они рассчитывали найти Мандараса, они, к великому своему горю, узнали, что он умер. Бедняк потерял свой паспорт и был посажен в тюрьму как подозрительная личность, и так как здесь ему не давали почти никакой пищи, кроме мяса, которое он отказывался есть, то он умер как настоящий мученик, оставшись верным своим убеждениям до последней минуты жизни. Друзьям умершего стоило немалых трудов разыскать его последние литературные заметки, составленные в форме писем к сестре, в которых он выражает непоколебимую уверенность в том, что мир ожидает лучшая будущность. В конце мемуаров приложено несколько коротеньких поэм, по своему направлению вполне достойных автора «Мандараса». Так оканчивается этот интересный роман, который по искренности чувства и глубине проводимой в нем идеи смело можно поставить в один ряд с «Приключениями Телемака» Фенелона или «Павлом и Виргинией» Бернардена-де-Сент-Пьера.

Мы отвели так много места «Странствованиями Мандараса», что не можем позволить себе сделать более одной или двух выписок из других выдающихся сочинений Струве. Его «Растительная пища», быть может, наиболее известное из его сочинений, так как оно представляет самое полное изложение его воззрений на человеческую диететику, появилось в 1869 году. В этом ученом труде вегетарианство подвергается самому многостороннему обсуждению и рассматривается с точки зрения социологии, воспитания, справедливости, теологии, искусства и науки, естественной экономии, здоровья, воинственности, истинного современного материализма, смягчения нравов и пр. В отделе растительной пищи, рассматриваемой со стороны национальной экономии, автор высказывает соображения такого рода:

«Каждый шаг от низшего положения к высшему сопряжен со значительными затруднениями, которые особенно сильно дают себя чувствовать, когда приходится вести борьбу с обычаями, освященными давностью времени. Но если бы род человеческий не мог подвигаться вперед, то для него невозможны были бы и переходы от язычества к христианству, от хищнической жизни к земледельческой и от варварского состояния к известного рода цивилизации. Разумеется, все подобные шаги сопровождались упорной борьбой, которая была бедствием для тысяч и благодеянием для миллионов. Точно так же и отмена мясной пищи не может произойти беспрепятственно, потому что громадное большинство людей крепко держится за старые предрассудки. Они борются иногда с бессмысленным ожесточением против просвещения и здравого смысла и нередко задерживают на целые столетия принятие новой идеи, которая может принести огромную пользу людям.

Поэтому, протестуя против употребления мясной пищи и указывая на преимущества растительной, мы никак не должны удивляться тому, что наши воззрения на этот вопрос встречают ярое сопротивление. Но польза, которую может принести человечеству

рекомендуемая нами пища, так очевидно, что мы несколько не сомневаемся в том, что наше мнение, в конце концов, восторжествует.

Конечно, современная политическая экономия будет потрясена до основания переходом от мясной пищи к растительной; но то же самое случилось, когда люди начали заниматься земледелием, и охотникам стало не хватать дичи. Люди должны стряхнуть с себя остатки варварства. Разумеется, все варварское и полуварварское будет противиться этому с упорным и грубым эгоизмом. Но реформа пищи приведет к тому, что то самое пространство земли, которое в настоящее время обеспечивает существование только одного человека, при других условиях будет обеспечивать пятерых. Даже Либих признает, что мясная пища обходится в двенадцать раз дороже растительной».

«*Духовная жизнь*» — последнее из выдающихся сочинений Струве и представляющее, так сказать, свод его мнений, которые уже хорошо были известны его современникам, — является более пространным изложением его воззрений на задачи социологии и этики, чем ранние его произведения. В этом сочинении автор смотрит на естественную историю человека с точки зрения истинного философа, свидетельствующей о возвышенности его ума. В отделе, озаглавленном «*Нравственность*», он делает настоящую оценку тем дешевым поучениям, с которыми старшие обращаются к детям, в чаянии приучить их к *практическому применению* нравственных принципов:

«они, быть может, и толкуют детям, что не следует быть жестокими к животным и вообще ко всем слабым существам. Но стоит только ребенку войти в кухню, и он сейчас же увидит убитых и ощипанных голубей, кур и гусей; стоит ему сделать несколько шагов на улице, и он увидит вывешенные трупы животных, выпачканные кровью, с отрубленными ногами и перерезанным горлом. На дальнейшем пути он непременно натолкнется на бойню, где убивают не только безвредных, но даже полезных животных всевозможных пород. Я не стану перечислять здесь все виды варварства, порождаемые обычаем убивать животных; скажу только, что, злоупотребляя правом сильного относительно существ других пород, люди привыкают злоупотреблять им в одинаковой степени и относительно себе подобных созданий.

Какую же пользу могут принести детям прекрасные рассуждения о нравственности, которым так резко противоречат *варварские и безнравственные поступки взрослых, совершающиеся у них на глазах?*

В действиях человека, поступающего справедливо с теми, кто сильнее его и могут его обидеть, никак нельзя видеть пример высокой нравственности. *Только тот вполне удовлетворяет требованиям справедливости, кто выполняет свой нравственный долг относительно более слабого существа...* За неимением подвластного ему существа своей породы человек позволяет себе бить свою лошадь, собаку и пр. Вообще, отношения людей к низшим породам полны глубокого значения и имеют такое громадное влияние на развитие человеческого характера, что круг нравственных обязанностей непременно должен быть расширен и распространен на все живые существа без исключения».

В главе, посвященной исключительно пище и напиткам, Струве обращается к читателям с таким предостережением:

«Чудовищные злоупотребления в пище и напитках, сделавшиеся мало-помалу самым обыкновенным явлением в нашей жизни, достигли, наконец, таких размеров, что их невозможно игнорировать далее. Тот, кто желает способствовать совершенствованию человеческого рода, поднятию его духа и укреплению тела, не имеет более права молча смотреть на неестественный образ жизни, который ведут люди.

Для народа, борющегося за свободу, кухня не должна быть вертепом погибели; кладовая не должна быть вертепом развращения; вопрос о еде не должен приводить к притуплению нравственных чувств... Ни один народ не может сделаться свободным, если отдельные личности, из которых он состоит, остаются рабами своих страстей. Человек должен прежде всего постараться свергнуть с себя иго собственных страстей»...

Такие слова весьма знаменательны в устах ученого исследователя человеческой жизни; но они получают еще большее значение, когда их произносит человек, посвятивший большую часть своей жизни борьбе за справедливость и свободу.

LXVI

ДАУМЕР

1800-1875

Даумер, один из самых первых пионеров вегетарианского движения в Германии, преимущественно с так называемой религиозно-философской точки зрения, принеся столько же пользы своими познаниями, как и правильным взглядом на значение религиозного чувства, — родился в Нюрнберге, в последнем году восемнадцатого столетия.

Как ребенок слабого здоровья Даумер не мог принимать участия в обычных забавах школьной жизни и все свободное время посвящал чтению и музыке, которая должна была сделаться впоследствии его специальностью. Но так как он особенно увлекался чтением богословских книг и Библии, то мать его пришла к тому заключению, что он чувствует призвание в духовной профессии. Элементарное образование он получил в местной гимназии, во главе которой в то время находился Гегель, имевший большое влияние на его умственное развитие. На восемнадцатом году он поступил в Эрлангенский университет для изучения богословия; но его вскоре начали осаждать сомнения и недовольство системой религиозного учения, кончившиеся тем, что молодой студент решил отказаться от той профессии, для которой он считал себя предназначенным. После этого он слушал лекции Шеллинга и, наконец, отправился в Лейпциг, чтобы всецело посвятить себя филологии. По окончании университетского курса он был назначен сначала учителем, а потом профессором латинского языка в Нюрнбергской гимназии (1827 г.). Но вследствие неприятных столкновений с ректором (который был, по-видимому, не совсем кротким ревнителем чистоты веры) и слабого здоровья он отказался от занимаемого им места и посвятил себя исключительно литературе, сосредоточив все свое внимание на вопросах философской теологии.

«Первобытная история человеческого ума» была написана Даумером еще в то время, когда он занимал место профессора, а через несколько лет после этого появилось его сочинение «Примечания к теме спекулятивной философии», где он пытается найти формулу для философского деизма. Неискреннее и небрежное отношение к делу религии даже со стороны людей, пользовавшихся особым авторитетом «в религиозном мире», внушало Даумеру крайнее недоверие к господствовавшим толкованиям христианских принципов.

В своем сочинении «Антропология и критика», относящемся к 1844 г., он в самых энергичных выражениях высказывается против общепринятой диететики; а в «Открытиях относительно Каспара Гаузера» подробно описывается вредное действие мясной пищи на человека, который был потерян или брошен родителями в детстве и жил в лесах, как настоящее дитя природы, питаясь одними дикими плодами. Когда его начали приводить «из дикого состояния к цивилизованному», то воспитатели его сочли своим первым долгом заставить его переменить растительную пищу на мясную. Но эти попытки цивилизовать дикаря, по словам профессора Даумера, следившего за ним с величайшим интересом, привели к далеко не блестящим результатам. Коснувшись закоренелого обычая креофагии, доводящего людей до такого ослепления, что они не видят ни варварской его стороны, ни того противного духу нравственности и гуманности влияния, которое он производит на них, Даумер говорит следующее:

«Между реформами, могущими способствовать нашему совершенствованию и поднятию уровня истинной нравственности, — что должно составлять одну из главных наших задач, — реформа пищи занимает если не самое первое, то, во всяком случае, одно из первых мест. «Цивилизованный» мир до сих пор остается запятанным и оскверненным следами отвратительного варварства, и закоренелый, возмутительный обычай питаться мясом убитых животных еще так крепко держится всюду, что люди не могут даже взглянуть на него с настоящей точки зрения, так как в противном случае они увидели бы всю его гнусность.

Мало того, всякое противодействие подобным ужасам, всякая попытка изменить существующий порядок вещей встречаются не только с крайним изумлением, как нечто донельзя нелепое и заслуживающее осмеяния, но даже с явным раздражением и недоброжелательством. Уничтожение этого варварского обычая составляет весьма важную задачу, находящуюся в ближайшей связи с основными принципами гуманности, нравственности, эстетики и физиологии. До тех пор, пока будет существовать эта система убийства и поедания трупов как общественный обычай, для человечества не может наступить период истинной культуры.

Что образ жизни может порождать и развивать в нем разные болезни — это не подлежит никакому сомнению, и только страсть к мясной пище может заставить его игнорировать этот факт. До тех пор, пока я не отказался от мясной пищи, на что я, к сожалению, решился только в пятьдесят лет, я жестоко страдал временами от невралгии, которая мучила меня по целым дням и ночам, и от которой я совершенно избавился, когда переменял пищу. Опыты лечения многих больных, страдавших как этой, так и другими болезнями, приводили к тому же самому результату. Между прочим, я знал одного мальчика, которого только тем и вылечили от глистов, что перестали кормить мясом.

Что трупная еда весьма вредно влияет на умственную и нравственную сторону человека — это я мог видеть на примере своего приемыша, знаменитого Каспара Гаузера. Этот юноша питался только хлебом и водой во все время своей отшельнической жизни и впоследствии долго не чувствовал потребности ни в какой другой пище. Но к хлебным похлебкам, овсянке и шоколаду он привык без всякого вреда для себя; мясо же, запах которого был ему особенно противен, он решительно не мог есть. Эта простая пища была, по-видимому, чрезвычайно полезна для юноши, который казался совершенно здоровым и обнаруживал замечательные умственные способности. Наконец, его приучили понемногу к обыкновенным мясным блюдам, вливая по несколько капель мясного бульона в его хлебную похлебку и постепенно, но чрезвычайно осторожно увеличивая количество примеси.

Но в наклонностях юноши вскоре произошла резкая перемена: способности его к учению заметно ослабели, характер тоже изменился к худшему, и он сделался самым обыкновенным субъектом. Окружающие, разумеется, никак не приписывали эту перемену мясной пище, и я сам в свое время был далек от того мнения, которое у меня сложилось теперь по этому поводу. Но при моих теперешних воззрениях я несколько не сомневаюсь в том, что варварский обычай питания причиняет человеку громадный вред не только в физическом, но также и в умственно отношении; но физиологи и врачи, будучи сами ревностными приверженцами бесчеловечного обычая, не считают удобным присоединить свой голос к этому мнению. К сожалению, люди привыкли изошрять свой ум на придумывание всевозможных доказательств для оправдания того, к чему они чувствуют личное пристрастие».

LXVII

ЦИММЕРМАН и ГОЛЬТЦ

Что же касается до остальных из числа небольшой плеяды теперь уже умерших пропагандистов гуманности в Германии — то мы считаем нелишним привести здесь следующую выдержку из сочинения *«Путь в рай»*, давшую особенно ясное понятие о взглядах его автора, *д-ра Циммермана*, на обсуждаемый нами вопрос:

«Обычай составляет решительно все для человека. Это самая упорная и все побуждающая сила. Он подчиняет себе и рассудок, и нравственность и даже совесть. Он же служит и главнейшим препятствием для разрешения вопроса о пищевой реформе. Люди всегда ссылались и ссылаются на *невозможность* такой реформы, тогда как тут вся суть состоит в самообладании и твердой решимости. Они отвергали и отвергают все диетические предложения, которые им делаются как опасные «мечтания», хотя эти предложения основаны на истории, здравом смысле и исследовании человеческой природы, и хотя важность их так очевидна, что не признать ее невозможно. Для каждого по-настоящему должно быть ясно, что людям следует предпочесть долгую, здоровую и счастливую жизнь расслабленному и болезненному существованию, сопряженному с теперешним способом

питания; а между тем, большинство людей, вместо того, чтобы избавиться от своих страданий самым простым путем, — подчинившись законам природы, считает за лучшее прибегать к весьма неверным, а иногда даже и рискованным медицинским средствам. Таким образом, и диетическую реформу постигает обычная судьба всех великих истин: люди отвергают ее как *отвлеченность* и как нечто *невозможное*. Но когда эта реформа будет принята, благодаря усилиям лучших людей, — она будет считаться величайшим благом. Даже и теперь есть люди, представляющие исключение из общего уровня и считающие законы природы выше животных импульсов, задачи нравственности — выше материального и чувственного наслаждения жизнью, долг — выше своих прихотей. Сверх того, человечество вступает в более гуманный период существования. Как наше время, сравнительно с предыдущим, сделало заметный шаг вперед в этом направлении, так и последующее, конечно, опередит нас; как теперь считается гнусным и позорным подкидывать детей, устраивать бой гладиаторов, мучить пленников и совершать другие зверства, никому не казавшиеся прежде ни предосудительными, ни противными чувству справедливости, так и впоследствии будет считаться безнравственным и непозволительным убивать животных и употреблять в пищу их трупы. И теперь уже (1846 г.) составляются общества для покровительства животным, и все чаще появляются люди, которые, подобно благороднейшим мужам древности, избирают для себя руководством в жизни нравственный лозунг: *делать добро и воздерживаться от дурного* необходимо и всегда возможно, и не позволяют себе санкционировать мучение и убийство невинных и чувствующих существ, отказываясь от употребления в пищу их мяса.

Чем больше будет возрастать число приверженцев пока еще не признанной истины, тем яснее сделается необходимость диетической реформы. Когда между болезненными и изнуренными потребителями мяса появляются тысячи здоровых и сильных потребителей растительной пищи, безболезненно доживающих до глубокой старости, то теперешний обычай питаться трупами, конечно, будет оставлен».

Не менее убедителен и следующий горячий протест другого немецкого гуманиста, *Богумила Гольца*:

«Какое унижение, какой позор для нас всех заключается в том, что некоторые из нас *видят себя вынужденными* указывать людям на их жестокое и неразумное отношение к другим живым существам. Неужели люди не признают у этих существ ни разума, ни души, и не считают их способными чувствовать наслаждение жизнью или страдание? Неужели их радостные или отчаянные голоса в самом деле так мало говорят человеческому сердцу, что люди равнодушно убивают ликующего от полноты жизни жаворонка, вид которого должен был бы возбуждать в них сочувствие ко всему живущему, а не страсть к кровопролитию или «спорту», заставляющую их с таким отвратительным бесчувствием и легкомыслием целиться в намеченную жертву. Неужели в глазах живого или умирающего животного не видно души? Неужели во взгляде загнанного на охоте оленя не заметно страдания, изобличающего людей в совершенном убийстве, за которое им придется отвечать перед неподкупным судом Всевышнего?.. Неужели души всех животных, кроме человеческой, смертны или созданы совершенно иначе? Допускает ли мировая идея существование в них частицы божественного духа — я этого не знаю, но чувствую, как и всякий мыслящий человек должен чувствовать, что ужасно и противно нашей природе, нашей совести, нашему разуму, нашим рассуждениям о гуманности, о высшем предназначении, благородстве, духу нашей поэзии и философии, нашей пресловутой любви к природе, нашей религии, нашему учению о *благих стремлениях* — распространять вокруг себя убийство и опустошение для поддержания собственной жизни.... Мы делаем страшную ошибку, подвергая животных всевозможным мучениям и из прихоти пожирая их мясо, потому что, привыкая злоупотреблять своей властью над беспомощными и слабыми, имеющими полное право на нашу защиту и сострадание, мы только ожесточаем свою природу. Человек, безжалостный к животным, не может быть сострадателем и к людям».

LXVIII

ШОПЕНГАУЭР

1788-1860

Шопенгауэр, главный истолкователь буддийских идей в Европе, оказавший в этом направлении большое влияние на современную мысль, в особенности, в Германии, родился в Данциге и был сын богатого местного коммерсанта. Мать его, сама талантливая писательница, служила центром кружка замечательнейших людей в Веймаре. Артур Шопенгауэр, рано изучивший философию Платона и Канта, прошел курс наук в Геттингенском и Берлинском университетах. Знания его, как в науке, так и в литературе, были замечательно солидны даже для немца и в своем роде энциклопедичны. Следует еще прибавить, что он, в противоположность большинству немецких студентов, не был охотником ни до пива, ни до дуэлей.

Важнейшие из его произведений суть: *«Мир как воля и представление»*; *«Основные задачи этики»*; *«Ос новы морали»* и др.

Характеристичными чертами его философии служат: непримиримая оппозиция «пустым учениям верхоглядного оптимизма» — антагонизм, доходящий у него до крайнего пессимизма и (чем он особенно отличается от проповедников морали, устанавливающих ее в системы и формулы) принятие главным и специальным источником нравственности — чувства *сострадания*. Его заступничество за *права* низших пород животных, составляющее такой яркий контраст с обычным умалчиванием о них и даже положительным презрением к ним других моралистов, навсегда упрочивает за ним высокое место в ряду реформаторов этических систем, несмотря на его крайности и пробелы в других отношениях. Давид Штраус оценивает его заслуги в этом отношении в следующих словах:

«История уголовных преступлений показывает нам, сколько мучителей и убийц людей начали мучением низших животных. *Истинная цивилизация нации в ее целом определяется главным образом ее обращением с животными.* Латинские народы, как нам известно, плохо выдерживают эту пробу, да и мы, немцы, выдерживаем ее далеко не удовлетворительно. Буддизм сделал в этом отношении более, чем христианство, а Шопенгауэр — более всех древних и новейших философов, взятых вместе. Все его произведения проникнуты горячим сочувствием ко всей чувствующей природе, и это составляет одну из лучших сторон его глубоко идейной, хотя подчас нездоровой и бесполезной философии».

Необходимо прибавить, что эти слова свидетельствуют о явном незнании с сочинениями древних и новейших гуманных диетистов, которым, бесспорно, принадлежит более высокое место, чем Шопенгауэру, так как они были последовательнее и логичнее его. По незнанию (надо полагать) физических и нравственных аргументов против креофагии он в то самое время, когда устанавливал на незыблемых началах права низших пород животных и включал уважение к ним в нравственный кодекс человека, с непонятной, но обычной непоследовательностью не сознавал, что предоставлять мясникам корову, быка, барана и пр. значит явно нарушать свой же собственный нравственный кодекс. Стало быть, автор *«Основ морали»* не имеет абсолютного права на высшее место в ряду ее проповедников; ему может быть отведено высокое место лишь вне рядов вегетарианских писателей, как великому моралисту, который если и не додумался до полной эмансипации низших пород безвредных животных, то все же горячо отстаивал их права

8

. В особенности восставал он против возмутительного нарушения первейших законов справедливости со стороны мнимо-ученых инквизиторов — вивисекторов. Вот как он излагает основы своей морали:

«Безграничное сострадание, милосердие ко всем живущим существам есть прочнейшее и вернейшее ручательство за нравственное поведение и не нуждается ни в какой казуистике. Кто исполнен сострадания, тот, наверное, никому не повредит, никого не обидит, никому не причинит страдания, будет скорее к каждому снисходителен, каждому простит, каждому по мере сил поможет; и все его дела будут носить отпечаток справедливости и человеколюбия. Напротив, попробуйте только сказать: «Этот человек добродетелен, но не знает никакого сострадания» или «Это несправедливый и злой человек, однако он очень сострадателен», и вы тотчас почувствуете противоречие. У каждого свой вкус; но что касается меня, то я не

знаю лучшей молитвы, чем та, которой древние индусы завершали свои публичные зрелища (как современные англичане завершают молитвой за королеву). Они говорили: «Да избавится все живущее от страдания!»

Развивая далее свое учение о том, что принципом и пружиной всякой нравственности должны быть справедливость и любовь, Шопенгауэр утверждает, что истинное влияние этих первейших из добродетелей прежде всего отзывается а поведении человека относительно других животных.

«Установленное мной нравственное побуждение имеет еще то преимущество, что берет под свою защиту также и животных, которые так плохо обеспечены в прочих европейских системах морали. Мнимое бесправие животных, заблуждение, будто наши деяния относительно их не имеют нравственного значения, или, говоря языком этой морали, будто перед животными не существует никаких обязанностей, — в этом проявляется возмутительная грубость и варварство Запада, источник которых лежит в иудаизме. В философии это заблуждение основано на предполагаемом, вопреки всякой очевидности, совершенном различии между человеком и животным, которое, как известно, всего решительнее и резче было высказано Декартом, как необходимое следствие его заблуждений. Когда картезиано-лейбницко-вольфская философия построила из отвлеченных понятий рациональную психологию и соорудила бессмертную *anima rationalis*, выдав диплом на бессмертие исключительно человеку и позабыв о естественных правах животных, говоривших против этой монополии, — то природа, как она всегда делает в подобных случаях, молча протестовала. Устрашенные своей интеллектуальной совестью, философы должны были заботиться о подкреплении рациональной психологии эмпирической, а потому и постарались найти между человеком и животным ужасную пропасть, неизмеримое расстояние, чтобы представить их в основе различными, вопреки всякой очевидности.

«В конце концов оказалось, что животные должны даже не уметь различать себя от нынешнего мира, не иметь никакого самосознания, . никакого «я»! Против подобных нелепых утверждений стоило бы только сослаться на присущий каждому животному, даже самому мелкому и последнему, безграничный эгоизм, наличие которого достаточно свидетельствует, как сильно сознают животные свое «я» и «не-я». Соответственно, с подобным суемудрием философов видим мы и в популярном отношении в некоторых языках (напр., в немецком и русском) ту особенность,, что в них для еды, питья, беременности, родов, смерти и трупа по отношению к животным существуют совершенно особые слова для того, чтобы не употреблять тех, которыми обозначаются те же акты у человека, и таким образом совершенное тождество дела скрывает под различием названий. Так как древние языки не знают такой двойственности выражений, а непредубежденно называют те же самые вещи одними и теми же словами, то несомненно, что эта жалкая уловка есть дело европейского духовенства, которое в своем невежестве не полагает особой важности в отрицании и оскорблении вечного существа, живущего во всех тварях; а между тем этим положено основание обычной в Европе суровости и жестокости с животными, на которую дальний азарт может взирать лишь со справедливым негодованием. В английском языке нет этой недостойной уловки, но зато в нем существует другая своеобразность: там все животные, как и неодушевленные предметы, — среднего рода, что особенно странно по отношению к высшим животным, каковы собака, обезьяна и пр. Древние египтяне, для которых религия была единственной заботой жизни, клали в одну могилу с мумиями людей мумии ибисов и пр.; в Европе же считается мерзостью и преступлением похоронить верную собаку рядом с могилой ее хозяина, на которую она, из верности и привязанности, каких никогда не найти в человеческом роде, по временам приходила дожидаться своей собственной смерти.

«Если вы желаете знать, как далеко простирается сходство между «животным» и человеком, то для этого вам следует только ознакомиться немножко с зоологией и анатомией. Но что сказать, когда какой-нибудь ханжа-анатом берется доказать, как мы видим в наши дни (1839 г.), абсолютное, радикальное различие между человеческой и другими расами животных; и, идя наперекор всем истинным зоологам, — всем тем, кто без всякой пошлости, без всякого лицемерия, руководствуются только указаниями истины и природы, — нападает и клеветает на них?»

И, однако, превосходство это (человека над другими млекопитающими высших рас) зависит лишь от большего развития мозга, то есть, от различия лишь в одной части тела, и притом различия только *количественного*. Да, человек и другие животные, как в нравственном, так и в физическом отношении совершенно *однородны*, не говоря о других точках сравнения. Не мешает напомнить всем этим иудействующим западникам, всем этим содержателям зверинцев, поклонникам «разума», что как они сосали молоко своей матери, так же точно и собака сосала молоко своей. И Кант также впал в заблуждение своего времени и своей страны; я уже упрекал его в этом. Христианские моралисты не заботятся о «животных»; это их недостаток, и лучше сознаться в нем, чем увековечивать его. Мы должны тем более удивляться этому недостатку, что христианская мораль поразительно согласуется с нравственными кодексами браманизма и буддизма.

Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что тот не может быть добрым человеком, кто жесток к животным. Можно сказать, что сострадание к животным происходит из того же источника, как и сострадание к людям... Тонко чувствующая английская нация (т. е., лучшая часть ее) отличается перед всеми другими выдающимся состраданием к животным, которое заявляет себя от времени до времени все новыми доказательствами, и имело силу побудить эту нацию, вопреки ее унижительному «холодному суеверию», пополнить посредством законодательства пробел, оставленный в морали религией. Ибо этот пробел и есть причина того, что в Европе и в Америке нужны Общества покровительства животным, которые и сами могут действовать только при помощи правосудия и полиции. В Азии надлежащую защиту животным обеспечивают религии, а потому там никто и не думает о подобных обществах. Впрочем, и в Европе стало мало-помалу пробуждаться сознание прав животных по мере исчезновения странных понятий, вследствие которых на животных смотрели совершенно как на *вещи*.

Таковы, без сомнения, были причины того грубого обращения, того абсолютного отсутствия всякого внимания к животным, какими заявили себя европейцы.

LXIX

ЮСТУС ЛИБИХ

1803-1873

В числе многих знаменитых ученых, косвенно признавших в новейшее время убийства для человеческой *пищинеобузданной прихотью*, заслуживает особенного внимания знаменитейший из европейских химиков, Юстус Либих. Основатель органической химии и метода органического анализа прошел курс наук в Боннском и Эрлангенском университетах и 19-ти лет получил диплом доктора философии (физических и математических наук). Два года спустя, благодаря главным образом влиянию Гумбольдта, он был назначен экстраординарным профессором в Иссенский университет, куда стали стекаться толпы слушателей из всех частей Германии и Англии. В 1832 г. он принял кафедру в Мюнхенском университете. Все европейские ученые общества наперерыв избирали его своим почетным членом.

Главными заслугами его перед потомством были применение химии к улучшению земледелия и его более философские, хотя (следует прибавить) подчас противоречивые взгляды на сравнительную питательность пищевых продуктов. Мы не станем здесь перечислять его многочисленные сочинения.

Как бы ни были разногласны мнения знаменитого немецкого химика, но непоследовательность его, как и непоследовательность Бюффона, не ослабляет силы его более разумных заявлений, которые мы приводим ниже. Он положительно и ясно признает существенность питательных свойств в животном и растительном веществах:

«Между растительным и животным фибрином и между растительным и животным альбумином существует разве что только разница формы. Если этих элементов в пище недостает, то питание животного прекращается; если же эти начала присутствуют, то травоядное животное воспринимает из своей пищи те же самые элементы, от каких зависит и питание

плотоядного животного. В организме растений заключаются элементы крови всех живых существ; поэтому, когда плотоядные едят кровь и мясо травоядных, то они только воспринимают в себя из них растительные начала.

Растительные продукты, в особенности, всякого рода зерно и, стало быть, хлеб, содержит в себе столько же железа, как и мясо быка или всякого другого животного.

Медведь, содержащийся в зоологическом саду, обнаруживал самый кроткий нрав, когда его кормили одним хлебом. Но довольно было покормить его два дня мясом, чтобы сделать злым, задорным и даже опасным для тех, кто за ним ходил. Известно, что хищный инстинкт у свиньи до такой степени развивается, когда ее кормят мясом, что она нападает на людей.

Плотоядный человек нуждается для своего пропитания в огромной площади земли, в большей даже, чем лев или тигр. Охотничья нация, замкнутая на ограниченном пространстве, не может размножаться. Необходимый для поддержания жизни углерод приходится брать у животных, которых на ограниченном пространстве может быть только ограниченное число. Эти животные собирают элементы своих органов и крови из растений и снабжают ими потом индейцев, живущих охотой; но последние съедают их без того вещества, которым поддерживались при жизни животных их жизненные процессы. Хотя индеец мог бы поддержать в продолжение нескольких дней свою жизнь и здоровье, съев всего одно животное, но для приобретения необходимой теплоты он должен съесть в это время пять животных. В пище его заключается избыток азота, в углероде же он терпит недостаток большую часть года; отсюда и является закоснелая склонность к водке у людей, питающихся мясом.

Невозможно придумать более яркой иллюстрации превосходства земледелия, чем речь вождя одного североамериканского племени, переданная нам французом Кревку. Вождь этот, советуя своему племени заняться земледелием, сказал: «Разве не видите, что в то время, как мы питаемся мясом, белые люди питаются (отчасти) зерном? Что мясо зреет тридцать месяцев, и часто его нам не хватает? Что каждое из этих чудодейственных зерен, зарываемых в землю, возвращается сторицей? Что мясо убегает от нас на четырех ногах, а мы должны преследовать его на двух? Что зерно лежит и вырастает там, где белые его посеяли; и зима, во время которой охота стоит нам стольких трудов для белых служит временем отдыха? От этого у них много детей, и они гораздо долговечнее нас. Слушайте же, что я говорю всем вам: прежде чем погибнут от старости деревья, осеняющие наши вигвамы, раса зерносеятелей истребит мясоедную расу, потому что охотники не решаются сеять

9

».

Мнение Либиха о вредных последствиях склонности землевладельцев превращать пахотные земли в выгоны достаточно известно.

1

В том же духе высказался и другой знаменитый ученый, *сэр Брюстер*, выражая свое чувство отвращения к бойне, — чувство вполне законное, но, по странному извращению человеческого ума, постоянно подавляемое вопреки всем внушениям совести и рассудка. Вот что говорит он? «Какими бы расами ни были заселены другие миры, мы убеждены, что существуют такие формы жизни, при которых немислимы ни людоеды, ни герои с окровавленными руками, ни правители, препятствующие просвещению народа и тем готовящие его к эшафоту. На скрижалях этого грядущего царства должна быть написана высшая из заповедей: *Не убий ни для завоеваний, ни для славы, ни для денег, ни для одежды, ни для пищи, ни для удовольствий*. Прелестные формы жизни, чувства, инстинкта, так тонко выработанные рукой великого Мастера, не должно разрушать; они должны быть предметом изучения для философов, темой для поэтов, товарищами и помощниками человека».

2

См. также его красноречивый протест против научного и популярного заблуждения людей,

которые, отрицая сознательный разум у животных (как млекопитающих, так у низших пород) придумали, в объяснение их нравственного состояния, неопределенный термин «инстинкт».

3

Этому достопамятному зданию наследовала нынешняя хорошо известная церковь в Кросс-Лэне, где теперь служит и говорит свои красноречивые проповеди достопочтенный *Джемс-Клэрк*, один из маститых и наиболее уважаемых членов Вегетарианского общества.

4

Здесь кстати заметить, что ни в одной английской энциклопедии, ни в одном биографическом словаре не встречается, насколько нам известно, имени этого великого гигиениста, как не встречается и многих других имен, прославившихся в гигиенической или гуманитарной литературе. Опускание во многих словарях имен этих истинных благодетелей мира тем удивительнее, что издания эти переполняются бесчисленным множеством имен различных лиц, ни малейшим образом не способствовавших ни накоплению знания, ни улучшению благосостояния человечества.

5

Как на примеры этого профессор Лауренс указывает преимущественно на лапландцев, самоедов, остряков, тунгусов, бурят и камчадалов в Северной Европе и Азии, а также на эскимосов в Северной Америке, и на туземцев Огненной Земли на южной ее оконечности, которые, хотя и питаются почти исключительно мясом и нередко сырым, — однако представляют собой самые мелкие, слабые расы земного шара. Из всех рас земного шара североамериканские туземные племена, существующие почти исключительно охотой, считаются самыми дикими и свирепыми.

6

В этом году появилось в печати, одно за другим, следующие его сочинения: *«Переписка между старым и современным дипломатами»*, *«Общественные права Германского союза»* и *«Критическая история общенародных законов»*.

7

Из сочинений его за это время особенного влияния заслуживают *«Очерки политической науки»*. Это сочинение, написанное под влиянием стремлений к свободе, волновавших в то время почти всю Европу и оставшихся в большинстве случаев совершенно бесплодными, не лишено значения с точки зрения подготовки общин для высших правительственных целей. Затем было напечатано его сочинение *«Основные права германского народа»*, а также и еще одно сочинение, написанное сообща с Гейнценом.

8

Сравни замечания Жан-Поля Рихтера (1763-1825), в его трактате о воспитании, где он протестует не менее горячо против общего пренебрежения к этой стороне морали. Между прочими замечаниями на этот счет знаменитый романист пишет: «Любовь есть прирожденная, но различно распределенная теплота сердца. Люди бывают с теплой и с холодной кровью, как и животные. В ребенке, как и в низшем животном, любовь есть главный импульс; нередко — но не всегда — этот центральный огонь пробивает наружную кору... Ребенок (принадлежащий к нашей системе воспитания) приучается считать всякое живое существо священным, — словом, ему сообщаются чувства индуса вместо сердца картезианского философа. Здесь замешано нечто большее, чем просто сострадание к животным, — но и оно также обнимается этим вопросом. Почему, — как давно замечено, — жестокость ребенка к низшим животным предвещает его будущую жестокость в отношении к людям? Неразвитый человек может жалеть только себя; только собственное страдание говорит понятным ему языком личного опыта. Бессловесный крик мучимого животного звучит для него странно, даже забавно; а между тем, он видит перед собой жизнь, сознательные движения, то есть, все то, что отличает живое существо от неодушевленного

предмета. Оно грешит против собственной жизни, отделяя ее от жизни остальных существ, словно часть какого-нибудь механизма. Да будет ему (ребенку) священной всякое живое существо, хотя бы и неразумное! Ведь, в сущности, и сам он еще не знает разумной жизни. И разве можно не принимать в расчет живого сердца *только потому*, что оно бьется под щетиной, под перьями или крыльями?»

9

Заметим кстати, что знаменитый голландский физиолог Молешот, младший современник Либиха, грешит такой же странной непоследовательностью, как и этот последний, и Бюффон, становясь в ряды защитников креофагии после того, как сам же он высказал убеждение, что «растения предпочтительнее мяса по обилию заключающихся в них питательных веществ, так как, превосходя мясо на половину количеством альбуминных веществ, они в изобилии содержат также жир и соли». Ясно, впрочем, почему огромное большинство ученых, хотя и признающих хорошие качества или даже превосходство растительного режима, тем не менее, все стоят за общепринятую пищу: они или равнодушны к гуманным учениям, или же не находят в себе мужества постоять за то, что считают истиной.